

Н. Задонский Денис Давыдов

2



Н. ЗАДОНСКИЙ

Денис Давыдов

Молодая гвардия — 1962



Н. Задонский

Денис Давыдов

Историческая хроника

книга вторая

Издательство ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»
1962

Р2
З-15

Оформление С. Пожарского

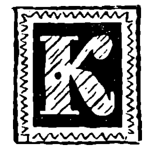
Иллюстрации Б. Лебедева



О горе, молвил я сквозь слезы,
Кто дал Давыдову совет
Оставить лавр, оставить розы?
Как мог унизиться до прозы
Венчанный музою поэт,
Презрев и славу прежних лет,
И Бурцовой души угрозы!

А. Пушкин

I



нязь Петр Андреевич Вяземский проснулся в своем кабинете с тяжелой головой и с ощущением виновности во вчерашней неприятной истории. Впервые за три года поссорился с женой. И как глупо, пошло все получилось!

Вяземский был молод, ему шел всего двадцать третий год, но в литературных кругах он пользовался уже большой известностью как поэт и автор нескольких серьезных критических статей. Карамзин, женатый на старшей его сестре, Екатерине Андреевне, предсказывал шурину большую будущность.

Жуковский, Батюшков, Александр Тургенев и Василий Львович Пушкин были его закадычными друзьями.

А полгода назад, летом 1814 года, завязались самые близкие, приятельские отношения с возвратившимся в Москву из заграничного похода Денисом Давыдовым. Встречались они и прежде, во время кратких отпусков Дениса, но тогда слишком давала себя знать восьмилетняя разница в возрасте. Вяземский лишь с юношеским благоговением и восхищением смотрел на блестящего ротмистра-гусара, прославленного вольнолюбивыми баснями, высылкой из столицы и удалыми, часто нескромными стихами.

Теперь Денису Васильевичу сопутствовала слава героя Отечественной войны. Партизанские подвиги его были всюду известны. Жуковский увековечил его имя в «Певце во стане русских воинов».

Давыдов щеголял в новеньком генеральском мундире, доставлявшем ему видимое удовольствие, но держался со старыми знакомыми просто, своими заслугами не кичился.

Лихой, веселый забулдыга-гусар по-прежнему так и просвечивал в тридцатилетнем генерале.

...Сабля, водка, конь гусарский,
С вами век мой золотой!

Эти звонкие, словно из серебра откованные, строки последней его песни выдавали характер, в котором подчеркивалось и гусарское молодечество и готовность в любую минуту постоять за честь отечества.

...За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!
Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!
За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!

Вяземский от гусарских стихов Давыдова был в восторге. И не раз упрекал Жуковского, что тот относится к ним слишком сухо и докторально.

Сближению Вяземского с Давыдовым способствовали, впрочем, не только общие литературные

интересы, но и многое другое. Вяземский женился на Вере Федоровне Гагариной, а ее сестра Надежда была женой Бориса Антоновича Четвертинского, любимого товарища Дениса. Вяземский, Давыдов, Четвертинский и общий их друг, известный храбрец, картежник и дуэлист Федор Толстой, прозванный Американцем, проводили почти все время вместе, не чуждаясь никаких светских развлечений.

Летом они часто бывали в подмосковном селе Кунцеве, где жил директор московского театра Аполлон Александрович Майков, устраивавший для избранной публики пышные театральные празднества. Здесь блистали лучшие певцы и танцовщицы, среди которых выделялись красотой и изяществом Саша Иванова и Таня Новикова, юные воспитанницы Московского театрального училища.

И вскоре стыдливо-грациозная, синеглазая Саша совсем очаровала Дениса Васильевича. Анакреон под доломаном, как прозвал Вяземский тридцатилетнего генерала, почувствовал жар поэтического вдохновения. Он воспевал свое божество в пламенных стихах, вызывавших восторги друзей:

О милый друг, оставь угадывать других
Предмет, сомнительный для них,
Тех песней пламенных, в которых, восхищенный,
Я прославлял любовь, любовью распаленный!
Пусть ищут, для кого я в лиру ударял,

Когда поэтов в хоре
Российской Терпсихоре
Восторги посвящал!

Но поэтические нежные послания сердца юной красавицы не затронули. Саша отдавала явное предпочтение молодому талантливому балетмейстеру Адаму Глушковскому. Впрочем, Денис надежд не терял!

А Вяземского пленила бойкая и веселая цыганочка Таня Новикова. Увлечение было, правда, более платоническим, нежели чувственным, оно не выходило за рамки необходимого благоразумия, но все-таки...

Маленькая, миловидная и общительная Вера Федоровна Вяземская смотрела на развлечения мужа сквозь пальцы, требуя лишь соблюдения известных светских правил общежития и приличия. Вчера он эти правила нарушил. Обещал вечером ехать с женой в театр, а вместо этого очутился на пирушке у Федора Толстого, явился домой поздно и в нетрезвом виде. Вера Федоровна не выдержала. Устроила на глазах прислуги скандал, наговорила грубостей, забрала недавно начавшую ходить дочку Машеньку и уехала к Четвертинским.

«Фу, скверность какая! — поморщился Вяземский, вспоминая подробности вчерашней сцены. — Ну, положим, я виноват перед ней, сам знаю, что виноват, так выскажи все с глазу на глаз... Зачем же публичность? Неужели ей хочется, чтоб весь город о нас судачил?»

Часы на камине мерно отбили десять. Вяземский поднялся, набросил на себя полосатый шелковый халат, подошел к окну, поднял тяжелую штору и невольно сощурился. День был морозный, ясный, ослепительный! Выпавший ночью снег покрыл пушистым серебристым ковром тихую улицу, с незапамятных времен называемую Живодеркой.

Два года назад, когда Вяземский возвратился в опустошенную пожаром Москву, уцелевший каким-то чудом деревянный одноэтажный дом, принадлежавший отчиму его жены, находился среди груды развалин, почерневших печных остовов и обожженных пней. А теперь улица начала уже приобретать обычный вид. Десятки деревянных и каменных домов радовали глаз свежестью красок, разнообразием неприхотливой архитектуры. Дым из труб столбами поднимался в прозрачную голубую высь. Но большая часть зданий стояла еще в лесах. Каменщики, плотники, штукатуры работали не только днем, но и ночью, при свете смоляных факелов и костров. Стучали, не затихая, топоры и молоты, визжали пилы. По улице беспрерывно тянулись обозы, груженные кирпичом, камнем, лесом. Мохноногие крестьянские лошаденки с впалыми боками тяжело дышали и от-

фыркивались, от них валил пар. Бородатые возчики в армяках и тулупах шли, помахивая кнутами, сбоку поддерживали сани на раскатах.

Вяземский несколько минут стоял у окна. Неподвижные черты строгого, чуть скуластого лица его не изменились, но светлые близорукие глаза оживились веселым блеском. Москва, которую так любил он, быстро, на глазах, отстраивалась, украшалась, хорошела. Мысли об этом были приятны, действовали освежающе. Настроение заметно улучшилось.

«Поеду к Четвертинским и уговорю жену не дурить», — отходя от окна, решил Вяземский. И, приказав заложить возок, стал поспешно одеваться. Но не успел еще привести себя в порядок, как вошел камердинер, доложил:

— Его превосходительство Денис Васильевич...

Визит был неожиданный. Вчерашний вечер они провели вместе, ничего недоговоренного между ними не оставалось. К тому же после попоек Денис спал обычно до обеда.

— Проси сюда, — сказал Вяземский. — Впрочем, я сам...

Подвязывая на ходу галстук, он заторопился навстречу гостю, вошел в зал и... остолбенел. Перед ним стоял Денис, но, боже мой, в каком виде! Вместо отлично сшитого генеральского мундира, придававшего стройность фигуре, штатский, нескладно сидевший костюм старинного фасона. Густые волосы на голове всклокочены. Пышные гусарские усы — предмет особой его заботы — против обыкновения не подкручены лихо вверх, а смешно топорщатся в разные стороны. Все лицо посерело и будто осунулось. Одни лишь темно-карие, чуть выпуклые глаза лихорадочно блестели.

— Что с тобой, Денис Васильевич? Что за маскарад? — не скрывая удивления, воскликнул Вяземский.

Давыдов сделал шаг вперед и, задыхаясь от волнения, хриплым тонким голосом произнес:

— Разжалован...

Вяземский растерялся:

— Как... разжалован? Шутишь, что ли?

Губы Дениса тронула желчная усмешка. Он достал из кармана бумагу, протянул приятелю:

— Вот приказ, читай! Сегодня утром из главного штаба прислали... По ошибке, оказывается, генеральский чин мне присвоен... Велено мундир снять... Не заслужил! Перед вельможами не пресмыкался! Дурацкой их системе военной противничал! Партизанство мое высоким особам не по нраву. А что я на полях брани за отечество жизни не щадил — им наплевать!

Давыдов не говорил, а гневно выкрикивал эти фразы, быстро расхаживая взад и вперед по залу и продолжая ерошить лохматую голову. Потом остановился перед Вяземским, ткнул себя кулаком в грудь:

— Сюда ударили! В сердце! Войди в мое положение... Ведь я почти год генеральский мундир ношу... А выходит, что был я не генерал, а самозванец! Гришка Отрепьев! Людям в глаза смотреть стыдно! Жизни не рад!

Вяземский дружески полуобнял его, сказал сочувственно:

— Я все понимаю, Денис... С тобой поступили несправедливо. Но возьми себя в руки, пойдем ко мне и поразмыслим, что можно и нужно сделать?

— Думал, — тяжело вздохнул Давыдов. — В отставку проситься нужно, больше делать нечего... — И, войдя вслед за хозяином в кабинет, добавил: — Прикажи водки дать... Ум за разум зашел!

Камердинер явился тотчас же с графинчиком на подносе. Давыдов залпом выпил рюмку водки, достал неразлучную свою спутницу — трубку, набил табаком, закурил.

— Обидно, Вяземский, горько, — произнес он, — да, видно, против рожна не попрешь...

— А ты не допускаешь мысли, — сказал Вяземский, — что этот приказ... какая-то случайность?

— Эх, друг мой милый, побывал бы ты в моей шкуре, так тебе и в голову не пришло бы случайности выискивать, — отозвался мрачно Давыдов, уса-

живаясь в кресло и попыхивая трубкой. — Я забираться далеко не буду, последние годы вспомню... Ну, о том, как наградили меня за войну Отечественную, ты знаешь. А далее что следует? Обрезают мне крылья, отдают под команду барона Винценгероде. О вдохновенных партизанских перелетах и сшибках с неприятелем приказано забыть. На всякую самостоятельность в действиях запрет. Делаем размеренные переходы по маршрутам, свыше предусмотренным. Идем через Польшу и Силезию, входим в Саксонию... Тут терпение мое лопнуло. Рванулся я с малым своим отрядом вперед, занял половину города Дрездена, защищаемого войсками маршала Даву. Судьба как будто мне улыбнулась! Посылаю рапорт, ожидаю похвалы. Да в методике баронской просчитался! И в дураках остался. Винценгероде, видишь ли, для себя самого честь занятия Дрездена предусматривал. Однажды на рассвете нагрянул барон на меня и, пообещав предать военному суду, приказал команду немедля сдать. Как это огорчило и меня и мой отряд — говорить не буду. При расставании со мною пятьсот человек рыдало! — Сообразив, вероятно, что тут он немного перехватил, Давыдов бросил взгляд на Вяземского, сделал передышку, подкрутил усы, затем продолжал: — Я отправился в главную квартиру. Корнет Александр Алябьев поехал со мною. Служба в отряде могла доставить ему отличия и награждения, поездка со мною — одну мою душевную благодарность. Алябьев предпочел последнее. Ну, приезжаем мы в главную квартиру... Хорошо, что жив был еще фельдмаршал Кутузов. Он за меня вступился, оправдал, приказал команду возвратить...

— Вот видишь! — улыбнувшись, перебил Вяземский. — В конце концов дело-то все-таки уладилось...

— Выслушай сначала, а потом суди, — бросив сердитый взгляд на приятеля, сказал Давыдов. — Команду мне под разными предлогами, один кривее другого, барон так и не возвратил...

— Как! И приказ Кутузова не помог?

— Михайла Илларионович в это время, к моему несчастью, скончался... Жаловаться на барона было

некому. Спасибо, что кое-как удалось перейти под начальство Милорадовича. Он мое усердие и опыт ценил, поручения давал самые опасные, следственно, и самые лестные. Я не выходил из-под огня. Дрался под Пределем, под Этсдорфом, под Бауценом, под Рейхенбахом. Милорадович не раз благодарил меня за славную службу, представлял к чину и орденам, однако представления его неизменно высшим начальством отвергались... Мало того! Меня вновь решили унизить. Русского полковника, боевого командира отдают с двумя казачьими полками под командование полковника австрийской гарнизонной службы Менсдорфа...

— Черт знает какая пакость! — возмутился Вяземский. — Как же ты выбрался из этой истории?

— Никак, — пожал плечами Давыдов. — Время, брат, не такое было, чтоб роптать. Французы отступали к Рейну, мы шли по пятам. Стычки каждый день. Законопачивать саблю в ножны не приходилось. Я был в сражениях под Люценом, под Альтембургом, под Хемницем, под Науембургом и под Лейпцигом. Тут встретил Матвея Ивановича Платова. Он предложил блистательное дело — командовать его авангардом. Но высшее начальство, конечно, не допустило. Я продолжал таскать каштаны из огня для австрийца. Менсдорф получал награды, меня обходили. За всю кампанию тринадцатого года ничего, кроме шишек. Разберись, где тут случайность?

Давыдов встал, выпил еще рюмку водки, прошелся по кабинету, потом продолжал:

— Семнадцатого января четырнадцатого года при Ларотьере я наголову разгромил пехотную бригаду противника. Этого нельзя было замолчать. Мне дали чин генерал-майора... И более ничем не награждали, хотя до самого Парижа, командуя гусарской дивизией, я постоянно находился в самом пекле жестоких битв. Монмираль, Шатотьери, Эстерне, Краон и Лаон... Моя дивизия нигде не посрамила чести русского оружия, одной из первых вошла в Париж... И теперь что же? Высоким особам мало

унижений, коим я был подвергнут... Меня лишают единственной награды, заслуженной на полях брани. Гнусно!

Давыдов опять зашагал по кабинету. Негодование, видимо, захватило его с новой силой.

— Я не понимаю одного, — сказал Вяземский, — кто же все-таки из высоких особ тебе так пакостит?

Давыдов резко повернулся к нему лицом. Горячие глаза гневно вспыхнули.

— Кто, кто! — сердито повторил он. — Государь! Александр Павлович! Вот кто!

Вяземский невольно покраснел. Он находился еще под обаянием царя. Разочаровываться было неприятно и тяжело:

— Ну, уж это ты, кажется, напрасно, — произнес он неуверенно. — Государь мягок и благороден...

— Для кого как! — обрезал Давыдов. — А меня он давно не любит. Басен забыть не может. А того хуже, что чужеземцами и гатчинскими парадирами себя окружил. Эти всю жизнь по мне, как клопы, ползают. Знают о неприязни государя, ну и творят со мной, что хотят, и жалят, гады...

— Так напиши государю, — посоветовал Вяземский. — Возможно, они без его ведома приказ сочинили. Вспомни, как говорят французы: «Сильные мира сего причиняют нам меньше страданий, чем их обезьяны...»

— Может быть, спорить не буду. Напишу, пожалуй, — согласился Давыдов. — Да ведь письма-то через их руки проходят! Они хотя и невежды в делах военных, а на интриги и подлости ума хватает! Бештимтзагеры чертовы!

Вяземский понимал: в словах Дениса много горькой правды. Штабные господа могут, конечно, и письмо задержать и новую гадость придумать. Но все-таки писать государю необходимо, иных надежд на возврат чина нет. Надо лишь отвлечь Дениса от мрачных мыслей, ободрить, воздействовать на чувствительность, которая порой заглушает у него доводы рассудка.

Вяземский взглянул на Дениса, улыбнулся:

— Расскажи-ка лучше, как этим штабным господам в Париже нос утерли... Очень хорошо у тебя получается!

Денис сразу оживился, упрашивать себя не заставил.

— Да, брат, было дело... Собрались эти парадиры — педанты в генеральских мундирах — на холме, наблюдают, как наша пехота в Париж входит... Погода чудесная. Солнце. Музыка. Парижанки с цветами. Картина на всю жизнь. Солдаты идут весело, с песнями, шагом широким, русским, а не гусиным прусским. Шинели и ранцы в пыли, кивера прострелены, сапоги стоптаны. И утомление на многих сказывается. Еще бы! Всю Европу с боями прошли, непобедимого полководца победили... Ну, а парадирам не суть важна, а внешность. Лупят на солдат глаза бараньи, перешептываются, морщатся. В это время и подъехал к ним один из наших русских боевых генералов. Поздоровался, спрашивает: «Что это вы невеселы, ваши превосходительства? Войска-то наши как идут — смотреть любо!» Парадиров за живое задело. Вытянули шеи, как гусаки, и залопотали: «Можно ли вздор такой говорить! Плохо войска идут. Совсем устав забыли. Шеренги неровные. Одеты не по форме. Пряжки не чищены. А шаг у солдат каков! Шаг каков! Заново учить шагу надо!» Посмотрел генерал на педантов тупоумных, усмехнулся: «Смею, однако, заметить, ваши превосходительства, это тот самый шаг, коим мы дошли до Парижа». Откозырял и уехал.

Давыдов рассказывал мастерски. Тонкий, фистульный с хрипотцой голос придавал оригинальность речи. Парадиров представлял он в лицах, воплощал в себе. Каждая фраза произносилась с особой интонацией, сопровождалась характерным жестом. Бездарные ревнители шагистики выглядели, словно живые.

Вяземский от души смеялся. Денис, чувствуя, что рассказ дошел в полной мере, с довольным видом по старой привычке подкручивал усы. «Кажется, отошел уже», — подумал Вяземский, давно приме-

тивший в характере приятеля склонность к быстрой смене настроений.

Разговор легко перешел на другие темы. Когда Вяземский рассказал о вчерашней ссоре с женой, Давыдов, дружески расположенный к Вере Федоровне, не удержался от упрека:

— Виноват ты, а не жена! Дал слово вчера вечером дома быть, так помни. Я не знал, а то бы сам тебя к ней доставил... Она умная, славная, обижать грех! Другая бы такого повесу, как ты, давно к рукам прибрала, а княгиня тебя не стесняет, знает, что горбатого одна могила исправит... Поезжай, проси прощенья, вези домой!

— Я и сам так хотел... Возок заложен. Может, и ты со мною?

— Нет, брат, в этих случаях третий лишний. Я, если разрешишь, вздремну здесь... Голова трещит... Приедете, разбудишь!

— Сделай милость! Располагайся как дома...

— Всю ночь, признаться, глаз не смыкал, — продолжал Давыдов, укладываясь на диване. — Стихи Ивановой писал... Влюблен, как дурак, ей-богу!

Он сверкнул глазами и с чувством продекламировал:

Я — ваш! И кто не воспылает!
Кому не пишется любовью приговор,
Как длинные она ресницы подымает,
И пышет страстью взор!

Давыдов смолк и неожиданно вздохнул:

— Нет, право, будь у меня средства, женился бы, оставил службу да принялся за сочинительство... Я в Париже записи партизанские Ермолову читал, одобряет... «Слог, — говорит, — живой, хороший, мемуарист толковый из тебя выйдет...»

— О боги, что я слышу! — комически воскликнул Вяземский. — Певец вина, любви и славы мечтает о презренной прозе!

— Всего, что видел, стихами не опишешь, — произнес Давыдов. — А поэзия... это статья особая! Я не цеховой поэт, не хватаюсь за перо по каждому поводу, но чувства поэтические всегда со мною...

В пылу сражения, в дыму бивуаков, в кочевке партизанской и в женской красоте. Я прирос к поэзии, как полынь к розе, и не устану упиваться роскошным ее ароматом... Так-то, друг милый! А прозы презирать не должно... Это служба, отечеству не бесполезная... Этим не шути...

Давыдов хотел еще что-то добавить, но не смог. Лохматая голова странно качнулась вбок, руки беспомощно опустились. Сон настиг его мгновенно.

Вяземский прикрыл окно шторой и тихо вышел из кабинета.

Рассказ о случае с Денисом Давыдовым произвел большое впечатление у Четвертинских.

— Возмутительная история, — негодовал Борис Антонович. — Я знаю Дениса с юнкерского чина, его не раз притесняли по службе, но сводить счеты с неугодным лицом подобным образом — вещь неслыханная! Отнять заслуженный в сражениях чин! Какой жестокий, оскорбительный произвол!

Плотный и плечистый, похожий на цыгана Федор Иванович Толстой, подъехавший одновременно с Вяземским, сверкая черными глазами, прорычал:

— Экие скоты! Имена бы проведать! Да всех к барьеру!

Дамы выражали сочувствие пострадавшему посвоему. Вера Федоровна, уже примирившаяся с мужем, вздыхала:

— Бедняжка Денис Васильевич! Представляю, каково ему переносить все это!

— Ужасно, ужасно! — вторила сестра Надежда Федоровна. — Нет, я благодарю бога, что Борис оставил военную службу и находится вдали от всяких интриг и козней...

— Отставка, пожалуй, была бы лучшим выходом из положения и для Дениса, — заметил Борис Антонович, — но, насколько известно, он не имеет никакого состояния.

— В этом трагедия! — подтвердил Вяземский. — Остается одна надежда на государя. Денис как будто собирается писать ему.

— Не поможет! — решительно заявил Толстой.—

Знаю. Испробовал. Меня дважды лишали офицерских чинов...

— Добавь, что за дуэли, законом воспрещенные...

— Все равно! Государь не принимает никаких жалоб по производству и разжалованию...

Мужчины заспорили. Вера Федоровна, зная, что убедить Толстого невозможно, он всегда упрямо стоит на своем, вмешавшись в разговор, сказала:

— Мне кажется, господа, нам прежде всего следует сделать все от нас зависящее, чтобы Денис Васильевич не так остро ощущал тяжесть удара и не впал в мизантропию...

Вяземский посмотрел на жену, улыбнулся:

— Умница! Ты словно читаешь мои мысли... Приглашай же всех к нам обедать. Это будет самым приятным сюрпризом для Дениса — видеть друзей, которые любят и ценят его не по чину.

— Чудесно, чудесно! И ты, конечно, сочинишь нечто подходящее для такого случая? — сказал Четвертинский.

— Да... В моей голове уже что-то бродит...

— Ветер, ветер! — рассмеялась Вера Федоровна и, ласково взяв руку мужа, добавила: — Я пошутила, Петр! Не обижайся!

Было совсем темно. Денис еще спал, из кабинета доносился его богатырский храп.

Вяземский вошел, зажег настольные свечи. Негромко кашлянул. Давыдов сразу затих, как-то по-детски чмокнул губами и приподнял голову. Заспанные глаза жмурились от света.

— Что? Привез княгиню?

Вяземский утвердительно кивнул:

— Вставай, ждем обедать...

Давыдов быстро и легко поднялся с дивана.

— Одолжи одеколон и бритву... Не могу же я перед ней чучелом предстать!

Через несколько минут он был готов. Лицо приобрело обычную живость. Густые волосы и бакенбарды старательно расчесаны, усы подкручены. Все бы хорошо, если б не этот штатский костюм... Давы-

дов знал, что выглядит в нем куда хуже, чем в мундире. Ну, да перед Верой Федоровной можно и не красоваться...

Между тем в ярко освещенной десятками свечей столовой с нетерпением ожидали его появления. Вяземский любил подготовлять сюрпризы. Стол был празднично убран, ломился от вин и яств.

Собравшиеся сидели тихо, разговаривали полушепотом. Только добрейший толстяк Василий Львович Пушкин, за которым успел съездить Толстой, забавляя всех анекдотами, не выдерживал иногда уговора, прыскал от давившего его самого смеха.

Давыдов вошел и замер от неожиданности. Думал, Вяземские одни, а тут целое общество! Все, кого любил, перед кем можно было распахнуть душу. Четвертинские, Толстой, Пушкин... И гул радостных приветствий. И теплота дружеских рукопожатий. Но вот Вяземский поднял руку и, когда все немного затихли, взволнованным, глуховатым голосом, обратившись к Давыдову, прочитал:

Пусть генеральских эполетов
Не вижу на плечах твоих,
От коих часто поневоле
Вздымаются плеча других;
Не все быть могут в равной доле,
И жребий с жребием не схож:
Иной, бесстрашный в ратном поле,
Застенчив при дверях вельмож;
Другой, застенчивый средь боя,
С неколебимостью героя
Вельможей осаждает дверь;
Но не тужи о том теперь!
На барскую ты половину
Ходить с поклоном не любил,
И скромную свою судьбину
Ты благородством золотил;
Врагам был грозен не по чину,
Друзьям ты не по чину мил!

Последние фразы прозвучали особенно выразительно и тепло. Давыдов почувствовал, как запершило в горле. А Вяземский, передохнув, обвел рукой всех собравшихся и продолжал:

Спеши в объятья их без страха
И в соприсутствии нам Вакха

С друзьями здесь возобнови
Союз священный и прекрасный,
Союз и братства и любви,
Судьбе могущей неподвластный!..

Стихи вызвали общий восторг. Давыдов схватил молодого поэта в объятья, расцеловал:

— Ах ты, разбойник! Чуть до слезы не прошиб!

Василий Львович Пушкин, вытирая платком вспотевшее лицо и распространяя сильнейшие запахи духов и помады, до которых был большой охотник, просил:

— Позволь стихи списать, Петр Андреевич... Племяннику Александру в лицей пошлю[1]. Он вас обоих любит.

— Да, мне передавали, — сказал Вяземский, — будто он все стихи Дениса наизусть читает...

— Недавно даже пострадал за них, — хихикнул Василий Львович, обращаясь к Давыдову. — Изволил с товарищами своими по лицею Пущиным и бароном Дельвигом, кажется, гогель-могель устроить. Дядька ихний, Фома, рому достал, ну и захмелели ребята, и взысканы за то начальством... Александр при этом экспромтом на твою оду «Мудрость» подражание сделал... Как она у тебя начиналась-то?

Давыдов припомнил:

Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидон,
По бокалу осушали
И просили Мудрость вон...

— Вот-вот! А племянник по-своему изложил, — захлебнулся в смехе Василий Львович и продекламировал:

Мы недавно от печали,
Пущин, Пушкин, я, барон,
По бокалу осушали,
А Фому прогнали вон...

— Ловко, ловко! — одобрил Денис Васильевич.— Молодец твой племянник, Василий Львович!

Вера Федоровна дала знак дворецкому, стоявшему у дверей с двумя лакеями. Пробки хлопнули. В хрустальных бокалах зашипело и заискрилось шампанское. Дружеская пирушка началась.

II

А дома было невесело. Состояние Давыдовых после войны оказалось в полном расстройстве. Бородино сожжено. Маленькая Денисовка приносила доход самый незначительный. Московский дом полуразрушен, имущество разграблено французами. И главное, некому приводить дела в порядок! Елена Евдокимовна скончалась полтора года назад. Братья находились на службе. Все заботы поневоле легли на сестру Сашеньку, но что же она могла сделать?

Денис Васильевич попробовал обратиться в военное министерство с просьбой о денежном пособии за ущерб, причиненный военными действиями бородинскому имению. Ответили, что государь, ценя его заслуги, соизволил сложить долг, числившийся за покойным отцом. Никаких надежд на более существенную помощь не оставалось. Следовательно, служба была необходимостью... Хочешь не хочешь, а напяливай старый полковничий мундир и являйся в дивизию. Там, конечно, есть и друзья, но сколько таких, которым его унижение доставит приятную возможность для злорадства и насмешек! Самолюбие Дениса Васильевича ущемлялось до крайности.

После долгих раздумий он написал сдержанное, полное собственного достоинства письмо императору:

«Несправедливый рок обременяет в вашей державе человека, которого судьба сохранила так долго на полях чести... Я смел думать, что ваша воля, объявленная военными властями, непреложна, и не поколебался надеть на себя знаки моего нового достоинства; как вдруг, по произволу, которого я до сих пор не понимаю, я был лишен почестей, которыми ваше величество почтили самого усердного из ваших солдат... Удостойте вспомнить, что не я ходатайствовал о награждении моих слабых заслуг, но, получивши награду, позвольте мне просить вас оставить ее за мною...»

Ответа, как и предполагал, не последовало. А дни шли. Отпуск кончался. Мучительный вопрос никак не разрешался, томил, угнетал.

Пирушки с друзьями и театр, куда ходил посмотреть на свою поэтическую вдохновительницу, доставляли забвенье на время, но, возвратившись домой, Давыдов еще сильнее ощущал тяжесть своего положения.

Однажды вечером, в середине января, когда погруженный в невеселые думы, сидел он у камина в своем кабинете, к нему пришла только что возвратившаяся из Бородина сестра Сашенька. Небольшого роста, стройная и румяная, с давыдовскими темными густыми бровями, она не принадлежала к числу красавиц, но многие находили ее очень милой. К братьям Сашенька относилась почти с материнской нежностью, они тоже ее обожали, присылали часть жалованья, баловали подарками и жалели, что обстоятельства не позволяют им разделить с ней домашние заботы.

— Ты что такой мрачный, Денис? — спросила сестра, ласково погладив его по голове.

— Кто часто садится на гвоздь, тот редко смеется, — со вздохом ответил он французской пословицей. — Радоваться нечему, Сашенька... Пора в армию собираться.

— Все-таки решаешь?

— Да. Не вижу иного выхода...

— А если подождать? Может быть, государь еще...

— Бесполезно, — перебил Давыдов. — Царь меня терпеть не может и знает, что делает. Без сильной протекции ничего не получится, а протекторов у меня нет... И средств нет, чтобы дома сидеть!

— Ну, об этом не беспокойся, проживем, — отозвалась спокойно сестра. — Не так богато, конечно, как твои приятели Вяземский и Толстой, а проживем...

— На что же? Наследства, кажется, не предвидится?

— Без него обойдемся. Два имения все-таки. У меня такой расчет, чтобы с этого года столько же дохода получать, сколько до войны...

— Помилуй, Сашенька! Что за расчеты! — удивился Давыдов. — Денисовка менее двух тысяч в год дает, а на бородинских мужиков года три по крайней мере надеяться нечего, в землянках еще ютятся...

Сашенька посмотрела в глаза брата и рассмеялась.

— Ничего-то ты, Денис, в делах не смыслишь! А желаешь знать, мне один прошлогодний урожай в Бородине столько принес, сколько мы никогда прежде не получали. Правда, деньги эти пришлось на покупку леса и кирпича израсходовать, бородинцы сейчас строятся, зато в будущем горевать нечего...

— Чудеса какие-то! — продолжал недоумевать он. — Ума, право, не дашь, как это ты выкрутилась?

Дело же объяснялось просто. Оказавшись в трудное время полной хозяйкой, Сашенька вначале растерялась, но постепенно со своей ролью свыклась и, не надеясь на помощь братьев, все решительнее, крепче стала забирать бразды правления в свои маленькие руки.

Старый плут Липат Иванович, остававшийся бурмистром и полагавший, что молодую хозяйку ничего не стоит обвести вокруг пальца, уже с первого приезда Сашеньки в Бородино понял, как жестоко он ошибся.

Липат Иванович свое личное благополучие основывал на том, что господа не вникали в дела глубоко и предоставляли ему полную самостоятельность в действиях. Такой порядок позволял бурмистру хозяйничать, как он хотел. Выматывая из крестьян все силы на тяжелой барщине, Липат Иванович старался не только для господ, но и для себя, так как значительная доля доходов попадала к нему в карман. Отчитываясь перед господами, он обычно укрывал для себя часть посевов, показывая меньшую, чем на самом деле, урожайность, наживался на продаже хлеба и на многом другом. Если же какая-нибудь проделка раскрывалась, покойный барин кричал на него, шлепал по щекам, а сынок его, Денис

Васильевич, хватал за бороду и грозил скорой расправой, однако порядок от этого не изменялся. Бурмистр винился, откупался небольшими деньгами, оставался на прежнем месте и с новой силой налегал на мужиков. Крепостная система позволяла творить что угодно!

Сашенька ни на папеньку, ни на братца не походила. Приехав в Бородино, она прежде всего осмотрела поля, точно установила количество крестьянской и барской запашки, сразу лишив бурмистра возможности укрывать посевы. Потом взялась за проверку тягловых и оброчных крестьян, настойчиво докапываясь до всякой мелочи.

Липат Иванович встревожился. Молодая хозяйка была мила и любезна, но необычайная ее деловитость грозила разрушить привычный порядок.

— Ох, касатка, кормилица ты наша, — следуя всюду за Сашенькой, медоточивым голоском пел бурмистр, — да зачем тебе ноженьки утруждать, зачем рученьки белые пачкать? Все твое и никуда от тебя не денется...

— А как думаешь, Липат Иванович, — перебивала она, — много нынче хлеба соберем?

— Заранее не угадаешь, барышня моя ненаглядная, а по всей видимости, ежели погодка постоит, не менее прежнего собрать должны.

— А как все-таки? Меры четыре с копны снимем?

— Четырех на наших землях не видывали, родимая, а около того, может, господь и пошлет, — уклончиво отвечал бурмистр и думал: «Ишь, дошлая! Спровадить бы тебя отсель поскорее!»

Но спровадить не удалось. Хлеба подоспели, началась уборка, молотьба. Сашенька с раннего утра была на току, не гнушалась даже, засучив рукава, браться за лопату и грабли. Урожай вскоре определился: обмолачивали по пяти мер с копны.

Липат Иванович, расплываясь в улыбке, поздравлял ненаглядную барышню с «невиданным» урожаем. А у самого на душе кошки скребли. Чуял, что конец настал старому порядку. Ни одним зер-

ном, ни одной копейкой не даст поживиться востроглазая жадная молодая помещица. Все себе загребут маленькие ручки!

Бородинцы, с любопытством наблюдавшие за бойкой хозяйкой, шептались:

— Здорово она старого пса Липатку прижала!

— Липатку не жалко, да кабы на себя беды не накликать!

— Того и опасаешься! Птичка невеличка, да коготок остер!

Бородинцы не ошиблись. Коготок у Сашеньки в самом деле оказался острым. Спустя несколько дней объявил бурмистр, что приказала молодая хозяйка, дабы быстрее избыть разруху, работать на барщине четыре дня вместо трех. А оброк платить не по-старому, а по-новому, с надбавкой.

Вкратце рассказав брату о всех новшествах, введенных в бородинском имении, Сашенька с довольным видом заключила:

— Вот видишь, как надо хозяйничать! Я уверена, что мы доходность имений вдвое повысим, если будем не на бурмистров, а на себя полагаться... Все дело в хозяйском глазе!

Разговор с сестрой Давыдова несколько успокоил. «Во всяком случае, — подумал он, — если со службы вытолкнут, дома кусок хлеба найдется».

А тут вскоре приехал брат Левушка. Прошедшую кампанию он вместе с поэтом Батюшковым служил адьютантом у Николая Николаевича Раевского. Был ранен в ноги, попал в плен к французам. И теперь еще передвигался на костылях.

Издевательство над любимым братом Левушку возмутило до глубины души.

— В армию не показывайся, пока не возвратят чина, — решительно посоветовал он. — Проси о продлении отпуска, а там видно будет...

— А продлят ли?

— Продлят. Время мирное. Наполеон под караулом. Войны как будто не предвидится...

Денис Васильевич так и поступил. Занялся пока приведением в порядок своих партизанских записей.

А поближе к весне решил съездить в Денисовку. Надо же сестре помогать.

Как-то днем к нему неожиданно заехал Вяземский.

— Собирайся к Василию Львовичу. Приказано доставить тебя живым или мертвым.

— А что там такое?

— Получены стихи молодого Пушкина, которые привели, говорят, в восторг старика Державина...

— Любопытно! Стало быть, желает дядюшка Василий Львович лаврами племянника плешивую голову прикрыть!

— Похоже, что так. Но есть и другая новость... Жуковский объявился!

— Как? Откуда? Где же он?

— Прибыл вчера ночью из тульского своего поместья. Остановился у Василия Львовича.

— Ну, так едем скорей, едем!..

Василий Львович Пушкин жил на Старой Басманной, в большом одноэтажном деревянном доме. Просторный кабинет хозяина, недавно разграбленный французами, не блистал роскошью обстановки, зато на столе и на особых тумбочках стояло множество мраморных и бронзовых статуэток, а огромные старинные шкафы были набиты книгами и журналами.

Когда Вяземский с Давыдовым вошли в кабинет, там, кроме хозяина и Жуковского, никого еще не было. Давыдов, давно не видевший Василия Андреевича, душевно и радостно обнял его и, припомнив строки своего недоработанного и неотосланного послания к нему, произнес:

Жуковский, милый друг! Долг красен платежом:
Я прочитал стихи, тобой мне посвященны;
Теперь прочти мои, биваком окуренны
И спрысканны вином!
Давно я не болтал ни с музой, ни с тобой,
До стоп ли было мне?
. . . .
Но и в грозах войны, еще на поле бранном,
Когда погас российский стан,
Тебя приветствовал с огромнейшим стаканом
Кочующий в степях нахальный партизан!

Жуковский, добродушно улыбаясь, положил ему руку на плечо и заметил мягко:

— Ты не меняешься, милый Денис! Все такой же кочующий партизан!

— Нет, брат, начал приобретать невольную оседлость, — с легким вздохом отозвался Давыдов. — Да что обо мне говорить! Поведай, чем нас порадуешь, любимец муз?

— Покайся, отче, — подхватил шутливо Вяземский, — сколь много наготовил греховной ереси, сиречь литературной всячины?

— Да прочитал бы что-нибудь новенькое, — добавил Давыдов. — Ей-богу, соскучился по нежным звукам твоей лиры!

— Сегодня не могу, друзья, увольте, — сказал тихо Жуковский. — Сегодня другая лира здесь зазвучит... нежнейшая моей...

— Ты уже читал стихи Александра? — спросил Вяземский.

— Да. Читал и восхищался... Как пишет этот озорник! В пятнадцать лет! Непостижимо!

— Он с детских лет к стихам пристрастие питал, — вставил довольный похвалой племяннику Василий Львович. — Бывало, соберемся вслух почитать что-нибудь этакое... слишком вольное... А он тут же торчит! Станешь из комнаты высылать, обижается: «Чего вы меня прогоняете, дядюшка, я эти стихи давно знаю...»

Тем временем приглашенные любезным хозяином гости начали собираться. Василий Львович находился в приятельских отношениях со многими литераторами, большинство которых представляли весьма посредственные стихотворцы, такие, как Воейков, Гераков, Шаликов. Но сегодня, помимо них, послушать стихи молодого Пушкина явился даже известный баснописец Иван Иванович Дмитриев, бывший министр юстиции, важный старик во фраке с двумя звездами. Приехал и Николай Михайлович Карамзин, старинный друг Пушкиных, встреченный всеми особенно почтительно.

Василий Львович, усадив гостей, зачитал полу-

ченное им на днях из Петербурга письмо брата. Сообщал Сергей Львович о том, как на переводных экзаменах в лицее в присутствии Гавриила Романовича Державина читал сын Александр свои «Воспоминания в Царском Селе», как оживился, слушая их, старый бард, как обнял и благословил юношу.

Василий Львович, читая письмо, расчувствовался до слез и тут же от полноты душевной вознамерился было продекламировать гостям свои собственные стихи, сочиненные по этому случаю, но Иван Иванович Дмитриев, хорошо знавший страстишку хозяина к пиитическим упражнениям, решительно воспротивился:

— Ты нам голову не морочь, Василий Львович... На что звал, тем и корми! Мы твои напевы, слава богу, сколько лет безропотно слушаем! Нам стихи племянника давай, о коих почтенный Сергей Львович пишет.

— И пусть Жуковский их прочитает, — предложил Вяземский. — Родной-то дядя, да еще вольтерьянец, глядишь, заметит слабый стих да и пропустит, ну, а Жуковский не родня, богобоязнен, греха такого не возьмет на душу!

Шутка всех рассмешила. Предложение было принято. Василий Львович спорить не стал, вздохнул и, вытирая платком вспотевшее лицо, уселся в кресло.

Жуковский встал, откашлялся и, держа в руке листки со стихами, начал:

Навис покров угрюмой нощи
На своде дремлющих небес:
В безмолвной тишине почили дол и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывет в сребристых облаках...

Стихи лились плавно, были выразительны, мелодичны. Чистый, приятного тембра, чуть-чуть взволнованный голос Жуковского как нельзя лучше подчеркивал их музыкальность.

В кабинете установилась глубокая тишина. Все сидели словно зачарованные.

А слова текли... Воспоминания о славном прошлом россиян, возникшие в прелестных аллеях царскосельского парка, сменились яркими картинами недавних битв с иноплеменной ратью.

...Дымится кровию земля:
И селы мирные, и грады в мгле пылают.
И небо заревом оделося вокруг...

Денис Васильевич чувствовал, как стихи все больше и больше берут за душу. Он наслаждался их звучностью, его поражали точность и ясность многих образных представлений. В то же время он явственно отмечал и следы подражательности, столь обычной для каждого молодого автора. Давал еще знать себя торжественный, напыщенный слог державинских од. Может быть, это и прельстило старика Державина? Нет, юноша не пойдет его, державинским, путем. Слишком буйно, мощно прорывался наружу собственный звонкий и жизнерадостный голос молодого поэта.

Давыдов чутко прислушивался к каждому слову.

...Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед...

И вдруг в памяти неизвестно почему возникла одна из давнишних, ничем как будто не примечательных встреч... Он, тогда еще ротмистр, приехавший в Москву после Тильзитского мира, встретил где-то, кажется на Тверском бульваре, Василия Львовича. Был пасмурный осенний денек. Падала с деревьев желтая листва. Накрапывал мелкий дождь. Василий Львович, укрывшись зонтиком, спешил домой, а рядом, засунув руки в карманы пальто, с независимым видом шагал смуглый худощавый мальчик. Да, конечно, это был он! Саша Пушкин. Шалун и озорник, сочинитель этих стихов. Досадно, что тогда не обратил на него внимания, не заговорил. И все же эта мимолетная встреча была приятна. Вместе с мыслями о том, что появился новый, необыкновенный по силе дарования поэт, рождалось

ощущение какой-то душевной, почти родственной, близости к нему.

Но вот чтение окончилось. Несколько секунд все молчали, затем сразу со всех сторон послышались одобрительные голоса.

— Чудо как хороши! Ты прав, Жуковский! — воскликнул Вяземский. — Он обгонит всех нас!

— Это первый взлет молодого орла, господа, — сказал Карамзин. — Я знаю Александра с детских лет, я всегда ожидал от него необычайного...

Василий Львович с блаженной улыбкой на губах отвечал на поздравления друзей. Добродушный толстяк в самом деле, казалось, воздевал на свою голову лавровый венок племянника. И, может быть, над этим не стоило смеяться... Разве не он, Василий Львович, приохотил племянника к чтению, наставлял в первых поэтических опытах?

Денис Васильевич подошел к нему и, крепко пожав руку, произнес с чувством:

— Будешь в лицее, увидишь племянника, расцелуй за меня... Скажи, что стихи его разогрели мою кровь и оживили душу... Скажи, что я полюбил его.

III

Военная гроза отбушевала. Русский народ, освободив свое отечество от наполеоновских полчищ, принес избавление от узурпатора и европейским народам. Русские войска победоносно дошли до Парижа. Их везде встречали как освободителей. Офицеры и солдаты слышали восторженные крики, видели слезы радости в глазах людей, которым они возвратили право на свободную, независимую жизнь. Русский! Это слово гордо звучало во всем мире! А что ожидало освободителей дома?

Страна задыхалась в тисках самодержавия и крепостничества. Разруха, вызванная войной, во многих губерниях довела народ до полного обнищания. Экономика страны была расстроена, производство сырья и промышленных товаров сократилось, финансы находились в плачевном состоянии. Отсутствие

твердых и ясных законов порождало многие злоупотребления, грабительство, мздоимство. Дух недовольства проявлялся всюду. Купцы жаловались на стеснение гильдиями и высокими пошлинами, мещане и ремесленники — на возраставшие налоги, чиновники — на вздорожание жизни и недостаточное жалованье. В войсках роптали на усиление бесполезной муштры, на самодурство и жестокость командиров, ставленников Аракчеева, все более забиравшего власть в свои руки.

Но особенно тяжело жилось крепостному крестьянству.

При защите отечества от иноземцев крестьяне выказали свои патриотические чувства, мужество и самоотверженность куда наглядней, чем дворянство, но это нисколько не облегчило их положения.

В царском манифесте по случаю окончания войны объявлялись награды и льготы помещикам и крупным чиновникам, а про крестьян было сказано так: «Верный наш народ да получит мзду свою от бога». После войны положение крепостного крестьянства резко ухудшилось. Помещики, не желая отказываться от привычного уровня жизни, обременяли крестьян сверх обычной барщины новыми повинностями и поборами. Малейшее ослушание, как и прежде, жестоко наказывалось. В конюшнях свистели розги, слышались стоны. Господа продавали своих людей оптом и в розницу, проигрывали в карты, меняли на собак.

Солдаты и ополченцы, возвратившись домой и видя все это, с негодованием говорили:

— Мы проливали кровь, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа.

Эту фразу слышал и записал молодой офицер Александр Бестужев. Солдатские доводы он признавал справедливыми. Общественное сознание передовой дворянской молодежи, пробужденное Отечественной войной, уже не могло мириться с такими позорными для горячо любимой родины явлениями, как деспотизм и крепостное право. Но как избавить-

ся от этого зла? Не произойдет ли при ломке старых порядков народный бунт, более всего страшивший дворянство? Вопросы были мучительны, требовали длительного времени для разрешения.

Денис Васильевич, поехав в начале марта, еще по санному пути, в Денисовку, вплотную соприкоснулся с ужасной действительностью.

Орловщина второй год страдала от недородов. Села и деревни имели неприглядный вид. Солома с крыш в большинстве случаев была потравлена скотине. Деревья в садах обглоданы козами. Дворовые постройки разрушены. Вместо плетней, обычно отгораживающих дворы, торчали одни колья. По безлюдным улицам бродили тощие, злые собаки.

В смрадных, черных от копоти избах оставались лишь старики и бабы с грудными детьми. Все, кто мог, ушли в города на заработки или побираться. Господа не считали в таких случаях нужным думать о своих крестьянах, предоставляя им самим заботиться зимой о пропитании.

Впрочем, бывало и так, что иной предприимчивый помещик извлекал из человеческой беды даже некоторую выгоду.

Близ Орла встретил Денис Васильевич большую толпу мужиков и баб, одетых в рваные армяки и кафтаны.

Приказал ямщику остановиться, поинтересовался:

— Вы кто такие и куда направляетесь?

Высокий узкоплечий пожилой крестьянин подошел поближе к саням, неторопливо снял шапку.

— Мы елецкие, ваша милость. Работали зиму на винокуренных заводах господина Богомолова, верстах в пятидесяти отсюда, а ныне домой, стало быть, возвращаемся... Весна, вишь ты, не за горами...

— Значит, на заработках были?

— Да ведь как сказать, ваша милость... Оно точно, думалось заработать-то, детишки дома без хлеба сидят... Ан не привел господь!

— Почему же? Разве вам не платили?

— Платили, да в другие руки... барину нашему, господину Стаховичу... Он, барин-то, запродал нас на зиму. По десять целковых, вишь ты, с души получил. А мы с утра до ночи за кусок хлеба работали... Что поделаешь, на все господская воля!

Денис Васильевич нахмурился, но ничего не сказал. Закон был на стороне господина Стаховича. Помещик имел право как угодно распоряжаться своими крепостными.

А в Орле, где пришлось пробыть сутки в ожидании лошадей из Денисовки, произошла другая запомнившаяся встреча.

Вечером в гостинице к нему подошел коротенький, с изрядным брюшком и основательной лысиной, слащавый до приторности господинчик. Любезно осведомился:

— Не владельца ли деревни Денисовки господина Давыдова имею честь видеть?

— Да. А что вам угодно?

Господинчик так весь и расплылся в улыбке:

— Простите за беспокойство... Счастлив видеть знаменитого соотечественника... Сосед ваш по имению, отставной поручик Петр Петрович Ерохин.

— Очень приятно, — протянул руку Давыдов. — Я, признаться, никого из соседей не знаю. Был в деревне последний раз в детском возрасте. И теперь насилу время выбрал побывать там.

— Служба! Понимаем! — кивнул головой Ерохин. — Ну-с, а мы про вас наслышаны... И подвигами вашими гордимся и стишки ваши читывали...

— Вы что же, по каким-нибудь делам сюда приезжали? — перебил Давыдов, не желая слушать дальнейшие излияния.

— Так точно. Был по одной оказии у графа Сергея Михайловича Каменского... Здешний вельможа, быть может, слышали? Кумир нашего дворянства! Просвещеннейший человек! Я ему двух дворовых девок продал.

— Разве у него своих не хватает?

— Граф, изволите ли видеть, театр в своем имении устроил... А мои девки казистые и фигурные...

— И щедро его сиятельство заплатило за них? — с презрительной усмешкой спросил Давыдов.

— Три тысячи. Цена небывалая-с! — восторженно ответил Ерохин и облизнул губы. — Что касается театра... тут граф расходов не жалеет. Всецело, так сказать, предан искусству. Танцовщицы одна к другой подобраны, этаких в столице не увидишь. Граф даже самолично будущих Мельпомен и Терпсихор обтесывать изволит... Иной раз, верно, и к розгам прибегает, без этого нельзя, однако ж девицы обучаются благородным манерам быстро... Смотришь и не веришь, что девки простые!

Ерохин передохнул, опять облизнул губы и, поблескивая маслеными глазками, с упоением продолжал:

— Спектакли граф для всего дворянства показывает и платы не требует. Ну-с, а самыми сокровенными картинами, так сказать, лишь избранных особ мужского пола удостаивает... Тут уж подлинно, батенька мой, чудеса неописуемые, как прикажет его сиятельство своим балеринам одежды спустить и в этаком райском виде танцевать. Хе-хе-хе!.. Весьма соблазнительная картина!

Давыдов слушал молча. Сергея Михайловича Каменского он знал давно. Некогда этот вельможа подвизался на главных ролях в Молдавской армии, находившейся под командованием его брата. Войска сохранили о Сергее Михайловиче нелестное воспоминание, как о бездарном, трусливом и жестоком генерале, собственноручно избивавшем солдат за малейшую провинность. Теперь, выйдя в отставку, он занялся новыми мерзостями. А орловское дворянство считает его просвещеннейшим человеком!

На душе у Давыдова стало нехорошо. Сославшись на головную боль и не очень любезно простившись с соседом, он вскоре ушел в свой номер. А на другой день в самом скверном расположении духа выехал в свое имение.

Денисовка, насчитывавшая всего сто двадцать душ, была захудалой деревенькой. Должность бурмистра исправлял здесь Федосеич, бравый по виду старик с длинными белыми усами и сизым носом. Лет сорок назад он добровольно пошел в солдаты за женатого брата, но, отслужив долгий солдатский срок и возвратившись домой, никого из родных в живых не застал.

Федосеич жил бобылем в маленькой избенке, построенной для него миром, и не был так алчен на деньги, как бородинский Липат, зато имел большое пристрастие к вину. Он возложил на крестьян своеобразную повинность поить его. Делал он это таким образом: зайдя в крестьянскую избу, объявлял хозяевам, что получил приказ отправить кого-нибудь из их семьи, парня или девку, для барской службы в Москву. В избе поднимался переполох. Хозяева начинали упрашивать бурмистра, чтоб избавил их от беды, тот некоторое время упирался, потом соглашался сделать уважение за угощение. С течением времени крестьяне хитрость бурмистра разгадали и не очень верили в его угрозы, однако поить и угощать его не отказывались. Все же он не был по отношению к ним такой собакой, как Липат.

Господа в деревне годами не появлялись, и Федосеич хозяйствовал спустя рукава. Гонял мужиков на барщину без особой строгости, за качеством работы не следил, хлеб продавал не торгуясь, лишь бы магарыч был.

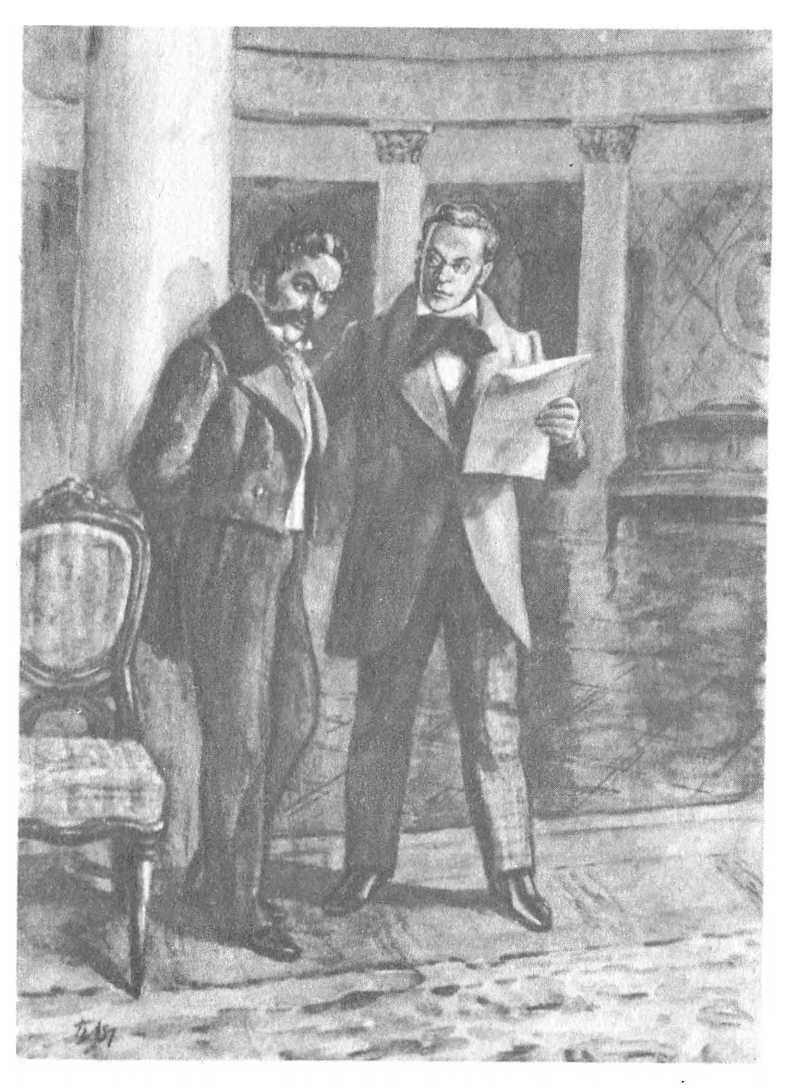
Барский дом находился в запустении. Конюшни и скотные дворы месяцами не чистились. Инвентарь валялся где попало.

Денис Васильевич, приехав в деревню и сразу обнаружив следы бесхозяйственности, напустился на бурмистра:

— Ты что же, мошенник, вожжи распустил? Всюду грязь, беспорядок... Думаешь, на тебя и управы не будет?

Федосеич стоял, вытянувшись по-солдатски, и на все замечания отвечал кратко:

— Виноват, недоглядел...



К стр. 8

Зато, побывав в нескольких крестьянских избах, Давыдов убедился, что живут здесь хотя и убого, но все же лучше, чем в соседних деревнях. По крайней мере побираться мужики не ходили, хлеб у них водился. Жалоб на бурмистра тоже никто не приносил, никаких грехов за ним, кроме пьянства, не открывалось. «Все бы это ничего,—размышлял Давыдов, — да беда, что старик ленив и о господских интересах не радеет... Чистое наказание с этими бурмистрами! Липатка хотя и вор, да дело знает, а Федосеич и честен, да к делам не способен... Конечно, Сашенька права, поднять доходность имения можно, но ведь для этого надо самому за все браться, постоянно жить здесь. А на такого бурмистра, как Федосеич, разве можно полагаться?»

Занятый этими мыслями, Давыдов медленно шел по деревенской улице, направляясь в усадьбу, и повстречался с какою-то средних лет крестьянкой в высоких мужских сапогах и новеньком легком полушубке, перехваченном кушаком. Когда они поравнялись, крестьянка смело посмотрела на него серыми ласковыми глазами и тихо промолвила:

— Здравствуйте, барин...

Давыдов ответил на приветствие и, не останавливаясь, пошел дальше. Но миловидное, разрумяненное легким морозцем лицо крестьянки показалось ему удивительно знакомым. «Где-то я как будто ее видел?» — подумал он и невольно оглянулся назад. Крестьянка, свернув в проулок, выходивший на окраину деревни, вскоре скрылась из виду.

А лицо ее по-прежнему было перед глазами. Он стал старательно напрягать память и вдруг вспомнил. Ведь это же Агафья, жена Никифора, сверстника и товарища по детским забавам! Восемь лет назад он видел ее в Бородине. Тогда, в нищенском одеянии, выглядела она куда хуже, чем теперь, но это, несомненно, она. «Жить тяжко, барин!» Этот страшный крик, вырвавшийся у нее из глубины души, до сих пор звенел в ушах. Но как и почему она очутилась здесь?

Впрочем, все оказалось очень просто. Федосеич

пояснил, что Никифор, возвратившись из ополчения к семье, находившейся в Денисовке, быстро тут прижился. Случилось так, что местного кузнеца не было, и Никифора, состоявшего на оброке, завалили работой. При обратном переселении бородинцев Никифор остался с разрешения Липата Ивановича в Денисовке.

— А землю здесь ему выделили? — осведомился Давыдов.

— Никак нет, — ответил Федосеич. — Никифор бородинским оброчным числится, да и без надобности ему земля-то... Ремеслом своим кормится. Избу и кузницу в аренде содержит.

— А мужики наши им довольны?

— Слова худого ни от кого не слышал. Всякая работа у Никифора спорится, и каждому он угодить рад. Опять же и нам без отказа все справляет. Кабы приписать его к нашей деревне — куда как хорошо было бы!

— Что ж, это можно... Я поговорю с ним! — ответил Давыдов.

И тут неожиданно промелькнула мысль: «А что, если Никифора назначить бурмистром? Грамоту он немного знает, в честности можно не сомневаться. Право, есть смысл!»

На другой день Давыдов сам навестил старого приятеля.

Изба, в которой жил Никифор, по внешнему виду ничем от других изб не отличалась, но внутри была просторна и довольно опрятна. Стены побелены, полы покрыты чистенькими рогожками. Никифор, только что возвратившийся из соседнего села, куда ходил ковать господских лошадей, сидя на табурете, подшивал кожей валенки. Агафья с раскрасневшимся лицом хлопотала у печки. Запах свежеиспеченного хлеба приятно щекотал ноздри. Дети — белобрысый шустрый мальчик и худенькая девочка с рыжей косичкой — возились с ягнятами, отделенными в углу дощатой перегородкой.

Дениса Васильевича встретили хозяева приветливо.

— Мне Агафья уже сказывала, что вы приехали. Я к вам как раз наведаться хотел, — произнес Никифор, усаживая гостя на почетное место под образами.

— А я встретил вчера Агафью и не узнал сначала... Похорошела очень!

— Вы уж скажете, барин, — потупилась хозяйка. — С чего нам хорошеть-то?

— Не гневи бога, Агафья, — бросив строгий взгляд на жену, заметил Никифор и обратился к гостю: — Живем мы супротив прежнего поприглядней, сами видите, Денис Васильевич... Работы кузнечной много, хлеб у нас не переводится, оброк отсылаю исправно.

— Назад в Бородино, значит, не собираешься?

— Как вам будет угодно, — склонив голову, отозвался Никифор. — А по мне лучше здешних мест нет. От добра добра не ищут!

— В таком случае, если хочешь, я прикажу, чтоб тебя совсем сюда приписали и землю под усадьбу дали.

Лицо Никифора просияло. Он облегченно вздохнул.

— О том и просить вас хотел... Премного благодарны!.. Век ваши милости не забудем...

— Ну, хорошо, — продолжал Давыдов. — Только ты мне тоже услужить должен.

— Приказывайте, Денис Васильевич! Все исполню, будьте в надеже!

— Видишь, в чем дело... Я пока что в Денисовке жить и хозяйничать не могу, а Федосеич распустил тут всех, пьянствует, а имение из года в год все менее дохода дает. Вот я и надумал назначить тебя бурмистром.

Давыдов полагал, что назначение на выгодную должность несказанно удивит и обрадует Никифора, но случилось нечто непонятное. Никифор отшатнулся, побледнел, опустил голову. Руки его дрожали. Агафья, прислушивавшаяся к разговору, словно остолбенела, глядя на мужа испуганными глазами.

— Увольте... не справлюсь... — глухо пробормотал Никифор, не поднимая головы.

— Не понимаю, — пожал плечами Давыдов. — Народ тут, кажется, смирный, послушный. Следи лишь за установленным порядком, чтобы от барских работ не отлынивали, сеяли и убирали в срок. Жалованьем я тебя не обижу, а будешь стараться, то в награду и вольную получишь.

Никифор несколько секунд стоял молча, переминаясь с ноги на ногу, потом медленно поднял голову.

— С великой охотой чем угодно служить вам рад, Денис Васильевич, а бурмистром быть не могу. Как мне мужиков на барщину гонять, коли сам я мужик?

— Глупости! Надо кому-то имением управлять. Лучше разве мужикам будет, если я, как другие господа делают, немца какого-нибудь над вами поставлю?

— Воля ваша, — тяжело вздохнул Никифор. — А мне совесть не дозволяет... Ежели без строгости править, как Федосеич, вас прогневишь, а ежели строго спрашивать — народ обидишь, а тогда известно, как глядеть на тебя будут...

Доводы были убедительны. Интересы помещиков и крестьян никак не совпадали. Давыдов сдвинул сердито густые брови, задумался.

— Хорошо, не желаешь мне помогать, не надо,— произнес он наконец. — Но скажи по правде, чего же все-таки ты опасаешься?

— Недовольства кругом много, Денис Васильевич. Тут-то, слава богу, ничего дурного пока не слышно, а в соседних деревнях сплошь роптание...

— Вот как! — насторожился Давыдов. — А кто же и на что ропщет? Говори, не бойся...

— Да ведь сами небось видели, как народ живет. Второй год, почитай, мужики кругом голодуют... Опять же и притеснения всякие.

— Жалости у иных господ вовсе нет, — неожиданно вставила Агафья и, не договорив фразы, всхлипнула. — Вчера в ближнем селе вдова повесилась... А уж какая была тихая, работящая...

— Почему же повесилась? Что за причина?

— Дочь единственную, первую в селе красавицу и певунью, барин от матери отлучил и продал, — пояснил Никифор. — Вот и не стерпела горемычная...

— А как фамилия барина?

— Господин Ерохин... В Орел продал девку-то для забавы графу какому-то... Сами судите, как в народе роптанию не быть?

Трагический конец истории, начало которой слышал недавно от помещика, взволновал и возмутил сильнейшим образом Дениса Васильевича. Конечно, чувств своих перед Никифором он не открыл, но, придя домой, долго не мог успокоиться.

Будучи человеком гуманным, убедившись во время войны, насколько простой народ возвышается в любви к отечеству над «потомками древних бояр», Давыдов не мог считать нормальными такие явления, как помещичьи неистовства и разврат. Сам он, следуя суворовским традициям, ни разу не ударил солдата и не подвергал телесным наказаниям своих крестьян. Но когда сестра Сашенька сказала, что она увеличила в Бородине барщину и надбавила оброк, он не возражал. И сейчас приехал в деревню, чтобы по примеру сестры поднять доходность имения. О том, что подобный нажим на крепостное крестьянство тоже является одной из форм тиранства, он, вероятно, не думал.

Груз сословных представлений о незыблемости крепостного права, этой древней привилегии дворянства, мешал ему сделать верный вывод о необходимости прежде всего уничтожить именно крепостное право как главный корень зла. Может быть, где-то в глубине сознания смутно и шевелилась иногда такая мысль, но она подавлялась множеством сословных предубеждений. Границы добра и зла были неясны.

Теперь, как и два с лишним года назад, когда услышал ночной разговор гусар, мечтавших о воле, он вновь почувствовал какую-то острую душевную тревогу. Что-то было такое, что требовало ясности. Но что же?

Никифор сказал, что в Денисовке пока не слышно роптания и явно связывал это обстоятельство с тем, что денисовские крестьяне, находясь под управлением Федосеича, жили несколько лучше, чем в соседних селах, имели хлеб и не испытывали лишних тягот. Это было, с одной стороны, и приятно, а с другой — попустительство Федосеича приносило ущерб собственным интересам Давыдова. Сашенька, наверное, не задумалась бы над этим, поступила так, как поступали все помещики, а он не мог, ибо боялся и не хотел вызывать роптания...

«Ну, хорошо, пусть управляет Федосеич, все равно на эту должность скоро нужного человека не подберешь, — размышлял Давыдов, — но разве это выход из положения? Я могу лишиться последних доходов, а мужики все равно не перестанут мечтать о воле, и наши интересы вечно будут различными...»

Самые противоречивые мысли теснились в голове и сплетались в причудливый клубок, распутать который не было, казалось, никаких сил.

«Нет, видно, я просто не создан для того, чтобы заниматься помещичьими делами, таланта Сашенькина не имею, — решил он в конце концов. — Но тогда что же мне делать, как жить?»

Этот проклятый вопрос тоже не находил ответа. И будущее представлялось Денису Васильевичу довольно туманно, когда он, так ничего существенного и не сделав в деревне, возвращался в Москву.

Но здесь ожидала непредвиденная, потрясающая новость, сразу и круто изменившая строй его нерадостных мыслей.

Новость эту сообщил взволнованный Левушка, первым встретивший брата на крыльце дома:

— Слышал, что делается? Бонапарт бежал с острова Эльбы и высадился во Франции. Войска переходят на его сторону. Сопротивления никто не оказывает. Сегодня-завтра Бонапарт будет в Париже. Представляешь!

— Как! Значит... опять война!

— Надо полагать... В Петербурге, говорят, пол-

ная растерянность. Здесь тоже всех охватило смятение.

Из дому вышла Сашенька. Денис Васильевич, обняв сестру, объявил решительно:

— Доставай мой старый мундир, Сашенька. Еду в свой полк!

— Ты же хотел подождать, пока...

— Э! Теперь не до самолюбий! — перебил Давыдов. — Дело-то ясное! Бонапарт соберется с силами и вновь обрушится на нас... Отечеству опасность угрожает! Драться надо!

IV

Ахтырский полк находился на марше за границей. Путь туда лежал через Варшаву, где все проезжие генералы и штаб-офицеры обязаны были визировать свои документы.

Военная власть здесь была сосредоточена в руках великого князя Константина Павловича, командовавшего всеми русскими и польскими войсками, расположенными в пределах недавно присоединенного к Российской империи герцогства Варшавского.

Константин Павлович слыл одним из самых ярых приверженцев прусской военной системы. Поселившись в роскошном Бельведерском дворце, окруженный блестящей свитой, составленной в большинстве из гатчинских парадиров и истовых любителей «изящной ремешковой службы», великий князь ежедневно устраивал на Марсовом поле или на Саксонской площади пышные вахтпарады и разводы, проводимые на немецкий манер.

Дробь барабанов с раннего утра будоражила город. Войска упражнялись не в боевом искусстве, а в вытягивании носков, выделывании ружейных приемов и тщательном равнении шеренг.

Приехав под вечер в шумную польскую столицу, Денис Васильевич тотчас же отправился в военную канцелярию, но там занятия уже кончились, а дежурный офицер, прилизанный и вылощенный поручик Литовского полка, приняв документы и спрятав их в стол, равнодушным тоном произнес:

— Явитесь за своими бумагами денька через три или через четыре.

— Помилуйте! Почему же такая задержка? — изумился Давыдов. — Я не для собственного удовольствия вояжирую, а в действующую армию спешу.

— Мы соблюдаем предписание высшего начальства, — пожав плечами, холодно ответил поручик. — Бумаги штаб-офицеров цесаревич просматривает лично, а на завтра его высочество назначил большие парадные маневры, и, надо полагать, они затянутся.

— Что за порядки, право! — возмутился Давыдов. — Война идет, а у вас этакое творится. Можно бы, кажется, хоть на время военных действий отказаться от пагубной страсти к бессмысленному парадированию.

Сказал — и тут же пожалел об этом. Тусклые глазки поручика блеснули недобрым огоньком. Он ничего не ответил, видимо сдержался, но простился с подчеркнутой сухостью. Неприязнь его была очевидной. «Черт меня дернул вступать с ним в разговор, — подумал Денис Васильевич, — еще пакость какую-нибудь учинит, от такого всего ожидать можно...»

Однако того, что произошло дальше, Давыдов, конечно, не мог и предчувствовать.

Когда в назначенное время он снова явился в военную канцелярию, ему объявили:

— Ваши бумаги у генерала Куруты, который желает вас видеть.

Курута некогда был учителем греческого языка у цесаревича. Убедившись, что наследник российского престола не склонен обременять себя никакими науками, хитрый грек не стал утруждать его своими уроками. Цесаревич лишь заучил несколько классических греческих фраз (при случае он любил ими похвастаться), зато узнал от любезного наставника столько всяческих непристойных историй и острот, что мог сконфузить любого армейского прапорщика. Поощряя все необузданные желания цесаревича, Курута сделался постепенно самым близким

его человеком, главным адъютантом и начальником штаба.

Войдя в кабинет генерала, находившийся в Бельведере, рядом с покоями цесаревича, Денис Васильевич увидел важно восседавшего за огромным письменным столом толстенького и плешивого человечка с помятым смуглым лицом, оттопыренными ушами и редкими гнилыми зубами.

— Его высочеству угодно знать, — с немилосердным акцентом выговаривая каждое слово, произнес Курута, — для какой надобности ваше высокоблагородие направляется за границу?

— В моих бумагах точно обозначено, что я возвращаюсь из отпуска в свой полк, — несколько удивившись странному вопросу, сказал Давыдов.

Курута вскинул на него черные масленые глазки и ухмыльнулся:

— А не имеется ли у вашего высокоблагородия намерения насчет своевольных действий, подобных тем, что в прошлых кампаниях вами применялись?

«Вон куда метнул, паршивец!» — подумал Денис Васильевич, чувствуя, как закипает в нем раздражение. Но, сдержав себя, ответил спокойно, с достоинством:

— Намерение мое не составляет тайны, ваше превосходительство, ибо кому не известно, что такое долг солдата и присяга? Касательно же партизанских действий моих должен заметить, что оные всегда производимы были с дозволения начальства и, смею думать, не бесполезно для моего отечества...

Говоря это, Денис Васильевич не заметил, как тяжелая, из синего бархата, портьера, прикрывавшая дверь в соседнюю комнату, раздвинулась и на пороге показался сам цесаревич.

Он был в мундире нараспашку и узких лакированных с желтыми отворотами ботфортах. Пухлое, прыщеватое, с отеками под глазами лицо, вздернутый красный носик и мутные злые глазки под белобрысыми бровками делали его удивительно похожим на покойного папеньку, причем сходство это

дополнялось и сиплым голосом, и порывистыми движениями, и сумасбродным нравом.

— Ан врешь, врешь! — перебивая Давыдова, крикнул он и, размахивая руками, забегал по кабинету. — Долг солдата повиноваться, а не умствовать и не критиканствовать! Устав российской армии презрел, сударь! Начальство в грош не ставите, субординации признавать не желаете! Винценгероде рассказывал, как ты в Саксонии своевольничать изволил... Хорошо партизанство, нечего сказать!

Денис Васильевич стоял, вытянувшись по форме, и слушал молча. Было ясно, что неприязнь великого князя вызвана доносом поручика, и нет никакого смысла оправдываться перед человеком, на которого, как он знал, не действуют никакие резоны.

Курута, выкатившийся бочком из-за стола, наблюдая за происходящим, переминался с ноги на ногу, потихоньку вздыхая и отдуваясь.

Наконец цесаревич, выбросив еще несколько бессвязных фраз, круто повернулся, остановился против Давыдова и, сердито фыркнув, приказал:

— Извольте с завтрашнего дня присутствовать на смотрах и учениях вверенных нам войск. Надеюсь, там будет чем пополнить ваше военное образование... Курута! — обратился он к генералу. — Выписать пропуска их высокоблагородию.

— Слушаюсь, ваше высочество, — угодливо отозвался генерал и, прикрыв рот рукой, тихонечко хихикнул.

Денис Васильевич ожидал чего угодно, но только не такого издевательского приказания. Его охватила ярость. Спазма сжала горло. Щеки пылали, руки судорожно сжимались. И стоило немалых усилий, чтоб удержать себя в рамках благоразумия.

— Осмелюсь напомнить, ваше высочество, — сделав шаг вперед, глухим голосом проговорил он, — я принадлежу к Ахтырскому полку, входящему в состав действующей армии, и не могу воспользоваться оказанной мне честью.

— Что? По гусарам своим соскучился? — прищу-

рив злые глазки, фыркнул цесаревич. — Ничего, придется подождать.

— В таком случае я просил бы ваше величество сообщить столь неясные причины моего задержания...

Цесаревич окинул его злорадным взглядом и, прищелкнув языком, развел руками:

— А на то есть воля государя, повелевшего мне останавливать господ офицеров, возвращающихся из отпусков в свои части... Так-то, сударь!

...В садах отцветали липы. Солнце с каждым днем жгло все сильнее. Вступало в права сухое, знойное лето.

События разворачивались своим чередом. Прогрохотали пушки под Ватерлоо. Кончилось стодневное царствование Наполеона. Английский фрегат «Нортумберлэнд», на борту которого находился бывший французский император, рассекая океан, на всех парусах мчался к пустынному острову Святой Елены.

Русские войска, не успевшие схватиться с неприятелем, возвращались домой.

А Денис Васильевич продолжал томиться в Варшаве, где уже до последней степени отвращения насмотрелся на ненавистные порядки, заведенные в войсках невеждами и педантами.

Теперь все чаще приходил он к мысли, что совершаемое здесь над ним насилие не является какой-то случайностью. Точно выяснив, что никакого повеления от государя о задержке офицеров не было, он написал жалобу в главный штаб князю Волконскому и Дибичу, послал рапорт фельдмаршалу Барклаю де Толли, но все безрезультатно. Не помогло и ходатайство Ермолова, хотя цесаревич обычно не отказывал Алексею Петровичу и в более важных просьбах.

Документы Давыдова лежали в штабе цесаревича, а на вопрос, когда же, наконец, его отпустят в полк, Курута, пожимая плечами, отвечал неизменно:

— Не могу знать... Не от нас зависит...

Может быть, он даже и не лгал. Очевидно, изде-

вательское приказание цесаревича было одобрено высшим начальством, а вернее всего, самим императором, и унизительное для офицера суворовской школы «обучение» плацпарадной шагистике продолжалось по их указанию.

Давыдов, и прежде догадывавшийся, что все притеснения по службе последних лет связаны между собой единым мстительным замыслом высшего начальства, теперь окончательно в этом убедился.

Да, его умышленно унижали! И не только потому, что в правительственных кругах помнили его вольнолюбивые басни, а главным образом потому, что выдвинутая им и блестяще оправданная на деле партизанская система рассматривалась как опасная затея, а вся его собственная партизанскя деятельность противоречила той бюрократической военной системе, которая была установлена в российской армии.

И, нет сомнения, впереди ожидают его еще многие и многие неприятности, следует быть всегда к ним готовым.

Однако надо же все-таки и что-то предпринимать, чтоб поскорей выбраться из Варшавы. Ведь жить здесь, помимо всего прочего, было тяжело и потому, что он числился состоящим в долгосрочном отпуску и жалованья не получал. Взятые на дорогу деньги были давно израсходованы, пришлось обращаться к сестре Сашеньке, она прислала пятьсот рублей, но и они быстро таяли. Денис Васильевич находился в самом мрачном раздумье.

Неожиданно в Варшаве появился Павел Дмитриевич Киселев. Бывший кавалергард, старинный приятель. Год назад в чине штаб-ротмистра он состоял адъютантом при генерале Милорадовиче. Приятная внешность и светские манеры Киселева обратили на него внимание императора Александра. Двадцатипятилетнего Павла Дмитриевича сделали полковником и флигель-адъютантом.

Теперь с каким-то важным поручением царя он направлялся из столицы в армию и остановился в самой лучшей варшавской гостинице.

Свидание с ним было кратко, но приятно. Новенький мундир с пышными аксельбантами и золотыми царскими вензелями придавал Киселеву некую сановитость, но держался Павел Дмитриевич просто, встретил Дениса как родного. Обнялись, расцеловались.

— Ну, друг милый, выручай, — присев на край дивана, без дальних слов начал Давыдов. — Попал я впросак, жизни не рад...

— Да что же случилось? — встревожился Киселев.

— А вот что...

И он подробно рассказал обо всем, что с ним произошло, умолчав лишь о той неблаговидной роли, какую, по его мнению, играл в этом деле император. Был старый друг Киселев все же придворным, распахивать перед ним душу, как перед Вяземским, на этот раз поостерегся.

Киселев выслушал с явным сочувствием и задумался.

— Да, история скверная... Не знаю, как тебе и помочь... Я еду к фельдмаршалу Михаилу Богдановичу и могу, конечно, поговорить с ним, но если даже он примет участие... Тебе ведь известно, в каких неприязненных отношениях с цесаревичем он находится... Пожалуй, лучше все-таки действовать через главный штаб.

— Я же обращался к князю Петру Михайловичу Волконскому... Бесполезное дело!

— Подожди, подожди, Денис, — остановил его Киселев, неожиданно оживляясь, — я совсем забыл, просто из головы выскочило... Ты же, кажется, хорош был с Арсением Закревским?

— Еще бы! Не один год, слава богу, дружили... А что с ним такое? Я, признаться, давненько ничего о нем не слышал. Он все в полковниках, или?..

— На днях представлен в генерал-майоры... Но суть не в этом. Государь к нему весьма расположен, и мне точно известно, только прошу тебя пока об этом никому ни слова, — Арсения Андреевича назначают дежурным генералом главного штаба.

Давыдов подскочил от удивления:

— Что ты говоришь! Вот так новость! Ну, в таком случае... На Арсения-то уж, верно, я могу положиться.

— Как и на меня, надеюсь, — с улыбкой добавил Киселев. — Ты напишешь ему от себя, разумеется частным образом, а я по возвращении в столицу поговорю с ним особо. Дело, сам понимаешь, не легкое, но вдвоем мы что-нибудь стоим.

— Спасибо, спасибо, ты меня просто воскресил из мертвых, — растроганно проговорил Давыдов, обнимая приятеля.

На душе сразу стало легче. Арсений Закревский в главном штабе! С необычайной живостью вспоминалась Денису Васильевичу суровая финская зима 1808 года и маленькая, окруженная густым лесом станция Сибо близ Гельсингфорса, где проездом в армию встретился он впервые с поручиком Архангелогородского пехотного полка Закревским.

Были они в одних годах, небогаты, жизнерадостны, оба мечтали о славе и подвигах, стремились к романтическим приключениям и не чуждались тщеславия. Сдружились быстро и прочно!

Потом вместе служили в Молдавской армии, и тут Арсений, состоявший адъютантом при молодом главнокомандующем графе Каменском, оказал первую немалую услугу, помог Денису устроить перевод в войска Багратиона.

Потом пришло неожиданное известие о скоропостижной смерти Каменского, и поползли вдруг страшные слухи, будто его отравили и будто не обошлось это дело без участия Закревского, получившего по завещанию графа небольшую, но доходную деревеньку. Произведенным следствием слухи не подтвердились, а все же они держались и в какой-то степени компрометировали Закревского, вынудив его уйти в отставку.

Тут уж пришла очередь Дениса помогать другу! Кто, как не он, ободрял Арсения в тяжелые дни, а затем познакомил с Ермоловым! Алексей Петрович взял Закревского под свое покровительство и

устроил в военную канцелярию первой армии. И, конечно, Закревский не может этого забыть, он сделает все, что от него зависит, чтоб выручить из беды, за это можно ручаться.

«Милый друг Арсений Андреевич, — в тот же вечер писал Денис. — Вот дело о чем идет: я ехал, скакал, спешил к своему месту, то есть в Ахтырский полк, но, проезжая через Варшаву, остановлен великим князем под предлогом, что он имеет повеление останавливать всех штаб- и обер-офицеров, едущих из отпусков в армию. Между тем все проезжают, а я живу, и имя мое слышать не хочет, говорит только: я не смею, я имею на то повеление... Так как ты мой старый друг и друг, на которого я более уверен, нежели на кого-нибудь, то прошу тебя войти в мое положение и употребить все старания вытащить меня отсюда» [2].

А через некоторое время, получив от Закревского кратенькую обнадеживающую записку, Денис Васильевич попросил его заодно похлопотать и о возвращении произвольно отнятого генеральского чина.

«...сверх особых притеснений, — писал он, — не знаю, что я, полковник или генерал? Пора решить меня или уже вовсе вытолкнуть из службы».

Итак, дела были переданы в верные руки, оставалось теперь лишь ожидать решения своей участи. И можно было подумать о другом.

В Варшаве он, несмотря на общительный характер, не нашел друзей по сердцу, настораживал случай с дежурным офицером, да и не хотелось как-то ни с кем сходиться. Мысли его были в Москве, где сейчас собрались все родные и близкие и где оставалась пленившая его милая синеглазая Саша Иванова.

«...Что делает божество мое? Все ли она так хороша? — запрашивал он Вяземского. — Богом тебе клянусь, что по сию пору влюблен в нее, как дурак. Сколько здесь красивых женщин; ей-ей, ни одна сравниться не может» [3].

Вяземский, однако, не стал держать друга в при-

ятном заблуждении. О божестве посоветовал более не думать. Саша выходила замуж за балетмейстера Глушковского.

Прощаясь с Сашей перед отъездом из Москвы, Денис Васильевич не подал и намека на возможность соединить с ней свою судьбу, мимолетные мысли об этом подавлялись обычными для того времени сословными предрассудками, стало быть, девушка вольна была поступать по-своему, а все же сообщение о ее замужестве походило на небольшой щелчок по носу. И хотя, отвечая Вяземскому, он отшучивался, что, приехав в Москву, «опутает усами ноги Глушковского и уничтожит все его покушения», настроение было скверное, и сердечная ранка разбаливалась порой весьма чувствительно.

Наконец-то пришло долгожданное известие о возвращении генеральского чина. Оказывается, в армии было шесть полковников Давыдовых. Государь не желал производства в генералы одного из них, а в главном штабе перепутали, сняли генеральский мундир не с того, с кого нужно. Объяснение не очень-то правдоподобное, но надо же как-то оправдать высшее начальство!

А следом пришел приказ: генерал-майору Давыдову состоять при начальнике первой драгунской дивизии. Закревский пояснил, что нет в кавалерии пока иных вакантных мест, а как будет более подходящая должность, уведомит.

Денис Васильевич успокоился и, не теряя времени, отправился к новому месту службы.

V

В середине декабря Петр Андреевич Вяземский, слышавший краем уха об освобождении Дениса и ожидавший, что он вот-вот заявится в Москву, получил следующее извещение:

«Наконец я, любезный Вяземский, вырвался из Варшавы и иду вместе с дивизией. Из Бреста поеду в Киев на контракты, а оттуда, если будет возможность, полечу к вам».

Вяземского сообщение заинтересовало. Киевские контракты сами по себе вряд ли Дениса привлекали. Зачем же и по какой надобности он туда столь неожиданно собрался? Наверное, опять захотелось поамурничать с кузиной Аглаей.

Вяземский ошибался. Аглая Антоновна проводила эту зиму в Петербурге, где воспитывались ее дочери.

Но в Киеве находились всегда милые сердцу Раевские и Базиль Давыдов. Хотелось повидать их, пооткровенничать. Впрочем, были и другие соображения. Николай Николаевич Раевский командовал четвертым пехотным корпусом, расквартированным на Украине. Кто знает, может быть, удастся опять поступить под начальство любимого генерала?

В Киев приехал Денис Васильевич 8 января 1816 года. Жали землю лютые крещенские морозы, но огромная контрактовая площадь на Подоле с утра до ночи кишела шумным, пестро одетым народом. Со всех сторон ежегодно съезжались сюда в эти дни окрестные помещики, торговцы, барышники, паны и селяне, подходили толпами убогие люди, странники и нищие, а за полками многих лавок и ларьков, расположенных вокруг главного контрактового павильона, можно было увидеть краснобородых персов, и важных бухарцев, и юрких греков, предлагавших самые разнообразные заморские товары.

Город в дни контрактов необычно оживлялся. В гостиницах и ресторациях стоял дым коромыслом, там задавали пиры и попойки приехавшие из своих имений освежиться и потешить душеньку степные феодалы. В трактирах и шинках гулял и распивал магарычи народ попроще. Ломились от посетителей все зрелищные и увеселительные места. Всюду веселое, звонкое многолюдье.

Двухэтажный, деревянный, недавно заново отделанный дом Каменских-Давыдовых находился недалеко от контрактовой площади. Денис Васильевич

проехал прямо туда и сразу, на крыльце, попал в объятия выбежавшего его встречать Базиля.

— Денисушка, дорогой, ты ли это? Да какими судьбами? Вот хорошо, вот славно! — торопливо и радостно говорил Базиль, не спуская сиявших глаз с двоюродного брата и держа его за руки. — Ну, пойдем же ко мне!.. Я один наверху живу, а внизу мы и не топим... Матушка с братом Александром в Каменке, на открытии контрактов обещали быть, да, видно, морозов испугались...

— А как Раевские? Живы-здоровы?

— Слава богу!.. Брат Николай Николаевич в Каменке хотел отдохнуть, а Софья Алексеевна настояла сюда перебраться, дочери подросли, невестятся. Нельзя, говорит, в деревне их держать, — болтал Базиль, поднимаясь по лестнице. — Теперь у них каждый вечер веселятся. Даже наш каменский оркестр сюда взяли. Александр и Николенька приехали, племянницы подружками обзавелись, и хорошенькие есть, честное слово!

Базиль, гусарский ротмистр, не оправился как следует от тяжелых ранений, полученных под Кульмом и Лейпцигом, и числился состоящим в долгосрочном отпуску.

Просторный кабинет его, выходивший тремя окнами на улицу, был завален книгами и журналами. Они стопками лежали на столе, в беспорядке валялись на креслах и диванах. Два больших разбитых ящика с пометами таможного осмотра стояли у дверей.

— Вчера из Парижа от книгопродавца Дидо получил, не успел просмотреть и разобраться, — сказал Базиль. — А любопытного много... Мне даже выходить из дому не хочется.

— Знаю, что ты величайший книголюб, — улыбнулся Денис Васильевич.

И сам, не утерпев, потянулся к первой попавшей на глаза книжной стопке. Дидро, Вольтер, Жан Жак Руссо, Монтескье, Рейналь, Гельвеций... Многие книги прочитаны, а, пожалуй, более таких, о которых лишь слышал. Вот Мабли «Размышления о греческой

истории» *. Говорят, тут сотни острых стрел, направленных против деспотического произвола. Недаром книга считается запретной. Надо непременно прочитать!

— А когда же ты свою собственную книгу выдашь? — неожиданно спросил Базиль.

— Какую там собственную! — отмахнулся Денис Васильевич. — Я и не собирался, кажется:

— Как?! Мне брат Алексей Петрович Ермолов говорил, будто ты о партизанстве своем пишешь, хвалил даже читанные ему страницы.

— Начал марать бумагу, да остановился, не до того мне последнее время было, брат Василий.

— Стихи же, помнится, писывал ты и на бивуаках и в эскадронных конюшнях.

— Стихи что! Стихи единым волнением чувства во мне рождались. Воспламенился — и брызнуло из тебя! А взялся за прозу... Тут, брат, первей всего надлежит кипение чувств рассудком хладным измерять. А ежели тебя со всех сторон и бьют, и колют, и щиплют, — где уж хладному рассудку быть!

Старый камердинер, неслышно ступая по ковру, подал шампанское. В камине вспыхнули и весело затрещали дрова, приятно пахнуло березовым дымком. Братья сняли мундиры, раскурили трубки. Беседа завязалась долгая, распашная. Денис, горячась, говорил о всем, что наболело, об издевательствах над ним, о подлости высшего начальства, о гнусных происках царя. Базиль слушал спокойно, не удивлялся.

— Твое возмущение, Денис, законно, понятно, — заметил он, — но чего же ты хочешь?

— Справедливости — вот чего! Я не чужой, а свой лоб под пули подставлял.

— Подожди, подожди, давай сначала о справедливости, — перебил Базиль. — От кого ты ее ожидаешь? От человека, коему не только твое партизанство, а вообще все русское не нравится... Тебе

* Книга Мабли впервые была издана в России в 1773 году в переводе А. Н. Радищева под названием «Размышления о греческой истории, или о причинах благоденствия и несчастия греков».

разве не известно, что его величество изволит открыто утверждать, будто каждый русский или плут, или дурак? А во время смотра наших войск во Франции, когда Веллингтон похвалил устройство русской армии и боевые качества солдат, Александр Павлович заявил, что всем этим он обязан иностранцам.

— Знаю, знаю, — нахмурив брови, отозвался Денис Васильевич. — Тошно вспоминать, ей-богу!

— Но ты послушай дальше, — продолжал Базиль, расхаживая по кабинету и начиная приметно волноваться. — При возвращении в Россию, на марше, я стал свидетелем такого случая... Впереди нашей дивизии шел пехотный полк, где командиром, по всей вероятности, был какой-нибудь аракчеевский любимчик, ибо, как у таких господ водится, за полком следовало несколько телег с розгами. И вдруг откуда ни возьмись галопирует навстречу сам государь с кавалькадой вельможных иностранцев. Оглядел розги, побагровел от гнева, подскакал к командиру полка и, указывая глазами на телеги, крикнул: «Это безобразие, сударь!» Командир, полагая, что государь против телесных наказаний, тотчас же отдает распоряжение уничтожить розги, но... тут-то фокус и раскрылся! Александр Павлович недовольно передернул плечиком, бросил взгляд на стоявших поодаль иностранцев, затем обратился к командиру и с явной досадой на лице пояснил: «Вы не так меня поняли! Прикажите чем-нибудь прикрыть телеги, чтоб не было видно розог». Представляешь, каков гусь! — с пылающим лицом, не сдержав негодования, воскликнул Базиль. — Иностранцев, словно барышня, стыдится, а народ, коим правит, считает за скот. Народ, явивший себя перед всем миром в героическом ореоле, обречен пребывать в невежестве и рабстве... А ты справедливости какой-то от царя ожидаешь!

— Да ты не так меня понял, — вздохнул Денис Васильевич. — Я к слову сказал... А на государя какая же надежда? Я уже давно ничего хорошего от него не ожидаю...

— Все в нем ошиблись... Я недавно Михайлу Орлова встретил... Ты, кажется, знаком с ним?

— Как же! Мы под Дрезденом вместе с Михайлой гарцевали. Он тогда тоже отдельным кавалерийским отрядом командовал... Славный малый!

— Так вот Орлов хотя и сделан флигель-адъютантом и обласкан государем, а говорит, что более фальшивого человека никогда не видел. А еще, — понизил голос Базиль, — сказывал Михайла Федорович, будто для борьбы с тиранством и рабством создается у нас некий «Орден русских рыцарей» [4].

Денис Васильевич, слышавший не раз, как в офицерских кружках открыто осуждали царя и правительство, сразу сообразил, что дело идет, очевидно, о каком-то тайном заговорщицком обществе, вроде того, что было затеяно двадцать лет назад братом Александром Михайловичем Каховским, и счел нужным Базиля предупредить:

— Ты смотри, Василий... Этим не шутят!

— Сам понимаю, не маленький, — тихо и задумчиво произнес Базиль. — Я пока про этот орден толком ничего не знаю, может быть у них и не выйдет ничего, а все же отрадно мыслить, что дух гражданственности проникает ныне всюду... И знаешь, что я тебе скажу, — неожиданно веселея, тряхнул он кудрявой головой, — твои басни тоже не мало тому способствуют... В нашей дивизии каждому прапорщику известно, как «однажды Ноги очень гневно разговорились с Головой»...

Денис Васильевич сделал недовольный жест, но Базиль обнял его и с воодушевлением продекламировал:

А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да, между нами ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись — как же быть, —
Твое Величество об камень расшибить.

— Написано у меня было не «Величество», а «Могущество», — поправил Денис Васильевич и, внутренне весьма польщенный популярностью собственно-

го произведения, с притворным недовольством добавил: — Хотя бы переписывали как следует, черти... Без того до сей поры за эти басни отчесываюсь...

В доме Раевских на Александровской улице на самом деле царило веселье, какое обычно бывает там, где собирается много молодежи и где есть музыка. Денис Васильевич, уединившись в кабинете с Николаем Николаевичем, не успел еще наговориться с ним, как вбежала черноволосая, стройная и легонькая Елена Раевская, вторая дочка генерала, только что начавшая появляться в обществе, и прервала беседу:

— Простите, папенька!.. Нам очень нужен Денис Васильевич... — И, обратившись к нему, с детской непосредственностью, торопливо и сбивчиво продолжила: — У нас заказана мазурка, а мы знаем, что вы хорошо танцуете, а Лиза без кавалера... и мы очень вас просим... Пожалуйста!

— Позвольте, а какая же это Лиза? — смеясь, спросил Денис Васильевич.

— Лиза Злотницкая! Ну, просто Лиза... подруга наша...

Николай Николаевич ласково поглядел на зарумянившуюся от волнения дочку и пояснил:

— Генерала Антона Казимировича, что дивизионным в моем корпусе, младшая дочь... Хочешь не хочешь, а придется тебе, видно, девиц уважить. Ты ведь и впрямь, помнится, мазурку лихо отплясывал... Ступай, делать нечего! Я позднее тоже приду посмотреть.

В танцевальном зале, устроенном из двух смежных разгороженных комнат и ярко освещенном десятками свечей, появление Дениса Васильевича, сопровождаемого Еленой, было встречено дружными рукоплесканиями. Общество состояло преимущественно из молодых офицеров и целого роя девушек самых разнообразных возрастов, — видеть в своей среде знаменитого партизана и поэта всем было лестно.

Распоряжавшийся танцами Александр Раевский, в лейб-гусарском ментике, оживленный и сияющий, тотчас же, позванивая серебряными шпорами, подлетел к нему:

— Разрешите, ваше превосходительство, представить вас вашей даме...

И по тому, что он бросил при этом взгляд в сторону стоявшей невдалеке с Катенькой Раевской девушки в белом атласном платье, и по тому, что в то же время с другой стороны подбежала к ней Елена и что-то шепнула ей на ухо, Денис Васильевич догадался, что именно эта девушка и есть Лиза Злотницкая.

Она была подлинно хороша. Волнистые, редкого пепельного цвета волосы ниспадали локонами на покатые, обнаженные по моде плечи. Тонкие и мягкие черты лица, большие, серые, чуть прищуренные глаза и открытая улыбка — все это сразу привлекало к ней, а милая застенчивость, с которой протянула она маленькую ручку, окончательно пленили Дениса Васильевича.

«Как она обворожительна!» — промелькнуло в голове, и образ ее занял его воображение так полно, что он уже ничего более не слышал и не замечал, очнувшись лишь при первых волнующих звуках мазурки...

Они шли в первой паре. Возбуждение от мазурки и близости чудесной девушки охватывало Дениса Васильевича все больше и больше. Он танцевал удивительно легко, со страстью и упоением и чувствовал, что Лиза словно слилась с ним и тоже находится в том же восторженно-счастливом состоянии, что и он.

Ножки в красных туфельках грациозно скользили по натертому паркету, а маленькая тонкая ручка, лежавшая в его руке, казалось, обжигала его трепетными искорками скрытого внутреннего огня.

И потом, когда мазурка окончилась и он под руку с Лизой, болтая о разных пустяках, прогуливался по залу, он уже знал, что эта мазурка в какой-то степени сблизила их и в его жизни не пройдет бесследно.

— Вы знаете, — смеясь, признавалась она, — мне говорили, будто партизаны носят бороды, и

я представляла вас таким страшным, а вы совсем не страшный...

— А какой же? — спросил он, глядя на нее и откровенно любуясь ею.

— Обыкновенный, простой, — без тени смущения ответила она и сейчас же перевела разговор на другое: — Скажите, а стихи вы писать продолжаете?

— Увы, божественный сей дар меня покинул, — шутливо отозвался он и, вспомнив строки из своих «Договоров», продолжил в том же тоне:

Прилично ль это мне? Прошла, прошла пора
Тревожным радостям и бурным наслажденьям,
Потухла в сумерках весны моей заря...

— Вы не шутите, Денис Васильевич, я серьезно вас спрашиваю. Мне бы очень хотелось, чтоб вы сочинили что-нибудь для меня...

— Сочту за счастье, Елизавета Антоновна!

— Ой, зачем же так длинно? — опять засмеялась она. — Меня все зовут Лизой.

— Можно и мне?

— Конечно, можно.

Лизе Злотницкой не было еще полных семнадцати лет. Полька по рождению, живая, своенравная и не лишенная тщеславия, она отнеслась к знакомству с молодым прославленным генералом и сочинителем благосклонно, однако вряд ли догадывалась о силе внезапно вспыхнувшего в его груди чувства к ней.

Об этом на первых порах узнал лишь один Базиль. Утром следующего дня, зайдя в комнату, отведенную Денису, он застал его сидящим на диване с поджатыми ногами и с пером в руках. Большой персидский ковер, покрывавший пол, был усыпан мелко исписанными и перечеркнутыми тетрадочными листками.

— Ты чем же это, Денисушка, занят? — с удивлением спросил Базиль.

— Стихи ей пишу! Сама велела! — подняв лихорадочно блестевшие глаза, произнес Денис. — Да никак рифмы не ладятся... и огня еще, кажется, мало... Вот послушай!

Он вскочил с дивана и, взяв один из лежавших перед ним листочков, прочитал:

Вы хотите, чтоб стихами
Я опять заговорил,
Но чтоб новыми стезями
Верх Парнаса находил;
Чтобы славил нежны розы,
Верность женские любви,
Где трескучие морозы
И кокетства лишь одни!
Чтоб при ташке в доломане
Посошок в руке держал
И при грозном барабане
Чтоб минором воспевал.
Неужель любить не можно,
Чтоб стихами не писать?
И, любя, ужели должно
Чувства в рифмы оковать?

Он остановился и, взлохматив привычным жестом голову, с недовольным видом буркнул:

— Ну, дальше совсем, брат, скверно... я и читать не хочу... А конец, пожалуй, недурен:

Я поэзией небесной
Был когда-то вдохновлен.
Дар божественный, чудесный,
Я навек тебя лишен!
Лизой душу занимая,
Мне ли рифмы набирать?
Ах, где есть любовь прямая,
Там стихи не говорят!..

Последние строки он произнес так взволнованно и с такой искренностью, что Базиль, покачав головой, заметил:

— Денисушка, а ты и впрямь, должно быть, влюбился?

— И не говори, — вздохнув, признался Денис. — Всю ночь уснуть не мог... В жизни никого прелестней не встречал! Клянусь честью!

VI

Прошел месяц. Денис Давыдов, продлив отпуск, продолжал жить в Киеве.

Николай Николаевич, используя свои связи, хло-

потал о переводе его во вторую гусарскую дивизию, где в скором времени должно было освободиться место командира бригады. Закревский, в свою очередь, тоже обещал приложить все старания, чтобы эта должность была оставлена за ним, а в дальнейшем, кто знает, может быть, удастся получить и дивизию.

Но главное, над чем приходилось сейчас мучительно думать, — это устройство личной жизни.

Отношения с Лизой Злотницкой установились наилучшие. Денис Васильевич не раз бывал с ней на контрактах и на концертах, ездили кататься за город, танцевали на домашних вечерах. Лизе это внимание было приятно, и по многим признакам Денис Васильевич догадывался: если он сделает предложение, оно не будет ею отвергнуто. Мысль о возможности соединиться с нею навсегда не казалась безнадежной, тем более что в доме Злотницких, куда он был введен Раевским, приняли его радушно и генерал Злотницкий, прозванный за высокий рост Антоном Великим, отзывался о нем неизменно с большой похвалой.

Однако если даже брак состоится, на какие средства они будут жить? Ведь у него нет ничего, кроме небольшого жалованья, явно недостаточного для приличного содержания семьи, а на ее приданое не надо рассчитывать: у Злотницких пять дочерей и одно маленькое поместье. Как же быть? Что предпринять?

В конце концов Денис Васильевич открылся во всем Николаю Николаевичу, который, как всегда, принял в нем истинно отеческое участие.

— Выбор твой я весьма одобряю, мой друг, и очень рад за тебя, — сказал Раевский, — но, конечно, прежде чем делать предложение, надлежит подумать о средствах.

— Ничего не могу придумать, Николай Николаевич! В этом вся тяжесть моего положения.

— Представляю, а все-таки... Тебе известно, например, что существуют аренды, жалуемые государем за военные заслуги?

— Мне не дадут, — махнул рукой Денис Васильевич. — Об этом не стоит и заикаться!

— Не дадут, ежели будешь просить в обычном

порядке, — продолжал Раевский, — но могут дать, ежели близкие к государю люди растолкуют, что сия аренда единственный способ получить соглашение ее почтенных родителей на твой брак.

— В таком случае надо прежде всего заручиться согласием родителей. А то дадут, паче чаяния, аренду, а брак не состоится, и выйдет конфуз!

— Совершенно верно! Я могу предварительно поговорить с Антоном Казимировичем, узнать его мнение о сем деликатном предмете...

Денис Васильевич согласился. Через несколько дней Раевский объявил, что Антон Казимирович дал твердое обещание: если будет аренда, дочь свою благословит охотно.

И вот начались казавшиеся бесконечными хлопоты об аренде. Было отправлено письмо на имя государя. Были уведомлены обо всем Закревский и Киселев. Но главная надежда возлагалась на Ермолова. Как раз в это время Алексей Петрович получил назначение командующим отдельным кавказским корпусом и перед отправлением к новому месту службы заехал проведать родителей, живших по-прежнему в своем орловском имении. Денис Васильевич помчался туда.

Стояли погожие майские дни. Старый деревянный дом Ермоловых, утопавший в буйных зарослях цветущей сирени и выходивший верандой в сад, где неумолчно заливались соловьи, показался чисто райским местом.

Старики Ермоловы, первыми в доме встретившие Дениса, были трогательно милы.

— Ну-ка, покажись, покажись, каков ты стал, да иди сюда, батюшка, на веранду, тут видней, — со свойственным ей грубоватым прямодушием говорила бойкая и словоохотливая Мария Денисовна, видевшая племянника еще в детстве. — Ничего, только росточку бог не дал... и волосом, словно медведь, зарос.

— Ты, мать, всегда что-нибудь этакое скажешь, — вступился Петр Алексеевич, — а по-моему, всем хорош.

— А я и не говорю, что плох! Наша, давыдовская порода! — с гордостью произнесла Мария Денисовна, обнимая племянника. — Жениться-то еще не собираешься?

— Собираюсь, ma tante. Вот и приехал с Алексеем Петровичем посоветоваться!

— Эка, нашел советчика! — с коротким смешком откликнулась Мария Денисовна. — Нет, батюшка, ты в этих делах со мною советуйся, а наш Алеша сам до сорока годов не женился, да и тебе того гляди рассоветует...

— Вы бы подыскали ему невесту, ma tante, орловские красавицы славятся...

— Скольких предлагала, — слушать не желает! А почему? Все через гордыню свою немыслимую, это я тебе верно сказываю. «Простенькая жена или дурнушка мне не нужна, — говорит, — она сконфузить может, а умной и красивой опасаюсь, могу под ее башмачок попасть, а тогда какой же я генерал?» Да вон сам он идет, — кивнула она в сторону сада, — поговори-ка с ним попробуй!

Алексей Петрович предстал не в мундире с регалиями, а в домотканой рубашке, с огромными садовыми ножницами в руках и с корзиночкой свежих парниковых огурцов.

— А, брат Денис! И в эполетах генеральских! Рад, сердечно рад!.. А я уж цидульку посылать тебе хотел — в край дальний отправляюсь, когда еще бог даст свидеться придется...

Они обнялись, расцеловались. Мария Денисовна, которую, видимо, более всего интересовал предстоящий разговор о женитьбе племянника, тут же, не утерпев, с веселой хитринкой вставила:

— Вот бы, Алешенька, тебе с Дениса пример взять. Он ведь жениться надумал!..

— Неужто? — удивился Ермолов. — Да на ком же? В Киеве, что ли, сосватали? Расскажи, расскажи!.. Любопытно!

Денис Васильевич церемониться не стал. Родные, близкие! С кем, как не с ними, можно поделиться и своей радостью и своими огорчениями?

Мария Денисовна, услышав, что женитьба поставлена в зависимость от получения аренды, забеспокоилась:

— Как же это так, Денис? Выходит, словно в карты счастье твое разыгрывается... Хорошо, дадут аренду, а ежели не дадут?

Алексей Петрович тоже призадумался.

— Да, брат, не легко тебе генеральский мундир достался, не легко и счастье отвоевать... Говоришь, Киселеву и Закревскому писал? Что ж, возможно, и они пригодятся, замолвят за тебя при случае словечко. Но степень их близости к государю не такова, чтобы питать твердую надежду.

— Ах, ты напасть какая! — сокрушенно покачивала головой Мария Денисовна, глядя с участием на племянника. — Теперь уж верно вижу, что не мои советы здесь нужны, а Алешины.

— Скажу прямо, — продолжал Алексей Петрович, — что в таком деле лишь всесильный граф Огорчеев, сиречь Аракчеев, помочь может или... князь Петр Михайлович Волконский. Обращаться к первому — все равно, что Змею-Горынычу в пасть свою голову класть, а ко второму... Сам знаешь, робость его до смешного доходит, не генерал, а баба! Ко мне, правда, он благоволит, и я, конечно, попрошу его доложить о твоем деле государю, но придется как-то посильней на него воздействовать... Подумаем, брат Денис, подумаем!

Между тем наступил обеденный час, и Мария Денисовна пригласила их к столу, ломившемуся от домашних наливок, закусок и кушаний.

— Ты небось поздно привык кушать, — обратилась она к племяннику, — а мы по-деревенски живем... Встаем с петухами, обедаем в полдень, а солнышко спряталось — мы на боковую... И в пище не взыщи, чем бог послал потчуем!

— Что вы, я не аристократ, ma tante.

— А чего же образованность показываешь и меня

все тантой кличешь? — чуть усмехнувшись, произнесла она. — Право, не люблю. В молодости сама по-французски лопотала, а нынче позабыла половину, и как славно на одном русском обхожусь... Оно и душевней получается, ежели меня не тантой, а тетей Машей называть.

Алексей Петрович, с удовольствием слушавший мать, улыбнулся.

— Браво, маменька! Золотые ваши слова! Позвольте за ваше драгоценное здоровье выпить!

Он залпом осушил рюмку водки и, закусив ветчиной, продолжил:

— Дениса, маменька, с малолетства, как всех нас, французскому языку обучали, обмолвка его не диковина, а вот куда как смешно, когда иные люди, вроде наших храбрых генералов Милорадовича и Уварова, французского порядком не знают, а изъясняться пытаются на оном, считая невежеством говорить по-русски. Недавно на обеде у государя, сидя за столом близ француза Ланжерона, наши храбрецы затеяли какой-то горячий разговор. Государь прислушался и, ничего не уразумев из адской их тарабарщины, обратился к Ланжерону: «Я никак не могу понять, граф, о чем идет речь у ваших соседей». — «Я тоже не могу их понять, государь, — ответил Ланжерон. — Они говорят по-французски...»

Старик Ермолов, посмеявшись над потешным случаем, заметил:

— Так уж в придворных кругах принято, Алешенька, там по-русски и впрямь будто говорить неприлично...

— А что такое придворные круги, папенька? — произнес Алексей Петрович. — Я нигде не замечал большего лицемерия, холопства и низости, нежели в среде придворных... Поистине они составляют нацию особенную, — язвительно продолжал он, — где разность ощутительна только в степени утончения подлости, которая уже определяется просвещением! *

---

* Подлинные слова Ермолова, записанные им в 1816 году.

Денис Васильевич готов был подписаться под этими словами. Но Марии Денисовне тоже, вероятно, слова сына показались чересчур резкими.

— Ох, Алеша, — сказала она, — недолго тебе на Кавказе командовать, коли проведают об этаких твоих суждениях!..

— А вы думаете, маменька, почему меня на Кавказ посылают? — с усмешечкой отозвался Ермолов. — В прошлом году царские братья Николай и Михаил в парижских кабаках пьяные дебоши изволили устраивать, а я почел необходимым им заметить, что русские войска пришли сюда не для кутежей и пьянства. «Солдаты, — пояснил я при этом, — ведут себя с большим достоинством, нежели их высочества...» Затем не дозволил арестованных за малую провинность по распоряжению государя трех офицеров моего корпуса на английской гауптвахте содержать, сделав сентенцию, что государь властен посадить их в крепость, но он не должен ронять честь храброй русской армии в глазах чужеземцев... Вот как оно было дело, маменька!.. Неудивительно, что после сего в высших сферах решили меня подалее от двора держать... А Кавказ чего же лучше? Там шаркунам придворным делать нечего, там до поту трудиться надобно. Ну и пусть Ермолов потрудится! Мне труды, а им почести! Расчетец верный! С Кавказа-то, маменька, как видите, им меня выталкивать выгоды нет, а ежели и вытолкнут... что ж, другим чем-нибудь займемся. Была бы шея, а хомут найдется!

Денису Васильевичу раскрывался теперь Ермолов с какой-то новой стороны. Будто обвеяло и Алексея Петровича тем же духом, что повсюду возбуждал офицерскую молодежь.

Всегда был он недружелюбно настроен к сильным мира сего, язвительные ермоловские насмешки и остроты не первый год разили военных педантов, чиновную и придворную знать, однако раньше воспринималось это как обычное фрондирование, а теперь чувствовалась в его словах не только ненависть к придворным кругам, но и как будто недовольство существующим порядком.

А с другой стороны, ему, очевидно, чужды были надежды на крушение самодержавия.

Когда Денис Васильевич, оставшись с глазу на глаз с Ермоловым, рассказал о беседе с Базилем и якобы замышляемом тайном обществе, он лишь слегка пожал плечами.

— Прожекты не из новых, брат Денис... Сам ведаешь, как я с братом Александром Каховским в молодости рыцарствовал и где потом очутился! Замахнуться на самодержавье дело не хитрое, да какой от того прок? Верней всего, что сам себе шишек насажаешь!..

Давыдов прогостил у Ермоловых неделю. Алексей Петрович написал Волконскому, что просьба брата Дениса есть и его единственная просьба и он, Ермолов, уверен, что о том государю будет безотлагательно доложено.

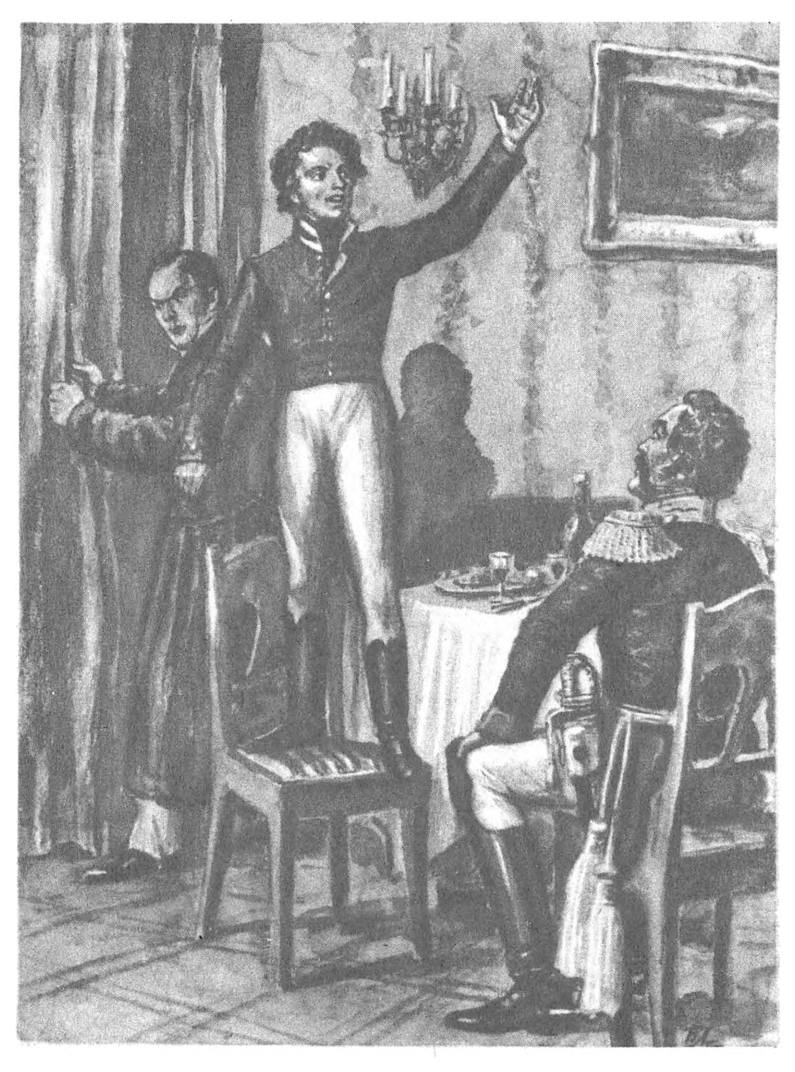
— Должны бы, кажется, уважить, — заметил он, — более я от них и в самом деле ничего не требую. А в крайнем случае к государю обращусь... Как-никак, а пока я им нужен!

Простившись с Ермоловым, Давыдов поехал в свою Денисовку, а оттуда поскакал в Москву повидаться с сестрой. Там пробыл несколько дней. Пришел давно ожидаемый перевод во вторую гусарскую дивизию.

И опять надо было залезать в почтовую бричку, трястись по скверным и пыльным дорогам под монотонный звон валдайских бубенчиков. Ах, эти дороги! Сколько верст он уже проехал по российским просторам и европейским землям и сколько еще подобных путешествий ожидало его впереди!

Только в начале осени, после дивизионных маневров, испросив отпуск, уставший и смертельно соскучившийся по любимой, возвратился он в Киев.

Лизу Злотницкую обрадовал его приезд. Она по-прежнему была с ним хороша и ласкова. И он чувствовал, как после каждой новой встречи возра-



К стр. 75

стает в нем нежная привязанность к ней, но в том положении полной неопределенности, в каком он находился, это лишь усиливало тревогу о будущем.

Ответа на просьбу об аренде не было. Возвращаясь домой после свидания с Лизой, он предавался мрачным размышлениям. Счастье его поистине, как говорила Мария Денисовна, словно в карты разыгрывалось! Надежды были призрачны. Все могло разлететься в один миг.

Томительные дни ожиданий мучительно терзали его сердце.

И можно представить, в какой степени возбуждения он находился, когда разрывал казенный пакет из главного штаба, доставленный ему наконец-то в конце сентября.

«Милостивый государь мой, Денис Васильевич, — прочитал он, — извещаю ваше превосходительство, что я докладывал государю императору о пожаловании вам аренды и его величество соизволил отозваться, что оная вам назначена будет по событии ваших предположений, об окончании коих прошу меня уведомить.

Генерал-адъютант князь Волконский» [5].

Он перечитал уведомление еще раз. Смысл был ясен: аренду обещают дать не за его военные заслуги, а только потому, что он женится. Это заставило его тяжело вздохнуть. Значит, государь не изменил своего нелестного мнения о нем! И, очевидно, приняли во внимание не его просьбу, а ходатайство Ермолова. Но все же не отказали. Спасибо на этом!

Он тотчас же отправился к Злотницким. Антон Казимирович, как всегда, принял его с необыкновенной любезностью. В тонкость отношений Давыдова с государем старый генерал посвящен не был. Уведомление князя Волконского вполне его устраивало.

— Поздравляю, поздравляю, мой дорогой, — сказал он, обнимая Дениса, — от своих слов я не отказываюсь, зятем тебя назову с радостью... А с Лизой сам договаривайся. Как она решит, так тому и быть!

И вот прошло еще несколько дней. Денис Васильевич с Лизой сидят вдвоем на диванчике в небольшой уютной гостиной Злотницких. Спускаются осенние сумерки. В окна беспрерывно барабанит дождь. А в его душе все цветет и ликует! Лиза согласилась стать его женой. Вчера они помолвлены.

— Я одурел от счастья, душенька, — говорит он, не спуская горячих глаз с ее милого лица. — Я словно во сне. А вы... счастливы ли вы, Лиза?

Она щурит серые близорукие глаза и смеется.

— Какой вы, право!.. Сколько же можно спрашивать об одном и том же? И потом... вы совсем забыли, что кто-то обещал мне новую элегию?..

— Ах, да, прошу простить, душенька, — говорит он, и вдруг лицо его становится необычно серьезным.

Написанные ночью стихи не походили на обычные любовные элегии. Чувство нежной любви не могло заглушить в поэте-воине его благородных патриотических чувств. Пусть Лиза знает, что, любя ее, он всегда будет помнить о своем священном долге перед родиной! Он открывал перед ней всего себя в этих стихах:

В ужасах войны кровавой
Я опасности искал,
Я горел бессмертной славой,
Разрушением дышал;
И в безумстве упоенный
Чадом славы бранных дел,
Посреди грозы военной,
Счастие найти хотел!..
Но судьбой гонимый вечно,
Счастья нет! подумал я.
Друг мой милый, друг сердечный,
Я тогда не знал тебя!
О, мой милый друг! с тобой
Не хочу высоких званий,
И мечты завоеваний
Не тревожат мой покой!
Но коль враг ожесточенный
Нам дерзнет противустать,
Первый долг мой, долг священный —
Вновь за родину восстать;
Друг твой в поле появится,
Еще саблею блеснет,
Или в лаврах возвратится,

Иль на лаврах мертв падет!..
Полумертвый не престану
Биться с храбрыми в ряду,
В память Лизу приведу...
Встрепенусь, забуду рану,
За тебя еще восстану
И другую смерть найду!

Он читал стихи страстно, самозабвенно. Лиза неотрывно смотрела на него довольными ласковыми глазами, щеки ее окрасились легким румянцем. И когда прозвучали последние строки, она непроизвольно протянула ему свои руки. Это было лучшим признанием, что стихи ее тронули.

Он был счастлив!

VII

Денису Васильевичу снова предстояла разлука. Необходимо было, прежде чем справлять свадьбу, позаботиться об устройстве удобной квартиры, и в начале ноября, простившись с невестой, он отправился в свою дивизию, стоявшую близ города Вильно.

Довольно быстро и успешно управившись там с делами, он намеревался в конце того же месяца возвратиться обратно, но неожиданно маршрут пришлось изменить. Дениса Васильевича известили, что его сообщение о помолвке принято государем милостиво и на днях будет дан высочайший рескрипт о пожаловании ему шеститысячной годовой аренды. Надо ехать в Петербург, чтоб поскорей оформить это дело.

И хотя ему взгрустнулось при мысли об отдаляющемся свидании с Лизой, эта поездка в столицу все же была приятна. Ведь все так хорошо в последнее время ладилось, что просто удивительно! Его не покидало радостно-приподнятое настроение, знакомое каждому, кто после длительной полосы неудач вдруг начинает ощущать, что фортуна как будто становится к нему милостивей.

Петербург показался Денису Васильевичу на этот раз куда более привлекательным, чем раньше. Многих зданий, украсивших в последние годы столицу,

он еще не видел и рассматривал их теперь с восхищением. Особенно сильное впечатление произвел Казанский собор.

Император Павел, как было известно, требовал, чтоб архитектор Воронихин, строивший собор, старался во всем сделать его подобным римскому собору Петра. Но гениальный русский зодчий, бывший крепостной человек графа Строганова, поступил посвоему, создав совершенно оригинальное строение, поражавшее взгляд величественной красотой.

«Прежде чем приступить к рассмотрению сего изящного произведения искусства, — прочитал Давыдов в только что изданной и купленной книжке «Достопамятности Санкт-Петербурга», — порадуемся, что оно вышло из рук российских художников без всякого содействия иностранцев, — равно как и все материалы, на сооружение сего храма употребленные, заимствованы из недр нашего отечества... Воспоминание о сем перейдет в потомство и послужит, конечно, уликою завистникам, утверждающим, что русские лишены творческого гения, что им в удел досталось одно подражание...»

Эти строки крепко западали в душу. Денис знал, что среди некоторой части дворянства, а в особенности в придворных кругах находилось немало лиц, до сих пор все иноземное предпочитавших русскому. Сколько раз приходилось вступать в жаркие схватки с этими господами, доказывать их заблуждения!

И теперь, зайдя в собор, любуясь своеобразием внутренней его отделки, великолепной скульптурой и живописью, он с гордостью думал о том, какое большое счастье быть сыном великого народа, столь прославившего себя и бессмертными подвигами и гениальными творениями.

Вдвойне дорого было это здание тем, что под сводами его покоился прах Михаила Илларионовича Кутузова.

С благоговейным чувством долго и неподвижно стоял Денис Васильевич у священной гробницы.

В памяти невольно одна за другой оживали встречи с великим полководцем. Вставало перед гла-

зами и раннее августовское утро, когда Кутузов осматривал войска на марше близ Царева Займища. Представлялась разоренная смоленская деревенька, тесная, с бревенчатыми стенами и низким закопченным потолком горница, где Михаил Илларионович так просто и сердечно беседовал с ним о партизанских делах. Но особенно ярко рисовался последний прием у Кутузова, происходивший в конце марта тринадцатого года, незадолго до его кончины, в Калише, где стояла главная квартира российской армии.

Денис Васильевич находился тогда в самом отчаянном положении. Барон Винценгероде отстранил его от должности и отдал под суд за самовольное занятие Дрездена. Вся надежда была на Кутузова, он один мог спасти от предстоящего позора, но как к нему проникнуть? Здоровье Михаила Илларионовича заметно слабело, он почти не вставал с постели, приемы были строго ограничены. И все же, узнав от генерала Коновницына о приключившемся с Давыдовым несчастье, Кутузов сам велел тотчас же разыскать его, пригласить к себе.

— Садись сюда, голубчик, — произнес тихим голосом фельдмаршал, указывая Давыдову на стоявшее близ кровати кресло. — Да расскажи поподробней про свою историю...

В правдивости того, о чем рассказал Давыдов, фельдмаршал ничуть не усомнился. Ему не раз приходилось наблюдать подобные явления. Большая часть иностранных генералов, находившихся на русской службе, заботилась не о славе русского оружия, а о личных выгодах. Барон Винценгероде предполагал представить занятие Дрездена как блестящую свою победу над неприятелем, надеясь при этом на великие и богатые царские щедроты. А смелый налет Давыдова на саксонскую столицу разрушил все замыслы барона. Причина озлобления на храброго офицера была совершенно очевидна.

— Ты в каких силах был, когда задумал овладеть Дрезденом? — спросил фельдмаршал.

— Мой сборный отряд состоял из пятисот пяти-

десяти гусар и казаков, ваша светлость, — ответил Давыдов. — Кроме того, действовавший против неприятеля в соседстве со мною флигель-адъютант Михаил Орлов усилил меня двумя сотнями донцов.

Посеревшее от недуга, покрытое морщинами крупное лицо Кутузова осветилось неожиданной доброй улыбкой.

— Стало быть, по-суворовски воевал: не числом, а умением... Молодец! — похвалил он. — Ну, а барона мы вразумим, наших удальцов судить не позволим, того не опасайся...

Воспоминания растрогали Дениса Васильевича. Да, пока жив был Кутузов, каждый русский офицер, каждый воин мог найти у него поддержку в правом деле. Людям сухой души и тяжкого рассудка не давалась такая воля, как теперь! Да, при нем все было в войсках родимых иначе, лучше.

И многие посетители Казанского собора видели в тот день, как по смуглому лицу молодого генерала, стоявшего у гробницы великого полководца, медленно катились скупые, непрошеные слезы.

Декабрь выдался мягкий, снежный. Дни мелькали в столичной сутолоке незаметно. Дениса Васильевича не покидало хорошее настроение.

Аренда была получена без особых трудностей. Вещи и свадебные сувениры по списку, старательно составленному сестрой Сашенькой, приобретены, упакованы. Все необходимые визиты сделаны [6].

Денис Васильевич побывал на приеме у царя, чтоб поблагодарить за аренду. Не раз виделся с Закревским и Киселевым, навестил старых друзей Тургенева и Жуковского и недавно приехавшего из Парижа Михайлу Орлова.

Особенно приятны были посещения шумных и веселых собраний арзамасцев. Дениса Васильевича членом литературного общества «Арзамас» избрали заочно еще в прошлом году, и теперь, пользуясь случаем, он выступил здесь с требованием нелицеприятной критики литературных произведений.

— Может ли кто-нибудь из нас огорчиться дружескою критикой? — говорил Давыдов. — Он узнает, что написал дурные стихи, но вместе увидит и то, что имеет истинных чистосердечных друзей, может быть и от них же самих получит беспристрастное уверение, что может сделать лучше. Но зато как же неоцененна будет для него похвала их, в которой не увидит он никакой скрытности, никакого пристрастия: он предастся тогда свободно своей радости, ибо для каждого из нас, признаемся искренно, друзья мои, для каждого из нас не может быть ничего приятнее такого приговора.

Итак, с делами было покончено, можно собираться в обратный путь, и по мере того как день отъезда приближался, Денис Васильевич становился все нетерпеливей, милый образ вставал перед ним все чаще, серые, близорукие, чуть прищуренные глаза, чудилось, смотрят на него с укоризной.

25 декабря, на первый день рождества, когда все уже было готово к отъезду, он отправился проститься с Жуковским.

Год назад Василия Андреевича назначили на должность чтеца вдовствующей императрицы Марии Федоровны; он получал четырехтысячный годовой пансион, жил в дворцовой просторной квартире. Там всегда стояла удивительная тишина. Ковры, устилавшие комнаты, и тяжелые бархатные портьеры на дверях скрадывали звуки. Печи дышали жаром. Воздух был пропитан какими-то особыми дворцовыми благовониями.

Оставаясь холостяком, Жуковский большую часть дня проводил у себя, ходил в халате и в мягких сафьяновых туфлях, располневший, обленившийся.

— Ох, боюсь, Василий Андреевич, как бы из независимого философа ты не превратился в раба фортуны, — переступив порог уютно обставленного кабинета и обнимая старого приятеля, сказал шутя Денис Васильевич.

Жуковский посмотрел на него печальными глазами.

— Не беспокойся, мой друг, фортуна не так милостива ко мне, как может показаться... — И, чуть склонив голову, доверчиво понизил голос: — Вся эта вещественность и мишура ничто, когда не находят отклика чувства и перестает ласкать надежда на счастье...

Давыдов, уже знавший, что недавно оборвался долголетний роман Жуковского с нежно любимой племянницей, попробовал его ободрить:

— Полно, Василий Андреевич... В нашем возрасте еще можно рассчитывать на бальзам для сердечных ран.

— Нет, милый Денис, — с легким вздохом сказал Жуковский, — я знаю себя, свою натуру. Роман моей жизни окончился.

Прошли, прошли вы, дни очарованья!
Подобных вам уж сердцу не нажить!

Жуковский смолк, дотронулся до широкого чистого лба, словно что-то стараясь припомнить, и, вдруг бросив взгляд на гостя, кротко улыбнулся.

— Впрочем, что же я тебе настроение порчу? Пойдем-ка займемся праздничным пирогом, да расскажи подробней про свою невесту... Поди, соскучился уже по ней?

— Как не соскучиться! В разлуке почти два месяца, сам посуди...

Разговаривая, перешли в столовую, где был празднично накрыт и уставлен винами и закусками небольшой круглый стол. Старый дядька Жуковского, толстенький, важный и медлительный Архипыч, внес только что вынутую из печи пышную, с румяной, глянцевитой корочкой кулебяку. Жуковский взял хрустальный графинчик с водкой, наполнил рюмки.

— Да, что ни говори, — задумчиво произнес он, — а нет для нас бесценней дара, нежели добрая семья, где ты любим и где ты любишь, где мыслишь, отдыхаешь и творишь... За твое будущее семейное счастье, Денис!

Они чокнулись, выпили. Но завязавшаяся дружеская беседа с глазу на глаз продолжалась недолго.

Вошел опять Архипыч, что-то шепнул на ухо Жуковскому.

— Ну? — удивился и обрадовался Василий Андреевич. — Так что же ты мне докладываешь? Проси, проси скорей сюда... Экий ты увалень, право! — И, поднявшись из-за стола, глядя потеплевшими глазами на Давыдова, спросил: — Угадай, кто пожаловал?

— Готов думать, что достопочтенный наш приятель, его превосходительство Александр Иванович Тургенев.

— Э нет, милый друг, не угадал!.. Вот кто!

На пороге, приподняв портьеру, остановился, видимо чуть-чуть смущенный присутствием незнакомого генерала, юноша невысокого роста, курчавый и быстроглазый, в синем лицейском мундирчике с красным стоячим воротничком и красными же обшлагами.

— Пушкин! Саша Пушкин! — догадавшись, громко сказал Денис Васильевич и, позванивая шпорами, направился к юноше, находившемуся уже в объятиях Жуковского.

— Ты когда же из лицея? Как добрался? Надолго ли? — забрасывал юношу вопросами Василий Андреевич.

— Батюшка вчера на рождественские вакации взял, — отвечал Пушкин, а сам, оправившись от смущения, пристально, с нескрываемым любопытством глядел на шедшего к нему с распростертыми руками маленького, заросшего волосами генерала.

— Дай же и мне обнять тебя, душа моя, — произнес Давыдов. — Ты-то меня не знаешь, а я...

— Знаю, знаю, я таким вас и представлял, Денис Васильевич, — живо и радостно откликнулся Пушкин и, ничуть не церемонясь, доверчиво к нему потянулся.

Они по-родственному обнялись, расцеловались.

— Мне дядя Василий Львович и Вяземский вас хорошо обрисовали, — продолжал Пушкин. — И среди гусар в Царском Селе много ваших знакомых... Николай Раевский, Чаадаев про вас часто рассказывают...

Жуковский, вмешавшись в разговор, добавил:

— А рассказы гусар о твоих партизанских подвигах Александра на стихи даже вдохновили.

Пушкин недовольно покосился на Василия Андреевича. Стихи о наездниках-партизанах в самом деле были начаты, но они еще не закончены, многое требовало переделки, читать их никак не хотелось. Однако Денис Васильевич так настойчиво упрашивал, что не хватило духу отказаться. Чего доброго, заподозрят в жеманстве, а этого Пушкин терпеть не мог! Он выпил бокал вина и без особого настроения начал:

Уж полем всадники спешат,
Дубравы кров покинув зыбкий,
Коней ласкают и смирят
И с гордой шепчутся улыбкой;
Сердца их радостью горят,
Огнем пылают гневны очи;
Лишь ты, воинственный поэт,
Уныл, как сумрак полуночи,
И бледен, как осенний свет...

Прочитав еще несколько строк, Пушкин приостановился, наморщил лоб.

— Нет, дальше не помню... и, право, все это не более как черновой набросок...

Жуковский, подперев голову руками, сидел, о чем-то задумавшись. Давыдов, видимо польщенный стихами, крутил черный ус и благодушно улыбался.

Пушкин скользнул по ним быстрым взглядом, и какая-то озорная мысль внезапно оживила смуглое его лицо.

— Я прочитаю другие стихи... Слушайте!

По-мальчишески резво, со смехом он вскочил на стул, тряхнул курчавой головой. И вдруг звонкие строки залетного давыдовского гусарского послания взорвали устоявшуюся тишину дворцовых апартаментов:

Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой!
Ради бога и... арака
Посети домишко мой...

Денис Васильевич знал, что его нигде не печатавшаяся гусарщина давно в тысячах списков расходится по всей стране, знал, что эти стихи известны и в лицее, но все же неожиданное пылкое выступление Пушкина удивило и взволновало. Слушая выразительную декламацию, он чувствовал, что Пушкин не просто хорошо изучил стихи, а впитал их в себя, ему, видимо, по душе пришелся чуждый обычных поэтических условностей слог, каким стихи были написаны. Та же особенная восторженность, с какой стихи читались, свидетельствовала, как прельщала и манила Пушкина гусарская жизнь. Денису Васильевичу этот юноша становился все милей и ближе...

Жуковский, напротив, поведением Александра был недоволен. Ну, пристойно ли воспитанному юноше забираться без всякого стеснения на стулья и устраивать в дворцовой квартире какую-то казарму? А к тому же благонамеренного и тишайшего автора сладкозвучных и нежных стихов всегда коробил простонародный, казавшийся грубым и развязным язык давыдовской гусарщины. Василий Андреевич тихонько подошел к двери и незаметно сдвинул плотней тяжелые портьеры, на всякий случай...

А Пушкин, разгоряченный вином и стихами, явно расшаливался. Соскочив со стула, без всякой учтивости бросился на шею к Давыдову, объявил:

— Денис Васильевич, я иду в гусары! Это решено! Примите меня под свою команду!

— За мною дело не станет, дружок, но что скажут почтенные твои родители? — сдержанно ответил Давыдов. — Лицей, кажется, готовит вас не для военной службы...

— Что за ветреность такая, Александр? — сердитым тоном произнес Жуковский. — Не ты ли сам утверждал недавно, что служение музам предпочитаешь всякому иному занятию и навсегда останешься поэтом?

— А разве нельзя служить музам и вместе с тем быть гусаром? — задористо возразил Пушкин. — Вот вам первый пример — Денис Васильевич... А наш русский Буфлер — поэт и гусар Батюшков?

Довод был более чем убедителен, но Жуковский сдаваться не хотел.

— Не забудь, однако ж, и про Федора Глинку, — намекнул он, зная, как неодобрительно относится Александр к стихам этого офицера.

Пушкин, не раздумывая, легко и весело ответил неожиданным экспромтом:

...Я шлюсь на русского Буфлера
И на Дениса храбреца,
Но не на Глинку офицера,
Довольно плоского певца,
Не нужно мне его примера...

Давыдов громко рассмеялся. Что за дьявольский талант у этого бесенка!

На губах Жуковского тоже появилась невольная улыбка, но сейчас же и угасла. Василий Андреевич любил Пушкина, видел в нем надежду российской поэзии, именно поэтому испытывал в последнее время большое беспокойство за поведение Александра.

Сегодняшние шалости сами по себе были вполне извинительны, но они находились в прямой связи с другими более серьезными и опасными. Вероятно, под влиянием вольнолюбивых царскосельских гусар слишком быстро зрели у Александра враждебные существующему порядку мысли и стремления. Совсем недавно произошел такой случай. Сестра государя выходила замуж за принца Вильгельма Оранского. Старику поэту Нелединскому поручили в честь этого торжества сочинить куплеты, но он не справился и по совету Карамзина обратился к Пушкину. Польщенный просьбой известного поэта, Александр пишет куплеты, их кладут на музыку, с успехом исполняют во дворце. Императрица посылает в награду автору золотые часы. И что же? Александр, не желая иметь царского подарка, саркастически усмехается и демонстративно разбивает часы о каблук сапога. Хорошо, что удалось кое-как замять историю, однако можно ли после этого оставаться спокойным за дальнейшую судьбу молодого поэта?

Василий Андреевич, будучи уверен в том, что Давыдов, несомненно, осудит подобный поступок и, мо-

жет быть, они вместе хоть немного урезонят Александра, рассказал про этот случай.

Денис Васильевич встревожился:

— Как же так, Саша? Можно ли быть столь неблагоразумным? Если государь об этом узнал бы... Подумай-ка, чем такие вещи кончаются?

Пушкин стоял с опущенной головой, грыз по привычке ногти, неровно и прерывисто дышал.

Жуковский назидательно заметил:

— Ну что? Разве я не то же самое говорил тебе, Александр? Ты еще молод, чтоб осуждать веками установленные порядки и позволять себе якобинские выходки...

Пушкин приподнял голову. Его лицо странно изменилось, словно осунулось. В потемневших глазах какой-то холодный режущий блеск, и губы слегка дрожат. А голос тверд и решителен:

— Я ненавижу деспотизм и рабство. Я не рожден забавить царей... Я стыжусь лишь того, что написал придворные куплеты... Но это более никогда, никогда не повторится!

И, круто повернувшись, он быстро вышел из комнаты.

VIII

Нет, фортуна не собиралась покровительствовать Денису Васильевичу. Она нарочно обласкала его радужными надеждами, чтобы тем сильнее и чувствительнее был удар, который с необыкновенным коварством ею подготовлялся.

В Киев возвратился Давыдов 3 января 1817 года. Как и в прошлом году, первым встретил его Базиль. Однако на этот раз обычно открытое и оживленное лицо Базиля выражало явную растерянность, он почему-то смущался, отводил глаза в сторону.

Денис Васильевич сразу заподозрил недоброе.

— Что случилось, брат Василий? — спросил он, когда они вдвоем остались в кабинете.

Базиль ответил невнятно, сбивчиво:

— Не хочется говорить, Денис... Но ничего не

поделаешь, тебе надо пережить это... Елизавета Антоновна отказалась...

— То есть?.. Лиза отказалась... выйти за меня? — с трудом произнес Денис Васильевич, чувствуя, как бешено заколотилось сердце и волна горячей крови прихлынула к вискам.

Базиль взял его руку, сочувственно пожал.

— Ты все же не очень расстраивайся... Может быть, оно даже к лучшему, что ее легкомыслие обнаружилось сейчас, а не позднее.

— Какое легкомыслие? — прохрипел Денис. — Говори прямо. Я солдат, выдержу, не бойся!..

— Я в том смысле сказал... если она могла так быстро изменить свои чувства...

— Ну? И кто же мне предпочтен?

— Князь Петр Алексеевич Голицын.

— Как! Этот бонвиван? Ведь его из гвардии выписали за грязные делишки, и живет он как будто лишь на карты да на долги...

— Генерал Злотницкий к брату Николаю Николаевичу объясняться приходил. Сказывал, будто все ее родные против Голицына, но она и слышать более ни о ком не желает.

— Да, если так, уж тут ничего не поделаешь, — взлохмачивая густые волосы, отозвался чужим голосом Денис Васильевич и попросил: — Дай мне, брат, побыть одному, разобраться...

Закрывшись в кабинете, он бросился на диван, погрузился в тяжелые размышления.

Почему же так получается? В позапрошлом году, правда при других условиях, Саша Иванова предпочла ему балетмейстера, а теперь Лиза влюбляется в этого князька. Чем сумели покорить девиц эти молодцы? Если б они были богаты, выделялись умом, знаниями, а то ведь ровно ничего такого... В голове вертелось много доводов, но все они были слишком поверхностны, чтобы удовлетвориться ими. В глубине сознания зрело горькое, зато верное объяснение. Счастливые соперники обладали привлекательной наружностью, были красивы, а он, Денис Давыдов, этими качествами, необходимыми для успеха у жен-

щин, похвалиться не мог. Ему припомнилось, как однажды, гуляя с Лизой по киевским улицам, они повстречались с этим Голицыным, только что переведенным сюда из столицы. Высокий, стройный красавец, поравнявшись с ними и отдавая честь Давыдову, как старшему в чине, окинул их чуть ироническим, недоумевающим взглядом. В то время Денис Васильевич, занятый беседой с любимой девушкой, не обратил на это особого внимания, но теперь, вспоминая об этом, догадался, что означал тот взгляд. Да, это, несомненно, был взгляд избалованного легкими победами у женщин самоуверенного наглеца, взгляд, выражавший недоумение и сожаление по поводу того, что маленький некрасивый генерал подцепил красавицу.

Денис Васильевич почувствовал прилив бешенства, вскочил с дивана. Вызвать на дуэль, к барьеру! Однако, несколько остыв, от дуэльных мыслей отказался. В положении отвергнутого жениха самое лучшее держаться спокойно, не возбуждать лишних толков!

Денис Васильевич закурил трубку, наморщил лоб. Да, хочешь не хочешь, придется затаить и сердечную боль, и обиду, и ревность, постараться в шутливом тоне объяснить друзьям и знакомым разрыв со Злотницкой. А пожалованную по случаю предстоящей женитьбы аренду надо немедленно возвратить. Но что же написать государю? Тут опять нужно было подавлять самолюбие.

Денис Васильевич знал, что благодаря гусарским стихам в широких кругах за ним прочно установилась репутация лихого и бесшабашного гуляки, не склонного к семейной жизни, а поэтому известие о предстоящей его женитьбе многими было воспринято с недоверием.

Царь Александр Павлович тоже не очень-то верил. Об этом свидетельствовало письмо Волконского, сообщавшего, что аренда будет пожалована лишь «по событии ваших предположений». Но и после помолвки, подписав рескрипт об аренде, царь все-таки продолжал сомневаться.

Приняв Давыдова в Петербурге и выслушав слова благодарности, он, глядя на него в лорнет долгим, оценивающим взглядом, произнес с улыбкой:

— Стало быть, тебя в самом деле не страшат узы Гименея?

— Напротив, ваше величество, я с радостью связываю себя ими.

— И она, говорят, прелестна?

— Можем ли мы судить о достоинствах той, которую избирает наше сердце, государь?

— Прекрасно! И ты надеешься, что она составит твое счастье?

— Вполне уверен, государь!

Денис Васильевич уловил в голосе царя и нотки сомнения и какую-то скрытую иронию, но не обиделся. Сам-то он в предстоящей женитьбе не сомневался, какое ему дело до того, верят или не верят в нее другие!

Теперь же, когда помолвка была расторгнута и причины неудачи выяснены, разговор с царем представлялся совершенно в ином свете.

В оценивающем царском взгляде стояло почти то же самое выражение иронического недоумения, что и во взгляде Голицына. Царь, конечно, сомневался не столько в том, что он, Давыдов, решил изменить образ жизни и жениться, сколько в том, что за него шла, его могла любить молодая очаровательная девушка. И, оказалось, он был прав! И Денис Васильевич должен сам писать, что отвергнут невестой. О том, какое впечатление произведет его письмо во дворце, нетрудно было догадаться. «Я так и думал, господа, — не скрывая удовольствия, скажет царь окружающим лицам, — что предполагаемая женитьба Дениса Давыдова не осуществится... Ну, с какой стати, в самом деле, молодой очаровательной девушке связывать жизнь с таким невзрачным, ничем не примечательным мужчиной... Она посмеялась над ним — и прогнала!»

Унизительная сцена представилась с поразительной ясностью. Денис Васильевич схватился за голову, глухо застонал. Горько, горько! Но что же

делать?! Базиль прав, нужно пройти и через это! Отказ от аренды с объяснением причин на другой день был государю отправлен.

Вяземскому в письме среди других бытовых и служебных новостей, как бы между прочим, вставил он всего две неискренние строчки:

«...Что тебе про себя сказать? Я чуть-чуть не женился. Бог спас! И я теперь счастливее, нежели когда-нибудь был...»

В стихотворении же, посвященном неверной, он попытался объяснить свое положение в более шутливой манере:

Неужто думаете вы,
Что я слезами обливаюсь,
Как бешеный кричу: увы!
И от измены изменяюсь?
Я — тот же атеист в любви,
Как был и буду, уверяю;
И чем рвать волосы свои,
Я ваши — к вам же отсылаю.
А чтоб впоследствии не быть
Перед наследником в ответе,
Все ваши клятвы *век любить* —
Ему послал по эстафете.
Простите! Право, виноват!
Но если б знали, как я рад
Моей отставке благодатной!
Теперь спокойно ночи сплю,
Спокойно ем, спокойно пью
И посреди собратьи ратной
Вновь славу и вино пою.
Чем чахнуть от любви унылой,
Ах, что здоровей может быть,
Как подписать отставку милой
Или отставку получить!

Так укрывал он от посторонних глаз жестокую обиду и тяжелую тоску, давившие сердце.

Милый образ изменницы мучил его долго, сильно... Ночами, когда обострялась душевная боль и чувствительней всего бывало одиночество, он зажигал свечу, хватался за перо, и тогда рождались совсем иные поэтические строки:

...Я одинок, — как цвет степей,
Когда колеблемый грозой освирепелой,

Он клонится к земле главой осиротелой
И блекнет средь цветущих дней!
О боги, мне ль сносить измену надлежало!
Как я любил!.. — В те красные лета,
Когда к рассеянью все сердце увлекало,
Везде одна мечта,
Одно желание меня одушевляло,
Все чувство бытия лишь ей принадлежало!

В Киеве опять шумели и звенели веселые контракты, по-прежнему собиралась вечерами молодежь танцевать у Раевских, но Денису Васильевичу было не до развлечений.

Мысли постепенно сосредоточивались на другом. Надо служить, взяться по-настоящему за работу над военными сочинениями, привести в порядок вчерне готовую рукопись «Опыт партизанской войны». Вот что даст забвение!

Денис Васильевич заторопился в свою дивизию, решив, однако ж, заехать сначала домой повидаться с Сашенькой и Левушкой.

Мягкий, душевно отзывчивый Базиль, с которым так сроднился в последнее время, ехал вместе с ним. Базиль, произведенный в подполковники, переводился по собственной просьбе в Александрийский гусарский полк, входивший в состав бригады, которой командовал Денис Васильевич.

И вот спустя несколько дней, побывав в Москве, они катят на перекладных по старой Смоленской дороге. Погода морозная, солнечная, тихая. Искрится алмазами выпавший ночью легкий снежок. Привычной ровной рысью бегут лошади; поскрипывая полозьями, плавно скользит возок.

Базиль дремлет, уткнув лицо в широкий бобровый воротник. Денис Васильевич, приоткрыв дверцу, с любопытством глядит на проплывающие мимо заснеженные леса, поля и селения. Не прошло полных пяти лет, как он партизанил в этих местах. Здесь все тогда дышало опустошительной войной, дым пожарищ заволакивал небо, на месте иных деревень виднелись груды почерневших камней и кирпичей, всюду были разбросаны поломанные орудия, фуры, телеги и трупы в синих, чужеземных мундирах, над которыми

с беспокойным карканьем носились вороньи стаи. А сейчас ничто здесь о том времени не напоминало; в заново отстроенных селениях текла обычная мирная жизнь; струился легкий дымок из новых кирпичных труб, у оледенелых колодцев стояли и судачили бабы с ведрами, ребятишки шумно катались на салазках, и вряд ли кто-нибудь знал и вспоминал, что освобождению этих мест от чужеземцев помогал и он, Денис Давыдов.

Неожиданно внимание его привлекла показавшаяся несколько в стороне от дороги господская усадьба, полускрытая мелким березовым лесочком. Что-то знакомое было в архитектурных очертаниях строений. Или ему так показалось?

— Эй, любезный! — крикнул он ямщику. — Не знаешь, чье поместье вон там, за березнячком?

Ямщик придержал лошадей, повернулся. В покрасневших слезящихся от холодного ветра глазах будто мелькнула какая-то смешинка.

— Как не знать, коли сам я из соседней деревни, — ответил он. — Поротый барин тут хозяйствует.

— Как фамилия-то? — не разобрав фразы, переспросил Давыдов.

— Фамилия-то ему будет Масленников, а народ поротым барином прозывает, — охотно пояснил ямщик. — Как война была, он, вишь ты, с хранцами снюхался, а казаки наехали и постегали его малость...

«Вот оно что! — подумал Денис Васильевич. — Значит, Масленникову удалось избежать суда и он по-прежнему благоденствует... Любопытно бы сейчас завернуть к нему, посмотреть!»

Но мысль посетить поротого барина была мимолетной, она тут же и погасла. Стоит ли связываться с негодяем!

Денис Васильевич закрыл дверцу возка, запахнул шубу. Ямщик взмахнул кнутом, присвистнул:

— Эй вы, залетные!

Кони рванулись и понеслись, взметая снежную пыль. Знакомая усадьба скрылась.

А если б он все-таки туда заехал?

Масленников чувствовал созданную позорной экзекуцией двусмысленность своего положения. Судейские чиновники начатое следствие об измене за известную мзду прекратили, но отношения с окрестными помещиками и в особенности с крестьянами сделались необычайно сложными.

Помещики не считали возможным продолжать знакомство с человеком, составившим себе столь незавидную репутацию. Крестьяне перестали выказывать былую почтительность и покорность перед высеченным на их глазах барином, не скрывая при встрече с ним насмешливых взглядов.

Масленников жил в деревне безвыездно и одиноко. Он был вдов, сын служил в гвардии, дочь воспитывалась в одном из столичных пансионов. До войны алчный и жестокий Масленников лично управлял имением, выматывая из крестьян все силы, и не расставался с плетью, пуская ее в ход при всяком случае. Теперь от подобных методов волей-неволей пришлось отказаться. Крестьян нельзя раздражать, они могли позволить какое-нибудь самоуправство, а хуже того, могли возбудить снова дело об измене помещика, и кто знает, чем бы это кончилось?

Более других внушали опасение возвратившиеся домой ратники ополчения и партизаны. Они постоянно собирались вместе, о чем-то толковали, а коноводом у них по-прежнему был Терентий. При одном упоминании этого имени неутолимая злоба жгла сердце поротого барина, хорошо знавшего, кто сделал на него донос, привел в усадьбу казаков. Но страх, этот вечный спутник изменников и предателей, был сильнее злобы. Попробуй-ка тронуть ненавистного Терешку, тогда жди опять в гости Дениса Давыдова!

Масленников передал управление имением в руки бурмистра и приказчиков, а сам стал незаметно, осторожно действовать за их спинами, стараясь как можно реже встречаться с крестьянами.

Бывших партизан постепенно разъединили. Одних переселили в саратовскую захолустную господскую деревушку, других отпустили на оброчные работы.

А с Терентием у бурмистра разговор был особый.

— Барин приказал подправить усадебные постройки, — заявил бурмистр. — Мы тебя пока на месячину переведем, как всех дворовых, а там видно будет...

У Терентия захолонуло сердце. Безобидное на первый взгляд распоряжение ставило его в значительно худшие условия. Будучи превосходным штукатуром, маляром, мастером на все руки, находясь на оброке, он имел неплохие заработки, семья содержалась без нужды и горя. Превращение в дворового человека, по сути дела, лишало всяких заработков, он получал за работу только хлеб из барского амбара.

— Я бы вдвое против прежнего платить стал, кабы на оброке оставили, — попробовал предложить Терентий.

Бурмистр слушать не захотел.

— Того и в голове не держи, пока господских дел не справишь...

Терентий принялся за работу. Теплилась надежда: авось закончу здесь, и отпустят! В умелых руках дело спорилось. Как-то раз бурмистр не удержался от похвалы:

— Эка, брат, наградил тебя господь талантом!

Терентий вытер рукавом рубахи пот со лба, напомнил:

— Прошения моего насчет оброку не запамятуйте...

Бурмистр, разглаживая бородку, буркнул невнятное:

— Старайся, старайся! Нечего прежде времени...

Но старания оказались напрасными. Кончилась одна работа, подвалили другую. Время шло. Семья беднела, нищала. Просвета не было. Терентий понял, что попал в ловушку.

Поротый барин не делал ничего такого, что давало бы повод говорить о том, будто он мстит бывшему партизану за свой позор. Терентию не на что было жаловаться. Его не подвергали телесным наказаниям, не заставляли даже чрезмерно работать. Барин перевел из оброчных в дворовые? Но ведь это его законное господское право. Никто не посмеет заступиться за крепостного человека, если действия господина не

выходят за рамки определенных законом отношений с крепостными. А в этих рамках умещались тысячи всяких способов и возможностей для бесчеловечных, издевательских поступков господ.

Терентий не знал, какая еще гроза прогремит над ним, но чувствовал, что ее следует ожидать. И не обманулся.

Император Александр, возвратившись из-за границы, загорелся желанием устроить в стране хорошие дороги. Вся тяжесть этого дела пала на крепостное крестьянство. Сотни тысяч мужиков и баб были вынуждены взяться за изнурительный и бесплатный труд. При любой погоде, в жару, в дождь, в холод, полуголодные, нищенски одетые люди надрывались на земляных работах. Спали в придорожных канавах и шалашах, повально болели цингой и лихорадкой.

Всесильный Аракчеев приказывал губернаторам не щадить усилий для исполнения царского замысла. Полиция нагайками выгоняла народ из сел и деревень.

Всюду слышался ропот и распевались полные гнева и ненависти забористые частушки:

Аракчеев дворянин,
Аракчеев сукин сын
Всю Россию разорил,
Все дорожки перерыл...

Осенью шестнадцатого года Масленников тоже получил предписание о высылке людей на строительство дорог.

Крепкие мужские руки требовались для господских дел, поэтому партия отправляемых составлялась главным образом из стариков и женщин. Поротый барин, разумеется, припомнил при этом ненавистных людей, их родные были назначены на дорожную повинность прежде всех. Хворая жена Терентия не избежала этой участи.

А погода стояла ненастная, дули северные ветры, не прекращались обложные холодные дожди. Деревня глухо волновалась:

— Что же это, братцы, творят над нами?

— Каково в такую непогодь на дорогах-то?

— С бела света во сыру могилу нас сгоняют...

Но что же могли сделать крепостные? Дорожная повинность была введена царским правительством. Недавно один из губернаторов по случаю неурожая освободил от работы на дорогах несколько голодающих селений. Император, узнав об этом, распоряжение губернатора отменил и сказал сердито:

— Что они дома сосут, то могут сосать и на больших дорогах...

Жестокость не каралась, а поощрялась. Масленников знал об этом. Когда мужики пришли покорно просить, чтобы задержал до погоды отправку на дороги, поротый барин, ехидно сощурив белесые глазки и не скрывая торжествующего злорадства, отказал решительно:

— Думать о том не смейте! Не для меня, а для нашего дорогого отечества и государя императора трудиться будете!

Вскоре после этого страшное горе обрушилось на Терентия. Жена застудилась на дорогах и умерла, а зимой от занесенного в деревню дифтерита погибло двое детей.

Терентием овладело мрачное отчаяние. Все опостылело, работа валилась из рук, мысли были безрадостны. Он, не щадя жизни, защищал родину, втайне, подобно другим, мечтая о лучшей доле после изгнания чужеземцев, и вот как складывалась жизнь!

Он находился в полной власти негодяя помещика, тот творил над ним что хотел, и никто не мог изменить этого установленного царскими законами жестокого порядка.

Терентию припомнились встречи с Денисом Давыдовым, и, может быть, иногда пробуждалось желание повидаться с ним, рассказать про свою несчастную судьбу. Но где же его разыщешь? Да и будет ли толк от такого свидания? Терентий, во всяком случае, никаких планов на этот счет не строил.

Между тем Масленников как раз более всего и опасался, чтоб Терентий снова каким-нибудь образом не связался с Денисом Давыдовым. Теперь Терентий

лишился семьи, следовательно, никакой привязанности у него здесь не стало, приходилось особенно зорко следить за ним.

Масленников строго-настрого приказал бурмистру не спускать глаз с бывшего партизана и о всех замеченных за ним подозрительностях доносить незамедлительно. Бурмистр якобы на время поставил на квартиру к Терентию недавно прибывшего из саратовской деревни приказчика Гришку Цыгана. Но и эти меры показались недостаточными.

По соседству с Терентием жила солдатская вдова Фроська, разбитная, распутная бабенка, промышлявшая шинкарством, и знахарством, и чем бог пошлет. Масленников на грешки вдовы смотрел сквозь пальцы. Она знала все деревенские новости и не брезгала иной раз наушничать барину на односельчан, за что дважды ими была бита.

Масленников задумал женить на ней Терентия, полагая, что ловкая баба сумеет его взять в руки и никуда от себя не отпустит.

Бурмистр объявил господскую волю. Фроська с радостью согласилась. Терентий наотрез отказался.

Масленников велел привести ослушника, вышел к нему грозный.

— Ты почему не хочешь жениться, воле моей противничаешь?

Терентий поднял голову, тяжелый ненавидящий взгляд обжег барина.

— На этакое дело нужна моя воля, а не ваша...

Круглое, болезненно припухшее лицо Масленникова мгновенно покрылось темными пятнами. Он вскипел, забыл всякую осторожность:

— Что? Ты с кем говоришь, сукин сын? Я тебе покажу!.. Я тебя научу, бунтовщик проклятый!.. В Сибири сгною!

Терентий слушал господскую брань молча, стоял словно окаменелый, сузившиеся глаза были неподвижны, и только еле приметно дрожали побелевшие губы.

Масленникова это не предвещавшее ничего доброго спокойствие быстро отрезвило. Вспомнил, что

подливает масла в огонь! Вытер платком вспотевшую шею, переменил тон:

— Ну, ступай да хорошенько подумай... О тебе же забочусь.

Терентий, ничего более не сказав, ушел.

А на следующее утро прибежала в барскую усадьбу Фроська с известием, что ее объявленный жених ночью скрылся неизвестно куда, предварительно напоив вином до потери сознания приставленного к нему приказчика Гришку Цыгана.

В усадьбе поднялся переполох. Масленников неистовствовал. Сгоряча огрел плетью Фроську, выбил зубы у бурмистра. Гришку Цыгана повели на конюшню драть розгами. Посаженные на коней дворовые мужики поскакали по разным дорогам искать беглеца.

Но все это не успокоило поротого барина. Он долго еще в предчувствии недоброго метался по кабинету. Что-то будет, если доберется разбойник Терешка до грозного генерала Дениса Давыдова и сумеет его разжалобить? Ведь дело об измене замято не так уж крепко, Давыдов может сразу перечеркнуть все крючкотворные доводы подкупленных судейских чиновников.

Масленникова кидало в озноб от этих страшных мыслей. Он остановился у окна. Отсюда открывался прекрасный вид на окрестность, покрытую девственно чистым снежным покровом. За редким березнячком хорошо просматривалась большая дорога, а за нею начинались уходившие до самого горизонта непроглядные леса. Терентий лучше чем кто-нибудь знает все лесные тропы. Нечего думать, что дворовые мужики его найдут! А коли и найдут, так отпустят.

Масленников, злобно покусывая губы, перевел взгляд на дорогу. По ней мчалась почтовая тройка, заложенная в старинный господский возок. Слегка клубилась снежная пыль. Ямщик гнал лошадей, видимо стараясь угодить господам и получить на водку.

Масленников, конечно, не мог и догадываться, что это не кто иной, как сам грозный генерал спешил в свою дивизию.

IX

Служба в гусарской дивизии никакого удовлетворения Денису Васильевичу не доставила. Кипучая энергия не находила живого дела, куда бы ее можно было влить. Обязанности, заключавшиеся, по его ироническому замечанию, в том, чтобы как шорнику отвечать за ремешки и пряжечки и как берейтору за посадку гусар, вызывали отвращение.

Вяземскому он писал:

«...Если мы когда достойны сожаления, то, право, не в сражении, не в изнурительных походах, не в грязи бивуака, где чаще, нежели где-нибудь находили людей, которые нас понимают и чувствуют, но в так называемых непременных квартирах, то есть в совершенной ссылке. Каково положение провести лучшие дни своей жизни в разоренной деревне, окруженной болотами и лесами, в обществе невоспитанных и тяжелых дураков, не умеющих о другом говорить, как о ремонтах, продовольствии и на казне претензии! Я тебя уверяю, что не возьми я с собой книг несколько, пера, чернил и белой бумаги, я бы с ума сошел...»

Вторая гусарская дивизия, куда входили Ахтырский, Александрийский, Белорусский и Мариупольский полки, состояла, разумеется, не из одних дураков. В дивизии было немало и умных, превосходно образованных людей, живо интересовавшихся общественными и политическими делами. Новые веяния не обошли стороной гусар. Многие офицеры, особенно молодые, серьезно занимались самообразованием, пополняя свои военные знания, открыто возмущались аракчеевскими порядками, горячо обсуждали самые современные вопросы, мечтали о военных и гражданских преобразованиях.

Почему же Денис Васильевич не сблизился с этой гусарской средой?

Возможно, путь к сближению отчасти преграждался тем, что он сам после разрыва со Злотницкой, находясь в мизантропическом состоянии, избегал новых знакомств.

Базиль всячески старался развлекать его, но, к со-

жалению, побыл в дивизии недолго. Осложнилась болезнь, вызванная ранениями. Базиль взял долгосрочный отпуск, поехал лечиться в Карлсбад, а затем прочно осел в Каменке.

Однако, думается, главную причину общественной отчужденности Дениса Васильевича можно обнаружить в написанной им тогда «Песне старого гусара», вскоре снискавшей самую широкую известность.

Старый, коренной гусар, каким считал себя Денис Давыдов, не мог не заметить происшедших после Отечественной войны изменений в гусарской жизни, и то, что он заметил, ему не понравилось.

Воспетый им самим лихой рубака, ёра и забияка Бурцов представлялся как наилучший образец гусара. И возникавшие в памяти картины былого гусарского быта по-прежнему казались привлекательными.

На затылке кивера,
Доломаны до колена,
Сабли, ташки у бедра,
И диваном — кипа сена.

Трубки черные в зубах;
Все безмолвны, дым гуляет
На закрученных висках
И усы перебегает.

Ни полслова... Дым столбом...
Ни полслова... Все мертвецки
Пьют и, преклонясь челом,
Засыпают молодецки.

Но едва проглянет день,
Каждый по полю порхает;
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.

А нынешние гусары стали слишком важничать и умничать! Военный мундир для них, видимо, особой цены не имеет, многие щеголяют на вечерах в штатской одежде, бесконечно спорят по каждому поводу или с глубокомысленным видом обсуждают книжонки военного теоретика генерала Жомини.

Старый, коренной гусар смотрит на молодых жоминистов недоумевающими глазами, закручивает холеный черно-бурый ус и саркастически усмехается:

А теперь что вижу? — Страх!
И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!

Говорят: умней они...
Но что слышим от любого?
«Жомини да Жомини!»
А об водке — ни полслова! [7].

Так или иначе, прослужив в дивизии более года, Денис Васильевич новыми, интересными для него знакомствами не обзавелся, зато славно потрудился на литературном поприще. Написал большую половину «Дневника партизанских поисков», подготовил для печати особенно им ценимую книгу «Опыт партизанской войны». Время, проведенное в глухой деревне, даром не пропало.

19 февраля 1818 года Дениса Давыдова назначили начальником штаба седьмого пехотного корпуса, стоявшего тогда близ Киева.

Николай Николаевич Раевский высаживал цветы на клумбы, разбитые в небольшом садике за домом, выходившим сюда широкими ступенями небольшой открытой веранды.

Был конец апреля, теплый, солнечный. В полотняной рубашке, с открытой, начавшей сильно седеть головой, с темными капельками пота на загорелом лице, Раевский ничем не отличался от простого селянина. Опустив цветочную рассаду в подготовленную лунку, Раевский левой рукой бережно поддерживал хрупкое растеньице за верхние листочки, а правой быстро и легко присыпал корешок взрыхленной землей.

Младшая, любимая дочь, двенадцатилетняя смуглая, черноглазая вострушка Машенька, помогала отцу, поливала высадки из детской лейки.

Тут же в палисаднике находилась и Софья Алексеевна. Она сидела на скамейке с вязаньем в руках, прислушиваясь к оживленному разговору, который вели стоявшие несколько в стороне старшие ее доче-

ри Катенька, Елена и Соня с молодым красивым генералом. Крутой, без единой морщины лоб, светлые, немного выпуклые глаза и какая-то почти детская, застенчивая улыбка невольно располагали к генералу каждого. Большие черные глаза Катеньки Раевской не скрывали зарождавшегося нежного чувства.

Несколько месяцев назад этого генерала прислали из Петербурга в Киев на должность начальника штаба четвертого корпуса. Звали его Михаилом Федоровичем Орловым. И замечательным человеком был он не только по внешности.

Племянник екатерининского фаворита, превосходно образованный и разносторонне одаренный, Орлов служил в кавалергардах, а в 1813—1814 годах командовал, как и Денис Давыдов, отдельными отрядами авангардных войск. Император Александр взял его в свою свиту, поручил вести переговоры о капитуляции Парижа, после чего двадцатишестилетний Орлов был произведен в генералы.

Но царские милости Орлова не прельстили. Он открыто критиковал порочные привычки закоснелых феодалов и аракчеевские порядки в войсках, выступал с публичными вольнодумными речами, принял участие в составлении петиции царю от группы помещиков, считавших необходимой постепенную отмену крепостного права.

В наказание за это император Александр приказал отчислить Орлова из своей свиты, перевести в армию.

Представляясь Раевскому, как командиру корпуса, Михаил Федорович подробно поведал о причинах постигшей его опалы. Раевский, выслушав, пожал ему руку.

— Мне нет дела до того, что государь изволил прогневаться на вас, но ваши горячие, бескорыстные помыслы о благе отечества внушают мне самое глубокое уважение...

В семье Раевских опального молодого генерала приняли радушно, он всем пришелся по душе, и Софья Алексеевна втайне уже подумывала о том, какую прекрасную партию может составить себе Катенька.

Денис Васильевич, заехав проведать Раевских, сразу ощутил ту радостно-приподнятую и счастливую атмосферу, которая создается в дружных, согласных семьях появлением в доме нового, еще не успевшего раскрыть себя до конца, но безусловно интересного человека.

Дениса Васильевича встретили у Раевских, как обычно, по-родственному.

— Давненько тебя не видели, мой милый, — ласково говорил Раевский, вытирая платком руки и присаживаясь на скамейку. — Я, признаться, ожидал тебя на зимние контракты, а потом и ожидать перестал... Ну рассказывай, как живешь? Надолго ли к нам выбрался?

— Проездом, почтеннейший Николай Николаевич. Спешу в Балту по делам аренды, коя государем за мною оставлена...

Орлов, успевший расцеловаться со старым приятелем и стоявший рядом, заметил:

— Положим, друг Денис, быстро я тебя из Киева не выпущу, о том не помышляй!

— Нельзя, Михайла... Мне еще из Балты в Москву предстоит скакать. Сестра замуж выходить собралась.

— Да что вы говорите? — заинтересовалась Софья Алексеевна. — За кого же?

— За Бегичева Дмитрия Никитича, полковника Иркутского гусарского.

— Позволь, это же брат моего доброго друга Степана Бегичева! — подхватил Орлов. — Поздравляю, поздравляю! Люди они чудесные!

Беседа, завязавшаяся на темах домашних, вскоре приняла, однако, другое направление. В то время всюду особенно много говорили о военных поселениях, устройство которых новым тяжким бременем ложилось на крепостное крестьянство. Прежняя рекрутская повинность заменялась для поселенцев обязанностью поголовно нести военную службу. Вся их жизнь подчинялась суровой дисциплине, они не могли распоряжаться ни своим временем, ни своим трудом, не могли даже жениться без разрешения началь-

ства. Поселенцев заставляли отказываться от старых обычаев, принуждали жить под барабан, брить бороды, напяливать ненавистные узкие мундиры. За малейшую провинность их по распоряжению Аракчеева, ведавшего военными поселениями, подвергали жестоким истязаниям, засекали шпицрутенами.

Раевский и Давыдов не скрывали своего возмущения устройством военных поселений. Орлов, побывавший недавно в новгородских поселениях, негодовал более всех. Разумеется, в присутствии девиц Михаил Федорович мыслей своих не заострял, но как только генералам удалось остаться после обеда одним, он стал высказываться более прямо и резко:

— Военные поселения — одна из самых гнусных затей самовластья. Это новый, самый худший вид рабства! Я не могу без содроганья вспоминать о тех несчастных, кои отданы под власть Аракчеева.

— Можно представить, каково им живется. Аракчеев недаром пользуется в народе мрачной славой изверга, — отозвался Раевский. — Этот человек поистине является злым гением государя.

— Прошу прощенья, Николай Николаевич, — сдерживаясь, возразил Орлов, — однако ж, насколько мне известно, мысль о военных поселениях зародилась не у Аракчеева, а у государя... И когда в новгородских поселениях начались волнения, вызванные бесчеловечным отношением начальства, не кто иной, как государь Александр Павлович, посылая войска усмирять непокорных, изволил высказаться так: «От Петербурга до Чудова уложу дорогу трупами бунтующих, но военные поселения, как мною задуманы, так и будут». Военные поселения! Вот, господа, единственная царская награда русскому народу за беспримерный героизм двенадцатого года! — пылко воскликнул Орлов. — Угождая европейскому общественному мнению, царь дарует полякам конституцию, а наше отечество обрекается на рабство и невежество.

— Позвольте, Михаил Федорович, — перебивая, сказал Раевский, — а разве недавняя речь государя на открытии Варшавского сейма не подает надежд

и нам на некоторые улучшения в государственном устройстве?

— Никаких надежд, ваше высокопревосходительство, — уверенным тоном ответил Орлов. — Я хорошо знаю лицемерный характер государя. Обещание распространить конституционные учреждения в других, вверенных его попечению странах, сделано для успокоения легковерных... Зато никто не поручится, что государь не переведет на поселение все наши армейские войска.

— Как? Всю армию? — возмутился Денис Давыдов. — Ну, это уж слишком. Ежели так случится... Слуга покорный! Дня одного в войсках не останусь!

— Не горячитесь прежде времени, господа, — с обычной невозмутимостью произнес Раевский. — Надо полагать, до этого дело не дойдет, и, знаете, почему? — Николай Николаевич сделал паузу и улыбнулся. — Казнокрады не позволят... Нет, кроме шуток... Предполагалось, что содержание поселенцев будет обходиться казне дешевле, чем содержание регулярных войск, однако назначенные Аракчеевым поселенские начальники, отведав казенного пирога, оказались такими лакомками и хапугами, что в министерстве финансов схватились за голову.

— Случай небывалый! — рассмеялся Денис Давыдов. — Казнокрады и лихоимцы спасают нас от поселения! — И тут же, насупив густые брови, с легким вздохом добавил: — А все же грустно наблюдать, господа, как аракчеевские порядки возрождаются и в родимых наших войсках, как ряды начальства все более пополняются бездарными аракчеевцами, а боевые командиры заменяются не нюхавшими пороха фрунтоманами, полагающими, что шпицрутены и розги лучшее средство для воспитания солдатской доблести...

— Все это верно, Денис, — заметил Орлов, ласково полуобняв старого приятеля, — а потому всем, кто желает видеть в русском воине не забитого палками раба, а разумного боевого товарища, тоже надлежит не сидеть в бездействии... Не правда ли?

Денис Васильевич смутился. Он хорошо знал о политических убеждениях Орлова, знал, что Михаил Федорович вместе с Дмитриевым-Мамоновым занимался организацией тайного общества; в Петербурге в позапрошлом году Орлов даже давал ему читать тайно изданные на французском языке «Краткие наставления русскому рыцарю». И тогда же Денис Васильевич откровенно Орлову признался, что считает его благородный замысел практически неосуществимым, следовательно, бесполезным, а если так, то он, Давыдов, входить в такое общество не намерен, опасаясь, что за бесполезное действие придется слишком долго томиться в бездействии под замком... Зачем же теперь Орлов как будто вновь поднимает этот вопрос, да еще в присутствии Раевского?

И на казавшийся каверзным орловский вопрос ответил также вопросом:

— Не понимаю, Михайла, что же мы в состоянии противопоставить аракчеевщине?

— Мне кажется, мы можем, например, усилить попечение о нижних чинах, заняться их просвещением...

— Помилуйте! Как это можно! Я не видел в штабе своего корпуса ни одного подобного предписания...

— А зачем их ожидать, мой друг, коли знаешь, что дело хорошее, — неожиданно вмешавшись в разговор, сказал спокойно Раевский. — Вот мы с Михаилом Федоровичем без всяких предписаний кое-что тут предприняли... Надеюсь, вы, — обратился он к Орлову, — познакомите Дениса Васильевича с нашими учреждениями?

Давыдов от необычных и нежданных этих слов совершенно растерялся.

А Орлов, глядя на старого генерала веселыми глазами, отрапортовал:

— Сочту наиприятнейшим своим долгом, ваше высокопревосходительство!

...Деревянный казарменного вида дом, куда Орлов привел Дениса Давыдова, находился недалеко от корпусного штаба. Дом только что был отстроен, внутри не выветрился еще запах свежих стружек и краски.

Здесь, в чистых и светлых комнатах, сидели за столами мальчики разного возраста, но в одинаковых, солдатского покроя, форменных курточках с начищенными до блеска пуговицами. Это были солдатские дети, или кантонисты, как тогда их называли, собранные сюда Раевским и Орловым для обучения по особой системе. Занятия проводились без учителей. Кантонисты, разбитые на группы по десять — двенадцать человек, обучались сами, успевающие подтягивали отстающих. Наиболее способные выделялись как руководители групп. Главный наставник — молодой, белокурый и светлоглазый капитан давал лишь педагогические указания кантонистам-руководителям.

Денис Васильевич живо заинтересовался новой системой образования. Особенно понравилось ему, что ребята обладали хорошей военной выправкой и воспитывались явно в суворовском духе.

В одной из комнат, куда они зашли, проводился урок русского языка. Невысокий, худощавый кантонист, стоя у доски, наблюдал за товарищем, который старательно круглым почерком выводил мелом фразу: «Любовь к отечеству и ненависть к его врагам воспламеняют воина».

— А всем ли понятен смысл фразы, — спросил Денис Васильевич капитана-наставника, — или ребята лишь механически ее с доски переписывают?

— Мы прежде всего стараемся, чтоб ясен был смысл, — ответил капитан и, повернувшись к кантонистам, сидевшим за столами, спросил: — Кто может, ребята, объяснить, что такое отечество и кто его враги?

Тотчас же все ребята подняли руки. Сразу было видно, что вопрос никого не затрудняет.

— А знаете ли вы, ребята, — неожиданно для самого себя задал другой вопрос Давыдов, — кто такие были Суворов и Кутузов?

И опять дружно вымегнулись вверх руки. Денис Васильевич сделал шаг вперед.

— Вот ты нам скажи, — обратился он к сидевшему в первом ряду белобрысому со смышлеными серыми глазами крепышу подростку.

Тот поднялся, ответил спокойно, четко:

— Суворов и Кутузов были великие полководцы, защищавшие от чужеземцев отечество, коим именуется наша родная русская земля.

— Хорошо, — похвалил Давыдов. — А чем Суворов и Кутузов отличались от других полководцев?

Крепыш на несколько секунд задумался, шмыгнул носом, потом, смело взглянув на генерала, проговорил уверенно:

— Они любили своих солдат.

Когда осмотр школы был окончен, Михаил Федорович Орлов пояснил:

— Система взаимного обучения придумана английским квакером Иосифом Ланкастером, посему и называется ланкастерской... Она удобна тем, что позволяет быстро обучать людей грамоте и широко распространять просвещение, столь необходимое войскам и народу. И обходится такое обучение значительно дешевле, чем обычное.

— Я понимаю, но все же какие-то средства требуются? — спросил Денис Васильевич.

— Видишь ли, как обстоит дело. Ребята, коих ты здесь видел, находились в большинстве на содержании местного военно-сиротского отделения, располагающего известными средствами, хотя, надо сказать, средства эти до сей поры больше расхищались интендантскими чиновниками, нежели расходовались по назначению. Мы законным образом приняли военно-сиротское отделение в свое ведение, следовательно, забрали и принадлежащие оному средства. Затем выгадываем немного из корпусных хозяйственных сумм, ну, и, конечно, нам с Николаем Николаевичем приходится кое-что добавлять своими. Ведь количество наших питомцев непрерывно растет, нам присылают солдатских сирот из других городов, а, кроме того, мы создаем еще и солдатскую школу взаимного обучения.

— Ну, за это уж высшее начальство, наверное, по головке не погладит, — заметил Денис Васильевич.

— Надо полагать, — усмехнувшись краешком губ, ответил Орлов. — Но, знаешь, как говорится: пока

солнце взойдет — роса очи выест... Ты представь себе важность этого дела! — воодушевляясь, продолжил Орлов. — Если в других корпусах последуют нашему примеру, то в каких-нибудь два-три года в армии появится не менее десяти тысяч вполне грамотных, сильных духом суворовских солдат, кои, в свою очередь, будут просвещать товарищей... Подумай!

— Заманчиво, заманчиво, что и говорить! — согласился Денис Васильевич. — Я, как тебе известно, политик плохой и до отвлеченных твоих химер не очень-то большой охотник, но школа твоя, признаюсь, меня восхищает! Тут, брат, дело живое, стоящее... И что бы там ни случилось — вот тебе моя рука, Михайла, я в стороне от такого дела не останусь!

— А я в этом и не сомневался, Денис, — улыбнулся Орлов, крепко сжимая руку друга.

X

Летом войска седьмого пехотного корпуса неожиданно были переведены на юг. Корпусная квартира, находившаяся в Умани, перемещалась в Херсон. Денису Давыдову ехать туда никак не хотелось. Еще бы! От Умани до Киева и до Каменки рукой подать, он имел возможность часто навещать и Раевских, и Михайлу Орлова, и Базиля, и, наконец, ветреную свою кузину Аглаю, гостившую этим летом в Каменке.

Встреча с ней всколыхнула заглохшее чувство. Аглая по-прежнему была очаровательна, кокетлива и удивительного своего легкомыслия с годами не утратила. Давыдов, правда, пылкой влюбленности в нее уже не испытывал, ревностью, как раньше, не терзался, характер кузины был ему слишком известен, а все же в отношениях с Аглаей было немало и нежности и романтики.

Вяземскому, служившему в Варшаве, он писал из Умани в конце июля:

«...Тебя тревожат воспоминания! Но если ты посреди какой бы то ни было столицы вздыхаешь

о предметах твоей дружбы, то каково мне будет в Херсоне, где степь да небо? Каково мне, удаленному от женщины, которую люблю так давно и с каждым днем более и более и которую с намерением увлекают вовсе в противную сторону той, где я осужден убивать не последние уже года, но последние дни истинной жизни? Я надеялся до отъезда ея сколько-нибудь утешить сердце на берегах Рейна *, но перемещение нашей корпусной квартиры разрушает и эту надежду. Впрочем, хотя я Орлова очень и очень люблю, но, правду сказать, несчастие мое не подвластно его утешениям; надо человека, которого бы сердце отвечало моему, а Орлов слишком занят отвлеченною своей химерою, чтобы понять меня. Ты один, точно один для меня, которому я могу открывать все чувства мои, не опасаясь сухой математической улыбки. Что бы я дал быть бесчувственным или по крайней мере затушить заблуждениями ума заблуждения сердца! Этот проклятый романический мой характер и мучит, и бесит меня. Я думаю, что, удрученный годами, в серебряных локонах, я буду тот же, — более:

Когда я лягу на одр смерти, и
Тогда на дни мои, протекшие при ней,
Я обращу еще мой взор слезами полной,
Еще в последний раз вздохну о них невольно,
Невольно постыжусь я слабости своей...
Но в гроб снесу печаль утраты милых дней...»

Однако ни в этом, ни в последующих письмах к Вяземскому он ни о своих общественно-политических взглядах, ни об увлечении ланкастерскими школами ни словом не обмолвился, зато фальшивых, напыщенных фраз о преданности царю вставлять не забывал. Объяснялось это просто. Вяземский в то время открыто либеральничал, критиковал действия правительства и мог, при излишней болтливости, предать гласности то, чего Денис Давыдов, наученный горьким опытом, предпочитал не оглашать. Не исключалось и предположение, что корреспонденция Вяземского просматривается полицией.

---

* *Рейн* — арзамасское прозвище Михаила Орлова.

Так или иначе, но именно в то самое время, когда Денис Васильевич в письмах к Вяземскому жалуется на свой романический характер и скуку, он весьма энергично занимается подготовкой ланкастерского обучения в своем корпусе.

«Я видел несколько раз военно-сиротское отделение в Киеве, преобразованное Орловым, — видел и восхищался! — сообщает он Закревскому. — А так как корпусная наша квартира переходит в Херсон, где такое же отделение, то я хочу им заняться, на что требую от тебя разрешение, таким образом, чтобы комендант не мог мне делать преград».

Закревский и на этот раз помог. Разрешение было прислано. Херсонский комендант преград чинить не стал. Денис Васильевич принял военно-сиротское отделение, быстро подыскал помещение под школу, обзавелся хорошим помощником в лице инженерного офицера Воронецкого, но... сразу остро стал вопрос о средствах. Принадлежащие отделению деньги интендантские чиновники выдать категорически отказались.

— Помилуйте, господа! — пробовал урезонить их Денис Васильевич. — Наша школа будет обучать и воспитывать ваших питомцев.

— Пожалуйста, мы не возражаем, если у вас имеется разрешение, — отвечали чиновники, — но о выдаче на сей предмет средств там ни слова не сказано...

Делать нечего, пришлось опять обращаться за помощью к Закревскому.

«...Сверх введения методы взаимного обучения (или ланкастерской), — писал 14 октября 1818 года из Херсона Денис Давыдов, — я бы хотел, чтобы воспитанников кормили лучше, чтобы как они сами, так и казармы, и учебные залы были как стекло, но на все это надо деньги, и на употребление 13 769 рублей суммы, принадлежащей сему отделению, нужно от тебя разрешение, или по крайней мере позволение мне заимствовать из нее нужное количество денег, ибо если на первое ты не имеешь права и на употребление ее не воспоследует высшего разрешения, то

я по образовании всего могу внести свои собственные деньги. Привыкши спать на бурке с седлом в изголовье, мне много не нужно!»[8].

Закревский уведомил, что деньги военно-сиротского отделения будут выданы, однако следует иметь в виду, что высшее начальство стало смотреть на ланкастерские школы косо, ассигнования на следующий год всем сильно урезаются. Закревский советовал старому другу приехать в столицу, чтоб хлопотать о средствах, обещая свою всемерную помощь.

Ехать было необходимо! Воронецкий, назначенный начальником школы, принял уже свыше ста кантонистов, и ожидалось дальнейшее быстрое пополнение.

Денис Васильевич снова отправился в далекий путь, но, заехав по дороге в Москву, был задержан здесь непредвиденными обстоятельствами.

Среди других многочисленных московских семейств, связанных давней дружбой с Бегичевыми, было семейство покойного генерала Николая Александровича Чиркова. Генерал храбро воевал в суворовских войсках, отличился при взятии Очакова, за что получил георгиевский крест. Выйдя же в отставку, оказался большим хлопотуном и стяжателем. Жене и двум дочерям он оставил порядочное наследство. Вдова генерала Елизавета Петровна, выдав замуж старшую дочь, проживала в собственном доме на Арбате с младшей любимой дочкой Соней, воспитанной в строгих старинных правилах.

Будучи весной в Москве на свадьбе сестры Сашеньки, Денис Васильевич познакомился с Соней Чирковой, но эта спокойная, полная, вышедшая из поры нежной молодости блондинка с голубыми, как ему показалось, неласковыми глазами, не оставила особого впечатления.

— К ней и прикоснуться страшно, честное слово! — шутя сказал он сестре. — Чопорная какая-то!

— Ты уж придумаешь, — возразила Сашенька, — а по-моему, Соня очень славная, умная девушка...

Денис Васильевич молча пожал плечами. Разговор на эту тему не возобновлялся.

Теперь же, приехав проведать молодых Бегичевых, живших в прекрасно отделанном особняке на Старо-Конюшенной, он вновь встретился здесь с Соней. На этот раз, может быть потому, что лицо девушки оживилось при встрече с ним вспыхнувшим румянцем и радостным блеском внезапно потеплевших голубых глаз, она показалась ему более привлекательной, чем прежде.

«Кажется, я в самом деле не очень-то хорошо разглядел ее прошлый раз», — подумал Денис Васильевич, с удовольствием пожимая протянутую приветливо пухлую ручку и догадываясь, что он для девушки не совсем безразличен.

А потом, познакомившись с Соней покороче, он обнаружил и много симпатичных черт в ее характере. Соня жила с открытой душой, не умела ни лгать, ни притворяться, ей чужды были многие светские условности, все ее слова и поступки дышали неподдельной простотой. Денису Васильевичу с каждой новой встречей она нравилась все больше.

Дмитрий Никитич Бегичев, знавший Соню с детских лет, и Сашенька, успевшая подружиться с ней, заметив, что отношение Дениса к девушке изменилось в лучшую сторону, обрадовались несказанно. Между собой они не раз говорили, что для Дениса лучшей жены, чем Соня, не нужно искать.

И при первом удобном случае Сашенька со свойственной ей решительностью приступила к делу.

— Не понимаю, Денис, почему бы тебе не посвататься за Соню? — сказала она брату. — Чем, в самом деле, она тебе не пара?

— Соня и скромница, каких мало, и хозяйка хорошая, и не бесприданница, — продолжил Дмитрий Никитич. — Покойный родитель за ней приволжскую свою деревню отписал да, если не ошибаюсь, идет за ней как будто, — он поднял значительно палец, — и винокуренный завод в Оренбургской губернии...

— Да что ты говоришь! Винокуренный завод! — рассмеялся Денис Васильевич. — Ну, против такого соблазна, верно, ни одному гусару не устоять... Сватайте, я готов!

— Не дурачься, пожалуйста, — обидчиво сказала Сашенька. — Мы с Митей говорим с тобой серьезно...

— Ей-богу, я не дурачусь, — обнимая сестру, произнес Денис Васильевич. — Просто смешно стало, с какой чувствительностью Митя винокуренный завод помянул... А Соня мне, признаюсь, по душе, ежели сосватать поможете — я вам в ножки поклонюсь! Прошу лишь об одном, — добавил он, вспомнив печальный опыт прошлого сватовства, — чтоб, кроме вас, ни одна живая душа прежде времени об этом не ведала... Мало ли еще как дело повернуться может!

— Положим, особых препятствий я не предвижу, — отозвался уверенно Дмитрий Никитич. — Соня к тебе расположена, это нам хорошо известно, а старуха Елизавета Петровна сама не раз меня просила, чтоб жениха для Сонюшки искал...

Однако через некоторое время уверенность Дмитрия Никитича сильно поколебалась. Предложение было сделано. Елизавета Петровна поблагодарила, обещала подумать, и... на этом сватовство остановилось. Шли дни, ответ по неизвестным причинам задерживался. Соня у Бегичевых бывать перестала. В доме Чирковых, очевидно, что-то приключилось.

Дмитрий Никитич не выдержал, направился туда сам и возвратился совершенно расстроенный. Оказалось, «добрые люди», которые всегда находятся при таких обстоятельствах, успели нашептать старухе матери, что Денис Давыдов человек развратного образа жизни, гуляка, пьяница, безбожник и якобинец. В доказательство представили наиболее залихватские его гусарские послания.

— Ну и сам можешь представить, что теперь там творится, — сообщив шурину неприятную историю, заключил Дмитрий Никитич. — Старуха запретила дочери и думать о тебе, никаких резонов в толк не желает брать. Соня плачет, не знает, что делать... В общем черт голову сломит!

— Да, брат Дмитрий, — вздохнул Денис Васильевич, — по всему видно, напрасно мы это сватовство затеяли... Я, признаться, к щелчкам до того привык, что иного и не ожидал!

— Полно, полно, Денис, не отчаивайся... Дай срок, придумаем что-нибудь!

— Ничего не выйдет! Таков уж мой печальный жребий! — махнув рукой, с горькой усмешкой произнес Денис Васильевич.

И на другой день, полный самых мрачных раздумий о своей судьбе, выехал в Петербург.

XI

Страсбургский пирог, посланный Вяземским из Варшавы в адрес его превосходительства директора департамента духовных дел Александра Ивановича Тургенева, был доставлен в полной сохранности. Вяземский знал, чем угодить старому дружку. Александр Иванович обожал страсбургские пироги и даже при воспоминании о них неизменно причмокивал полными губами.

Вместе с тем, будучи человеком отменной доброты, Александр Иванович обычно старался попотчевать любимыми яствами и своих приятелей.

18 декабря 1818 года он уведомил Вяземского:

«Я получил пирог в целости и на сих днях разделяю его с арзамасцами, между которыми и Денис Давыдов».[9]

Александр Иванович и младший его брат Николай, служивший в министерстве финансов, занимали квартиру в большом трехэтажном каменном доме на Фонтанке. Превосходно образованные, поражавшие всех разнообразными знаниями, всегда любезные и общительные братья Тургеневы, несмотря на высокое служебное положение, принадлежали к тому дворянскому кругу, где жадно интересовались всеми общественными и политическими событиями, и в противовес закоснелым староверам не боялись высказывать вольнодумные мысли. Братья, оба холостяки, жили в редком душевном согласии, хотя их взгляды и мнения нередко расходились. Александр Иванович не переступал границ самого умеренного либерализма, а Николай являлся одним из первых членов тайного

общества, ярым противником деспотического самовластья и крепостного права.

В литературном обществе «Арзамас» братья Тургеневы тоже стояли на разных позициях. Александр, как и Жуковский и большинство других арзамасцев, полагал, что их деятельность должна ограничиваться невинным удовольствием осмеивать «губителей российского слова», как называл Александр Пушкин бездарных мракобесов литераторов, входивших в созданную реакционером Шишковым «Беседу любителей русского слова». Николай Тургенев, как и его друг Михаил Орлов, призывал арзамасцев перейти от шуток и забав к серьезному делу, издавать журнал, печатать политические статьи, пропагандировать идеи свободы.

Предложения Орлова и Николая Тургенева большинством арзамасцев были отвергнуты, однако начавшийся в связи с этим раскол не прекращался, а усиливался. Новые члены общества, молодые вольнодумцы, такие, как Александр Пушкин, получивший в «Арзамасе» прозвище «Сверчок», и Никита Муравьев, прозванный «Адельстаном», выступая на арзамасских собраниях, все чаще затевали горячие споры на политические темы, резко осуждали самодержавие и крепостнические порядки, выказывая себя сторонниками Николая Тургенева.

Денис Давыдов, слышавший краем уха о том, что происходит у арзамасцев, приглашение Александра Тургенева на пирог принял особенно охотно.

Денис Давыдов находился в Петербурге уже несколько дней. Закревский оказался прав: высшее начальство на ланкастерские школы смотрело косо.

— Это ненужное баловство, чреватое пагубными последствиями, — говорили угрюмые генералы в военном министерстве. — Для солдатских детей лучшей школой являются военные поселения...

Зато знакомые гвардейцы и офицеры генерального штаба относились к хлопотам Давыдова о средствах для Херсонской ланкастерской школы с полным сочувствием. Брат зятя кавалергард Степан Бегичев предложил даже в случае отказа высшего начальст-

ва собрать необходимую для школы сумму по подписке среди гвардейцев. Приятель Бегичева, образованный и умный капитан гвардейского генерального штаба Иван Григорьевич Бурцов, пожимая руку Дениса Васильевича, сказал с чувством:

— В нынешних обстоятельствах распространение грамотности и просвещения есть наилучший способ служения отечеству... Меня восхищает ваш благородный поступок!

Столь различное, прямо противоположное мнение о ланкастерском обучении невольно наталкивало на мысль, что не только среди арзамасцев, но и всюду происходит какой-то очень серьезный процесс разделения людей на два враждебных лагеря. В одном были староверы, защитники самовластья, косности и невежества, а в другом... какие силы стягивались в этом лагере, какова их готовность к действию?

Давыдов хорошо знал о недовольстве существующим порядком вещей во всех слоях общества, он сам принадлежал к числу недовольных, но какова действенная сила этого недовольства? Он знал, что всюду идут бесконечные прения, слышал, будто уже создано где-то тайное общество, ставящее целью замену самодержавия конституционным правлением, однако большого значения этому не придавал, считая мечты и замыслы вольнодумцев «отвлеченными химерами», о чем не раз и говорил своим друзьям.

Такое скептическое отношение создалось у Давыдова потому, что ему, как очень немногим, было известно, чем двадцать лет назад кончились мечты и замыслы вольнодумцев, объединенных в тайное общество Александром Михайловичем Каховским. Слова Ермолова, сказанные перед отъездом на Кавказ, не выходили из головы.

Но, может быть, теперь действенная сила недовольства была более мощной и все складывалось иначе, чем тогда?

Этот заданный самому себе вопрос начинал чувствительно беспокоить. Приглашение Александра Ивановича пришлось кстати. Где же, как не у Турге-

невых, послушать умных людей и узнать кое-какие интересующие подробности?

К дому на Фонтанке, где жили Тургеневы, Давыдов подъехал поздно вечером, когда всюду весело светились огни. Лишь окруженная рвами каменная громада Михайловского замка, стоявшего как раз против тургеневского дома, не освещалась ни единым огоньком. Порой скользивший меж облаков месяц робко заглядывал в темные впадины окон, и тогда безлюдный замок казался особенно зловещим, невольно напоминая о кровавой драме, разыгравшейся здесь восемнадцать лет назад *.

Какой-то человек в шубе нараспашку стоял близ парадных дверей тургеневского дома и, опершись на палку, подняв голову вверх, молча созерцал пустынную и мрачную громаду.

Давыдов, обладавший зоркими глазами, определил безошибочно:

— Пушкин!

Александр, признав знакомый голос, поспешил навстречу:

— Денис Васильевич! Как я рад, право! Мне уже говорили, что вы будете сегодня у Тургеневых...

За два года Пушкин сильно изменился, повзрослел, отрастил бакенбарды, но по-прежнему порывисты были его движения, юношески звонка быстрая речь, полны жизни и чувства прекрасные глаза.

— А тебя, видно, опять вдохновляет «преступный памятник тирана, забвенью брошенный дворец»? — обнимая молодого поэта и цитируя строки из его оды «Вольность», сказал Давыдов.

Пушкин чуть-чуть смутился. В прошлом году, будучи у Тургеневых и глядя из окон квартиры на Михайловский замок, он создал эту вдохновенную оду, одно из самых мятежных своих творений, гневно и страстно обличавшее самодержавный деспотизм.

Увы! Куда ни брошу взор,
Везде мечи, везде железы,
Законов гибельный позор,

* В этом замке был убит заговорщиками император Павел.

Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.

Пушкин знал, что стихи эти в тысячах списков распространяются по всей России, и не было ничего удивительного в том, что Денис Васильевич их прочитал, но каково его отношение к произведениям подобного рода? Все-таки он теперь генерал, а не лихой забулдыга гусар.

И Пушкин, в свою очередь, спросил с хитринкой:

— А правда, ваше превосходительство, недурные строки есть в моей оде?

Они вошли в подъезд, стали медленно подниматься наверх по широкой лестнице. Денис Васильевич взял Александра под руку, душевно и мягко ответил по-французски:

— Я был в твоих летах, милый Саша, когда за более невинные строки меня выслали из столицы, и до сей поры при любом случае продолжают преследовать... Память тиранов зла и долговечна! Будь осторожен! Я говорю об этом потому, что сердечно люблю тебя.

— Я не сомневаюсь в ваших добрых чувствах, Денис Васильевич, — признательно и взволнованно отозвался Пушкин.

— Ну, стало быть, ты не будешь сомневаться и в том, что я не переубеждать тебя хочу, а только по-братски предостеречь. Что же касается моего мнения... Ода сия по силе чувств и пламенности языка может почитаться совершенным твоим шедевром.

— Вот странно! — заметил Пушкин, — А Вяземский считает моим шедевром послание к Жуковскому!

— Я знаю. Вяземский весной писал мне о том, я не согласился. По моему разумению, это послание не принадлежит к лучшим твоим стихам... Мне непонятны там первые четыре строки... И весь конец кажется слабым, словно не тобой, а дядюшкой Василием Львовичем писан, слышу напев его...

Пушкин высоко ценил оригинальный поэтический

талант Дениса Давыдова и критические его замечания, резко расходившиеся с восторженной оценкой Жуковского и Вяземского, выслушал внимательно. Да, первые четыре строки в самом деле плохи... Пушкин мысленно тут же от них отказался и, слегка изменив второе четверостишие, радостно улыбнулся.

— Верно, верно! Первые строки не нужны, начнем сразу так:

Когда к мечтательному миру
Летя возвышенной душой,
Ты держишь на коленях лиру
Нетерпеливою рукой...

— А конец я тоже сокращу, — добавил он, — не хочу ничем на дядюшку походить! [10]

У Тургеневых в тот вечер было особенно многолюдно. В просторной столовой собрались почти все проживавшие в столице арзамасцы. Тут были и Жуковский, и Никита Муравьев, и остроумный Блудов, и женоподобный злой Вигель. Пришли и не состоявшие в литературном обществе приятели младшего Тургенева: подвижной и всезнающий адъютант Петербургского генерал-губернатора Милорадовича известный литератор Федор Глинка и высоколобый, с пухлыми белыми щеками и серыми пытливыми глазами ротмистр Петр Чаадаев, умница и философ, успевший окончить Московский университет. Пушкин, еще с лицейских пор друживший с Чаадаевым, тотчас же к нему подсел и весь вечер с ним не разлучался.

Беседа вначале была общей. Жуковский и Блудов издевались над бездарными литераторами-шишковистами. Александр Иванович Тургенев, успевший справиться с изрядным куском пирога, откинулся в кресле и, прикрыв плечи клетчатым английским пледом, благодушествовал, потешая всех забавными анекдотами.

Денис Васильевич увлекся разговором с Никитой Муравьевым. Они познакомились недавно у Степана Бегичева. Муравьеву было всего двадцать два года, но этот молодой статный гвардеец с тонкими чертами лица, мягкими волнистыми волосами и глазами

мечтателя слыл одним из умнейших, образованнейших офицеров. Дениса Васильевича более всего привлекали высказывания Муравьева о необходимости создания исторической литературы.

— Муза истории дремлет в нашем отечестве, — говорил Никита. — Россия имела Румянцевых, Суворовых, Кутузовых, но славные дела их никем надлежащим образом не описаны... Горестно сознавать, что юные воины, лишенные отечественных сих пособий, должны пользоваться примерами других народов...

— И без возражений выслушивать пасквили чужеземных историков и писателей, — подхватил Денис Васильевич. — Литература наша доселе скудна описаниями жизни людей, коими Россия вправе гордиться...

— Совершенно справедливо! — вмешался в разговор Федор Глинка. — Великие деяния, рассыпанные в летописях отечественных, блестят, как богатейшие восточные перлы на дне глубоких морей. Стоит только собрать и сблизить их, чтоб составить для России ожерелье славы, коему подобное едва ли имели Греция и Рим! Тогда, конечно, взыграет дух юного россиянина, — с пафосом заключил он, — при воззрении на великие доблести и воинскую славу предков!

Николай Тургенев, с любопытством прислушивавшийся к этому разговору, неожиданно вздохнув, заметил:

— Все это так, друзья мои, я согласен с вами, но не забудьте, пока существуют у нас самовластье и рабство, народ обречен коснеть в невежестве... Литература же историческая, как и всякая иная, нужна не безграмотным рабам, а свободным и просвещенным гражданам.

— Позвольте, Николай Иванович, — блеснув злыми глазками, перебил его Вигель. — Насколько я могу судить, вы желали бы первей всего изменить правление и уничтожить древнее право дворянства владеть мужиками. Так ли я вас понял?

В умных строгих глазах Тургенева вспыхнула гневная искорка и тут же погасла.

— Владение мужиками никогда не может быть

правом, Филипп Филиппович, — сдержанно ответил он. — А своего желания я ни от кого не скрываю... Могу ли я без сердечной горечи видеть то, что я всего более люблю и уважаю, — страну свою, русский народ в рабстве и унижении?

Последняя фраза произнесена была с таким чувством, что взоры всех невольно обратились на Николая Тургенева.

А он тихо, с большим внутренним жаром продолжал говорить об ужасном состоянии крепостного крестьянства. Возвратясь недавно из поездки в Симбирскую губернию, он приводил живые примеры жестокого, бесчеловечного произвола помещиков. Многие заставляют своих крепостных работать на барщине по пять дней в неделю. Всюду нищета, всюду стоны. Торговля людьми — обычное явление. Да что говорить о других помещиках! Собственный дядя, считавший себя гуманным человеком, не стыдится продавать девок в чужие селения!

— Мне постоянно, — продолжал с душевной болью Николай Иванович, — вспоминаются слова Радищева: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала...» Да, господа, я теперь более, нежели когда-либо, ненавижу всю гнусность рабства... У меня беспрестанно в голове наша деревня, участь крестьянства и печальное положение России. Меня гнетет мысль, что нам долго еще жить под деспотизмом и я при жизни не увижу мое отечество свободным.

Тургенев замолк, грустно склонив голову. Вигель, беспокойно повернувшись в кресле, опять, не утерпев, вставил:

— Однако ж позвольте вам напомнить, не все придерживаются ваших взглядов и не все видят благо в желательных для вас переменах...

— Что и говорить! Аракчееву, наверное, перемены не нужны! — сверкнув глазами, крикнул возбужденно Пушкин.

— Но каждый истинный сын отечества, — поддержал его Чаадаев, — никогда не перестанет помышлять о лучшем его устройстве!

— Нельзя терпеть, — вмешался пылко Никита Муравьев, — чтоб произвол одного человека был основанием правления. Нельзя, чтобы все права были на одной стороне, а все обязанности на другой.

В столовой сразу завязался шумный, горячий, острый спор.

В те дни ожидали с часу на час возвращения в столицу с Аахенского конгресса императора Александра. Никто еще не знал о решениях этого реакционного конгресса, зато многим была памятна варшавская речь императора, обещавшего ввести в своей стране конституционное устройство. Может быть, теперь, возвратясь из долгой поездки, царь сдержит свое слово? Умеренные арзамасцы, пытаясь утишить страсти, попробовали привести этот довод и лишь подлили масла в огонь. Молодые вольнодумцы в благие намерения царя давно не верили.

— Бессмысленные надежды! Пустые мечтания!

— Никогда того не бывало, чтоб цари сами отказывались от своих прав!

Пушкин с пылающим лицом вскочил со своего места, поднял руку:

— Господа! Я прочитаю вам последние мои стихи... Мой «Ноэль»...

И, сделав короткую паузу, выждав, пока немного затих шум, взволнованно, певучим голосом начал:

Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот,
Спаситель горько плачет,
А с ним и весь народ...

Насмешливые, злые стихи как нельзя лучше показывали отношение молодого автора к кочующему по европейским землям царю и его обещаниям.

И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам по доброй воле, —

вещает, возвратясь домой, самодовольный, лицемерный деспот, но в это время

От радости в постеле
Распрыгалось дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! Закрой свои ты глазки;
Уснуть уж время наконец,
Ну, слушай же, как царь-отец
Рассказывает сказки...»

Денис Васильевич, с глубоким вниманием наблюдавший за всем, что происходило у Тургеневых, мог составить довольно верное представление о настроениях, царивших среди наиболее просвещенной части столичного общества. Да, недовольство существующим порядком было сильное. И со многим, что слышал, можно согласиться. Самодержавная власть слишком грубо попирает права людей. Царь же своих обещаний никогда не выполняет, Пушкин прекрасно это выразил: царь-отец рассказывает сказки! Но что же будет дальше? Разразится ли гроза, или все ограничится сверканием зарниц и легким громыханьем? Денис Васильевич долго размышлял об этом...

Он видел в петербургских вольнолюбцах милых, хорошо воспитанных людей, кипевших благородным негодованием против деспотического произвола и мечтавших о лучших порядках в отечестве... Не более! Он не ощущал за ними никакой силы, не замечал среди них людей, готовых к решительным действиям. Что они смогут сделать одним красноречием? Брат Александр Михайлович Каховский опирался на силу штыков, у него не было недостатка в смелых, решительных людях, да и то ничего не вышло! Самодержавный строй существует века, не так-то просто его разрушить!

Денис Васильевич склонен был думать, что гроза не соберется.

XII

Соне Чирковой минуло двадцать четыре года. Возраст для девушки по тем временам почти критический. Соня, обладавшая большой рассудительностью, об этом не забывала. К тому же Денис Васильевич ей нравился.

Воспитанная в строгих правилах, она, разумеется, никогда бы не решилась выйти замуж без материнского благословения, но, сохраняя внешнее спокойствие и почтительность, споров с Елизаветой Петровной не прекращала:

— Не забудьте, маменька, стихи Дениса Васильевича, о которых вам сказывали, писаны им были в молодости.

— Перестань заступничать! — хмурилась мать. — Давыдова ничто извинить не может. Он атеист и якобинец!

— На него напрасно наговаривают, маменька...

— Ты ничего не знаешь! Он сам многим признавался, что состоит членом якобинского клуба [11].

— Быть того не может! — не сдавалась Соня. — Поговорили бы лучше с Бегичевыми...

— Славно придумала! — усмехнулась мать. — Бегичёвы того и домогаются, чтобы родственнику приличную партию составить, а я им верить буду! Нет, дружочек, я еще из ума не выжила!

Подобные стычки происходили ежедневно, и кто знает, чем бы дело кончилось, если б однажды не заехал проведать Чирковых находившийся проездом в Москве старый генерал Алексей Григорьевич Щербатов. Близкий друг покойного Николая Алексеевича Чиркова, он пользовался особым уважением и доверием его вдовы.

Узнав, что за крестницу Сонечку сватается Денис Давыдов, генерал отозвался о нем с большим одобрением:

— Я еще по Прусской кампании молодца помню, и в четырнадцатом году он в моих войсках служил... Храбр, умен и преданность отечеству партизанскими подвигами запечатлел... Поздравляю! Лучшего мужа для Сонечки я не желал бы!

Елизавета Петровна от столь неожиданных слов пришла в полное недоумение:

— Да что ты, Алексей Григорьевич! Хорош будет муж для Сонечки, коли никакой обстоятельности в нем нет... Сама, чай, стихи его читала... Одни пирушки у него на уме да вино проклятое...

Генерал весело рассмеялся.

— Ну, матушка, ты, верно, гусар-то с монахами путаешь... На священное писание стихи Дениса Давыдова, конечно, мало похожи, зато всем военным по душе... Я сам до сей поры одно из посланий его помню... Как, бишь, там он пишет...

Ради бога, трубку дай!
Ставь бутылки перед нами,
Всех наездников сзывай
С закрученными усами!
. . . .

Бурцов, брат, что за раздолье!
Пунш жестокий! Хор гремит!
Бурцов, пью твое здоровье:
Будь, гусар, век пьян и сыт!

И, с видимым удовольствием продекламировав стихи, генерал назидательно добавил:

— Талант в вину не ставится, матушка! Вот что уразумей!

— Ох, да как же это? — растерянно произнесла Елизавета Петровна. — Ведь он сам, говорят, такие страсти про себя высказывает...

— Поменьше уши развешивай! — с грубоватой дружеской простотой перебил генерал. — Слабости у каждого есть, Давыдов тоже не безгрешен, лишнее сболтнуть может, да за это строго взыскивать нельзя. Davidoff, quand on le connaît bien, — заключил он по-французски, — n'est que le fanfaron du vice *.

Соня стояла у дверей с пылающими щеками, прислушиваясь к разговору. Благонравным девушкам так поступать не полагалось. Но разве утерпишь? Решалась ее судьба. И то, о чем говорил сейчас крестный, было необыкновенно интересно [12].

Новый, 1819 год встречал Денис Давыдов в Петербурге, а в Москву возвратился лишь в половине января.

---

* Давыдов, когда его хорошо знаешь, не кто иной, как хвастун своих пороков.

Необходимые средства для ланкастерской школы удалось все-таки получить, и Денис Васильевич, уведомляя о том Воронецкого, сообщил кстати, чтоб ждали его самого в Херсоне к концу месяца. О благоприятном исходе сватовства он не думал. Столичным друзьям о существовании Сони Чирковой даже не заикнулся.

И вдруг... такая приятная неожиданность: Елизавета Петровна соглашается выдать за него свою дочь!

Денис Васильевич, надев новый, недавно сшитый лучшим московским портным мундир со всеми регалиями и опрыскав себя духами, отправляется к Чирковым. Соня встречает сияющая. Домашние глядят на него с тем особым любопытством, какое обычно вызывается первым появлением в доме жениха.

Но Елизавета Петровна, по всей видимости, продолжает относиться к будущему зятю с плохо скрытой недоверчивостью. Она окинула его строгим взглядом, молча поцеловала в лоб, увела в гостиную.

— Бегичевы небось говорили тебе, что моя Сонюшка невеста не из бедных, — промолвила она с легкой, еле уловимой иронией.

Денис Васильевич смутился. Знал, что разговор о приданом неизбежен, но казалось постыдным вести его.

— Я осмелился просить руки вашей дочери потому, что мои чувства...

Елизавета Петровна договорить не дала:

— Чувства, батюшка мой, чувствами, а дело делом... Не век вдвоем жить будете, детишек господь пошлет, их кормить и воспитывать надо... Сонюшке отец завещал сызранскую деревеньку Верхнюю Мазу, там пятьсот с лишним душ, и завод винокуренный под Бузулуком... Кабы в хозяйские руки состояние это попало, я бы и беспокоиться не стала, ну, а нам как быть? Сам, чай, ведаешь, каков из тебя помещик, да к тому же на службе ты состоишь... Вот и порешила я, чтоб до поры до времени Сонюшка сама своим приданым владела, она в хозяйственных делах

смышлена, ежели приумножить не сумеет, то по крайности от разорения сбережет...

Все было ясно и немного обидно. Старуха побаивалась, что он промотает богатое приданое дочери. Однако ее нельзя строго осуждать. Он, правда, не собирался расточительствовать, но помещик из него в самом деле плохой. И в конце концов если Соня окажет такие же хозяйственные способности, как Сашенька, лучшего нечего и желать. Он смотрел серьезно на устройство своей будущей семьи.

— Пусть все будет так, как вам угодно, — произнес он. — Я прошу лишь о том, чтобы впредь вы не оставляли нас своими советами...

Суровые глаза старухи сразу подобрели. Ответ, выражавший полное бескорыстие, пришелся по душе, примирил с будущим зятем.

Спустя некоторое время Соня, войдя в гостиную, застала мать и жениха в самой дружеской, мирной беседе.

...Выхлопотав дополнительный отпуск по случаю женитьбы, Денис Давыдов всю весну прожил в Москве. Здесь и получил он в конце февраля приказ о переводе его начальником штаба третьего пехотного корпуса. Приказ пришелся кстати. Соня желала после свадьбы ехать с ним в Херсон, ее смущала лишь дальность расстояния. Кременчуг, где находился штаб третьего корпуса, был значительно ближе, и недалеко от этого города жила в своем имении замужняя старшая сестра Сони, давно приглашавшая ее погостить. Все складывалось прекрасно.

13 апреля, на красную горку, состоялась свадьба, а в конце мая молодые Давыдовы были уже в Кременчуге [13].

Положение женатого человека сначала раскрывалось Денису Васильевичу одними привлекательными сторонами. Соня была мила, нежна. Она интересовалась всеми его делами, старалась понравиться его друзьям. Скромная их квартира благодаря ее заботам превратилась в уютное гнездышко. Соня не могла сидеть без дела. С раннего утра она что-то шила, прибирала или, надев фартук, готовила для него

сюрпризом какое-нибудь лакомое кушанье. А вечерами, когда были одни, садилась за клавесины, и он, слушая тихие напевы любимых старинных романсов, ловил себя на мысли, что никогда прежде не ощущал такого полного душевного спокойствия.

Но, создавая домашний уют, стараясь всячески угодить мужу, Соня вместе с тем настойчиво навязывала ему свое понимание семейной жизни, заключавшееся в том, что все свободное от служебных занятий время муж обязан проводить дома и не искать никаких развлечений на стороне. А он любил шумную мужскую компанию, жестокие споры за бокалом вина, распашные дружеские беседы и не собирался отказываться от своих старых привычек. Рассудительная требовательность жены казалась ему слишком прозаичной и вскоре начала тяготить его.

5 августа он писал Вяземскому, по-прежнему находившемуся в Варшаве:

«Я к тебе так долго не писал, потому что долго женихался, потом свадьба, потом вояж в Кременчуг, поездка в Киев и в Екатеринославль на смотры. Но едва приехал домой, как бросился писать к друзьям моим, из которых ты в голове колонны.

Что тебе сказать про себя? Я счастлив! Люблю жену всякий день более и более, продолжаю служить и буду служить век, несмотря на привязанность к жене милой и доброй; зарыт в бумагах и книгах, пишу, но стихи оставил! Нет поэзии в безмятежной и блаженной жизни... Кременчуг сухая материя».

Да, поэзии в безмятежной жизни не было. И желание «век служить» вызывалось тем, что служба в известной мере спасала его от прозаических семейный будней. Однако прошло несколько недель и произошли события, которые заставили Дениса Васильевича резко изменить намеченный образ жизни.

XIII

Второй армией командовал фельдмаршал Витгенштейн. Он был в преклонном возрасте, служебными делами занимался мало, проживая в своем имении

недалеко от Тульчина, где находился штаб второй армии.

Император Александр, побывав на смотрах, остался фельдмаршалом недоволен. Войска выглядели плохо, обучение производилось, видимо, кое-как, дисциплина явно слабела. Необходимо было послать в армию человека, который, не обижая старчески капризного и мнительного фельдмаршала, сумел бы навести там порядок.

Выбор пал на флигель-адъютанта Павла Дмитриевича Киселева, совершенно очаровавшего государя умом и чисто придворной обходительностью. Киселева произвели в генерал-майоры, назначили начальником штаба второй армии.

Прощаясь с ним, государь сказал:

— Надеюсь, вы понимаете мою мысль... фельдмаршала не надо тревожить, он заслужил покойную старость, но вместе с тем нельзя и терпеть допущенных им безобразий... — Он немного помолчал, привычно потер пухлые щеки, потом добавил: — Вы молоды, но, я верю, это не помешает вам проявить должную твердость... Генерал Каменский, посланный мною некогда в Молдавскую армию, был моложе вас...

Каменский наводил порядок крутыми, жестокими мерами. Намек был понятен. Киселев почтительно наклонил голову.

— Я сделаю все, что в моих силах, ваше величество...

Витгенштейн встретил нового начальника штаба недружелюбно, однако Павел Дмитриевич, проявив необычайную почтительность, довольно быстро со стариком поладил. Витгенштейн, сохраняя звание командующего, продолжал сажать цветы в своей деревне. А все управление армией перешло в руки Киселева.

Действовать же крутыми мерами Павел Дмитриевич не собирался. Большое честолюбие и склонность к карьеризму не исключали в нем гуманности.

Киселев был противником рабства, ненавидел аракчеевщину, безоговорочно осуждал палочную дис-

циплину и фрунтоманию. Приехав в армию, он прежде всего стал ограничивать произвол и беззакония, творимые отдельными начальниками, и заявил о своем отвращении к телесным наказаниям солдат. Побывав в одном из пехотных полков, он с негодованием записывает:

«В полку от ефрейтора до командира все бьют и убивают людей, и, как сказал некто в русской службе: убийца тот, кто сразу умертвит, но кто в два, в три года забил человека, тот не в ответе. Убыль людей бежавшими и умершими, безнравственность, отклонение от службы и страх оной происходят часто от самовластных наказаний».

Аракчеевским ставленникам деятельность Киселева, направленная к преобразованию армии в гуманном духе, пришлась не по душе. Зато он нашел самое горячее сочувствие и поддержку со стороны либерально настроенных командиров [14].

Денис Давыдов высказал одобрение старому другу одним из первых:

«Дай бог тебе исполнить все, что ты предпринимаешь, — писал он, — ибо рвение твое имеет целью общую пользу. Я тебя всегда любил, ты знаешь это; но теперь тебя более и более почитаю при каждом о тебе известии. Продолжай, брат, дави могучей стопою пресмыкающихся!»

Однако назначение Киселева на высокий пост невольно заставило Дениса Васильевича и тяжело вздохнуть. Ведь Киселев был еще ротмистром, когда он, Денис Давыдов, носил мундир полковника! И сколько других, младших по годам и по службе, часто не отличавшихся ничем, кроме уменья угодить сильным мира сего, обогнали его в чинах и наградах! Нет, умный, хорошо образованный, честный, всегда готовый оказать поддержку товарищу и занятый большой плодотворной деятельностью Киселев, конечно, не идет в сравнение с другими. Денис Васильевич умел подавлять свое самолюбие, когда дело касалось общей пользы, и на этот раз остался верен себе.

«...Если уже назначено мне судьбою быть обой-

денным, то пусть лучше обойдет умный и деятельный человек, как ты, нежели какой-нибудь ленивый скот, в грязи валяющийся, — признавался он Киселеву. — Божусь, что я это от души говорю. Люди прошедшего столетия не поймут меня, ибо их мысли и чувства падали к стопам Екатерины, Зубова и Грибовского! Слова: отечество, общественная польза, жертва честолюбия и жизни для них известны были только в отношении к власти, от которой они ждали взгляд, кусок эмали или несколько тысяч белых негров».

И все же грустные мысли о несправедливости судьбы, губившей его забвением, продолжали одолевать Дениса Васильевича... А тут как раз он получил и новый «щелчок по носу», как сам любил выражаться. Дело заключалось в следующем: в прошлом году им была отправлена на рассмотрение государя рукопись «Опыта о партизанах», представлявшая несомненно ценный вклад в военную науку, как утверждали все читавшие эту рукопись военные теоретики и друзья. И вот теперь, вместо ожидаемой благодарности, он получил письмо от барона Карла Федоровича Толя, извещавшего, что государь соизволил поручить ему, Толю, «сочинение Правил о службе на передовых постах и вообще во всех малых отрядах», а посему он, Толь, просит Дениса Васильевича, как «опытного по сей части», прислать партизанские записки, дабы облегчить труд, порученный ему государем.

Денис Васильевич пришел в бешенство. Большее издевательство трудно было придумать! Вся его служба, долголетний опыт командира отдельных отрядов и партизанские заслуги сбрасывались со счетов. И, очевидно, нарочно, чтоб принизить вообще действия русских партизан, государь поручил заняться этим предметом штабному педанту Карлу Толю.

Сдержанно ответив барону, что не хотел бы видеть своих мыслей в чужом сочинении, Денис Васильевич тут же решил на свой счет издать «Опыт о партизанах». Пусть сколько угодно шипит раздраженная посредственность, а он сделает это непременно!

Но вся дальнейшая военная служба стала представляться ему теперь совсем в ином свете, чем несколько недель назад.

И в том же письме к Киселеву он не удержался от смелого и откровенного признания:

«Я как червонец в денежных погребах графини Браницкой! Но погоди, кто знает, что будет? Может быть, перевороты государственные вытащат сундуки из-под сводов и червонцы в курс пойдут».

Итак, он признавал, что при существующих условиях служба его бесполезна. Нечего мечтать, что царь и высшее начальство дадут ему возможность развернуть военное дарование! Он не обладал, подобно Киселеву и Закревскому, придворной обходительностью и уменьем приспособляться к обстоятельствам; он не был, подобно Дибичу и Толю, приверженцем столь любезных царю прусских военных доктрин; он не хотел походить на таких шедших в гору командиров, как Гурко, Мартынов, Нейдгордт, Шварц, отличавшихся крайним педантизмом и бессмысленной жестокостью с подчиненными. А вечно прозябать в несвойственной ему должности начальника штаба пехотного корпуса он не собирался.

Что же еще оставалось? Соня не раз советовала выйти в отставку. Ведь у них есть имение, есть средства. Он может спокойно работать над военными сочинениями. Доводы были разумны, но, опасаясь прозаических семейных будней, он противился. Грела надежда на лучшее. Во время летнего смотра войск корпуса царь говорил с ним весьма благосклонно. Может быть, дадут под команду, как давно о том хлопотал, кавалерийскую дивизию!

И Соне он возражал:

— Рано еще мне думать о домашнем халате...

Теперь стало ясно, что принял за благосклонность царя дежурную улыбку лицемера. Непростительная слабость! Сколько раз давал себе слово не обольщаться любезностями и улыбками властителей, а тут опять попался на эту удочку! Нет, более того не будет!

Жизнь складывалась не так, как хотелось. Ничего

не поделаешь. Служба потеряла смысл. Приходилось мириться с прозаическими семейными буднями.

И когда жена возобновила однажды старый разговор, он, обняв ее, сознался:

— Я думаю, ты права, милая Сонечка... Кажется, надо просить отставку... Можно служить отечеству и в домашнем халате с большей пользой, нежели в мундире!

А на Украине в то время было беспокойно. Два года назад Аракчеев устроил военные поселения в Херсонской губернии и под Харьковом. Города и села, где стояли полки нескольких дивизий, были переданы в руки окружного военно-поселенческого начальства. Коренных жителей исключили из гражданского ведомства, их имущество переписали, время и быт подчинили суровым аракчеевским порядкам. Понятно, что несчастные горожане, селяне и казаки, насильственно обращенные в поселенцев, сопротивлялись как могли, волнения, переходившие зачастую в открытые восстания, в военных поселениях не прекращались.

В конце июня 1819 года поселенцы Чугуевского округа получили приказ заготовить без всякого вознаграждения сто три тысячи пудов сена для кавалерийских лошадей. Чугуевцы выполнять приказ отказались. Никакие увещания не помогли, наиболее ретивые командиры, пытавшиеся принудить народ к выходу на сенокос, были побиты.

Генерал Лисаневич, начальник расквартированной в здешних местах дивизии, послал в Чугуев несколько рот пехоты и двенадцать конных орудий. Поселенцев согнали на городскую площадь. Они держались с удивительным спокойствием и покоряться не думали.

— Ни мы, ни дети наши военных поселений не желаем...

Из окрестных деревень к ним на помощь двинулись толпы селян. В соседнем Таганрогском округе тоже началась смута.

Тогда по распоряжению Лисаневича было схвачено и арестовано свыше тысячи бунтовщиков. Сборища поселенцев, происходившие повсюду, разогнаны кавалерией.

11 августа в Харьков примчался Аракчеев. Военный суд, созданный им, работал день и ночь. Солдаты двух батальонов Орловского пехотного полка спешно заготовляли в лесу шпицрутены. И вскоре в Чугуеве началась кровавая расправа.

Денису Давыдову обо всем этом подробно рассказал приехавший в Кременчуг капитан Воронецкий.

После того как Дениса Васильевича перевели в третий корпус, он продолжал из Кременчуга помогать своими указаниями созданной им в Херсоне школе ланкастерского обучения, и херсонский комендант, в ведении которого она оказалась, указания эти выполнял, опасаясь, как бы Давыдов через Закревского не наделал ему неприятностей. Капитана Воронецкого, не имевшего достаточного опыта в ланкастерском обучении, комендант послал в Кременчуг, чтоб посоветоваться с Денисом Васильевичем о методах преподавания.

Воронецкий по дороге решил проведать мать, жившую под Харьковом, и стал невольным свидетелем чугуевской экзекуции.

— Мне никогда не забыть этого кошмара, — говорил взволнованно капитан, сидя в кабинете Дениса Васильевича. — Толпа несчастных, именуемых бунтовщиками, окруженная конными казаками и полицией, стояла безмолвно на площади против собора... Тут же помещались возы с шпицрутенами и несколько поодаль длинные шеренги солдат, один против другого, вы знаете, как это бывает... А день был ясный, тихий, словно созданный для того, чтоб жить и радоваться. И вдруг на колокольне ударил колокол, начался трезвон, какой бывает обычно при встрече высокопоставленных особ. К собору подкатила сопровождаемая конвоем карета, из нее вышел, опираясь на палку, сам Аракчеев, в генеральском мундире и регалиях... Честное слово, я никогда не видел физиономии более гнусной! Подстриженные ежиком

жесткие волосы, щетинистые брови, оттопыренные уши, мутные злые глаза, большой сизый нос и обвислые губы выродка... Он поднялся на паперть, обвел стоящих перед ним людей тяжелым взглядом и, надув багровые щеки, прогнусавил: «На колени, мерзавцы!»...

Воронецкий сделал короткую паузу. Денис Васильевич, нахмурив брови, курил трубку, молчал. Картина представлялась так ярко, что пояснения не требовались.

— А потом огласили судебную сентенцию, — рассказывал Воронецкий. — Сотни людей приговаривались к шпицрутенам, женщины к розгам... Сорок человек должны были пройти сквозь строй тысячи солдат по двенадцать раз... Представляете, какой ужас, какая бесчеловечность! Но осужденные продолжали оставаться в безмолвии... Признаюсь, я сначала подумал, что они не представляют того чудовищного, что должно произойти... Нет, я ошибся! Они отлично все понимали и не ожидали ничего иного, но ненависть, явственно обозначенная в их глазах, обращенных на Аракчеева, превышала все остальные чувствования... Они считали, что обречены страдать за правое дело, и не хотели унижать себя перед мучителями мольбами о пощаде... И это общее молчание смутило Аракчеева, я видел, как он заерзал на месте, затем сделал шаг вперед и объявил, что каждый, кто раскается в своем преступлении, будет прощен... Прошла минута, другая. Аракчеев ждал, они продолжали молчать. Воистину было что-то героическое в этом поединке поруганного права с необузданной, грубой силой!

— Неслыханно! — перебил Денис Васильевич. — Неужели никто так и не изъявил готовности принести повинную?

— Нет, какой-то хлопец в порванной свитке все же не выдержал, выдвинулся из толпы, видимо желая просить помилования. Тогда стоявший близ него отец, старик в нищенском одеянии, с белой бородой патриарха, угадав намерение сына, поднял вверх сжатые в кулаки руки и, трясясь всем телом, крикнул:

«Сенька, я прокляну тебя навек, если ты посмеешь!» И хлопец, повернув голову, увидев распаленное яростью лицо отца, сжался, как от удара обухом, и стал пятиться назад, и толпа расступилась и поглотила его...

Воронецкий смолк, захваченный силой запечатленной в памяти сцены, поправил дрожащей рукой словно душивший его ворот мундира, затем продолжал:

— Аракчеев, злобно кусая губы, махнул рукой... Взвизгнули флейты, по площади рассыпалась звонкая барабанная дробь. Солдаты стали хватать несчастных, засвистели шпицрутены, начались истязания... Выносили замертво одного, вели другого, а толпа попрежнему хранила суровое молчание... Аракчеев тщетно продолжал предлагать прощение... Они молча глядели на него с ужасом и отвращением, как на чудовище, спущенное на них с цепи самим дьяволом! [15]

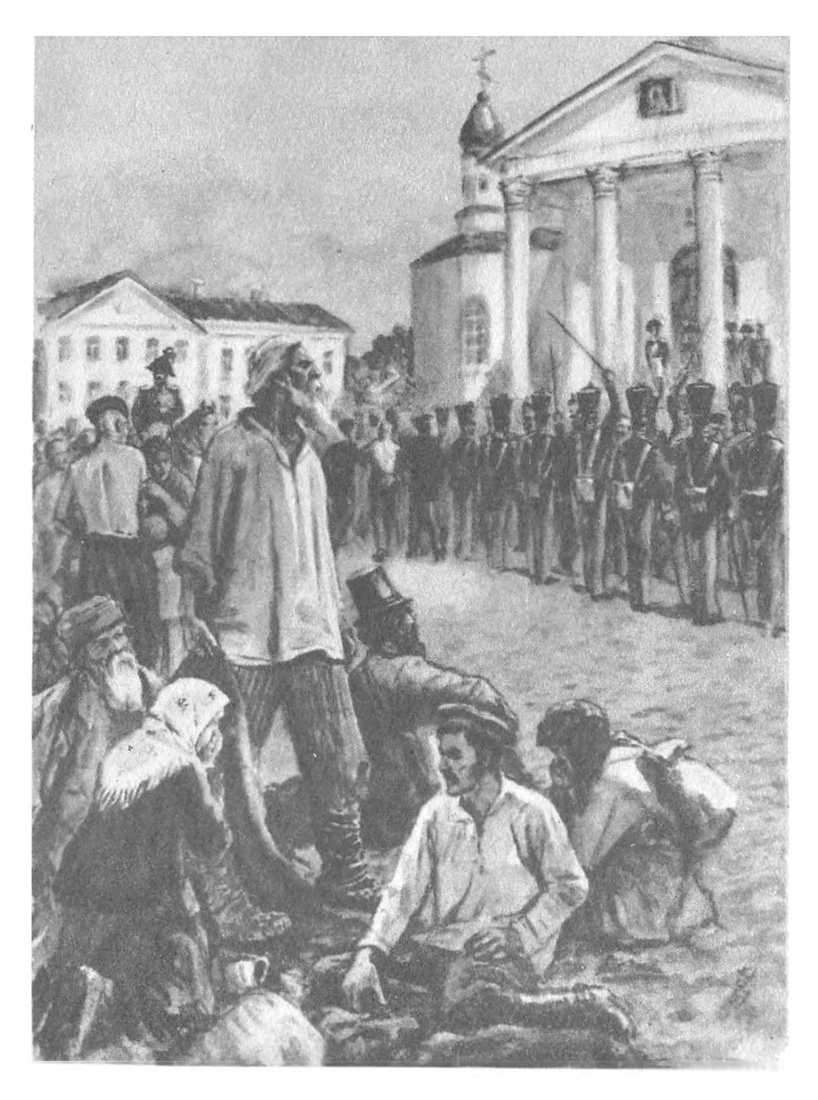
Денис Васильевич, взволнованный до глубины души, сидя у стола, ерошил волосы. Воронецкий, не в силах более сдержаться, вскочил с места. Лицо его покрылось красными пятнами, и в светлых глазах стояли слезы.

— Двадцать пять наказанных в тот же день скончались, — сказал он приглушенным голосом. — Я не знаю, что со мною творилось тогда и творится каждый раз, как вспоминаю об этом... Вероятно, болезненная мнительность или не знаю что... Только мне чудится, будто брызги крови... тех несчастных... попали и на мой мундир... Меня словно что-то душит, все опротивело, служить не хочется... И я непременно взял бы отставку, если б имел возможность существовать на что-нибудь другое, кроме жалованья...

Он прикрыл лицо руками и тяжело опустился в кресло. Денис Васильевич подошел к нему, положил на плечо руку:

— Я понимаю вас, милый Воронецкий... Но успокойтесь, вы молоды, время залечит душевную вашу рану... И помните, что вы занимаетесь благородным делом, воспитывая будущих воинов.

— Я боюсь, Денис Васильевич, это недолго про-



К стр. 127

должится, — подняв глаза, задумчиво произнес капитан. — Комендант, побаиваясь вас, не чинит препятствий открыто, однако, считая затею весьма сомнительной, все больше с каждым днем мучает меня придирками.

— Хорошо. Я буду в Тульчине, поговорю на этот счет с Киселевым. А вы поезжайте в Киев. Я дам вам деньги и письмо к начальнику штаба четвертого корпуса Орлову. Он лучше, чем я, понимает в ланкастерском обучении... Посмотрите, как поставлено дело там, и действуйте у себя в том же духе! [16]

Воронецкий уехал. А нарисованная им картина чугуевской расправы долго еще беспокоила воображение Дениса Васильевича. Зрели новые мысли, рождалось образное представление самовластья в виде чудовищного домового, который, по народным поверьям, наваливается на спящего и душит его до тех пор, пока тот не соберет всех сил и не привстанет разом.

Денис Васильевич вынужден был отказаться от некоторых старых своих взглядов, начал прилежно изучать политическую экономию Сея, конституционные книги и брошюры Бенжамена Констана и Бентама и все чаще задумываться над тем, что когда-нибудь самодержавие все-таки будет, пожалуй, заменено более справедливым свободным правлением. Правда, представлялось такое правление весьма туманно и в далеком будущем, но оно казалось привлекательным, хотя вместе с тем ограниченное сословными предрассудками мировоззрение заставляло сильно побаиваться, как бы при смене правления не произошло народное восстание, вторая пугачевщина, а от этого избави бог!

Но так или иначе от душившего все живое самовластья ничего доброго он не ожидал.

Вопрос об оставлении службы не требовал дальнейших размышлений. Надо лишь подыскать более или менее правдоподобные причины.

20 сентября он пишет Закревскому:

«Скажи по совести, что я в существе службы моей? Не правитель ли канцелярии корпусного

командира?.. Какие же бумаги проходят через мои руки? Стоят ли они взгляда умного человека? Требуют ли они хоть минуты размышления?.. Где я убил и убиваю последние дни лучшей части жизни моей? В непросвещенных провинциях, в степях, в городках и деревнях; еще коли бы я тем приносил пользу отечеству: но какая польза ему, что я подписываю: «к сведению, справиться там-то и предписать и донести о том-то»? В сто раз глупее меня человек не то ли сделает?»

Сославшись также и на болезненное состояние, Денис Васильевич просит представить ему долгосрочный заграничный отпуск для лечения. Тогда подобные отпуска давались без обозначения срока и являлись наиболее удобной и приличной формой оставления службы.

Денис Васильевич не сомневался, что Закревский и на этот раз его выручит.

XIV

Была еще зимняя поездка в Тульчин. Там, в роскошном замке польского магната графа Мечислава Потоцкого, жил начальник штаба второй армии Павел Дмитриевич Киселев.

В замке с утра до поздней ночи не смолкал шум голосов. Киселев никому не отказывал в приеме, времени и любезности у него для всех доставало.

Проводя гуманные преобразования в войсках, он смело приближал к себе умную офицерскую молодежь, глядя сквозь пальцы на то, что многие приближенные не скрывали своих вольнодумных мыслей.

Киселев был холост, но держал превосходного повара и любил на славу угостить своих приятелей.

Денис Васильевич, приехавший к обеду, застал за столом большое общество знакомых и незнакомых офицеров. Среди присутствовавших был и старый его друг князь Сергей Григорьевич Волконский, и пожилой, степенный, с выпуклыми глазами армейский генерал-интендант Юшневский, и черноволосый, подтянутый адъютант главнокомандующего подпол-

ковник Пестель, сидевший рядом с красавцем ротмистром Ивашевым, и капитан Иван Григорьевич Бурцов, петербургский знакомый, ныне старший адъютант Киселева, и юный, недавно прибывший в армию прапорщик Басаргин [17].

Разговор шел о наделавшей много шума речи Михаила Орлова, произнесенной им не так давно в Киевском библейском обществе. Восхваляя ланкастерскую систему взаимного обучения, говоря о необходимости широкого развития просвещения и свободомыслия, Орлов смело и резко обрушивался на хулителей всего нового, политических староверов, защитников рабства и невежества, которые «думают, что вселенная создана для них одних, и присваивают себе все дары небесные и земные, всякое превосходство, а народу предоставляют одни труды и терпение...»

Денису Васильевичу эта речь была хорошо известна. Ему прочитал ее сам Михаил Федорович, у которого он гостил два дня проездом в Тульчин. Выслушав, Денис Васильевич заметил:

— Я почитаю тебя умнейшим человеком, я занялся по твоему примеру ланкастерским обучением, следовательно, разделяю мнение твое о полезности сего предприятия, однако ж твое красноречие способно скорее погубить его, нежели возвысить. Ты затеял опасную игру, дразня гусей и не имея прута в руках, чтобы отбиться!

— Друг мой! — возразил Орлов. — Правила моей жизни не позволяют мне уклоняться от обличения того, что противно человеколюбию и здравому рассудку.

— Все это красивые слова, Михайла, не более! Но я тебе прямо говорю, что ты болтовней своей воздвигаешь только преграды в службе и делах своих, коими можешь быть истинно полезен отечеству...

— Я не могу согласиться с тобой, ибо убежден, что множество других людей оценят мое выступление иначе, чем ты, — сказал Орлов.

И вот теперь в столовой Киселева, слушая, с какой восторженностью говорят все о смелом выступ-

лении Орлова, какое большое значение его речи придают, Денис Васильевич испытывал странное чувство недоумения и неясной душевной тревоги.

Больше всех восхищался Волконский:

— Самое замечательное в этой речи, господа, что она не оставляет нас равнодушными... Каждое слово развивает во мне чувства гражданина! Я вижу в Михайле Орлове истинного патриота, желающего искоренения общественных пороков и устройства справедливых отношений между людьми.

— А какова его критика староверов и гасильников! Какова сила воздействия на общественное мнение! — поддерживали другие. — Помните, господа, еще Дюкло писал, что «общественное мнение рано или поздно опрокидывает любой деспотизм...».

Всплывали одна за другой новые, не менее острые темы. Говорили без стеснения о многих язвах отечества, о жестоких порядках и нравах, об ужасах аракчеевщины. И что показалось Денису Васильевичу особенно странным, Киселев слушал с видимым сочувствием, со многим соглашался и при тостах дружески со всеми чокался.

Молчал один Пестель. Волевое, умное лицо его оставалось непроницаемым.

И лишь когда Бурцов заговорил о том, как важно для блага отечества и сограждан нравственное совершенствование путем просвещения, лицо Пестеля слегка оживилось.

— А вам не кажется, Иван Григорьевич, — спросил он вполне учтиво и вместе с тем чуть иронически, — что для указанной вами великой цели одного нравственного совершенствования маловато?

Бурцов явно смутился:

— Во всяком случае, я убежден... Это одна из благороднейших задач нашего времени...

— А не угодно ли вам признать, — спокойно и твердо продолжал Пестель, — что мы слишком много говорим о благе отечества, о благороднейших задачах нашего времени и слишком мало действуем?

Бурцов беспокойно переглянулся с Ивашевым и пожал плечами:

— Не понимаю, Павел Иванович... Просветительные меры, по моему разумению, и есть в нынешних обстоятельствах наиполезнейшее действие.

Черные умные глаза Пестеля насмешливо блеснули.

— Сколько же лет, вы полагаете, потребуется, чтобы одними подобными средствами прекратить хотя бы истязание солдат и военных поселенцев?

Бурцов, чувствуя неловкость, хотел что-то возразить, но тут вмешался Киселев:

— А какие же разумные, зависящие от нас самих действия имеете в виду вы, Павел Иванович?

В столовой сделалось совершенно тихо. Все взоры обратились на Пестеля.

— Всякие действия, ваше превосходительство, направленные не столько к совершенствованию, сколько к облегчению жизни сограждан, — отчеканивая каждое слово, сказал Пестель, — в том числе и ваши действия во второй армии, снискавшие вам признательность наших храбрых воинов...

Денис Васильевич не знал, конечно, что в Тульчине существует тайное общество и многие из офицеров, сидевших с ним за столом, являются членами этого общества, но все же кое-что в их поведении показалось загадочным. Ему живо припомнилась прошлогодняя встреча с петербургскими вольнолюбцами у Тургеневых. Там все было ясней. Собрались просвещенные, кипевшие негодованием против самодержавия молодые люди в частном доме, поспорили, пошумели. А ведь здесь люди военные, решительные, у многих под командой воинские части! И чувствовалось, что за либеральными рассуждениями таятся какие-то скрываемые намеки и намерения, недаром Бурцов переглядывался с Ивашевым и все так притихли, ожидая ответа Пестеля на вопрос Киселева.

Впрочем, когда вечером Денис Васильевич, оставшись наедине с Павлом Дмитриевичем, высказал свои опасения, тот со спокойной улыбкой на лице сказал:

— Я сам знаю, любезный друг Денис, что многие из офицеров штаба участвуют в прениях и выражаются слишком вольно, но кто же нынче не грешит этим? В салонах великосветских даже наши барыни иной раз не прочь поспорить о политических делах... Дух времени, с этим надо считаться!

— Однако ж здесь не салон, а штаб армии...

— Ну так что же? Разве, надев военный мундир, порядочный человек теряет право возмущаться тем, что кажется ему несправедливым? А предметов для возмущения, согласись, у нас немало... Военные поселения, жестокость начальников, аракчеевская расправа... Ты знаешь, как осторожен Закревский, а и тот после чугуевских казней писал мне, что Аракчеев вреднейший человек в России...

— Все это верно, что и говорить! — согласился Денис Васильевич. — Право, волос дыбом становится, как подумаешь о несчастных, ему пожертвованных...

— В том-то и дело! Попробуй-ка осудить после этого Пестеля, когда он говорит, что военные поселения — жесточайшая несправедливость, которую только разъяренное зловластие выдумать могло.

— А Пестель, по всему видно, цену себе знает и умница!

— Еще бы! Витгенштейн про него так отзывается: «Пестель на все годится, — дай ему командовать армией или сделай министром, — везде он будет на своем месте». Я же умных людей никогда не чуждался, стараюсь извлечь пользу из их способностей и усердия.

— А как тебе нравится красноречие нашего друга Михайлы Орлова?

— Я писал ему недавно, что суждения его прекрасны в теории, а на практике неосуществимы.

— Вот и я таким же образом его опровергаю, да он мне не внимает, — вздохнул Денис Васильевич. — Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не столкнуть самовластья с России. Этот домовой еще долго будет давить ее тем свободнее, что, рас-

слабясь ночной грезою, она сама не хочет шевелиться, не только привстать разом...

— Будем надеяться, что до последнего дело не дойдет, — произнес Киселев. — Уверен, правительство в конце концов само исправит положение хорошими, разумными законами.

— Признаюсь, тут я не совсем твоего мнения, — возразил Денис Васильевич. — Вряд ли наше правительство даст нам другие законы, как выгоды оседлости для военного поселения или рекрутский набор в Донском войске!

Киселев посмотрел на него несколько удивленными глазами:

— Извини, Денис, мне кажется, в твоих мыслях нет ясности. Ты считаешь, что самовластье давит страну и не способно сделать ничего разумного, а с другой стороны, опровергаешь Орлова. Как же тебя понять? Чего ты ожидаешь?

— В настоящем вижу мало хорошего, во всяком случае, — буркнул Денис Васильевич, чувствуя, что и в самом деле беспокойные мысли его смутны и противоречивы.

— А в будущем? Ты же поэт, а вашему брату свойственно туда заглядывать, — улыбаясь, сказал Киселев.

— А на будущее я смотрю не как поэт и не как политик, а как военный человек, — взъерошивая по привычке волосы, отозвался Денис Васильевич. — Я представляю себе свободное правление, как крепость у моря, которую нельзя взять блокадою, а приступом — много стоит. Но рано или поздно поведем осаду и возьмем ее осадою, не без урона рабочих в сапах, особенно у Гласиса, где взрывы унесут не малое их число, зато места взрывов будут служить ложементами и осада все будет продвигаться, пока, наконец, войдем в крепость и раздробим монумент Аракчеева... Но Орлов об осаде и знать не хочет, он идет к крепости по чистому месту, думая, что за ним вся Россия двигается, а выходит, что он да бешеный Мамонов, как Ахилл и Патрокл, которые

вдвоем хотели взять Трою, предприняли приступ... Вот мое мнение [18].

— Значит, отвергая возможность свободного правления в настоящее время, ты все же веришь, что в конце концов оно у нас будет?

— Да, может быть, я и заблуждаюсь, но мне так думается по крайней мере, — задумчиво произнес Денис Васильевич. — Все свершается в свой срок и в свое время!

17 марта 1820 года долгожданный приказ был получен. Давыдова зачислили в список лиц, «состоящих по кавалерии», и предоставили бессрочный отпуск для излечения болезни.

Расстаться с военной службой, которой отдал почти двадцать лет, было, конечно, нелегко. Но служить так, как тогда требовалось, он не мог.

Преуспевающий полковник Шварц во время полевых занятий ложился на землю, чтоб лучше видеть «игру солдатских носков», ревел диким голосом при виде неправильно пришитой пуговицы, выдергивал у провинившихся нижних чинов усы, заставлял солдат плевать в лицо друг другу. Однажды, заметив, что утомленная дневными учениями рота солдат возвращается в казармы недостаточно бодрым шагом, Шварц приказал всей роте снять сапоги и целый час гонял несчастных солдат босыми по колючей стерне. Жители тех мест, где стоял полк Шварца, с ужасом глядели, как быстро растут могилы забитых палками солдат.

А кто в армии не знал другого аракчеевского ставленника, Мартынова? Тупого и жестокого этого фрунтомана даже в стихах увековечили:

...Источник страха роты смирной,
Бескрылый, — дланями крылат,
Известный службою единой,
Стоящий фронта пред срединой,
Веленьем чьим колен не гнут,
Чей крик двор ротный наполняет
Десница зубы сокрушает,
Кого Мартыновым зовут!

Давыдов не мог более равнодушно наблюдать, как бесчинствуют в родимых войсках аракчеевцы, не

мог оставаться в среде Шварцев и Мартыновых. И эта причина, в цепи других, была одной из главных для оставления службы.

«Наконец я свободен, — писал он Закревскому, — учебный шаг, ружейные приемы, стойка, размер пуговиц изгоняются из головы моей! Шварцы, Мартыновы, Гурки и Нейдгарты, торжествуйте, я не срамлю ваше сословие! Слава богу, я свободен! Едва не задохся; теперь я на чистом воздухе».

Над Москвой плыл тяжелый звон колоколов. Был великий пост. В доме на Пречистенке стояла тишина, пахло сушеными грибами. Соня ожидала ребенка, ходила по комнатам в капоте и стоптанных туфлях, подурневшая и скучная. Мундир с генеральскими эполетами висел в шкафу.

Заложив руки за спину, Денис Васильевич стоял в своем кабинете у окна и думал.

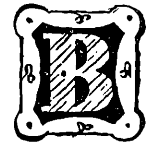
Начиналась новая полоса его жизни...



Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!

Е. Баратынский

I



о второй половине июня 1820 года Денис Васильевич вместе с женой впервые приехал в Верхнюю Мазу. Соня не оправилась как следует после тяжелых родов и смерти преждевременно появившейся на свет девочки. Поездку в степную деревню ей посоветовали врачи. А он хотел пожить в глуши, поработать над военной прозой. Впрочем, имелась еще одна тайная, скрытая даже от жены причина, побудившая его охотно согласиться на дальнюю поездку.

В Москве ожидали приезда императора. Закревский, искренне желавший, чтоб старый друг Денис

возвратился на военную службу и получил под начальство кавалерийскую дивизию, решил с этой целью, пользуясь случаем, устроить ему аудиенцию у государя. Денис Васильевич отказался. Довольно с него прежних унижений! Ему даже мысль о подобном свидании была ненавистна. В переписке с Закревским он всегда соблюдал осторожность, а тут, отвечая на предложение, распахнулся:

«Ты мне пишешь, чтобы я обдумал, представляться ли мне государю во время проезда его через Москву, или нет? Я очень и давно это обдумал, ибо нынче же еду в новую деревню мою, где пробуду до октября месяца...» [19].

Деревня на первых порах не понравилась. Хаты верхнемазинцев, словно ласточкины гнезда, были слеплены из хвороста и глины, покрыты старой, замшелой соломой и производили жалкое впечатление. Господский дом, построенный в старом стиле, с бесчисленными полутемными комнатушками и дрожавшими от ветхости деревянными колоннами, требовал немедленного ремонта. Сад находился в запустении, от большого полупересохшего, подернутого зеленой ряской пруда пахло тлением. А вокруг села раскинулась неоглядная, казавшаяся безжизненной, сухая, желтая, знойная степь. Глазу не на чем было остановиться.

Но в конце месяца в Поволжье выпали обильные дожди, и все преобразилось. Небесная голубизна стала выше и ярче, запели и засвистели примолкшие в духоте птахи, поднялись пожухшие степные травы, затрепетали над ними стайки разноцветных бабочек, девственно чистый воздух наполнился медовым запахом полевых цветов.

В доме сделали необходимую перестройку, сад привели в порядок. Из Самары привезли недостававшую мебель. В соседнем селе Репьевке у помещика Бестужева купили хорошо выезженных лошадей. Спокойная и здоровая деревенская жизнь вошла постепенно в свою колею.

Денис Васильевич каждый день совершал далекие верховые прогулки и все более очаровывался степ-

ным раздольем. Соня часто сопровождала мужа. Она оказалась прекрасной наездницей, к тому же знала всю окрестность — ведь здесь прошли ее детские годы. Степной воздух действовал на Соню благотворно. Было приятно видеть, как быстро она крепнет и покрывается золотистым загаром!

Управлял имением дядюшка Мирон Иванович, отставной поручик, дальний родственник покойного генерала Чиркова. Соня вмешиваться в дела не собиралась, хотела подольше отдохнуть, но так получилось, что и сам дядюшка и приказчики начали обращаться к молодой барыне со всевозможными хозяйственными вопросами, и ей волей-неволей пришлось судить и рядить людей, смотреть, как идет уборка и молотьба хлебов, словом, быть помещицей.

Денис Васильевич никакой склонности к подобным занятиям не обнаруживал и жене, попробовавшей поделить с ним хозяйственные заботы, откровенно сознался:

— Лет пять назад взялся я сестре Сашеньке помогать, да ничего не вышло! Нет у меня этого таланта, милая Сонечка... Ты хозяйничай как хочешь, лишь здоровью своему не повреди, а меня не приневоливай!

Помыслы его были сосредоточены на другом. Решив во что бы то ни стало издать «Опыт о партизанах», он еще раз перечитал рукопись и пришел к выводу, что ее необходимо «совершенно перекроить». Многое изложено сухо, а главное, не получили достаточного развития мысли, направленные в защиту партизанской системы от посягательств военных методиков-педантов. Ему было известно, что партизанскую систему прежде всего не желает признавать сам царь, поручивший барону Толю сочинять «Правила о службе на передовых постах и вообще во всех малых отрядах», но все равно он, Денис Давыдов, свидетель и участник стольких славных партизанских действий, должен утверждать свое мнение на этот счет. Партизанская система, созданная не штабными методиками, а опытом русских парти-

зан, существует, господа, хотите или не хотите вы признавать это!

Сжато рассказав о том, как действовали партизанские отряды в двенадцатом году, Давыдов убедительно доказывает, что эти действия носили не случайный характер, а были хорошо продуманы, и накопленный партизанский опыт представляет большую ценность, ибо может быть не менее успешно использован при защите отечества в будущем.

Отиравшиеся близ царя методики, вроде барона Дибича и барона Толя, ограничивали деятельность партизан обычной службой на передовых постах и разведкой. Денис Васильевич рисует совершенно иную картину:

«Летучие партии наши зорко и неусыпно маячут по всему неприятельскому пути сообщения, пробираются в промежутки корпусов, нападают на парки и врываются в караваны съестных транспортов. Приноравливая извороты свои к изворотам армии, они облегчают ея усилия и довершают ея успехи. Через сокрушительные наезды их неприятель разделяет и внимание и силы, долженствующие стремиться одною струею к одной цели; невольно действует *ощупью,* вопреки свойству войны наступательной и теряя надежду отразить сии неотразимые рои наездников, коих войско его ни догнать, ни отразить, ни припереть к какой-либо преграде не в состоянии...»

Денис Васильевич сидит за круглым столом в беседке, устроенной под старыми липами в конце сада. Благоухает ласковый предвечерний ветерок. Тихо колышется листва на деревьях. Монотонно стрекочут в степи кузнечики.

Рукопись лежит перед ним, вся испещренная поправками и вставками. Нелегкое это дело быть писателем! Особенно когда приходится постоянно помнить о цензуре. Он перелистывает только что переделанную главу, где говорится о выборе начальника партии, вдруг морщинки, собравшиеся на его лбу, разглаживаются, лицо принимает довольное выражение. Все-таки проклятых методиков зацепил он тут крепко!

«...Назначение *методика,* — он не забыл подчеркнуть это слово, — с расчетливым разумом и со студеною душою, хотя бы то было и по собственному его желанию, вреднее для службы, нежели выбор оного или по очереди. Сие полное поэзии поприще требует романического воображения, страсти к приключениям и не довольствуется сухою прозаическою храбростью. Это строфа Байрона! Пусть тот, который, не страшась *смерти,* страшится *ответственности,* остается перед глазами начальников: немый исполнитель в рядах полезнее того ярого своевольца, который всегда за чертою обязанностей своих, от избытка предприимчивости в сравнении с предприимчивостью начальника...»

Последняя фраза, правда, несколько длинновата и туманна, но кто пожелает докопаться до смысла, тот докопается. Зато тем, кого может заинтересовать вопрос, почему замалчивается славная деятельность партизан, отвечает он прямей и проще:

«К несчастью, всякое *новое* или возобновленное изобретение встречает более порицания, нежели одобрения, и потому все рвение партизан в сию войну навлекло на них одно только негодование тех чиновников, коих оскорбленное самолюбие не простило *смельчакам,* оказавшим успехи, независимо от их влияния, и наравне с ними занявшими место в объявлениях того времени...» [20]

Денис Васильевич набил табаком трубку, закурил, задумался. Не всем по душе придется эта книжечка! Далеко не всем! Ничего не поделаешь!

Однажды утром камердинер ему доложил:

— Странник прохожий у нас объявился. В людской сидит, просит допустить его к вам.

— А что ему от меня надо?

— Тайность какая-то, сказывает, у него имеется.

Денис Васильевич заинтересовался. В доме неизвестного принимать не решился, — Соня до ужаса боялась прохожих, — велел проводить в садовую беседку.

Странник имел вид самый жалкий. Грязная рубаха, подпоясанная тесемкой, и холщовые заплатанные порты составляли все его одеяние. На загорелом до черноты лице и свалявшейся бороде густым налетом лежала сизая пыль. Странник был высок ростом, сильно сутулился, часто кашлял.

— Ты кто таков? Откуда? — спросил Денис Васильевич, окинув его суровым взглядом.

На лице странника появилось подобие робкой улыбки.

— Не признаете, Денис Васильевич?

В хриплом голосе впрямь улавливалась какая-то знакомая интонация, но память ничего не подсказывала. Денис Васильевич промолчал. А странник со вздохом продолжал:

— Оно и мудрено признать-то, ежели столько годов жизнь меня ломает... Терентий я, который в партизанах ходил...

Денис Васильевич не мог скрыть изумления. Терентий запомнился молодцеватым, всегда подтянутым и опрятно одетым. Прошло восемь лет — срок достаточный, чтоб изменить человека, но не сделать его неузнаваемым!

— Что же с тобой случилось, любезный? И как ты попал сюда?

Терентий, ничуть не робея, рассказал обо всем обстоятельно. И об издевательствах поротого барина, и о своей несчастной доле, и о бегстве из родных мест.

— Четвертый год без всякого вида живу, по глухим деревням и лесам укрываюсь, — говорил он тихо, покашливая в руку. — Побывал и на украинских землях и у донских казаков; где поработаешь малость, где христовым именем, — свет не без добрых людей, — да только долгого приюта бродяге никто не дает, каждый полиции опасается... А потом прослышал, будто в заволжских степях бездомный народ свободно селится, задумал туда добраться... А под Сызранью о вашем приезде в Верхнюю Мазу проведал, ну и не стерпел, поворотил на ваш проселок, давно была у меня думка-то заветная пови-

дать вас... как вы меня прежде в партизанах знавали и о господине моем жестокосердном хорошо осведомлены... Может, облегчение какое мне сделаете?

Крепко призадумался Денис Васильевич, слушая бывшего партизана. Вот она, горькая действительность! Наказанный за измену отечеству помещик благоденствует. Спасавший отечество от чужеземного ига крестьянин становится бездомным бродягой. Несправедливость вопиющая! Необходимо, конечно, оказать помощь Терентию, но как и чем? Он бежал от помещика, следовательно, совершил преступление и может быть в любую минуту и в любом месте схвачен полицией. А укрывательство беглых строго карается законом. Значит, этого нельзя. А что можно? Дать денег, снабдить одеждой и отпустить бродяжничать? Такому наиболее легкому решению вопроса противилась совесть. Терентий страдал за свою партизанскую деятельность. Денис Васильевич, всегда и всюду защищавший партизан, не мог оставить его в беде.

— У тебя кто дома-то из родных остался? — спросил он Терентия.

— Кабы кто там был, разве убежал бы? Один я как перст, Денис Васильевич...

— А о том, кто ты таков, никому в наших местах не рассказывал?

— Не извольте беспокоиться, я сам себе не враг.

— Ну так вот что, любезный. Оставайся, если желаешь, у нас, работа в хозяйстве найдется, лесу на избу дам и жалованье положу, а дальше будет видно!

— Премного благодарен, по гроб жизни помнить буду, — растроганно и тихо произнес Терентий. — Да кабы вам самим беды не нажить... Бумаг-то у меня никаких не имеется!

— Знаю! Это, брат, самое скверное! — сказал Денис Васильевич. — Деревня наша, положим, не на бойком месте, полиция сюда не часто заглядывает, а все же... бумаги для тебя, так или иначе, выправлять придется! — Он помолчал немного, насупив брови и потирая в раздумье лоб, потом заключил

загадочными словами: — Есть одна надежда... Говорить прежде времени нечего. Может быть, и не удастся, а может быть, и обойдется по-хорошему... Попробуем во всяком случае!

Выправить бумаги беглому крепостному человеку! Терентий считал такую задачу неразрешимой и с удивлением смотрел на Дениса Васильевича... Что же такое он задумал?

Терентию очень хотелось задать этот вопрос, но он не осмелился.

II

Возвратившись в Москву поздней осенью, Денис Давыдов был оглушен новостью, которую не замедлил сообщить ему Дмитрий Никитич Бегичев:

— В Петербурге кутерьма идет... Семеновцы взбунтовались!

— Помилуй, с чего же это? — воскликнул Денис Васильевич. — Ведь Семеновский гвардейский полк особенно любим государем, семеновцы пользуются всякими льготами, им живется как будто не плохо!

— Так оно прежде и было, — кивнув головой, подтвердил Дмитрий Никитич. — После Отечественной войны и заграничных походов, где семеновцы, сам знаешь, держались геройски, в полку совсем уничтожили телесные наказания, офицеры стали обращаться с нижними чинами вежливо, полковой командир Яков Алексеевич Потемкин не изнурял солдат лишней муштрой... Но такой порядок нашему Змею-Горынычу графу Аракчееву как раз и не понравился! Потемкин был отрешен от должности, а на его место назначен хорошо тебе известный людоед полковник Шварц...

— Позволь! Я же слышал, будто Шварца из армии перевели в лейб-гвардейский гренадерский?

— Совершенно верно! Он некоторое время и зверствовал над гренадерами, затем его приставили к семеновцам, причем Аракчеев сам сказал ему, что «надо выбить дурь из голов этих молодчиков».

— Ну, теперь причины возмущения для меня ясны... В человеколюбии Шварца не упрекнешь! —

вставил Денис Васильевич. — Рассказывай, что произошло дальше?

А дальше было так. Жестокие притеснения и палочная расправа вывели семеновцев из терпения. В ночь на 17 октября головная «государева рота» самовольно выстроилась во фронт, солдаты вызвали ротного и батальонного командиров и, заявив, что под начальством Шварца служба сделалась невыносимой, потребовали его смещения. Перепуганный Шварц поскакал к бригадному командиру великому князю Михаилу Павловичу. Тот, явившись в казармы, стал увещать солдат не смутьянить, они с редким единодушием продолжали настаивать на своем.

На следующий день корпусной командир Васильчиков арестовал всю роту. Весть об этом всполошила полк. Семеновцы вышли из казарм, построились на плацу и объявили, что не вернутся в казармы, пока не освободят арестованной роты и не сменят Шварца.

Император Александр в то время находился на очередном конгрессе в Троппау. Оставшееся в столице начальство растерялось. Аракчеев, сказавшись больным, не показывал носа. Генерал-губернатор Милорадович без толку гарцевал перед семеновцами, его уговоры ни к чему не привели. Приехавшую в карете императрицу Марию Федоровну солдаты выслушали почтительно, дружно прокричали «ура», но с места не тронулись.

Между тем стали обнаруживаться признаки волнения в других гвардейских полках, обеспокоенных участью товарищей, усилился ропот в городе, появились неизвестно кем писанные прокламации, разъясняющие, за что стоят семеновцы [21]. Имя изверга Шварца вызывало общую ярость. Какие-то вооруженные солдаты ворвались в его квартиру. Шварц едва успел выпрыгнуть через окно на двор, где зарылся с головой в навозную кучу, там не догадались его искать.

В конце концов Васильчиков собрал военный совет. Требовались решительные меры, чтоб прекратить смуту. Семеновский полк в полном составе был отправлен в Петропавловскую крепость. Краса гвардии

погибла! В Троппау с донесением о чрезвычайном и прискорбном происшествии поскакал адъютант корпусного командира Петр Чаадаев.

А спустя несколько дней пришел царский приказ судить головную мятежную роту военным судом, остальные расформировать по армейским частям и гарнизонам.

Размышляя над этим событием, Денис Васильевич невольно сопоставил его с другими, столь же необычайными событиями, совершавшимися сейчас повсюду. В Испании еще в начале года молодые офицеры Рафаэль де Риего и Антонио Квирога, опираясь на созданную ими военную партию, провозгласили конституцию, заставив короля Фердинанда присягнуть ей на верность. По всей Италии действовали венты грозных и неуловимых карбонариев, добивавшихся национальной независимости страны и уничтожения монархического правления. Летом карбонарии успешно произвели революцию в Неаполе. В Португалии восставший народ изгнал жестокого диктатора Бересфорда. На юге России бурно развивалась деятельность гетерии — греческого революционного общества, подготовлявшего освобождение Греции от турецкого долголетнего владычества.

А на Дону генерал Чернышев расстреливал картечью крестьян и казаков, поднявшихся за старые донские вольности. Не затихали волнения среди военных поселенцев, все чаще пылали в разных концах страны подожженные помещичьи усадьбы.

Что-то ощущалось предгрозовое, что-то назревало, вызывая глухое душевное томление.

Взбудораженные мысли не находили выхода. В Москве на этот раз, кроме Бегичевых, близких не было. Братья Лев и Евдоким служили в Петербурге. Ермолов на Кавказе. Раевские в Киеве. Базиль в Каменке. Вяземский в Варшаве. Не с кем по душам поговорить, не с кем пооткровенничать! Дмитрий Никитич Бегичев наслаждался домашним уютом, пирогами и кулебяками, толстел и взирал на все, что происходило за стенами дома, с завидным равнодушием. Новые знакомые, с которыми приходилось

встречаться в обществе и в английском клубе, где Денис Васильевич изредка бывал, к распашным беседам не располагали.

Вот почему он с особенной охотой собирался в Киев, куда во время зимних контрактов привозили ему арендные деньги из Балты.

В Киеве он надеялся повидать и Раевских и каменских своих родных. Базиль, Александр Львович и Аглая жили в своей деревне. Вероятно, они тоже будут на контрактах, тем более что ожидалась помолвка Катеньки Раевской с Михаилом Орловым, недавно получившим благодаря Киселеву пехотную дивизию, стоявшую в Кишиневе.

Да, предстоящая поездка обещала быть необычайно интересной!

Денис Васильевич выехал в Киев в первых числах января 1821 года. Но дорогой намеченный маршрут немного изменил. На одной из почтовых станций знакомый офицер, возвращавшийся с юга, сообщил, будто он слышал, что высланный из столицы поэт Александр Пушкин гостит сейчас в Каменке у Давыдовых.

Слух показался правдоподобным. Пушкин летом путешествовал по Кавказу и Крыму с Раевскими. Неудивительно, что Николай Николаевич представил его гостеприимным своим братьям. Денис Васильевич решил заехать сначала в Каменку. Если слух вымышлен и хозяева на контрактах, он переночует и отправится вслед за ними. Крюк небольшой!

Однако хозяева были дома. И не успел еще Денис Васильевич снять шубу, как выбежавшая в переднюю вслед за Базилем хорошенькая синеглазая, похожая на куколку Адель, дочь Аглаи Антоновны, возвестила:

— А у нас Пушкин!

Базиль сам хотел удивить Дениса этой новостью и недовольно покосился на племянницу.

— Скажи-ка лучше, голубушка, кто тебе позволил сюда выскакивать?

Адель сконфузилась и убежала. Базиль продолжал:

— Александр Сергеевич приехал из Кишинева в конце ноября, к матушкиным именинам...

— Вот что! И, вероятно, вместе с Михайлой Орловым?

— Конечно! Они там подружились крепко. И теперь Пушкину вроде как пора в Кишинев возвращаться, а он во что бы то ни стало желает на помолвку Михайлы попасть.

— Когда же помолвка-то? Я слышал, будто в середине января предполагается?

— Михайла в Москву по своим делаем поехал, отложили до первых чисел февраля. А Пушкина мы у себя, с дозволения начальства, задержали, чтобы вместе в Киев поехать.

— А какому же начальству вверены попечение и надзор за Пушкиным?

— Бессарабскому наместнику генералу Инзову. Старик, впрочем, славный. Мы отписали ему, будто Пушкин простудился, почему не может в назначенный срок возвратиться в Кишинев, и, конечно, Инзов догадался, что болезнь придумана, как оправдание задержки, однако ж весьма любезно разрешил Пушкину пребывать у нас до тех пор, «поколе он не получит укрепления в силах».

— Ну хорошо, а где же он, певец Руслана? Почему не вижу?

— Беседует с музами в укромном уголке, именуемом в сих местах «карточным домиком», — произнес, улыбаясь, Базиль. — Ступай к нашим дамам, представляйся, целуй ручки, да не задерживайся... Я буду ждать тебя в кабинете. Мы пойдем к нашему изгнаннику!

Денис Васильевич, пригладив перед зеркалом волосы и подкрутив усы, направился на половину старой барыни Екатерины Николаевны, но в танцевальном зале, через который нужно было проходить, его ждала Аглая.

Они не виделись более двух лет. И он не без трепета душевного взял и поднес к губам все еще

прелестную, девически пухлую руку. Аглая поцеловала его в лоб.

— Итак, вы женаты, довольны, счастливы?

Он взглянул ей прямо в глаза, ответил откровенно:

— Женат, доволен... А счастлив ли? Не знаю!

Тонкие брови ее слегка приподнялись.

— Вот как! А я полагала, вы упиваетесь счастьем, потому и забыли про своих старых друзей и про свои старые... привязанности!..

— Нет, со мною этого не может случиться, Аглая, — горячо возразил он, вновь беря ее руку. — Могу ли я предать забвению милые сердцу дни и часы, протекавшие близ вас? Никогда! Как бы ни сложилась моя жизнь, я всегда буду вас хранить в своем сердце и в своей памяти...

— Верю, мой добрый, милый друг, — благодарно сказала она, и тут же вдруг на лице ее обозначилась привычная кокетливая гримаска, а веселые глаза блеснули лукавым огоньком. — И, надеюсь, вы теперь не станете, как прежде, безумствовать, если заметите, что кто-то другой удостаивает меня вниманием не только в воспоминаниях?

Кто-то другой! Намек был слишком прозрачен. В Каменке, кроме Пушкина, никто не гостил. Денис Васильевич, продолжая разговор в том же легком, шутливом тоне, на который перешла Аглая, поинтересовался:

— Может быть, дорогая кузина, вы успели сделать вашим рыцарем Пушкина?

Аглая рассмеялась.

— А что вы думаете? Пушкин очень мил, забавен, остроумен... Я же, как вам известно, всегда покровительствовала поэтам, а иногда их и вдохновляла... Один из них некогда посвятил мне такие строки:

...Ты улыбкою небесною
Разрушаешь все намеренья
Разлюбить неразлюбимую!

Денис Васильевич, припомнив время, когда писались им эти стихи, подхватил:

— Клянусь, это чистейшая правда, и несчастному поэту пришлось поплатиться за свои нежные чувства пятидневным презрением покойного князя Багратиона...

Проболтав таким образом с ветреной кузиной еще несколько минут, затем навестив старую барыню, Денис Васильевич зашел за Базилем, и они, накинув шинели, поспешили к Пушкину.

Карточный домик, находившийся в конце сада, представлял собой небольшой деревянный, с четырьмя колоннами павильон, где помещался бильярд и карточные столы. Во время съезда гостей здесь обычно уединялись мужчины, шла игра в карты, велись за бокалом доброго вина горячие вольные споры.

А теперь этот опустевший домик, перед окнами которого могучий дуб раскинул серебрившиеся инеем ветви, был облюбован для работы Пушкиным [22].

Базиль, гордившийся дружбой с опальным поэтом, сам следил, чтоб печи в домике были хорошо натоплены, и чтоб не было угара, и чтоб дворецкий не забывал с утра ставить на стол тарелку любимых Пушкиным моченых антоновских яблок.

Когда Денис Васильевич и Базиль, тихо приоткрыв дверь, вошли в домик, Пушкин в коротком кафтане и бархатных молдаванских шароварах лежал на бильярде и, поскрипывая пером, быстро заполнял лежавшие перед ним листки ровными стихотворными строками.

Базиль полушепотом его окликнул:

— Александр Сергеевич!

Пушкин, чуть вздрогнув, повернул голову и увидел стоявшего за Базилем улыбающегося Дениса, соскочил с бильярда и, запахивая кафтан, воскликнул:

— Бог мой! Не сон ли это? Денис Васильевич! Каким образом?

— Ехал на контракты, душа моя, а услышал, что ты здесь...

Пушкин договорить не дал, бросился к нему на шею. Они крепко расцеловались.

А тут явился и камердинер с шампанским. Хлопнули пробки. Завязался оживленный разговор. Денис Васильевич, узнав о некоторых неизвестных подробностях высылки Пушкина из столицы, напомнил:

— А ведь я тебя предупреждал, Александр! Ты мне не внял, не угомонился и теперь повторяешь мой путь...

Базиль, бережно собиравший разбросанные повсюду пушкинские черновые листки, откликнулся с живостью:

— Любопытно, в самом деле, получается, Денис! Мне как-то в голову не приходило... А ведь тебя выслали из Петербурга почти в том же возрасте, что и Пушкина, и причины высылки у вас одинаковы?..

— Не забудь, — добавил Денис Васильевич, — что Александр, как и я, отправляется на юг и находит утешение...

Пушкин, улыбаясь и поблескивая глазами, заключил:

— Среди семейства почтенного генерала Раевского и в деревне милых, умных отшельников братьев Давыдовых! Какое чудесное сходство биографических черт! И, бог свидетель, я ничего не имею против дальнейшего продолжения... Быть участником великих событий, исполинских битв, предводительствовать отважными партизанами... Жизнь, полная романтики! — Он бросил теплый, но отчасти и озорной взгляд на сидевшего в кресле и раскуривавшего трубку Дениса и продолжил: — Впрочем, я не стал бы возражать и против хорошенькой жены и против генеральского чина...

— Ну, брат, если б тебе достался этот чин, как мне, ты бы, пожалуй, отказался, — промолвил добродушно Денис Васильевич. — Да и на что тебе генеральство? Ты без того молодец и полный генерал на Парнасе!

— Как сказать! — весело и быстро ответил Пушкин. — Вам-то царь все-таки и жалованьишко платит и орденами награждает, а мне тридцатью шестью буквами российского алфавита кормиться приходится...

— А я тебя, душа моя, могу надоумить, как стихами чины добывать, — хитровато прищурив глаза, сказал Денис Васильевич. — Проживающая в одном из западных наших городов жена канцеляриста, воспользовавшись проездом государя, умудрилась преподнести ему подушечку, на которой довольно искусно вышила шелками овцу и сделала такое стихотворное признание:

Российскому отцу
Я вышила овцу
Сих ради причин,
Дабы мужу дали чин!

И, представь, ловкая баба своего достигла, государь велел пожаловать канцеляриста классным чином...

Пушкин расхохотался. Базиль, подсев к нему на диванчик, шутя заметил:

— А случай, что ни говори, достоин внимания! Ты бы, Александр Сергеевич, тоже попытал счастья!

— Сам о том подумываю, — ответил Пушкин, едва сдерживаясь от смеха. — И стихи готовы... Словно для такого случая писаны!

Он обвел собеседников веселыми глазами и прочитал:

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел!

Базиль, глядя с восхищением на Пушкина, захлопал в ладоши:

— Представляю, как бы сия любопытная эпиграмма выглядела на подушечке!

Денис Васильевич, смеясь, добавил:

— Каждое слово не в бровь, а в глаз! Ведь подлинно под барабан и государь и братья его воспитывались. Бывало, царица-мать Мария Федоровна, подозвав дворцового коменданта, упрашивала его

производить потише смену караула. «А то великие князья, — говаривала она, — услышав барабан, бросают свои занятия и опрометью бегут к окну, а после того в течение всего дня не хотят ничем другим, кроме барабана, заниматься».

Разговор, подогреваемый вином и бесконечными шутками, катился, словно легкая волна на море. Все согласно клеймили произвол самовластья, возмущались несправедливым судом над семеновцами и донскими расстрелами. Поднимали бокалы и чокались за лучшее будущее отечества, за русский народ. Денис Васильевич и Пушкин, чувствуя, как, несмотря на разницу лет и положения, стали они близки друг другу, выпили на брудершафт и расцеловались совсем как родные братья.

Потом Пушкин с увлечением говорил о замыслах гетеристов, подготовлявших восстание греков против турок, и о своей беседе в Кишиневе с безруким сыном бывшего господаря Молдавского полковником русской службы Александром Ипсиланти, готовым возглавить греческое восстание.

Денис Васильевич вставил:

— Я слышал, будто в Петербурге относятся к этому благосклонно и будто государь обещал грекам поддержку...

Пушкин подтвердил:

— Ипсиланти и греки на эту поддержку по крайней мере очень надеются... Но кто поручится за честность намерений нашего кочующего венценосца?

Честность его намерений! Базиль, читавший постоянно заграничные журналы и газеты и более других осведомленный о европейских делах, тут же красноречиво начал доказывать, что император Александр думал не о помощи грекам, а о том, как бы поскорее расправиться с итальянскими карбонариями. Конгресс монархов, заседавший осенью в Троппау, недаром перебрался в Лайбах, ближе к мятежному Неаполю, чтоб тесней связаться с приверженцами монархии в Италии, быстрее перебросить туда австрийские и русские карательные войска.

Денис Васильевич, не менее своих собеседников сочувствовавший грекам и желавший их освобождения от турецкого ига, произнес со вздохом:

— Будущего, правда, не предугадаешь, но отказать в помощи несчастным единоверцам грекам было бы грешно и позорно...

Базиль кивнул головой и дополнил:

— Как, впрочем, и посылать войска в чужие страны для порабощения народов! Однако ж если б это случилось, — он немного помедлил, — кто может сказать, каков будет исход? Венты карбонариев объединяют свыше восьмисот тысяч итальянцев, готовых драться за свободу насмерть. И не произойдет ли при вторжении чужеземных войск общее возмущение народа?

Тут мог бы, вероятно, завязаться и спор, вызванный некоторым расхождением мнений. Базиль и Пушкин, явно преувеличивая силы карбонариев, были убеждены, что их пример всколыхнет народы других стран. Денис Васильевич в этом сомневался. Но высказать своих сомнений не успел.

Двери домика шумно распахнулись. Вошел, пыхтя и отдуваясь, толстяк Александр Львович Давыдов, только что возвратившийся из поездки в соседнюю свою деревню.

— Вы что же здесь секретничаете? — сказал он, со всеми обнимаясь и целуясь. — Дамы без вас скучают... Да уж и стол к обеду накрывают!

— А чем нас кормить будут? — задал брату вопрос Базиль, и все невольно улыбнулись.

Пристрастие Александра Львовича к гастрономическим и кулинарным изделиям всегда служило предметом для шуток, и он знал это, но когда с ним заговаривали на любимую тему, было выше сил отвергнуть такой разговор. Тем более что сегодня он уже успел заглянуть на кухню и живо ощущал еще ее запахи.

Жмуря от предвкушаемого удовольствия глазки и причмокивая жирными губами, Александр Львович начал перечислять кушанья:

— Расстегайчики будут изумительные, мой ми-

лый... Севрюжка под белым соусом с грибочками... Фазаны... я таких сочных давно не видывал...

Пушкин до конца не выдержал, перебил:

— Пощадите, Александр Львович! Ваше обозрение столь живописно, что я чувствую уже колики в желудке...

Базиль, успевший между тем наполнить вином бокалы, предложил:

— Выпьем посошок и отправимся обедать!

Пушкин, перемигнувшись с Базилем и Денисом, поднял бокал:

— За итальянскую красавицу, господа!

Все дружно выпили. Однако Александр Львович, мысли которого работали медленней, чем положено, поставив опорожненный бокал на стол, спохватился:

— А ты, Пушкин, какую такую итальянскую красавицу имеешь в виду? Ты, брат, смотри, — погрозил он пальцем, — мы с Денисом хотя и не служим, а все же генералы... Нам не тово...

Денис Васильевич под общий смех его успокоил:

— Ничего, почтеннейший мой брат... Бог милостив! Выпитое вино не прокиснет!

Три дня, проведенные в Каменке, надолго сохранились в памяти Дениса Васильевича. Общение с Пушкиным, в гениальности которого давно не сомневался, жаркие, острые споры и блестящие шутки, пышные лукулловские трапезы и легкий флирт. Аглая кокетничала напропалую и с ним и с Пушкиным. Базиль не переставал нежно поглядывать на Сашеньку Потапову, миленькую, застенчивую воспитанницу Екатерины Николаевны. В общем все в доме было полно романическим воздухом!

А какие прелестные стихи Денису посвятил Пушкин! Они были, правда, не окончены, читались по черновику. И все же каждая строчка трогала особой теплотой и задушевностью:

Певец — гусар, ты пел биваки,
Раздолье ухарских пиров,
И грозную потеху драки,
И завитки своих усов;

С веселых струн во дни покоя
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутыль.

Я слушаю тебя — и сердцем молодею,
Мне сладок жар твоих речей,
Печальный, снова пламенею
Воспоминаньем прежних дней...

Я все люблю язык страстей,
Его пленительные звуки
Приятны мне, как глас друзей
Во дни печальные разлуки.

Денис Васильевич любил впоследствии рассказывать о пребывании в Каменке друзьям и знакомым. Однако случилось здесь и нечто такое, что приходилось от всех утаивать.

В последнюю ночь, когда дом затих, а он еще не спал, лежа в постели с книгой в руках, в его комнату пришел Базиль, плотно прикрыл за собой дверь и, подсев к нему, сказал:

— Мне нужно, Денис, поговорить с тобой совершенно откровенно.

— А разве мы говорили с тобой когда-нибудь иначе? — приподняв голову, спросил он удивленно.

— Прости, я не совсем точно выразился... Именно потому, что мы всегда были откровенны и образ наших мыслей во многом весьма сходен... Мне хотелось знать твое отношение...

— К кому или к чему?

— К тайному обществу, ставящему своей целью замену самодержавия конституционным правлением, — тихо произнес Базиль. — Мы не виделись с тобой больше года, я не имел возможности признаться тебе, что вступил в него.

— Вот что? Значит, ты хочешь знать, как я отношусь к этому?

— И это тоже и другое... Как ты смотришь на то, чтобы самому войти в общество?

— Гм... Вопрос, брат Василий, для ответа не из легких... Но изволь, давай объяснимся!

Он привычно потянулся к трубке, лежавшей на тумбочке у кровати, и, закурив, продолжил:

— О том, что существует тайное общество, я знаю, и цели оного мне более или менее известны...

— И какие благородные цели, Денис!

— Не спорю. Воспитанный под барабаном царь плох. Аракчеевщина никому не мила. Самовластье, словно домовой, душит страну. Я не раз высказывал это своим друзьям. Возможно, при свободном правлении будет лучше. Но где силы, способные осуществить переворот? Пустыми прениями, милый мой, этого не сделаешь...

— Они не так пусты, как тебе кажется. Не забудь, что в спорах рождается истина... А силы, о коих ты говоришь, могут быть подготовлены только тайным обществом... Все идет к тому, что самодержавие, так или иначе, будет заменено лучшим правлением... Михайла Орлов недаром как-то сказал, что «Девятнадцатый век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий».

— Слышал, брат, я эти доводы от самого Михайлы, — махнул рукой Денис. — А вот теперь женится он на Екатерине Раевской и небось сразу все свои предсказания и отвлеченные химеры из головы выбросит!

— Напрасно так думаешь... Тебе разве не известно, какие порядки в своей дивизии Михайла Орлов заводит? Я наизусть помню его приказ, в коем он объявляет, что будет «почитать злодеем того офицера, который свою власть употребит на то, чтобы истязать солдат. Воля моя тверда. Ничто от сего предмета меня не отклонит. Терзать солдат я не намерен. Я предоставляю сию постыдную честь другим начальникам, кои думают о своих выгодах более, нежели о благоденствии защитников отечества».

— Это дело иное! За справедливое отношение к солдатам и за ланкастерские школы я всегда Михайлу хвалил и хвалить буду! А тайное общество... тут, брат, подумать нужно! Не шутка! Кому-кому, а нам с тобой печальный опыт брата Александра Михайловича Каховского хорошо ведом!

— А если мы все-таки будем более счастливы, чем брат Каховский и его товарищи?

— Допустим, хотя и маловероятно... А дальше что? Признаюсь, меня более всего страшат колебание государства, ужасы народных революций...

— Мы тоже этого страшимся, но наши опасения, кажется, напрасны, — возразил Базиль. — Я приведу в пример гишпанскую революцию. Она не вызвала никакого потрясения, все совершилось быстро, и ничего ужасного не было... Тоже и в Италии... Нет, ты просто плохо следишь за политическими событиями!

— Возможно, спорить не буду. В политике я не очень-то разбираюсь. И это, кстати сказать, тоже одна из причин, удерживающих меня от деятельности на поприще свободы. Я солдат, не политик! Двадцать лет идя одной дорогой, я могу служить проводником по ней, тогда как по другой я слепец, которому нужно будет схватиться за пояс другого, чтобы идти безопасно... Вот мой ответ на твой вопрос, брат Василий!

— Что же, каждый думает и поступает по-своему, — вздохнул Базиль. — Я прошу тебя только, чтоб наш разговор остался совершенно между нами...

— Ну, об этом не надо тебе беспокоиться, — перебил Денис Васильевич. — Я понимаю, какая тайна мне доверена... Это умрет со мною!

III

В Киеве у Раевских в эту зиму было особенно оживленно. Все четыре дочери генерала находились в таком возрасте, когда родителям, по обычаям того времени, приходилось ломать голову над лучшим устройством их будущности и не жалеть средств для того, чтоб девицы постоянно были на виду. В доме с раннего утра портнихи и белошвейки кроили, гладили и примеряли барышням платья. Каждый вечер то маскарад, то концерт.

Николай Николаевич в свойственном ему спокойном и чуть-чуть ироническом тоне признавался Денису Васильевичу:

— Незавидная должность, мой друг, быть отцом

взрослых дочерей... И хлопот полон рот и в долгах, как в репьях! А замуж дочь отдаешь — новые заботы ожидают и тревоги одолевают...

— О Катеньке вам как будто тревожиться нечего, Николай Николаевич. При стольких своих достоинствах Михаил Федорович Орлов, я уверен, будет и хорошим мужем и почтительным зятем.

— В этом не сомневаюсь, — сказал Раевский. — Душа болит о другом... Сдерживать себя он не умеет, в крайности впадает и, entre nous soit dit *, сын Александр говорил, будто Михаил Федорович связан с тайным обществом...

Для Дениса Васильевича это открытие новостью не было, но он умел держать язык за зубами. Раевский продолжил:

— Я не почел возможным обижать его допросом, однако ж высказал желание, чтобы он отказался от деятельности, могущей подвергнуть опасности будущую семью. Он обещал и тут же получил мое согласие на брак с Катенькой, а все-таки сердце-то отцовское... сам понимаешь...

— Могу ручаться, Николай Николаевич, слово с делом у Михайлы никогда не расходится.

— Надеюсь, надеюсь, мой друг, — улыбнулся Раевский. — Люблю-то я его, как родного! Вот возвратится из Москвы, и сразу помолвку объявим... А ты до тех пор, смотри, из Киева уехать не вздумай! На семейном нашем торжестве чтобы непременно тебя видели... Знаешь сам, как все мы к тебе привязаны...

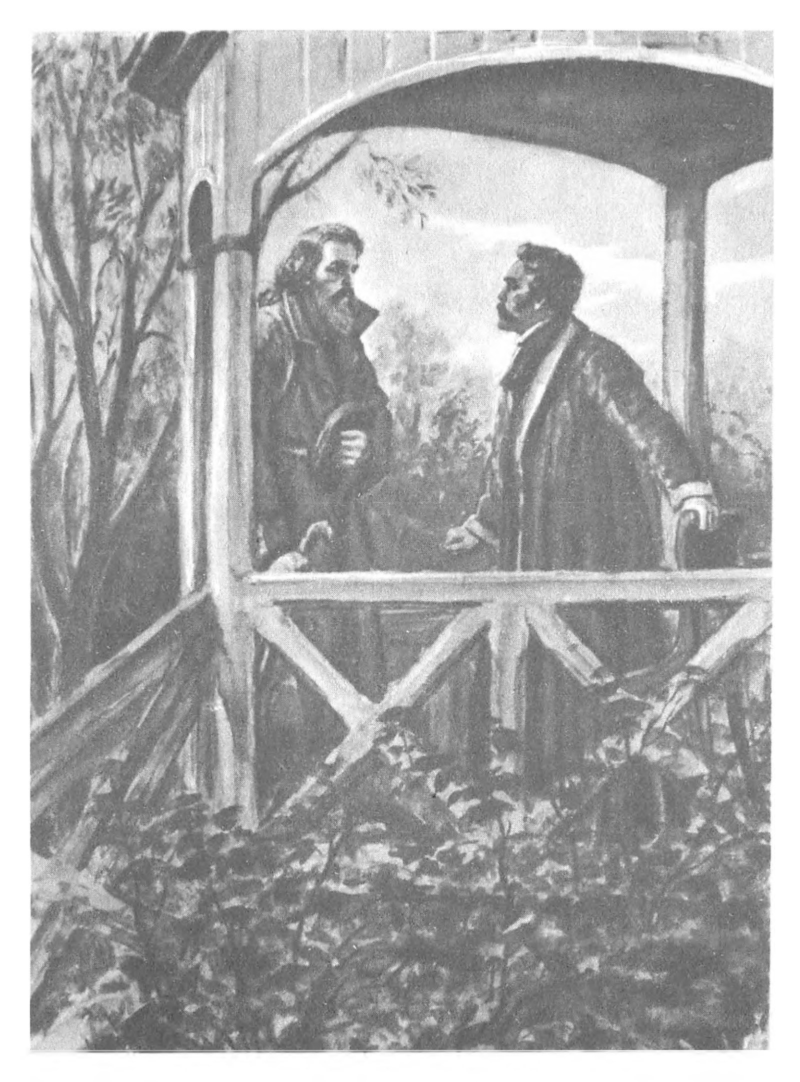
Денис Васильевич поблагодарил за приглашение, но, хотя и хотелось побывать ему на помолвке старого друга, осуществить это не удалось.

Из Москвы от Сони пришло неожиданное известие. С Кавказа приехал Ермолов. Направляется к родным в Орел, оттуда по служебным делам в Петербург. Просил, чтоб Денис, если возможно, свиделся с ним.

Случай был таков, что раздумывать не приходи-

---

* Говоря между нами.



К стр. 143

лось. Денис Васильевич извинился перед Раевскими и в конце января поскакал в Орел [23].

Ермолов! Почти пять лет он управлял Кавказом, и за это время вокруг его имени скопилось столько всяких разноречивых, порой загадочных толков и слухов, что разобраться в них было нелегко. Деятельность проконсула Кавказа, как называли Алексея Петровича, одних ужасала, других восхищала. Одни говорили о трудностях службы при этом грозном, властном начальнике, о страшных жестокостях, коими смирял он немирных горцев. Другие рассказывали о том, как он умен и справедлив, как ревностно заботится о благосостоянии края. И Пушкин тоже свидетельствовал, что Ермолов наполнил Кавказ своим именем и благотворным гением.

А молодой дипломат Александр Сергеевич Грибоедов, пробыв несколько месяцев у Ермолова, писал о нем своему близкому другу Степану Бегичеву: «Что это за славный человек! Мало того, что умен, нынче все умны, но совершенно по-русски на все годен, не на одни великие дела, не на одни мелочи. Заметь это. Притом тьма красноречия, и не нынешнее отрывчатое, несвязное, наполеоновское риторство, его слова хоть сейчас положить на бумагу... По закону я не оправдываю иных его самовольных поступков, но вспомни, что он в Азии, — здесь ребенок хватается за нож. А, право, добр, сколько мне кажется, премягких чувств, или я уже совсем сделался панегиристом, а, кажется, меня в этом нельзя упрекнуть...»

Удивительней же всего были вести, будто Ермолов открыто высказывает либеральные идеи, покровительствует сосланным на Кавказ неблагонадежным и разжалованным офицерам, называет в приказах солдат товарищами.

Денис Васильевич, зная осторожность Ермолова, сначала подобным вестям не верил, пытался их оспаривать, но в прошлом году Алексей Петрович сам прислал ему один из таких приказов да сделал еще собственноручную приписку: «Посылаю тебе приказ мой в войска. По сему предмету хвастать нечем, в старину все выболтано, но хочу, чтобы видел ты,

что не многие смели называть солдат товарищами и еще менее печатать то...»

Недоумение, возникшее у Дениса Васильевича при чтении приказа, так и не прошло. Что происходит на Кавказе? Что случилось с Ермоловым? Зачем понадобилось раздражать высшие сферы, где, несомненно, следят за каждым его шагом? Выработанные Ермоловым правила поведения никак не вязались с его поступками.

Денис Васильевич всю дорогу размышлял над этим. С юношеских лет он старался следовать ермоловским советам и теперь чувствовал себя в положении ученика, обнаружившего ошибку любимого учителя. Хотелось, чтобы учитель доказал, что все делалось правильно и никакой ошибки нет, и не верилось, что он сможет это доказать.

В старом ермоловском доме царила печальная тишина. Мария Денисовна второй год как скончалась. Заметно дряхлевший Петр Алексеевич почти не поднимался с постели. За ним ухаживала дочь, высокая, тощая и злая баба. Она говорила скрипучим голоском и вечно на всех жаловалась. Порядка ни в чем не было. Все делалось кое-как. Вещи покрывались пылью. Цветы в кадках засыхали. Печи дымили.

Алексей Петрович выглядел неважно. Львиная грива густо посеребрилась, под глазами легли морщины, отпущенные усы старили, придавали лицу несвойственное выражение жестокости.

— Ты к моим усам не приглядывайся! — пошутил он, обнимая Дениса. — Они, братец, в стратегических видах омрачили приятное лицо мое! Не пленяя именем, не бесполезно страшить наружностью!

Домашняя обстановка, видимо, Алексея Петровича тяготила. Приезд Дениса поэтому особенно его обрадовал, поднял настроение. Красноречие, о котором писал Грибоедов, нашло выход. Ермоловские рассказы о кавказской службе слушал Денис Васильевич с живым любопытством, и, хотя ему трудно было иной раз судить, правильны или неправильны делаемые Алексеем Петровичем выводы и заклю-

чения, однако многое вырисовывалось теперь иначе, чем представлялось прежде.

— Половину каждого года, иногда более, — говорил, прохаживаясь по кабинету Ермолов, — проживаю я в лагере, спокойствия нет, трудов много и славы никакой! Притом я знаю, иные либералисты почитают меня за сатрапа, без всякого сожаления искореняющего древние вольности горцев... Необходимость, признаю, заставляет порой прибегать к суровым мерам, ибо мягкосердечие и отсутствие строгости считается там лишь слабостью, но... попробуй рассуди, любезный Денис, не оправдывают ли сии суровые средства цели?

Ермолов передохнул, сдвинул мохнатые брови и, глядя на Дениса, продолжал медленно и значительно:

— В стычках с немирными горцами наши солдаты все чаще находят на убитых противниках оружие английского происхождения. Есть сведения, будто завозится оно морем, но, вероятней всего, идет через Персию, где с каждым годом все более увеличивается число оружейных мастеров и оружейных торговцев, наехавших из Лондона. Наследник шаха Аббас Мирза окружен англичанами, а их адская политика подстрекательств и захвата известна всему свету. Подумай-ка, куда дело клонится? Алчный взгляд всемирного ростовщика мистера Пудинга* давно уже блуждает по горам и долинам Кавказа. Не должно ли нам помышлять о том, чтоб быстрее смирить немирных горцев и тем оградить богатый сей край от вожделений чужеземцев?

Стремясь упрочить спокойствие и порядок, Ермолов возводит крепости у подножья гор, неуклонно заботится о боевом духе и хорошем содержании своих войск. Нарушая установленные правила, он запрещает изнурять солдат фронтовыми ученьями, отменяет телесные наказания, изменяет стеснительную форму одежды, всячески облегчает солдатскую жизнь.

---

* Ермолов называл мистерами Пудингами английских колонизаторов.

Вместе с тем Ермолов энергично занимается и благоустройством края. Поощряет развитие шелководства и виноделия, прокладывает новые дороги, строит госпитали, обследует минеральные источники, содействуя устройству при них гостиниц и ванных зданий. В Тифлисе начинает выходить первая газета на грузинском языке, создается офицерский клуб с библиотекой, получающей не только русские, но и заграничные газеты.

По мере того как Денис Васильевич из разговора с Ермоловым узнавал обо всем этом, он все глубже проникался сочувствием к его деятельности. Будь он сам на месте Ермолова, он, вероятно, поступил бы точно так, разве был бы немного поосторожней. И что удивительного в том, что ермоловские нововведения принимаются восторженно людьми свободолюбивых взглядов, составившими тесный приятельский кружок проконсула Кавказа!

Денису Васильевичу невольно вспоминался Тульчин. Там Киселева тоже поддерживали вольнолюбцы, не стеснявшиеся излагать при нем свои взгляды. Но тут же сразу возникал острый вопрос о пределах благонамеренности и о границах дозволенного. Киселев, не избегая либеральных разговоров и даже соглашаясь во многом со своими сотрудниками, явно границ переступать не собирался. А Ермолов? Как и пять лет назад, он язвительно обрушивался на высшие сферы, не щадил и царя, но в то же время Алексей Петрович не прочь был пройтись и на счет некоторых либералов. Однако рассуждая о политических делах, он как будто что-то недосказывал, и эти недомолвки казались загадочными. Впрочем, имелись и другие признаки, усиливавшие такое впечатление [24].

Когда Денис Васильевич осведомился у Ермолова, по каким делам его вызывают в Петербург, он ответил:

— Над этим вопросом, любезный Денис, я сам, признаться, второй месяц голову ломаю... Сообщили, что ожидается в феврале приезд из Лайбаха государя, коему угодно меня видеть... не для обмена

взаимными нежностями, конечно. А зачем? Закревский весьма туманно намекнул, будто носятся слухи о том, что государь готовит мне новое важное назначение... Но какое?

— Может быть, вам предстоит занять пост командующего войсками, кои, по слухам, будут направлены на помощь грекам? — подсказал Денис Васильевич.

— Чепуха! — махнув рукой, решительно произнес Ермолов. — Нашим английским и австрийским союзникам невыгодно появление русских войск на Балканах. Да и трудно ожидать, чтоб Александр Павлович осмелился на такое дело, как поддержка греческого восстания.

Подобные доводы недавно высказывал в Каменке Базиль. В Киеве же говорили другое. Раевский получил несколько предписаний, свидетельствовавших, что правительство учитывает возможность близких военных осложнений. Денис Васильевич счел нужным Ермолову возразить:

— Вам, однако ж, должно быть известно, почтеннейший брат, что в наших войсках, расположенных близ границ, производятся некоторые передвижения?

— Знаю. Кажется, даже экспедиционный корпус составляется. И в том с тобою соглашусь, что меня могут прочить туда на должность начальника. Но... кто сказал, что мы отправимся на Балканы освобождать греков, а не куда-нибудь в другие места?

— Куда же, вы полагаете?

— Вероятней всего в Италию, карбонариев смирять, — отрезал Ермолов и сразу заметно взволновался. — А командовать войсками, назначенными для сей неблагородной цели, прямо тебе скажу, я никак не собираюсь... Никак!

Денис Васильевич опять отметил, что о возможности посылки карательных войск в Италию впервые услышал от Базиля, считавшего позорной такую экспедицию. Очевидно, этот вопрос был предметом обсуждения членов тайного общества и близких

к нему кругов. Но то, что спокойно выслушивалось от Базиля, начинало беспокоить, когда произносилось Ермоловым. Базиль сидел в своем поместье и демагогические споры, как выражался Пушкин, запивал шампанским, а Ермолов, занимая столь важное положение, находился на виду всей страны, каждое его неосторожное слово могло иметь для него дурные последствия.

Алексей Петрович между тем, продолжая расхаживать по комнате, говорил:

— Все это пока одни предположения. Возможно, я ошибаюсь, дай бог, чтоб так и было. А думать приходится! Аракчеев и другие близкие царю люди давно на меня наушничают. Великий князь Николай Павлович, коего я в Париже за пьяные дебоши осаживал, прямо изволит заявлять, будто я неблагонадежный начальник. Ну, а назначением меня в каратели представляется прекрасный случай мою благонадежность испытать... Дьявольски тонкая сеть сплетается, любезный Денис! Любой мой ответ подлецам на руку! Соглашусь — навеки в глазах всех честных людей свое имя замараю. Не соглашусь, — придется, как неблагонадежному, отставку брать и мундир снимать. Вот какое дело!

— Что же, в таком случае, вы намерены предпринять?

— Воспользоваться советами древних мудрецов, — усмехнулся неожиданно Ермолов. — Не делать того, чего твои враги желают и ожидают!

— Не понимаю, каким образом вы сумеете этого достигнуть?

— Попробую сослаться на болезни и на робость, одолевающую меня при мысли, что придется явиться на той же сцене, где недавно действовали Суворов и Наполеон...

— Помилуйте! Кто же поверит вам, почтеннейший брат?

— А не поверят, можно, смотря по обстоятельствам, еще что-нибудь придумать... Трудно, знаю! Однако попробуем!

И, чуть помолчав, расправляя собравшиеся на широком лбу морщины, закончил твердо:

— Так или иначе... Имени своего марать не буду!

IV

Ранней весной Александр Ипсиланти в сопровождении двухсот всадников, переправившись по льду через пограничную реку Прут, занял город Яссы.

Силы Александра Ипсиланти, которому греческая гетерия доверила возглавить восстание, были ничтожно малы, надежды огромны. «Великая держава одобряет сей подвиг», — одной этой фразы, появившейся в первом воззвании, выпущенном в Яссах, оказалось достаточно, чтобы вселить уверенность в освобождении от турецкого рабства не только греков, но и других славянских народов. Все понимали, о какой великой державе идет речь.

— Россия с нами, русские нам помогут, — читая воззвание, говорили со слезами радости на глазах греки и сербы, валахи и молдаване, стекавшиеся отовсюду в Яссы.

Александру Ипсиланти было хорошо известно, что в Петербурге всячески старается за греческих патриотов не кто иной, как сам министр иностранных дел, грек по рождению, граф Каподистрия. Отношения России с Турцией натянуты до последней степени. Русский посланник из Константинополя отозван. Русские войска стягиваются к границам.

А в братском сочувствии к восставшим грекам русского народа можно было не сомневаться. Далекие от дипломатических интриг русские люди рассуждали попросту: кому же, как не России, взять под свою защиту несчастных единоверцев? В церквах служили молебны о даровании им победы. Собирались пожертвования. Во многих семьях рождавшимся детям давали греческие имена. Во всех слоях общества Александра Ипсиланти и его товарищей чтили героями.

Павел Дмитриевич Киселев из Тульчина писал Закревскому:

«Нельзя вообразить, до какой степени они очарованы надеждою спасения и вольности. Что за время, в котором мы живем, любезный Закревский? Какие чудеса творятся и какие твориться еще будут? Ипсиланти, перейдя за границу, перенес уже имя свое в потомство. Греки, читая его прокламацию, навзрыд плачут и с восторгом под знамена его стремятся. Помоги ему бог в святом деле! Желал бы прибавить: «и Россия».

Киселев знал, конечно, что Россия в любую минуту оказать помощь готова. Вторая армия стояла под ружьем. Начальник штаба все ночи напролет просиживал над картами, обсуждая со своими сотрудниками планы возможных в ближайшем будущем наступательных действий. Остановка была за царем, находившимся еще в Лайбахе. Взоры всех обращались туда. Уверенность, что царь не оставит без поддержки восставших, была полной.

Денис Давыдов, живший всю весну в Москве, не менее других был взволнован известием о начале греческого восстания.

На первых порах, помня разговоры с Базилем и Ермоловым, он, правда, относился с некоторым недоверием к разговорам о царской помощи грекам, но постепенно поддался общему настроению. Слишком упорны и правдоподобны были распространявшиеся всюду слухи! Говорили, будто четыре корпуса войск под начальством Ермолова вот-вот выступят против турок. Говорили, будто Ермолов спешно выехал из Петербурга в Лайбах для совещания с царем и начальником главного штаба Волконским о предстоящей военной кампании. А Дмитрий Никитич Бегичев списал где-то строки стихов молодого петербургского поэта Кондратия Рылеева, посвященные Ермолову:

Наперсник Марса и Паллады,
Надежда сограждан, России верный сын
Ермолов! поспеши спасать сынов Эллады...

Стихи были приятны. Признание почетной миссии Ермолова выражалось в них весьма явственно. Де-

нис Васильевич начал даже подумывать над тем, чтоб самому проситься в будущую действующую армию.

— Стыдно, брат, дома мне сидеть, когда война за святое дело начинается, — признавался он Бегичеву. — Я же в тех местах с турками воевал и многим Алексею Петровичу полезен был бы... Хочу в главный штаб писать!

Но спустя некоторое время события предстали в совершенно ином свете.

В Москву из Варшавы неожиданно приехал Вяземский. Он внешне мало изменился, зато возбужден был до крайности. И Денису Васильевичу, ничуть не таясь, объявил:

— Меня лишили службы и выслали сюда, найдя, что мой образ мыслей и поведения противен духу правительства...

— Помилуй! Да что же такое ты там натворил?

— Ровно ничего, если не считать некоторых замечаний, кои делаются ныне каждым честным человеком...

— Иными словами, высказывал недовольство, насколько я разумею? Но чем же ты недоволен?

— Нельзя вечно существовать обманом и отказываться сегодня от того, что обещали вчера, — с раздражением сказал Вяземский. — А эти признаки стали, кажется, основными определителями нашей политики! Я уже не говорю о том, что царь и его министры перестали совершенно считаться с чаяниями своего народа... Мы прокламируем конституционное устройство полякам и отвергаем любую их попытку в этом направлении; мы ведем постыдную игру с обнадеженными нами греческими патриотами... Разве ты не слышал, какой ответ дан государем обратившемуся к нему за помощью Александру Ипсиланти?

— Понятия не имею, — несколько растерянным голосом произнес Денис Васильевич. — Расскажи, сделай милость...

— Нет, уж если ты не слышал, я передавать своими словами не буду, а прочитаю сию достойную

вечной памяти эпистолу, списанную мною в Варшаве у одного из наших дипломатов...

И Вяземский, достав из портфеля бумагу, прочитал:

«Никакой помощи, ни прямой, ни косвенной вы не получите, ибо недостойно подкапывать основание Турецкой империи действиями тайного общества. Ни вы, ни ваши братья не находитесь больше на русской службе, и вы никогда не получите позволения возвратиться в Россию».

Денису Васильевичу стало ясно, что предположения, высказанные некогда Базилем и подтвержденные затем Ермоловым, оправдываются и общие надежды на царскую помощь грекам бессмысленны, однако многое еще было непонятно.

— Почему же так получается, милый друг? — спросил он. — Мне за верное известно, что гетеристы находились под покровительством нашего правительства и графа Каподистрия...

— В том-то все дело! — перебивая, сказал Вяземский. — Начало греческого восстания совпало с революцией, которую карбонарии произвели в Пьемонте. К тому же было получено известие, что валах Теодор Владимиреско, собравший целое войско из простого народа и примкнувший вначале к Ипсиланти, воюет не только против турецких янычар, но и расправляется со своими боярами. Австрийский канцлер Меттерних запугал государя призраком всеобщего народного возмущения. А монархи, собравшиеся в Лайбахе, более всего того опасаются. Греки были признаны такими же мятежниками, как и карбонарии. Греки стали жертвой царского испуга и подозрительности. А граф Каподистрия? Он тщетно пытался выгородить своих соотечественников. Государь заподозрил его самого в связях с карбонариями и приказал именно ему писать, под свою диктовку, ответ Александру Ипсиланти... Представляешь?

— Представляю. История поганая, — вздохнул Денис Васильевич. — Но скажи, ради бога, мне важно твое мнение: зачем же все-таки продолжается движение наших войск к границам и Ермолов вызван

в Лайбах? Неужто возможно, что, отказав в помощи грекам, мы пойдем, как некоторые предполагают, усмирять карбонариев?

— Во всяком случае, я тоже слышал, что подобное намерение нашему перепуганному царю не чуждо. И Ермолов, вероятно, получит назначение командовать усмирительными войсками, чему я, разумеется, не завидую...

— Ермолов такого назначения не примет! Об этом не может быть речи! — взволнованно и горячо отозвался Денис Васильевич. — Я виделся с Алексеем Петровичем перед отъездом его в Петербург, я могу ручаться, карателем он не будет! Но я ума не приложу, каким образом может он выкрутиться? Если государь так подозрительно настроен, то любые доводы Ермолова для отказа от назначения могут стоить ему службы, которая свыше четверти века была столь примерной и блистательной... Ты должен понять, я не могу оставаться спокойным!

— А мне хочется все-таки немного тебя успокоить, любезный Денис, — неожиданно улыбнулся Вяземский. — Ты не учитываешь тысячи всяких случайностей, почти непременных в подобных делах... Сообрази хотя бы, что переброска войск за две тысячи верст может растянуться на месяцы, а подавление мятежей требует обычно быстроты. И, говорят, австрийцы уже зверствуют в Италии...

— Твои доводы отзываются софизмами, друг милый, — ответил Денис Васильевич. — Ты забываешь, что войска отправляются в поход не прежде назначения начальника, а наоборот... И Ермолов, по всей видимости, сейчас уже в Лайбахе, где первый же разговор с царем может окончиться для него самыми дурными последствиями... Нет, что скверно, то скверно! Сердце болит за Ермолова!

В доме Вяземского опять стали теперь собираться по вечерам старинные приятели: Василий Львович Пушкин, Федор Толстой, Четвертинский, Денис Давыдов... Но происходившие события наложили отпе-

чаток на общее настроение и характер бесед. Былая легкомысленная веселость исчезла. И Вяземский, разгоряченный несколькими бокалами шампанского, начинал обыкновенно бушевать:

— От большого количества народа не скроешь, что рабство уродливость и что свобода, коей они лишены, такая же неотъемлемая собственность человека, как воздух, вода и солнце. Тиранство могло пустить по миру одного Велизария, но выколоть глаза целому народу — вещь невозможная...

Василия Львовича такие крамольные слова заставляли беспокойно поглядывать по сторонам и ерзать на стуле. Федор Толстой басовито изрекал не относящиеся к речи вздорные реплики. Четвертинский сидел молча с трубкой в зубах и покачивал головой.

А Вяземский продолжал витийствовать:

— Рабство — нарост на теле нашего государства... Рабство — вот причина, которая порождает у нас революционную стихию... Уничтожив рабство, мы уничтожим всякие предбудущие народные возмущения! Или вы хотите ждать, чтобы бородачи топорами разрубили этот узел?

Слова, сказанные Вяземским, звучали грозно. Бородачи с топорами страшили всех дворян: и либералистов и староверов. Денис Давыдов исключения не представлял. Но, слушая Вяземского, он не испытывал обычного в таких случаях щемящего душу беспокойства.

Вяземский желал уничтожения рабства, чтоб предотвратить возможность народных возмущений. Другие либералисты хотели того же, однако расходились с Вяземским в вопросах о том, каким способом этого добиться. Они не возлагали надежд, подобно Вяземскому, на реформы и просвещение, а считали необходимым прежде всего свергнуть самодержавие, изменить государственный строй, для чего и создавали тайные общества. Денису Давыдову позиция, занятая Вяземским, представлялась более надежной [25].

Брат Евдоким, произведенный недавно в генерал-майоры, и Левушка, ставший полковником, продолжали служить в Петербурге. Денис Васильевич, обеспокоенный судьбой Ермолова, писал им письма, просил сообщать все слухи, доходившие из далекого Лайбаха. Пошел второй месяц, как Ермолов туда уехал. Пора бы всему выясниться! Но братья долгое время не отвечали. Молчал и Закревский.

И вдруг пришла коротенькая, более чем странная записка от Левушки. Ермолов в Лайбах еще не приезжал! Никто не знает, где он. Начальник главного штаба Волконский выражает недоумение. Император сердится. Закревский в полном расстройстве.

У Давыдовых и Бегичевых записка Левушки произвела настоящий переполох. Что такое с Ермоловым? Случай всем казался загадочным. Строились тысячи всевозможных догадок. Соня и Сашенька высказывали мнение о возможной болезни, Дмитрий Никитич пускался в пространственные рассуждения о всяких дорожных историях. Однако Денис Васильевич, сопоставив некоторые события, начал склоняться к иному объяснению.

Полагая Ермолова в Лайбахе, он не обратил внимания на замечание Вяземского о том, что подавление мятежей требует быстроты, а теперь это замечание приобрело весьма существенное значение. Ермолов недаром возлагал надежду на обстоятельства, которые помогут что-нибудь придумать, чтоб избежать нежелательного назначения. Алексей Петрович, несомненно, лучше других знал, что австрийцы торопятся подавить мятеж, и мог нарочно замедлить свой приезд. И когда спустя несколько дней пришло известие, что Ермолов наконец-то благополучно прибыл в Лайбах, а в газетах появились сообщения о взятии австрийскими войсками Неаполя, Денис Васильевич почти перестал сомневаться в своей догадке.

Разумеется, ни родным, ни друзьям он не сказал о том ни слова. Напротив. После того как окончательно выяснилось, что посылать русские войска в Италию незачем, Вяземский однажды намекнул:

— А тебе не кажется, что Ермолов выкрутился какими-то хитростями?

Денис Васильевич сейчас же возразил:

— Вздорная мысль, друг мой! Ермолову никакой нужды в хитростях не было при той быстроте австрийцев, о какой сам ты говорил... И, пожалуйста, сделай одолжение, Петр Андреевич, не высказывай впредь никакого вздора о Ермолове. Кумушек обоего пола в Москве много. Ты пошутишь, они подхватят, а кто-то и ухватиться за слух может... Сам знаешь, в какое время живем! Репутацию человеку нынче испортить ничего не стоит!

Денис Васильевич последние фразы сказал не зря. Время было опасное. Правительство, встревоженное ростом общего недовольства, усилило деятельность гражданской и военной полиции. Обе столицы кишели тайными наблюдателями и доносчиками, жадно ловившими каждое неосторожное слово, каждый слух...

Денис Васильевич проявлял благоразумную предусмотрительность. Лето Давыдовы проводили в небольшой подмосковной деревне Приютово. Соня опять ожидала ребенка. А Денис Васильевич готовил издание «Опыта о партизанах», предполагая осенью выпустить книгу в свет. Жили замкнуто, тихо. Никого, кроме Бегичевых и Вяземских, не принимали. Круг знакомых был ограничен. В общественных местах он старался показываться как можно реже. В английском клубе обедал всего два или три раза, причем от разговоров на острые темы обычно уклонялся.

Старинный приятель поэт Александр Федорович Воейков недоумевал:

Давыдов, витязь и певец
Вина, любви и славы!
Я слышу, что твои совсем
Переменились нравы:
Что ты шампанского не пьешь,
А пьешь простую воду,
И что на розовую цепь
Ты променял свободу,
Что ныне реже скачешь в клоб,

В шумливые беседы,
И скромные в семье своей
Тебе милей обеды...

Однако даже уединенная, скромная жизнь от полицейского надзора не спасала.

Брат Левушка, приехавший погостить на недельку, сообщил секретно:

— Вызывал меня перед отъездом Закревский и просил тебя предупредить, чтобы ты избегал неосторожных и нескромных разговоров...

— Помилуй, что за странность! — изумился Денис Васильевич. — Какие нескромные разговоры и с кем я их веду?

— Арсений Андреевич сказал, будто до него дошли слухи, что ты порицаешь действия высшего начальства, ропщешь на порядки в армии и осуждаешь военные поселения.

— Откуда же исходят подобные слухи? Какие мерзавцы их собирают?

— Агенты военной тайной полиции, как я понял.

Денис Васильевич тщетно напрягает память, стараясь припомнить, когда и в каком обществе высказывал такие мысли. Впрочем, это не так существенно. Он понимал, что доносчики, может быть и не совсем доказательно, приписали ему, несомненно, его собственные суждения, которые они где-то краем уха подслушали.

Итак, он под постоянным наблюдением тайных соглядатаев. Он идет по улице, а чьи-то глаза его провожают; он остановился, чтоб повидаться с приятелем, а чьи-то настороженные уши ловят обрывки его фраз; он приходит домой и, ничего не подозревая, сидит в кругу семьи, а чьи-то грязные руки уже строчат на него донос: «Фу, мерзость какая!» — невольно содрогается Денис Васильевич от негодования и отвращения. А следом приходят тревожные мысли о возможных последствиях. Ведь при существующем недоброжелательном отношении к нему высшего начальства любому доносу бродяги могут дать веру!

И, обращаясь к брату, он спрашивает:

— А как думаешь, куда эти слухи, облеченные,

вероятно, в форму доноса, направляются? Не следует ли мне что-то предпринять?

Левушка отвечает успокоительно:

— Мне кажется, тебе беспокоиться об этом не надо. Благожелательный и любезный Арсений Андреевич сам обо всем позаботился...

Возникшая тревога постепенно исчезает. Хорошо все-таки иметь в главном штабе друга! Но с возмущением, клокотавшим в груди, не так-то легко справиться. Денис Васильевич не мог скрыть его и в письме к Закревскому:

«Слухи, которые дошли до тебя насчет моей нескромности, вовсе несправедливы. Ежели бы я что и соврал, то никто бы пересказать не мог мною совранное, ибо я совершенно никуда не выезжаю и никого не принимаю. Я знаю, как и другие, что Москва не менее Петербурга наводнена людьми, которых я не опасался бы, если б они доносили о том, что слышат, но чего не сочинит мерзавец для того, чтобы выслужиться? К тому же — горькая истина! — какая храбрая служба, какая благородная жизнь перевесить может донос бродяги, продавшего честь свою полиции?»

Доверить такое письмо почте, где завелся обычай просматривать корреспонденцию, Денис Васильевич никогда бы не решился. Он хорошо знал, что бумага терпит все, но многие не терпят того, что на бумаге написано. Письмо в столицу отправлено было с Левушкой.

А предупреждение Закревского запомнил крепко. В английском клубе совсем перестал появляться. Благоразумную предусмотрительность надо превратить в чрезвычайную осторожность. Такова была жизнь!

V

Соня впервые после родов вышла в цветник, разбитый при доме. Сентябрьские дни стояли на редкость сухие и теплые. В прозрачном воздухе дрожали паутинки бабьего лета. Пышно цвели на клумбах

махровые астры. Денис Васильевич бережно усадил жену на скамейку и присел рядом.

Они только что оставили детскую. Маленькая Сонечка, как назвали девочку, крепко спала. Он долго с неизъяснимо радостным чувством глядел на обрамленное кружевным чепчиком крохотное личико. Дочка! Черты родственного сходства распознать было трудно, но густые, темные, давыдовские брови обозначались ясно. Это усиливало пробуждавшуюся отцовскую нежность. И в то же время он думал о том, как появление малютки внесло что-то новое в его отношение к жене, к Соне-большой. Она стала словно ближе, родней, привязанность к ней неизмеримо возросла.

Такое ощущение не покидало Дениса Васильевича и в цветнике. Он ласково привлек к себе жену и произнес:

— А ротик нашей крошки похож на твой, милая Соня... И, пожалуй, весь овал лица!

Соня улыбнулась.

— Вот уж не нахожу! По-моему, она живой портрет своего папы!

Денис Васильевич признался:

— Ну, если говорить правду, я не такого высокого мнения о своей наружности, чтобы желать этого... Нет, право, дай бог, чтобы наша Соня-маленькая во всем походила на мою Соню-большую...

Они поговорили таким образом еще несколько минут и неожиданно примолкли. Чей-то тяжелый экипаж, громыхая, свернул с улицы и остановился у ворот их дома. Они поднялись со скамьи, обменялись немым взглядом: «Кто же это может быть?»

Давыдовский дом построен был по-старинному. Просторные сени, отделявшие жилую часть от парадного подъезда, выходили другой, противоположной стороной в цветник. Денис Васильевич и Соня еще в сенях увидели мощную фигуру Ермолова, показавшегося в открытых камердинером парадных дверях. А следом за ним шел, заплетая ногу за ногу и смешно размахивая руками, высокий и тонкий как жердь незнакомец.

Ермолов сбрил усы, и поэтому казался помолодевшим. Генеральская фуражка выгорела от солнца и помялась. Наброшенная на плечи легкая шинель покрыта дорожной пылью.

— Знаю, знаю, что непрошеные гости хуже татар, но ничего не поделаешь, вам придется сие татарское нашествие вытерпеть, — весело говорил он, входя в дом. — Я прямо из столицы... Закревский завтра или послезавтра в своей подмосковной будет, просил, чтоб я здесь задержался...

Алексей Петрович сбросил шинель, расцеловал Дениса и Соню, а узнав, что она стала матерью, поздравил ее и вздохнул:

— Эх, жаль, что задержали меня в Петербурге! Непременно бы в кумовья назвался!

Потом, повернувшись к незнакомцу, представил:

— А это мой спутник и будущий кавказский сослуживец Вильгельм Карлович Кюхельбекер. Прошу любить и жаловать!

Кюхельбекер, согнувшись чуть не вдвое, поцеловал протянутую руку Сони, что-то невнятно пробормотал и густо покраснел.

Денис Васильевич, догадавшись, что перед ним тот самый поэт и чудак Кюхля, о котором с неизменной теплотой отзывался Пушкин, поспешил его обнять и ободрить:

— Друзья моих друзей всегда мои друзья, любезный Вильгельм Карлович... По службе парнасской и понаслышке я давно почитаю тебя своим приятелем!

Серо-голубые выпуклые глаза Кюхельбекера радостно засияли. Он схватил руку Давыдова и, благодарно пожимая ее, сказал взволнованно:

— Я тоже давно знаю и люблю вас. Еще в лицее, вместе с Пушкиным, мы заучивали ваши стихи и басни. Они помогали образовывать наши вкусы. А партизанские действия ваши всегда вызывали самое искреннее мое восхищение...

Соня пригласила всех в столовую. Там за чаем, чувствуя общее расположение, Кюхельбекер открылся как интересный собеседник. Он недавно побывал

за границей, куда в должности секретаря сопровождал старого остряка камергера Александра Львовича Нарышкина, и теперь с увлечением рассказывал о своих европейских впечатлениях. Нарышкин не обременял работой. Свободного времени было много. Кюхельбекер занимался не только осмотром достопримечательностей. В Веймаре он посетил знаменитого Иоганна Вольфганга Гёте, в Париже познакомился с Бенжаменом Констаном, по просьбе которого прочитал французам несколько лекций.

Впрочем, о своих лекциях Кюхельбекер распространяться не собирался. Он сказал о них между прочим, а сказав, сразу смутился, бросив при этом на Ермолова взгляд, выражавший как бы молчаливую просьбу не делать замечаний на сорвавшуюся с языка фразу.

Но Денис Васильевич, перехватив этот взгляд, полюбопытствовал:

— А позволь узнать, любезный Вильгельм Карлович, о чем же были лекции?

Кюхельбекер произнес запинаясь:

— Моим предметом являлись история нашего отечества и состояние нашей словесности...

— Отлично! А какие же, собственно, мысли ты высказывал?

— Я высказывал сердечное убеждение, что Россия, устранив злоупотребления и пороки, достигнет некогда высочайшей степени благоденствия, — преодолев смущение и начиная разгораться, отвечал Кюхельбекер. — Я говорил, что русскому народу не вотще дарованы чудные способности и богатейший, сладостнейший между всеми европейскими язык, что россиянам предопределено быть великим, благодатным явлением в нравственном мире...

Кюхельбекер передохнул и снова посмотрел на Ермолова. Однако Алексей Петрович того, что знал, скрывать не счел нужным и тут же добавил:

— А следствием оного красноречия явилось предложение русского консула господину оратору незамедлительно покинуть французскую столицу и возвратиться в пределы Российской империи...

— Как! Значит, вас выслали из Парижа? — недоумевая, обратилась Соня к Кюхельбекеру. — Я ничего не понимаю... За что же все-таки?

Кюхельбекер вынужден был признаться:

— Нашли, будто я допускаю неуместные выражения...

Ермолов с обычной для него усмешечкой Соне пояснил:

— Надо полагать, милая сестрица, Вильгельм Карлович, высказываясь о настоящем и будущем россиян, не всегда делал ударения там, где следует...

Денис Васильевич, покачав головой, вставил:

— А при нынешних строгостях подобная история могла окончиться весьма печально.

— Оно и было на то похоже, да выручили спасительные случайности, — сказал Ермолов. — Незадолго перед тем, возвратясь из Лайбаха в Петербург, государь, довольный кавказскими делами, изволил пожаловать мне сорокатысячную ренту на двенадцать лет, а я, поблагодарив, отказался от оной в пользу бедных служащих, обремененных семействами...

Соня не выдержала, перебила:

— Вы... отказались от ежегодных сорока тысяч?

— А я за большими деньгами и подарками никогда не гонялся, хватит с меня жалованья, — отозвался чуть даже резковато Ермолов и, передохнув, продолжил: — Зато когда всем известный опекун и покровитель господ сочинителей Александр Иванович Тургенев уговорил меня взять на службу Вильгельма Карловича, государю мою просьбу об этом, судите сами, отвергнуть было уже совсем неловко... Вот как все устроилось!

Кюхельбекер влюбленно глядел на Ермолова и что-то шептал. Потом вскочил порывисто с места, заговорил несвязно:

— Позвольте, господа... Я всю жизнь... Это не забывается...

И вдруг, выпрямившись во весь рост и переведя снова взгляд на Ермолова, с большой силой и трогательной искренностью прочитал:

Он гордо презрел клевету,
Он возвратил меня отчизне:
Ему я все мгновенья жизни
В восторге сладком посвящу...

Темпераментное выступление Кюхельбекера и его стихи произвели большое впечатление. Денис Васильевич одобрил автора первым:

— Прекрасно, милый Вильгельм Карлович! Такие строки не рассудком, а сердцем рождаются... Знаю по себе! Чувство, оно, братец мой, всегда скажется!

Ермолов, ласково поглядев на Кюхельбекера, добавил:

— Я в стихах знаток небольшой, в разборе их с братом Денисом тягаться не могу, однако ж отличать сердечность чувств и мне, одичавшему жителю Кавказа, свойственно... Благодарю, дружок! — И что-то вспомнив, он едва приметно усмехнулся: — Хотя, должен заметить, дикими азиатами нелегкий труд сочинителей иной раз ценим бывает на свой манер весьма щедро. Мне Грибоедов рассказывал, как персидский шах, прослушав стихи одного старого поэта, приказал ему раскрыть пошире рот и собственной рукой сунул туда горсть бриллиантов!

— Позволю напомнить, почтеннейший брат, — сказал, смеясь, Денис Васильевич, — что подобные азиатские способы награждения не только в Азии, но и у нас в России были известны...

— Разве? — удивился Ермолов. — Ну, я, признаюсь, никогда не слышал... Кто же и когда у нас этим занимался? Расскажи, любопытно!

— Императрица Анна Иоанновна набивала серебром и медью рты своим потешным карлам. А покойная государыня Елизавета Петровна развлекалась иначе: она приказывала запекать в пироги вместо начинки серебряные рублевики и одаривала таковыми кулинарными изделиями своих приближенных...

Ермолов, насмешливо блеснув глазами, перебил:

— Способы награждения, слов нет, похожи, да суть не в способах, брат Денис, а в том, кого и за что награждают. Там сочинителей и поэтов, а у нас шутов и лакеев...

И. довольный своей остротой, Ермолов громко, без стеснения, рассмеялся.

Сама по себе эта острота ничем из других его острот не выделялась. Не такое еще говаривал Алексей Петрович! А все же его поведение, как и в прошлую встречу, казалось Денису Васильевичу во многом загадочным и заставляло опять задумываться...

Ермолов отказался от сорокатысячной аренды... Почему же? Денис Васильевич не мог поверить его собственному объяснению. Более правдоподобной казалась другая причина: зная о своей популярности в либеральных кругах, Ермолов желал ее упрочить. Ведь слух об отказе от аренды в пользу бедных служащих, несомненно, будет тому способствовать. А прием на службу попавшего в беду милого чудака Кюхельбекера? Можно не сомневаться, что Александр Тургенев трезвонит об этом благородном поступке во всех столичных гостиных.

Но зачем нужна Алексею Петровичу популярность в либеральных кругах? Неужели лишь для того, чтоб потешить свое тщеславие? Не узнал ли он чего-то во время пребывания в Лайбахе? И, наконец, что же случилось с Ермоловым по дороге туда?

Говорить обо всем этом можно было лишь с глазу на глаз. И такой разговор в тот же день состоялся. Начал его сам Алексей Петрович, и начал совершенно неожиданным вопросом:

— Надеюсь, к тайному обществу ты не принадлежишь?

— Помилуйте! — изумился Денис Васильевич. — Я как будто никогда не давал повода полагать меня в числе сторонников подобных учреждений!

— А если не принадлежишь, то и хорошо, — сказал спокойно Ермолов. — Я предупредить хотел, ибо на собственном опыте убедился, сколь важно заранее прибраться и почиститься. Помню, как меня в молодости арестовали... Найди тогда генерал Линденер бумажки, кои брат Александр Каховский хранить доверил, — обоим бы нам голов не сносить! Да, пренебрегать, милый мой, опытом никогда не следует...

— Но что же произошло, почтеннейший брат?

— Государю стало известно о существовании тайных обществ, и, вероятно, будут приняты меры для искоренения оных...

Денис Васильевич изменился слегка в лице. Вспомнились Базиль, Михайла Орлов... Над сколькими друзьями и знакомыми нависла опасность! Сдерживая волнение, он спросил:

— Неужели государю доложены даже имена наших отечественных карбонариев?

— Ну, о таких подробностях меня не осведомляли, — произнес Ермолов, — зато я узнал другое... Они сильнее, нежели я думал! Государь так их боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся! [26]

— Следовательно, они занимаются не только демагогическими спорами, но и предприняли что-то серьезное?

— А как, по-твоему, в бирюльки, что ли, в тайных обществах играют? В Италии карбонарийские венты в короткий срок вооружили десятки тысяч людей... Вот у его величества от мрачных дум и пошла головка кругом!

— Простите, почтеннейший брат, однако мне кажется, при таких обстоятельствах и некоторые ваши собственные поступки могли показаться государю подозрительными...

— Ты на что же намекаешь? — прищурился Ермолов. — К тайным обществам я касательства не имею... А ежели Кюхельбекера с собою взял, так не без царского же согласия!

— Я имею в виду не только этот случай... После нашего прошлого разговора меня крайне беспокоила ваша поездка в Лайбах, тем более что длилась она слишком долго...

— А-а, ты вон о чем! — догадался Ермолов, и губы его тронула привычная усмешечка. — Поездка была занятная, что и говорить! В Варшаве великий князь Константин Павлович на неделю задержал, парады и разводы свои показывал. Как его высочеству откажешь? А потом несколько раз в дороге то карета, то бричка ломались...

— Зачем же вам другой экипаж понадобился?

— Экий, брат, ты несметливый! Со мною подарки для его величества и для Петрухана Волконского следовали. Петрухан, сам ведаешь, на подарки падок! Приезжаю, он волком смотрит: почему, дескать, медленно ехал? А увидев ковры и всякие иные изделия восточных чудесников, сразу обмяк... Побежал государю докладывать, что мои рассуждения основательны и виновности моей в дорожной задержке не было! Ну, а к тому времени надобность в посылке наших войск в Италию отпала, и назначение мое отменили, о чем я, как сам понимаешь, услышал без сожаления... Выходит, беспокоился ты напрасно, брат Денис!

— Могло же, однако, дело кончиться для вас и не столь благополучно?

— Разумеется. На грех мастера нет. В таком случае видел бы ты меня сейчас без мундира, только и всего!

Разговор отчасти успокоил. Ермолов к тайным обществам касательства не имеет, пользуется прежним доверием государя. А вместе с тем было очевидно, что сокровенные мысли и стремления проконсула Кавказа далеко не укладываются в рамки обычной благонамеренности, что он настроен к правительству враждебно и сочувствует объединившимся в тайные общества вольнодумцам. Сколько странностей, сколько противоречий! Попробуй-ка разгадать, чего желает Ермолов?

VI

Бал, который дал Закревский в своем подмосковном селе Ивановском в честь Ермолова, был великолепен. Обширный господский дом сверкал огнями. Аллеи парка, спускавшегося к пруду, украшали гирлянды разноцветных фонариков. Играл военный оркестр. Палили при тостах из пушек. А когда взмыли в небо первые ракеты фейерверка, перед домом на самом видном месте, брызгая золотым дождем, медленно закрутился огромный щит, с одной стороны которого, под ермоловским дворянским гербом, зна-

чилась надпись: «Врагов мечом караешь», а с другой, под таким же гербом, стояло: «Друзей душой пленяешь!»[27]

Гостей наехало много. Тут была и титулованная московская знать, и чиновники разных ведомств, и окруженные перезрелыми дочерьми соседи-помещики, но большинство составляли военные. Закревский никого не хотел обижать, пригласил всех, с кем когда-то служил или состоял в знакомстве.

Денис Давыдов, приехавший вместе с Ермоловым, находился в приподнятом настроении и, вспомнив гусарскую молодость, много пил, шутил, танцевал до упаду. Черноволосая, кареглазая красавица Аграфена Федоровна Закревская, жена Арсения, совершенно его очаровала. Она была смешлива, лукава и чем-то напоминала ему Аглаю, может быть удивительным легкомыслием.

Танцуя с нею и ведя обычную светскую болтовню, он, не предвидя особого сопротивления, готов был атаковать ее пламенными словами признания, но его пыл охлаждали ревнивые взгляды Арсения, старавшегося не выпускать жены из поля зрения. Денис Васильевич, подавляя вздохи, все более соображал необходимость немедленного прекращения неуместного флирта. Сделав над собой усилие, он, едва только закончился длинный котильон, откланялся милой Аграфене Федоровне и, вытирая платком вспотевший лоб, подошел к Закревскому и Ермолову, стоявшим в кругу нескольких военных.

— Дух Бурцова в тебе неистребим, брат Денис! — смеясь, заметил Ермолов. — Тот, говорят, мог без отдыха двенадцать часов сряду плясать...

— Куда нам до Бурцова! — отмахнулся Денис Васильевич. — Бурцовским проказам уже более не быть... Будучи однажды в отпуску в Липецке, где родитель его служил градоначальником, Бурцов въехал к нему в кабинет верхом на коне и потребовал тысячу рублей для уплаты своего долга... А кабинет, господа, находился на втором этаже дома!

Закревский, улыбаясь, произнес:

— Между прочим, мне передавали, будто в Петербурге не так давно пытался повторить подобное гвардеец Хрунов...

— Какой Хрунов? Матвей Григорьевич? Измайловского полка?

— Кажется, что так... Ты разве его знаешь?

— Пять лет назад, когда за арендой к вам приезжал, познакомили с ним... Нет, с Бурцовым Хрунова не сравнишь! Тень жалкая! Водку хлещет жестоко и под балалайку пляшет лихо, а на все иное никакой фантазии... Я, впрочем, сделал на него рифмованный набросок...

Под вечерок Хрунов из кабачка Совы,
Бог ведает куда, по стенке пробирался;
Шел, шел и рухнулся. Народ расхохотался.
Чему бы, кажется? Но люди таковы!
Однако ж кто-то из толпы —
Почтенный человек! — помог ему подняться
И говорит: «Дружок, чтоб впредь не спотыкаться,
Тебе не надо пить...» —
«Эх, братец! Все не то: не надо мне ходить!»

Стихи вызвали общие похвалы. Денис Васильевич с довольным видом покручивал усы. Закревский, взяв его под руку, говорил любезности. А между тем музыка снова заиграла. Бал продолжался.

И никто не заметил, как в зале появился невзрачный полицейский пристав, отыскал глазами среди гостей московского коменданта Волкова и, отозвав его в сторону, что-то шепнул на ухо. На круглом румяном лице коменданта выразилось беспокойство, он тотчас же, прихрамывая, вышел из дому вслед за приставом.

Ермолов и Давыдов узнали о ночном происшествии лишь на следующий день. Заночевав у Закревских, как и многие другие гости, они утром вышли в парк подышать свежим воздухом и, пройдясь по аллеям, уселись в одной из беседок, закурили трубки. Здесь к ним подошел стройный и черноглазый, похожий на итальянца Александр Яковлевич Булгаков, дотошный, умный и всеведущий московский почтмейстер, общий приятель, и сказал:

— Потрясающая новость, господа! Оказывается, ночью готовился поджог имения!..

— Полно, что за шутки, Александр Яковлевич, — произнес Давыдов.

— Сведения самые достоверные, — подтвердил Булгаков. — Должно благодарить нашего коменданта, предусмотрительно распорядившегося об усилении охраны. Поджигатели вовремя были схвачены.

— Кто же они такие

— Здешние мужики. Поджог для них не диковина. В последние годы они сожгли несколько господских строений, дважды поджигали местную суконную фабрику и винокуренный завод, пытались добраться и до барского дома...

— А чем же все это вызывается? — сдвинув брови и наморщив лоб, спросил Ермолов.

— Страшным озлоблением крестьян, — ответил Булгаков. — Ивановское, как вам известно, было приданым Аграфены Федоровны, но до последнего времени управляла имением ее мать, скончавшаяся недавно графиня Толстая. И хотя о покойниках не принято говорить худого, должен заметить, старая графиня недаром стяжала мрачную славу одной из самых скаредных и жестоких помещиц Подмосковья. Крестьяне были доведены до полного нищенства. Фабричные работали по двенадцать часов, получая лишь кусок хлеба и две копейки. Дворовые ходили, пошатываясь от постоянного недоедания и бесчеловечных наказаний. И вот что поучительно, господа: скаредность и жестокость привели не к повышению, а к понижению доходности имения. Люди работают кое-как. Урожаи собираются на редкость плохие, сукно фабрика выпускает скверное...

— Значит, Арсению Андреевичу на многое рассчитывать от имения не приходится? — поинтересовался Давыдов.

— Думаю, что так. До тех пор по крайней мере, пока не наладятся отношения с крестьянами... Я далек от либеральных идей, господа, но, как видите, собственная наша выгода заставляет с этим считаться.

— Вполне с тобой согласен, Александр Яковлевич, — сказал Давыдов. — В этом вся суть!

Вскоре подошел Закревский, сопровождаемый комендантом Волковым, с которым находился в давней дружбе. Они только что побывали в селе, где присутствовали при допросе арестованных поджигателей. Подробности дела подтверждали правильность того, о чем говорил Булгаков.

Покойная барыня «довела до разора» крестьянина Трофима Сутулина. А сын его погиб на фабрике от несчастного случая. Трофим вместе с другими обозленными ивановцами участвовал два года назад в поджоге господского имущества, был судим и скончался по дороге на каторгу. Тогда другой его сын, Лука, тоже работавший на фабрике, мстя за отца и брата, испортил ценную машину, за что по приказу барыни был наказан плетьми и выслан в другую графскую деревню, находившуюся под Лебедянью. Оттуда спустя некоторое время Лука сбежал обратно и, хоронясь у ивановских крестьян, стал подготовлять поджог господского дома, задумав сжечь в нем старую барыню. Узнав о ее смерти, Лука, как показали свидетели, «заскрежетал зубами», но намерения о поджоге не оставил, хотя ивановцы уговорили его изменить план и сначала подпалить ненавистную всем фабрику, которая в последнее время по распоряжению Закревского была временно закрыта для переустройства. Полагая, что бал в господском доме отвлечет внимание приказчиков, Лука и двое его дружков легко пробрались на фабричный двор и, заложив паклю в щели деревянного здания, начали высекать огонь, но в это время подоспела полицейская охрана.

— Самое ужасное заключается в том, — говорил расстроенный происшествием Закревский, — что преступники не только пользовались тайным сочувствием всех ивановцев, но и вдохновлялись ими... Выясняется, господа, такая особенность: мужики, более двух месяцев укрывавшие беглого Луку Сутулина, кормили его по очереди, как обычно кормят пастухов и других полезных мирских людей. В глазах ивановцев

поджигатели господского имущества не преступники, а смелые, справедливые люди, страдающие за мирское дело! Видели бы вы, сколько всяких продуктов, даже лакомств, вроде сала и меда, натащили арестантам чуть свет со всего села!

— Я тебе советовал, Арсений Андреевич, поскорей отправить отсюда мерзавцев, — вставил Волков. — А что касается сочувствия арестованным со стороны мужиков... удивляться и тревожиться нечего, всюду так, а ничего страшного не происходит. Надо надзор построже учредить!

— Нет, а я Арсения Андреевича вполне понимаю, — возразил Булгаков. — Поджигателей по закону накажут, сошлют в Сибирь, а мужицкая ненависть тут останется... И строгостью скорее сам себе повредишь, чем поможешь! Да вот я вам один случай занятный расскажу. Был у одного пензенского помещика старик бурмистр и до того строгий и злой, что мужики, только увидев его бороду, а борода размеров была невероятных, начинали дрожать от страха. Помещик бурмистра ценил и всюду расхваливал: вот, дескать, если б таких бородатых псов во всех именьях завести, то ни смут, ни бесчинств никогда бы не было. Однажды, приехав в Москву, стал это помещик своим знакомым, как обычно, бурмистром хвалиться, а в это время ему почтовый большой пакет подают... Что такое? Раскрыл — и глазам не верит! Лежит в пакете борода бурмистра... и вместе с ней послание от крестьян: мы, дескать, пока отрезанную нами бурмистрову бороду посылаем, а ежели его не уберете, то вскоре и голову ожидайте. Каков случай, а? И не хочешь, а улыбнешься, хотя чему же, собственно?

Неожиданно в разговор вмешался Ермолов:

— Отпустил бы ты мужиков на волю, Арсений Андреевич. Они тебя благодетелем почитать станут и по найму, глядишь, лучше работать будут!

Все посмотрели на Алексея Петровича с некоторым удивлением. Говорил он в обычной своей слегка иронической манере, и трудно было разобрать, то ли

всерьез, то ли в шутку сделано предложение. Закревский с кислой улыбочкой произнес:

— А пожалуй, и впрямь придется вашим советом воспользоваться, Алексей Петрович...

Происшествие в Ивановском произвело тяжелое впечатление на Дениса Давыдова. Происшествие это не было исключительным случаем. В последнее время в дворянском обществе все чаще говорили о волнениях среди крестьян, о нападениях на помещиков, о поджогах. Не было ничего удивительного и в том, что крестьяне сочувствовали поджигателям господского имущества. Всюду так! Но именно потому, что подобные явления наблюдались всюду, нельзя было, как делал Волков, успокаиваться тем, что ничего страшного не происходит. Страшное заключалось уже в самом слове «всюду». Оно встревожило воображение мрачными картинами народного мятежа. Топоры бородачей, о которых напомнил как-то Вяземский, могут быть в конце концов пущены в ход! А кто виноват во всем этом? Сословные предрассудки и привычки уводили от правильного ответа. Коренная причина крестьянской враждебности виделась не в крепостной системе, а в самоуправстве и жестокостях некоторых помещиков. Денису Давыдову хорошо помнилась трагическая история проданной развратному Каменскому крестьянской девушки. Но чем лучше Каменского скаредная старуха Толстая, заставляющая людей работать за две копейки в день?

Всякий раз, когда приходилось слушать разговоры о бесчеловечных поступках помещиков, Денис Васильевич чувствовал, как вместе с отвращением к этим господам начинает закипать в нем и гнев против них. Они, и никто более, возмущали и озлобляли народ, разрушая добрые отношения с крестьянами! Такого несколько наивного мнения придерживался, впрочем, не он один. Оно было достаточно широко распространено тогда в той дворянской среде, где он вращался.

Конечно, высказывать при Закревском негодование действиями его покойной тещи было неудобно, да и бесполезно. Закревский сам превосходно все

понимал. Однако ивановское происшествие не прошло для Дениса Васильевича бесследно, и тревожные мысли, порожденные этим происшествием, спустя два месяца дали отзвук в другом месте и при других обстоятельствах.

VII

Денис Васильевич не забыл своего обещания выправить бумаги Терентию. Но дело оказалось значительно сложнее, чем можно было ожидать.

Расчет основывался на предположении, что Масленников, ускользнув от суда, несомненно, не захочет ссориться с человеком, знающим его прегрешения, и не откажет в просьбе дать Терентию вольную или в крайнем случае продать его. Когда же Дмитрий Никитич Бегичев, охотно взявшийся помогать шурину, навел необходимые справки у судейских чиновников, посоветовался с опытными стряпчими, то пришлось весь расчет признать несостоятельным.

Ведь было неизвестно, каким образом Масленникову удалось избежать суда, а главное, куда делись следственные материалы? Обычно они хранились в судебных архивах, но Масленников, не пожалев денег, вполне мог добиться изъятия их оттуда и совершенного уничтожения. А в таком случае его сношения с французами делались почти недоказуемыми, и это обстоятельство сразу изменило бы характер предполагаемых отношений с ним. Масленников мог отказаться от всяких переговоров да вдобавок заявить полиции, что Давыдов укрывает беглых.

Но если следственные материалы и уцелели, то, во-первых, не так-то просто до них добраться, а во-вторых, прошло столько времени, что, вероятно, пришлось бы заниматься снова собиранием свидетельских показаний, обличающих помещика в измене. А это предприятие чрезвычайно трудное и не обещающее никакого успеха.

Наконец Масленников легко может перейти от обороны к наступлению, обвинив Давыдова в том, что он самовольно, из личной неприязни, подверг телесному наказанию ни в чем не повинного дворяни-

на. Как его пороли — видели многие, а за что — не знал точно никто. К тому же Масленников, наверное, заручился бумажкой о прекращении судом его дела за полной недоказанностью обвинения. Приложенная к жалобе такая бумажка могла стать весьма основательной и грозной уликой против Давыдова. Вот как все повертывалось!

Обрисовав в подробностях невеселую эту картину, Бегичев посоветовал:

— Благоразумней всего не связываться с негодяем...

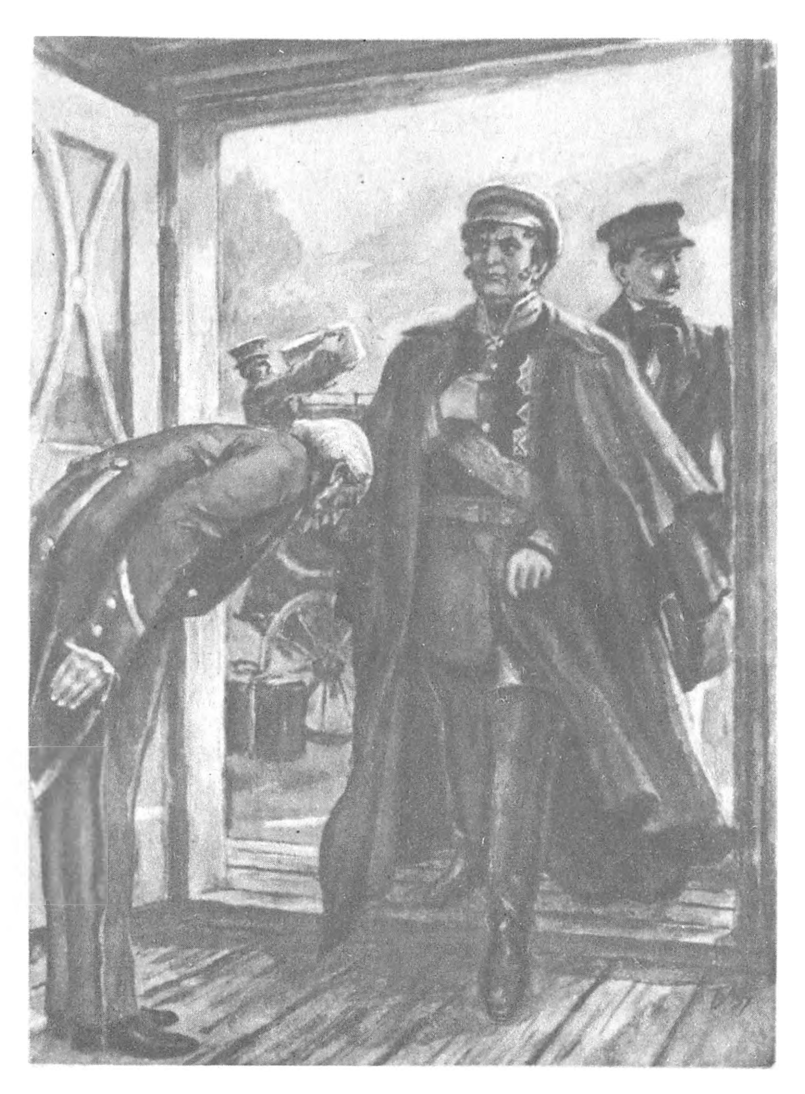
Денис Васильевич мрачно усмехнулся:

— Занятные сети плетет наша богиня Фемида! Виноватый проскользнет, а правый застрянет! — И, вздохнув, заключил: — Что ж, придется повременить... Ты, Митя, все же через смоленских своих знакомцев проведай, как держит себя поротый барин и бывает ли в Москве... Не мешает знать на всякий случай!

Между тем положение Терентия, жившего без всякого вида в Верхней Мазе, начинало с некоторых пор внушать серьезные опасения.

Терентий, судя по письмам дядюшки Мирона Иваныча, не сидел без дела и все, что ему поручалось, выполнял с необычайным усердием. Он привел в порядок дворовые постройки, превосходно отделал все комнаты господского дома, а парадное крыльцо и террасу украсил такой искусной резьбой, что все диву давались. Дядюшка нахвалиться не мог Терентием, считая его бесценным человеком.

Но трудолюбие и мастерство Терентия стали возбуждать невольный интерес к нему и ненужные толки, причем не только среди дворовых. Соседка помещица Мария Ивановна Амбразанцева нарочно приезжала в Верхнюю Мазу, чтобы справиться у Мирона Ивановича, откуда взялся у них этакий умелец и нельзя ли прислать его недельки на две к ней для домашних работ. Стало быть, слухи о Терентии вышли за пределы села и могли привлечь внимание полиции... Что-то так или иначе необходимо было предпринимать. Но что же?



К стр. 178

Размышления об этом совпали с большим событием в жизни Дениса Васильевича. На письменном столе появилась пахнущая свежей типографской краской первая его книга «Опыт теории партизанского действия». Названию он умышленно придал суховатый оттенок, чтоб несколько скрыть взволнованность своих чувств. Когда приходилось защищать партизан от нападок военных педантов, людей сухой души и тяжкого рассудка, разве мог он оставаться спокойным?

Правда, подсушенное название не очень-то спасало книгу от осуждения в высших сферах. Царь морщился при упоминании о ней. Дибич и Толь удивлялись, как могла цензура разрешить ее выпуск. И Закревский, учитывая эти настроения, журил за допущенные в книге дерзкие рассуждения. Денис Васильевич признавал что «занесся во многих местах», обещал впредь быть осторожней.

Впрочем, книгой он был очень доволен. Кислые физиономии военных педантов и методиков не смущали, он знал заранее, что этим господам книга придется не по вкусу, зато в либерально настроенных офицерских кругах приняли ее более чем благосклонно. Выражая мнение этих кругов, Иван Григорьевич Бурцов писал из Тульчина:

«Русская военная литература, как известно вам, богата только фронтовыми уставами и прибавлениями к оным; следственно, приходится искать наставления по ремеслу нашему в сочинениях чужеземных. Я покорялся сему закону, хотя с великим негодованием: читал много и утвердительно могу сказать, что ничего близкого, похожего даже на ваше произведение не знаю... Это в другом роде «Опыт теории о налогах» Тургенева, коим не похвалится ни одна чужестранная литература. Тому воздавать будут хвалы политики, доколе не обрушатся столпы государственных зданий, — этому будут возносить благодарность воины, пока люди не перестанут точить штыки...» [28]

Выпуская первую свою книгу, Денис Давыдов заботился не только о военно-теоретических, но и

о литературных ее достоинствах. Карамзин, Жуковский, Вяземский, читавшие рукопись, помогали своими советами, однако надо заметить, автор не следовал им слепо, несмотря на полное уважение к почтенным литераторам. Выправлялись отдельные страницы, заменялись одни выражения и слова другими, а слог оставался свой собственный, оригинальный, живой, давыдовский.

Поэтому особенно приятно было получить стихотворный отклик на книгу от Александра Пушкина:

Недавно я в часы свободы
Устав наездника читал
И даже ясно понимал
Его искусные доводы;
Узнал я резкие черты
Неподражаемого слога...

И хотя при этом Пушкин в шутливом тоне скорбел о том, что «перебесилась проказливая лира» поэта-партизана, признание в прозаическом его сочинении «неподражаемого слога» наполняло Дениса Васильевича чувством большого творческого удовлетворения.

Итак, созревший несколько лет назад замысел был осуществлен!

Несмотря на явное нежелание царя и его ближних признавать партизанскую систему, она утверждалась в книге как ценный, проверенный опытом способ защиты отечества. А в журнале «Отечественные записки» печатались отрывки из «Дневника партизанских действий». Мысли, высказанные в книге, подтверждались в журнале красочными примерами партизанской практики.

Денис Васильевич, глядя на книгу, невольно каждый раз вспоминал о славных деяниях партизан, и злая судьба одного из них, ныне с последней надеждой ожидавшего решения своей участи, волновала все больше и больше. Возвращение полицией беглого крестьянина помещику было обычным для того времени делом и само по себе Дениса Васильевича, вероятно, не взволновало бы, но в данном случае беглый крестьянин являлся партизаном, за-

щитником отечества, а помещик изменником. К тому же через смоленских знакомых Бегичева стало известно, что поротый барин, вынужденный первые годы после экзекуции сдерживать свой нрав, в последнее время, решив, очевидно, что старые его грехи окончательно забылись, совершенно озверел и, по слухам, засекал иногда своих крестьян до смерти. Нетрудно представить, что ожидает Терентия, если... Нет, этого допускать было нельзя! Денис Васильевич не знал еще, что он предпримет, но знал, что ему придется перешагнуть черту, отделяющую так называемые благоразумные действия от риска. Он ощущал необходимость такого шага. Слишком уж попиралась справедливость. А кроме того, после ивановского происшествия не затихло в груди негодование против озлоблявших народ неистовых помещиков, и поротый барин казался одним из самых гнусных и вредных.

В последних числах ноября Масленников приехал в Москву. Узнав об этом, Денис Васильевич быстро принял решение. Надев мундир со всеми регалиями, он отправился в гостиницу Коппа на Тверской, где, по сведениям Бегичева, останавливался поротый барин.

Большой номер, занимаемый им, находился на втором этаже и состоял из двух комнат и передней. Дверь открыл пожилой, с испуганными глазами, камердинер в затрапезном кафтане и растоптанных валенках.

— Барин проснулся? — спросил Давыдов.

— Так точно, кофе кушают... Как прикажете доложить?

Денис Васильевич молча сбросил шинель и, слегка отстранив оторопевшего комердинера, переступил порог.

Масленников в домашнем халате сидел за столом. Увидев нежданного гостя, сразу признав его, он с трудом приподнялся. Круглое, обрюзгшее лицо покрылось мгновенно багровыми пятнами. Глаза выкатились из орбит. Губы тряслись, и слова едва выдавливались:

— Чем обязан... удовольствию... видеть у себя... ва-а-ше превосходительство?

Денис Васильевич, скрестив руки на груди, стоял не шевелясь и в упор глядел на поротого барина горячими, гневными глазами. Потом, чувствуя, что впечатление произведено огромное и Масленников смертельно его боится, сделав шаг вперед, произнес сурово:

— Девять лет назад я пощадил вашу жизнь, сударь... Мне казалось понесенное вами наказание достаточным для того, чтобы никогда не забывать о существующем возмездии за наши недостойные поступки. Не хочу скрывать, ваша дальнейшая жизнь меня интересовала, и мне приятно было узнать, что на первых порах вы держались скромно... Я даже собирался сжечь хранящиеся у меня, заверенные в штабе главнокомандующего бумаги, касающиеся ваших сношений с неприятелем, но... я не сделал этого, сударь, ибо вскоре до меня дошли иные сведения...

Говоря это, Денис Васильевич не спускал глаз с поротого барина и не упустил из виду, как вздрогнул он и втянул голову в плечи при упоминании о бумагах. Значит, слова о существовании таких бумаг подействовали крепко!

— Клянусь, я никогда более не знался с неприятелем, — дрожа, словно в ознобе, пролепетал Масленников.

— Охотно верю, ибо неприятеля в России, слава богу, более не было, — ответил Денис Васильевич, — однако вы стали притеснять тех, кто, не щадя жизни, способствовал быстрейшему его изгнанию... Хотя обещали мне не повторять ваших прежних гнусностей!

— Меня оговорили... Я ни ратников, ни партизан не трогал, — пытался возразить Масленников.

— Молчите, сударь! Мне все известно! — остановил его Денис Васильевич. — Такие ожесточители, как вы, причина ропота в народе, поджогов, буйств... И ежели вы, — сверкнул он глазами, — будете продолжать порочащие дворянина и вредящие дворянству неистовства... пеняйте на себя!

Последние слова, хотя и произнесенные грозно, Масленникова немного ободрили. Он уловил звучавшее в них предупреждение. Стало быть, немедленной расправы можно не опасаться. Он, собрав силы, промолвил:

— Я бываю иногда крут, согласен... Я даю слово... это не повторится...

Денис Васильевич прошелся по комнате, затем остановился против него, сказал:

— Хорошо. Поверю в последний раз. Помните! — И тут же с прежней резкостью перешел на другое: — Но я приехал не только затем, чтоб напомнить об этом... Вы изволили, сударь, довести до разорения и бегства человека, о партизанских заслугах коего я свидетельствовал... Мне не так давно случайно открылось, какие иезуитские способы применяли вы против Терентия, и... — он опять обжег гневным взглядом поротого барина, — ваше счастье, что вы были в то время далеко, сударь!

Масленников, опустив голову, пробормотал что-то невнятное. Денис Васильевич, не слушая его, продолжал:

— А теперь что же? Мне хочется думать, что вы сами чувствуете необходимость хотя бы отчасти загладить причиненное вами зло... Не так ли?

Масленников поднял голову:

— Мне неизвестно, где находится Терентий. Он в бегах почти пять лет... И что же я могу сделать?

— Любопытствовать о его местопребывании вам не следует, о возвращении речи быть не может, сударь, — сухо ответил Денис Васильевич, — но было бы справедливо облегчить ему жизнь и подписать вольную... А дабы вы не имели претензий на меня и не сетовали на ущерб, причиненный бегством Терентия, вам будут уплачены обычные оброчные деньги за пять лет...

Судейские чиновники, строя всевозможные хитроумные доводы, упустили из виду одну особенность: страх, который, смотря по обстоятельствам, то усиливается, то временно утихает, все же сопровождает

изменников и предателей всю жизнь. Неожиданное появление Дениса Давыдова привело в ужас поротого барина, а упоминание о сохранившихся бумагах окончательно ошеломило и придавило.

Масленников с трепетом ожидал самого худшего. Поэтому предложение Давыдова не только не встретило противодействия с его стороны, а, напротив, пришлось по душе. Подписывая вольную Терентию, которого давно считал потерянным, Масленников отводил от себя нависшую угрозу. Да еще деньги получал! Чего же лучше?

— Я с полной готовностью выполню указания вашего превосходительства, — почтительно наклонил он плешивую голову.

Денис Давыдов, не ожидавший такой быстрой сговорчивости, тоже остался доволен.

— Отлично! Мой поверенный сегодня же будет у вас. Договоритесь о подробностях с ним. И будьте впредь благоразумны. Не заставляйте меня сожалеть, что я пощадил вас... Прощайте, сударь!

VIII

Зима была снежная и до самого крещенья стояли крепкие морозы, а затем подули южные ветры и сразу началась небывалая оттепель. Быстрое таяние снега испортило дороги. Поля почернели. Вскрывались реки. А Денис, как на грех, отправился опять на киевские контракты!

Софья Николаевна стояла у окна и, глядя на мчавшиеся по широкой улице грязные и пенистые потоки, думала о том, что все-таки напрасно отпустила мужа в Киев.

Путь далекий! Мало ли что может дорогой случиться! Десять дней нет никаких известий. Но Софью Николаевну тревожили не одни эти опасения. Обязательны ли вообще ежегодные визиты Дениса в Киев? С делами арендными, наверное, любой поверенный управился бы лучше, чем он. Другие, обычно выставляемые им причины, казались еще менее уважительными. Соскучился по Раевским, по каменским своим

родным?.. А не вернее ли предположить, что манят старые увлечения?

Софья Николаевна хмурится, кусает губы. Денис не скрывал дружеских отношений с Аглаей и неудачного сватовства за Лизу Злотницкую. Кто поручится, что старое чувство заглохло? Эта Лиза стала, правда, княгиней Голицыной, да ведь каких чудес на свете не бывает! Софья Николаевна ревнует, хмурится, мысли бегут невеселые...

Неожиданно у дома останавливается забрызганная грязью бричка. Сходит какой-то незнакомый офицер. Софья Николаевна спешит в переднюю. Догадывается: известие от Дениса! Ну, конечно, так и есть!

— Я из Киева, сударыня. Денис Васильевич просил передать вам...

Она возвращается с пакетом в руках. Нетерпеливо открывает. Большое письмо. Написано в Киеве 13 января 1822 года. Софья Николаевна садится в кресло, углубляется в чтение.

«Милая моя Сонечка, я сегодня поутру переправился на пароме через Днепр и приехал благополучно в Киев. Почти в один час приехали сюда Александр Львович, Василий Львович и Волконский. Орлова с женою ждут с часа на час. Аглаю с детьми ждут также сегодня вечером. Я обедал у Николая Николаевича Раевского, теперь дома один и пишу к тебе. Пока продолжалась дорога, перемены станций, погоды, ухабы и пр., все заставляло меня забывать разлуку мою, но едва въехал в Киев, как горесть мною овладела! Поверить не можешь, что я дам скорее отсюда выехать: сейчас посылаю Донича в Балту, думаю, что он будет к 18 сего месяца, тогда арендаторы мои будут здесь, и я приступлю немедленно к делу, по окончании которого ни минуты не медля не поскачу, а полечу к тебе. Нет, мне нельзя жить разно с тобою не только год, но и несколько дней! Что же будет со мною, если война откроется? К счастию, о ней здесь ни малейшего нет слуха. Больше говорят о ней в Москве и Петербурге, нежели здесь, а Киев ближе к Турции, нежели наши

столицы. Какая жалость: слух носится, будто бы князь Александр Ипсиланти, будучи не в состоянии снести несчастье быть праздным, тогда как его соотечественники сражаются за свободу Греции, принял яд. Однако эта новость требует подтверждения. Николай Николаевич Раевский переменил дом и живет в прекраснейшем, подлинно барском доме. У него готовятся вечера по-прежнему, здесь множество съехалось артистов и уже начались споры насчет протекций, тот того протежирует, а тот другого. Я намерен провести здесь время как прошлого года, то есть съездить каждый вечер к Николаю Николаевичу на полчаса, а там воротиться домой, писать к тебе, курить трубку и болтать с Василием Львовичем, который неисчерпаемый источник веселости, ума и прекрасных чувств. Прости, милый и единственный друг мой, устал очень, ложусь отдохнуть».

Далее следовала приписка, сделанная на следующий день:

«Сегодня я ездил с визитами, был у губернатора, у коменданта и губернского маршала, у Бороздиной. Обедал я у Александра Львовича, который ждет сегодня жену свою из Каменки, она пробудет здесь только одни сутки и едет в Петербург, а летом в Париж и вряд ли возвратится когда-нибудь в Россию. Позабыл тебе сказать, что здесь я нашел старинного моего приятеля графа Гераклиуса Полиньяка с женою и маленьким сыном — он родня близкий Аглае и служил в нашей службе полковником; а теперь он во французской службе, приехал сюда продать маленькое свое имение и возвратится во Францию. Что мне еще сказать тебе? Завтра бал у Н. Н. Раевского, увидим, что там будет. Забыл еще уведомить тебя, чтобы ты не беспокоилась: Голицыной здесь нет, она в Дрездене. Довольна ли ты, моя милая душка? Я хотел было ехать сегодня на вечер к Раевским, но когда Василий Львович и Полиньяк уехали, я раздумал и сел писать к тебе... Завтра почта — жду твоего письма. Уведомь о Соньке, не начинаются ли у ней зубы резаться?» [29].

Прочитав письмо, Софья Николаевна успокои-

лась, повеселела. Все обстояло как будто благополучно. И Голицыной в Киеве не было, слава богу. А Денис в самом деле засиделся дома, нет ничего удивительного, что ему захотелось проветриться, побывать в кругу таких милых, образованных людей, как кузен Василий Львович, князь Сергей Волконский, Михайла Орлов... Они в разное время были Софье Николаевне представлены мужем, и о всех составила она самое хорошее мнение.

А в киевском доме Давыдовых, где остановился Денис, происходило между тем следующее.

Год назад на Московском съезде Союза благоденствия, где большинство представляли умеренные члены, стоявшие за «разумную медлительность», было решено прекратить деятельность тайного общества. Пестель и его тульчинские товарищи не согласились с таким решением и создали отдельное Южное тайное общество. Было подтверждено, что целью его является отмена крепостного права и введение республиканского правления. Пестеля и Юшневского избрали директорами общества.

К южанам вскоре присоединились Сергей Волконский, Василий Давыдов, Сергей Муравьев-Апостол и некоторые другие бывшие члены распущенного Союза благоденствия. Ряды общества начали также пополняться революционно настроенной офицерской молодежью. Возникла необходимость в съезде руководителей Южного общества для обсуждения основ будущей конституции и ближайших задач. Съезд решили провести в Киеве во время зимних контрактов.

Вопрос о месте для тайных киевских совещаний Пестель и Юшневский тщательно обдумывали. «Удобней всего показалось собираться у меня», — свидетельствовал позднее Василий Львович. А знали ли Пестель и Юшневский о том, что у него остановился, живет вместе с ним Денис Давыдов? Несомненно, знали. Василий Львович не мог не предупредить об этом. И все же совещания о важнейших и секретнейших делах тайного общества проводились у Василия Львовича, возможно в той самой комнате,

где с ним ежедневно до поздней ночи «болтал» Денис Давыдов.

Все это свидетельствует, что не только Василий Львович, но и такие деятели тайного общества, как Пестель и Юшневский, относились к Денису Давыдову с полным доверием. Им было хорошо известно, что хотя Денис Давыдов не состоит в тайном обществе, считая конституционные замыслы преждевременными и неосуществимыми, однако он разделяет многие их взгляды, во многом близок им, и, уж конечно, можно вполне положиться на его благородство и честность, он будет держать язык за зубами, если о чем-нибудь и догадается.

А оно так и было. Возвращаясь однажды с контрактов ранее обычного времени, Денис Васильевич, подходя к давыдовскому дому, издали заметил, как из парадного подъезда вышли четверо военных и, о чем-то оживленно беседуя, свернули в ближайший переулок. Денис Васильевич, обладавший зоркими глазами, без труда признал в военных Пестеля, Юшневского, Волконского и Муравьева-Апостола, некогда служившего ординарцем у Раевского.

Подозрение, что они неспроста посещают Базиля, возникло сразу. Вольнолюбивые помыслы Пестеля были хорошо известны. У Дениса Васильевича тревожно сжалось сердце. Разговор с Ермоловым не выходил из памяти и при первой встрече с Базилем он передал ему, что правительство осведомлено о существовании тайного общества. Базиль не придал этому особого значения, начал отшучиваться, сказал, что общество прекратило существование, и несколько успокоил. Теперь же в искренности этих слов приходилось сомневаться.

Денис Васильевич вошел в кабинет хмурый и, отклонив обычные шуточки Базиля, сказал:

— Ты можешь не отвечать, зачем собираются у тебя Пестель и другие офицеры, я сам понимаю, что не для игры в бирюльки, как говорит Ермолов, но меня возмущает твое легкомысленное отношение к серьезному предупреждению... И, думается, я не заслужил, чтобы ты водил меня за нос.

Базиль смутился, покраснел, потом бросился обнимать Дениса:

— Прости, милый, но, право, мой грех не так велик, как тебе кажется! Общество, о коем известили правительство, на самом деле в прошлом году распущено... Спроси Михайлу Орлова, если мне не веришь! А что мы собрались здесь поговорить о политических и общественных делах... это совсем другое...

— Повторяю, я не ищу объяснений, зачем вы собираетесь, старое или новое у вас общество, — перебил Денис Васильевич. — Только, я вижу, Михайла-то Орлов сидит сейчас у Раевских и со своей Катенькой милуется, а ты опять с непонятным фанатизмом и безрассудством пускаешься в политику!

— Что поделаешь, не все способны следовать примеру Михайлы, — отозвался с легким вздохом Базиль.

Денис Васильевич бросил на него недоумевающий взгляд.

— А разве здравый смысл тебе не подсказывает, что Михайла Орлов, уклоняясь от ваших сборищ, ставших сейчас особенно опасными, поступает благоразумно?

Базиль неожиданно рассмеялся.

— Ей-богу, Денис, смешно слушать твои соображения насчет здравого смысла и благоразумия!.. Кто же более тебя пренебрегал сими драгоценными качествами? И не лучше ли меня ты сам знаешь, что существуют сотни всяких причин и обстоятельств, заставляющих нас отступать от так называемого здравого смысла?

— Ты мне голову не затуманивай! — сердито остановил его Денис Васильевич. — Мы говорим серьезно. Какие такие причины заставляют тебя, молодого, красивого, богатого, обласканного жизнью со всех сторон человека, стремиться к поприщу, не сулящему ничего, кроме гибели?

— Совесть моя, Денис, — слегка склонив голову, тихо произнес Базиль. — И долг, как я его понимаю, и верность слову... Я не в состоянии, подобно неко-

торым, отказаться сегодня от того, что вчера одобрял вместе с другими.

— Э, полно, брат Василий, меня этакими заклинаниями не удивишь, — возразил Денис Васильевич. — Я, бывало, от Михайлы Орлова более красноречивые слышал! Скажи лучше, что удерживать тебя некому. Вот всякие химеры в голову и лезут. Да оно и понятно! Пока холост — за одного себя ответствуешь, ну и сам черт тебе не брат! А появится жена, заведутся дети, так волей-неволей и осторожным и благоразумным станешь, ибо не захочешь их-то, ни в чем не повинных, превратностям судьбы подвергать!

Последние слова произвели на Базиля сильное впечатление. Он заговорил взволнованно и сбивчиво.

— В твоих суждениях много верного... Одинокому, конечно, вольготней. Но ты ошибаешься, полагая, будто меня завлекает в политику одно безрассудство. Я сделаю тебе признание, и ты поймешь, как ты не прав! Только имей в виду... я не открывал этого даже Раевским...

Денис Васильевич посмотрел на взволнованного Базиля удивленными глазами и встревожился:

— Да что за тайность? Ты меня пугаешь, брат Василий!..

— Нет, пугаться нечего... Тут совсем другое... Ты помнишь воспитанницу матушки Сашеньку Потапову?

— Помню, конечно, что за вопрос! Я еще в прошлогодний заезд заметил, какими нежными взглядами вы обменивались!

— Мы давно любим друг друга, Денис... Но ты, вероятно, догадываешься, что соединиться законным браком нам не так-то просто? Сашенька взята к нам в дом пятилетней девочкой после смерти родителей, мелкопоместных дворян, не оставивших ей ничего, кроме родительского благословения...

— Следовательно, твоя женитьба на ней представляется родным и знакомым ужаснейшим мезальянсом?

— В этом суть! Когда я открылся матушке и стал умолять о согласии на мой брак, она произнесла: «Боже, как ты смешон! Надо же договориться до такой глупости! Нет, мой друг, согласия я никогда не дам, устраивай свою метреску иным способом».

— Ну и что же после этого ты сделал?

— Я предложил Сашеньке обвенчаться тайком. Она наотрез отказалась. Матушка была ее воспитательницей и благодетельницей. Сашенька при своей чрезмерной совестливости не могла выказать себя неблагодарной, страшилась прослыть интриганкой... А между тем вскоре призналась мне, что ждет ребенка...

— Вот так история! — воскликнул Денис Васильевич. — И давно ли это случилось?

— Прошлой зимой.

— Значит... ты уже отец?

— Да, у меня растет сын. Только ни моя жена, ни мой сын не носят моей фамилии и живут не в Каменке, а близ Полтавы, где у Сашеньки, к счастью, оказалась старуха тетка... Как видишь, я имею семью, хотя не имею права на ее признание! И стоит ли пояснять тебе, что в случае какого-нибудь несчастья со мной моя бесправная, беззащитная жена и мой сын останутся в столь бедственном положении... [30]

— Нет, брат Василий, — перебивая его, горячо отозвался Денис Васильевич, — ты хорошо сделал, что во всем мне признался... Если, не дай бог, что и произойдет, я всегда буду считать их своими родными, они найдут во мне защитника...

— Спасибо, милый, — промолвил растроганный Базиль. — Я никогда не сомневался в твоих братских чувствах и в твоем благородном сердце... И надеюсь, — добавил он с улыбкой, — представление твое обо мне, как о безрассудном хлопце, несколько изменится? Не правда ли?

— Но скажи, пожалуйста, ужели Сашенька знает о твоих опасных политических увлечениях?

— Да. Я ничего от нее не скрываю. Она разделяет мои взгляды, а посему и относится к моим увле-

чениям иначе, чем ты... хотя, разумеется, не может не бояться за меня...

Денис Васильевич задумался. Отказаться от старых, укоренившихся понятий всегда нелегко. А приходилось! Было совершенно очевидно, что Базиль избрал опасное поприще не ради каких-либо честолюбивых стремлений, или свойственного молодости легкомыслия, или личной выгоды, а по убеждению, что на этом поприще он принесет пользу отечеству. Денису Васильевичу такое убеждение по-прежнему казалось заблуждением, но несомненная чистота намерений и самоотверженность Базиля заслуживали полного уважения. И странное дело! В благоразумии Михайлы Орлова теперь невольно проглядывались черты малодушия, а заблуждение Базиля вызывало в глубине души нечто вроде гордости за него.

Денис Васильевич потер лоб, словно отгоняя непрошеные мысли, затем сердитым тоном произнес:

— А все же требуется осторожность соблюдать! И если ты от политики отказаться не в состоянии, то, во всяком случае, с военной службой простись... Со штатского спрос один, с военного — другой, сам должен знать.

— Вот в этом вполне согласен с тобой, Денис... Я давно рапорт об отставке в главный штаб послал, да, видно, там без внимания оставили... Ты бы напомнил Закревскому!

— Хорошо. Сегодня же напишу. А отставка и потому тебе необходима, что более всего государь военного восстания опасается, стало быть, и надзор за военными усиливается. В ближайшее время, как мне говорили, особый опрос всех военных готовится, подписку требовать будут, что ни к масонским, ни к тайным обществам не принадлежишь.

— Да что говорить! Мне и по всяким иным соображениям военная служба не нужна! Только будешь писать Закревскому, укажи, что прошусь в отставку по причине тяжелых ранений... Чтоб не подумали там, — весело подморгнул он Денису, — будто

я по собственной охоте, с превеликим удовольствием царю-батюшке служить отказываюсь!

Письмо Закревскому было написано и отправлено в тот же вечер.

«..Прошу тебя, любезный друг, — писал Денис Васильевич, — постарайся скорее выдать в свет отставку двоюродного брата моего Василия Давыдова (подполковника, считающегося по армии), он просится в отставку за ранами, то, пожалуйста, не забудь, чтобы сказали о нем в приказе *за ранами,* ты меня сим крайне обяжешь...»

10 февраля, будучи уже в Москве, Денис Васильевич получил уведомление от Закревского, что просьба его выполнена. И ответил старому другу радостно:

«Я не знаю, как благодарить тебя за отставку брата Василия, которого я люблю, как родного брата»[31].

IX

Прошел год. Денис Давыдов почти безвыездно жил в Москве или в недавно купленном подмосковном селе Мышецком. Выпустил вторым изданием «Опыт теории партизанского действия». Собирал материалы для истории современных войн. Пробовал заниматься хозяйством[32].

Дом оживлялся веселым щебетаньем Соньки-маленькой и озарялся ее улыбкой. Девочка начинала ходить. Она была розовенькая, пухленькая, со вздернутым носиком и темными бровками. Отец души в ней не чаял. А Соня-большая опять затяжелела. И поздней осенью родила сына Василия.

Весь этот год Денис Давыдов продолжал настойчивые хлопоты о возвращении на военную службу. Нет, возвращаться в армию, где продолжали бесчинствовать аракчеевские клевреты, он не собирался. Но в то время существовали окончательно сложившиеся войска иного типа, войска, где господствовали любезные сердцу суворовские порядки, войска, расположенные на огромном пространстве от Каспийского

моря до Черного, от Терека до Карадага, озера Гохчи и горы Алагез, войска отдельного Кавказского корпуса.

Впервые мысль о службе в этих войсках возникла во время пребывания Ермолова в Москве и, вероятней всего, под влиянием его красочных рассказов. О своем желании служить Денис Давыдов с Ермоловым не говорил, об этом он сообщил Алексею Петровичу письмом лишь спустя три недели после его отъезда из Москвы.

15 октября 1821 года Ермолов писал Закревскому:

«Какой чудак наш Денис! Всякий день бывали мы вместе, и никогда ни слова не сказал он о деле, о котором не бесполезно было бы и посоветоваться вместе... С Денисом желаю я служить и мог бы из способностей его извлечь большую себе помощь...»

Так положено было начало хлопотам о кавказской службе.

Денису Давыдову на первых порах казалось, что его желание не встретит особых препятствий. Ведь ходатайствовал за него сам проконсул Кавказа! Да можно было вполне рассчитывать и на всемерную помощь Закревского и даже на Петрухана Волконского, находившегося в дружеских отношениях с Ермоловым. Но все расчеты оказались неверными.

Император Александр не утвердил подготовленного главным штабом приказа о назначении Дениса Давыдова в Кавказский корпус. И Волконскому с явным неудовольствием сказал:

— Как можно, Петр Михайлович, полагаться на этого Давыдова, коего мы с тобой знаем столько лет и неизменно со стороны самой худшей... Я еще помню его якобинские басни! А потом, — император поморщился, — эти во многом сомнительные партизанские затеи... И, наконец, недавно выпущенная возмутительная книжонка о партизанстве... где все пропитано духом своеволия и вредоносных идей... Нет, я решительно не доверяю Давыдову!

— Я взял на себя смелость, ваше величество, предложить назначение генерала Давыдова на ваше

усмотрение ввиду настоятельной просьбы Алексея Петровича...

— Так что же? Разве тебе не известна склонность Алексея Петровича к необдуманным словам и поступкам? Я ценю его энергию, бескорыстие, но... судя по тайным донесениям, войска Кавказского корпуса не в блестящем состоянии, солдаты разучились маршировать, уставы не соблюдаются... и, признаюсь, меня особенно беспокоит необычайная приверженность офицеров и нижних чинов к Ермолову, о чем нам не раз сообщали. Почему бы это? Как твое мнение?

— Я полагаю, ваше величество, — промолвил робко Волконский, — в донесениях многое преувеличено... Ермолов достаточно показал свою преданность отечеству...

— Преданность отечеству! Какое мне дело до отечества! — с нескрываемым раздражением воскликнул царь. — Я хочу, чтобы преданно служили мне, а не отечеству и своему честолюбию! А если этого нет... — Он круто сломал фразу и, успокоительно потирая щеки, перешел на другой тон. — Да... необходимо усилить наблюдение за кавказскими войсками, Петр Михайлович. А посылать туда человека, известного своеволием и отвращением к дисциплине да еще близкого родственника командующего, крайне неразумно... Надеюсь, тебе ясно?

Об отказе в назначении Денис Давыдов узнал в конце февраля 1822 года. Если б ему был известен разговор императора с начальником главного штаба, он, несомненно, прекратил бы дальнейшие хлопоты. Но в кратком канцелярском сообщении причины отказа не указывались. Неудача представлялась Денису Давыдову результатом недостаточной настойчивости. А служба на Кавказе, не выходившая из головы, успела приобрести в воображении некую романтическую окраску... Приезжавшие офицеры с увлечением говорили о стычках с черкесами в горах, о подвигах известного храбреца капитана Якубовича, о всяких необычайных приключениях.

Денис Давыдов опять взялся за сочинение про-

странного рапорта. На север и на юг полетели письма влиятельным родным и знакомым.

Ермолов, в свою очередь, не сидел сложа руки, хотя о причинах отказа частично был осведомлен. Волконский намекнул, что государь имеет о Давыдове «невыгодные мысли, вызванные прежним его поведением». Придворный этикет не позволял после этого беспокоить царя просьбами о неугодном лице. Ермолов с этикетом не посчитался. Он пишет одно, другое, третье письмо, доказывая «несправедливость предубеждения» и настаивая на удовлетворении своей просьбы.

Все было тщетно. С Ермоловым на сей раз не посчитались. Волконский отделался молчанием.

15 декабря 1822 года из Тифлиса Алексей Петрович жаловался Закревскому:

«Получил от Дениса уведомление, что вновь по просьбе моей отказано его сюда назначение. Конечно, уже не стану говорить о нем впредь, но это не заставит меня не примечать, что с ним поступают весьма несправедливо. Впечатление, сделанное им в молодости, не должно простираться и на тот возраст его, который ощутительным весьма образом делает его человеком полезным. Таким образом можно лишать службы людей весьма годных, и это будет или каприз, или предубеждение. Признаюсь, что это мне досадно, а князь Волконский даже и не отвечает на письмо. Словом, насмехаются нашим братом. Подобного успеха ожидаю я и по прочим просьбам. Не я теряю, ибо человек моего состояния не рискует лишиться кредита, им никогда не пользовавшись, но служба не найдет своих расчетов, удаляя достойных».

Последние фразы не оставляют сомнения в том, что положение Ермолова далеко не было таким прочным, каким представлялось современникам. Проконсул Кавказа не пользовался особым доверием императора. Ермоловские ходатайства и просьбы все чаще оставлялись без последствий, тайных наблюдателей на Кавказе становилось все больше.

В конце концов Алексей Петрович принужден был

покориться обстоятельствам. 2 марта 1823 года он с горечью сообщил Закревскому:

«Нет нам удачи с Денисом и больно видеть, что неосторожность и некоторые шалости в молодости могут навсегда заграждать путь человеку способному... Нечего делать, и я прекращаю мои домогательства до лучшего времени...» [33]

Окончательно убедившись, как сильна неприязнь к нему злопамятного императора, Денис Давыдов вышел в чистую отставку. Гусарские холеные усы были сбриты. Военный мундир с «наплечными кандалами генеральства», как любил он выражаться, перекочевал из гардероба в сундук.

Как-то раз, в конце марта, Денис Васильевич заехал под вечер к Бегичевым. Встретила его сестра Сашенька.

— Легок ты на помине! — сказала она. — А мы только что собирались за тобой посылать...

— А что за экстра?

— Гость у нас. Тобой интересуется.

— Кто же такой?

— Проходи в гостиную, узнаешь.

Он переступил порог. В гостиной, помимо Дмитрия Никитича, находился его недавно вышедший в отставку брат Степан, флегматичный, круглолицый толстяк, а возле него в кресле сидел, поблескивая очками, незнакомец в щегольском черном фраке, модном галстуке и узких белых панталонах со штрипками.

Дмитрий Никитич сейчас же его представил:

— Александр Сергеевич Грибоедов.

Степан Никитич промолвил:

— Митин однополчанин, а ныне служащий по дипломатической части при Ермолове чиновник и сочинитель...

— Знаю, знаю, — смеясь, перебил Денис Васильевич и, крепко пожимая руку Грибоедова, осведомился: — Давно ли с Кавказа прибыли, Александр Сергеевич?

— Третьего дня... Попал дорогой в распутицу. Две недели добирался...

Так вот каков Грибоедов! Сухощавое лицо, тонкие поджатые губы, умные, чуть прищуренные глаза под густыми бровями. На первый взгляд Грибоедов не понравился. Он слишком походил на дипломата, а Денис Васильевич всегда дипломатов недолюбливал. Но ведь недаром Грибоедова, как сына, любил Ермолов и с неизменной теплотой вспоминали о нем Бегичевы! Стоило разговориться с Александром Сергеевичем, и холодок, порожденный первым, внешним впечатлением, быстро исчез. У Грибоедова оказался мягкий, приятный голос, суждения его отличались откровенностью, а главное, что сближало с ним, — была его несомненная принадлежность к тому ермоловскому кругу, который существовал на Кавказе.

— Нет, право, господа, я должен считать себя счастливцем, что служу у Алексея Петровича, — говорил Грибоедов. — Что за человек! Он всегда одинаков, прост, приятен, готов к услугам... Сколько свежих мыслей, глубокого познания людей всякого разбора! Ругатель безжалостный, но патриот, высокая душа, замыслы и способности государственные, истинно русская, мудрая голова! * Он встает из-за стола и здоровается за руку с каждым армейским прапорщиком, а титул «ваше высокопревосходительство» вызывает у него усмешку и замечание о предпочтительности титула «ваше высокоблагополучие»...

— Однако, Александр, это одна сторона медали, — заметил Степан Бегичев. — А помнится, ты писал и о том, как Ермолов жестоко смиряет ослушников...

Грибоедов невольно посмотрел на Дениса Васильевича; тот, поняв значение взгляда, проговорил:

— Здесь все свои, Александр Сергеевич, высказывайтесь без стеснения... А если вас интересует мое отношение... Я люблю брата Алексея Петровича, но не принадлежу к числу тех, кои безусловно оправдывают все его поступки...

---

* Подлинные слова Грибоедова из письма к Кюхельбекеру.

Грибоедов дружески кивнул головой.

— Я готов полностью разделить ваше мнение, любезный Денис Васильевич... — И, повернувшись к Степану Бегичеву, дополнил: — Я в том смысле и писал тебе, мое сокровище... Нельзя всего оправдывать, но нельзя и забывать, что он в Азии, — там ребенок хватается за нож! Впрочем, господа, безрассудно полагать, что мы сможем справедливо взвешивать добро и зло, содеянное современниками. Это занятие для потомства!

Беседа продолжалась в самом непринужденном тоне. Говорили открыто обо всем, что приходило в голову. Денис Давыдов, больно переживавший неудачу с определением на службу, дал волю негодованию против высшего начальства.

Грибоедов, не знавший всех подробностей дела, спросил:

— А вы не находите, что Алексей Петрович не довольно твердо настаивал на вашем назначении?

— Он несколько раз обращался в главный штаб и к государю, — ответил Денис Васильевич. — На него грешить нечего!

— Ермолов, братец мой, на Кавказе велик и грозен, — присовокупил Дмитрий Никитич, — а в Петербурге не очень-то с ним считаются!

— Положим, этому трудно поверить, — не согласился Грибоедов. — Тех, с кем не считаются, проконсулами не ставят, мой милый... Нет, как вам угодно, господа, а я остаюсь при своем мнении... Ермолов мог быть более решительным!

Денис Васильевич немедленно с горячностью возразил:

— Полно, полно, Александр Сергеевич! Причины отказа в моем назначении таковы, что удивляться бесплодности ермоловских стараний не должно.

— Какие же причины? Я слышал лишь о том, будто в высших сферах не могут забыть ваших неосторожных стихов, писанных двадцать лет назад?..

— Есть другие, которые обычно не выставляют, — произнес сумрачно Денис Васильевич, взлохмачивая привычным жестом голову. — Я не имею чести при-

надлежать к высокочтимой государем военной школе покойного короля прусского Фридриха и не перестаю скорбеть, что родимые войска наши закованы в кандалы германизма. Мне чужды аракчеевские порядки, ибо я почитаю солдата не механизмом, артикулом предусмотренным, а боевым своим товарищем. Словом, я вполне не соответствую тем ныне желательным образцам военных, поклонников палочного воспитания и барабанного просвещения, для коих равнение шеренг и выделывание ружейных приемов служат источником самых высоких поэтических наслаждений.

Грибоедов слушал красноречивое и взволнованное это признание с большим вниманием. И когда оно было закончено, сказал сочувственно:

— Отлично вас понимаю, Денис Васильевич... Ужасно, конечно, что правительство отстраняет от службы военных с вашими взглядами и все более наполняет армию тупыми и ничтожными аракчеевскими баловнями... Меня всегда возмущают эти, столь живо вами представленные, казарменные готтентоты.

Давай ученье нам, чтоб люди в ногу шли.
Я школы Фридриха, в команде — гренадеры,
Фельдфебели — мои Вольтеры... *

Брови Дениса Васильевича удивленно приподнялись.

— Откуда эти строки? Мне что-то не доводилось слышать...

— Пока они существуют только в моей голове и нигде не начертаны, — отозвался с легкой улыбкой Грибоедов, — хотя, может статься, найдут со временем место в комедии, два действия которой я привез с Кавказа в черновых набросках.

— А что за комедия, позвольте спросить? Каков замысел по крайней мере?

— Замысел прост, любезный Денис Васильевич. Мне хочется нарисовать портреты некоторых современников, обладающих чертами, свойственными

* Из первого варианта комедии «Горе от ума».

многим другим лицам... Вопрос в том, хватит ли умения и таланта?

— Не скромничай, Александр, — вмешался в разговор Степан Бегичев. — Твоя комедия, судя по начальным сценам, обещает творение совершенное!

— Не заставляй, однако, меня краснеть от неумеренной похвалы, — вставил Грибоедов. — Да и не ты ли, мой милый, прочитав эти сцены, сделал столько замечаний, что вынудило меня переделать почти заново несколько страниц?

— А не я ли при том говорил, — отпарировал Степан Никитич, — что недостатки твоей пиесы не умаляют очевидных ее достоинств? Живость картин и разговорность языка удивительны! Многие выражения сразу врастают в память...

— Довольно, брат Степан Никитич! Не распаляй до крайности моего любопытства! — воскликнул Денис Васильевич и тут же в шутливом тоне обратился к Грибоедову: — Надеюсь, вам ясно, милостивый государь, что надлежит сделать после всего вышесказанного? Впрочем, это вполне в ваших интересах... Ибо до тех пор, покуда вы не прочитаете мне того, что написали, вам покоя не ведать...

На другой день первые сцены комедии «Горе от ума» были прочитаны. Денис Васильевич пришел в полный восторг.

— Помилуй, Александр Сергеевич, — говорил он, обнимая автора. — Да в твоих набросках столько замечательного, что о погрешностях и думать не хочется! И Фамусов твой, и Чацкий, и Молчалин, и бестия Скалозуб — все словно живые! По многим лбам щелчки придутся! Спасибо, порадовал! Продолжай давить бессловесных и пресмыкающихся!

X

В своем доме, находившемся на Новинской площади, Александр Сергеевич Грибоедов почти не жил. Матушка Настасья Федоровна принадлежала к лагерю закоснелых староверов. Она была богомольна и жестока. Либерализм сына ее ужасал. К литера-

турным его занятиям относилась она с нескрываемым презрением.

Как-то за ужином Александр Сергеевич сделал справедливое критическое замечание о бездарных пьесах одного современного драматурга. Настасья Федоровна бросила на сына иронический взгляд и не удержалась от оскорбительной реплики:

— В тебе говорит зависть, свойственная всем мелким писателям, мой дружок...

Грибоедов вспыхнул. Встал из-за стола. Прошелся по комнате, чтоб успокоиться. Потом остановился перед Настасьей Федоровной, сказал в самом почтительном тоне:

— Простите, матушка, что мое замечание вызвало вашу досаду, впредь я никогда не позволю своими суждениями огорчать вас...

Поклонился и вышел. Горечь была затаена в душе. Но родительский дом стал казаться выстуженным.

А радушные, гостеприимные братья Бегичевы привечали его как родного! Особенно Степан, старый, бесценный друг! Он никогда не сомневался в необычайном литературном даровании Грибоедова, верил, что развернется оно удивительно.

— Бегичев первый стал меня уважать, — объяснял Грибоедов причины их сближения.

А самому Степану Никитичу признавался:

— Ты, мой друг, поселил в меня или, лучше сказать, развернул свойства, любовь к добру, я с тех пор только начал дорожить честностью и всем, что составляет истинную красоту души, с того времени, как с тобою познакомился...

Степан Никитич, женившийся недавно на известной московской богачке Анне Ивановне Барышниковой, устроил в своем просторном особняке кабинет для Грибоедова и всячески старался, чтоб Александр Сергеевич, предаваясь светским развлечениям, не забывал и творческой работы.

Братья Бегичевы жили в душевном согласии со своими родственниками, из которых Денис Давыдов был особенно ими любим. И можно смело сказать,

что Бегичевы, Денис Давыдов и брат его Лев, находившийся тогда в долгосрочном отпуску, составляли тот спаянный не только родственными узами, но в значительной степени и общностью взглядов кружок, где Грибоедов душевно отогревался в московский период своей жизни.

Разумеется, кружок этот не был замкнутым. Среди гостей Степана Никитича частенько можно было видеть друживших с Грибоедовым композиторов Алябьева и Верстовского, молодого поэта и ученого Одоевского, наконец возвратившегося с Кавказа год назад Кюхельбекера. Встречи с ними происходили у Грибоедова и в других местах. Однако большую часть времени он все-таки проводил в тесном семейном бегичевском кругу и впоследствии, в письмах из Петербурга к Степану Никитичу, с особой теплотой вспоминал тех, с кем успел сродниться в Москве:

«Дмитрия, красоту мою, расцелуй так, чтобы еще более зарделись пухлые щечки. Александру Васильевну тоже, Дениса и Льва и весь освященный собор. Верстовскому напомни обо мне и пожми за меня руку».

В другой раз Грибоедов пишет:

«Дениса Васильевича обнимай и души от моего имени. Нет, здесь нет эдакой буйной и умной головы, я это всем твержу; все они, сонливые меланхолики, не стоят выкурки из его трубки! Дмитрию, Александре Васильевне, Анне Ивановне, чадам и домочадцам многие лета».

Установление близких отношений Дениса Давыдова с Грибоедовым не подлежит сомнению. Но что было предметом их откровенных разговоров? Напомним, что в то время Денис Давыдов находился в состоянии особого раздражения против царя и правительства за вынужденную отставку. Дело не обошлось, вероятно, без острых выпадов. Недаром же Грибоедов восторгается «буйной и умной» головой Дениса!

Бесспорно, что много раз говорили о славном 1812 годе.

Как раз во время пребывания Грибоедова в Москве Денис Давыдов ревностно занимался разбором записок Наполеона, сочиненных на острове Святой Елены и после смерти его изданных в Париже. Денис Давыдов был глубоко возмущен тем, что Наполеон, «всегда и всюду играя легковерием людей, представляет им обстоятельства и события в том свете, в каком желает, чтобы их видели, а не в том, в каком они действительно были».

Вспоминая о своем походе на Москву, всячески выпячивая себя как великого полководца, Наполеон умалял подвиги русских войск и замалчивал действия русских партизан, утверждая, что «никогда не имел в тылу своем неприятеля».

Подобной лжи нельзя было оставлять без возражения. Пользуясь бюллетенями французской армии, письмами маршала Бертье и другими официальными материалами, а также своими воспоминаниями, Денис Давыдов убедительно и неопровержимо доказывает несостоятельность вымысла Наполеона, показывает, как на самом деле русский народ героически защищал свое отечество от чужеземцев, какие мощные удары обрушивали партизаны на неприятельскую армию.

Двенадцатый год вставал озаренный блеском славы народной. Денис Давыдов мог без устали, с присущим ему мастерством и темпераментом, рассказывать о великих деяниях этого года, свидетелем которых приходилось ему быть. И, конечно, Грибоедов слушал эти рассказы с любопытством.

Еще с большим основанием можно утверждать, что до самых тонкостей обсуждались ими кавказские дела.

Грибоедов любил Ермолова, пытался даже оправдывать проводимые им строгие меры, но картины жестоких расправ производили на него удручающее впечатление. В глубине души он не мог не сочувствовать свободолюбивым горцам.

Денис Давыдов, всегда проявлявший рыцарское отношение к отважным противникам, несомненно, разделял мнение Грибоедова.

Позднее, возвратившись на Кавказ, Грибоедов писал оттуда Степану Бегичеву:

«Вообще многое, что ты слышал от меня прежде, я нынче переверил, во многом я сам ошибался. Например, насчет Давыдова мне казалось, что Ермолов не довольно настаивал о его определении сюда в дивизионные. Теперь имею неоспоримые доказательства, что он несколько раз настоятельно этого требовал, получая одни и те же ответы. Зная и Давыдова и здешние дела, нахожу, что это немаловажный промах правительства... Здесь нужен военный человек, решительный и умный, не только исполнитель чужих предначертаний, сам творец своего поведения, недремлющий наблюдатель всего, что угрожает порядку и спокойствию от Усть-Лабы до Андреевской. Загляни на карту и суди о важности этого назначения. Давыдов здесь во многом поправил бы ошибки самого Алексея Петровича, который притом не может быть сам повсюду. Эта краска рыцарства, какою судьба оттенила характер нашего приятеля, привязала бы к нему кабардинцев».

Надо полагать, что в какой-то связи с рассказами Грибоедова начинается в конце 1823 года и неожиданная переписка Дениса Давыдова с приятелем Грибоедова, известным храбрецом Якубовичем, причем, оказывается, первое написанное ему письмо «пролежало довольно долго, было предано каминному пламени», а второе, которое Давыдов решился послать почтой, содержит следующие строки:

«Любопытно видеть разницу партизанской войны в вашей стороне с партизанскою европейской войной: la dernière n'est qu'une plante exotique, sa véritable patrie est la Caucase *. Право, почтеннейший Александр Иванович, потрудитесь и порадуйте меня сим начертанием, я им воспользуюсь при третьем издании «Опыта», который дополню последнею войною Мины в Испании и моею в 1812 и 1813 годах».

* Последняя — экзотическое растение, настоящая его родина есть Кавказ.

Франциско Эспоза Мина был революционным генералом, возглавлявшим отряды гверильясов, отбивавшихся от королевских войск. Мысль о том, чтобы поставить в один ряд испанских гверильясов и русских партизан, могла возникнуть лишь в голове человека, благожелательно расположенного к гверильясам.

Не следствие ли это определенного воздействия на Дениса Давыдова бесед с Грибоедовым? И, кстати, не Грибоедов ли возбудил интерес Дениса Давыдова к действиям испанского революционного генерала Мины? Ведь на Кавказе, в Нижегородском драгунском полку, вместе с Якубовичем служил находившийся под покровительством Ермолова испанский эмигрант революционер Хуан Ван Гален, получавший личные письма от генерала Мины. Грибоедов, вполне возможно, был об этом осведомлен [34].

Спустя несколько дней после приезда Грибоедова в Москву Денис Давыдов познакомил его с Вяземским. Они втроем часто собирались и в английском клубе и за домашними обедами.

Комедия «Горе от ума», законченная в конце лета, встречена была Петром Андреевичем с живым сочувствием, хотя вместе с тем многое в пьесе ему не нравилось. Зато ум, дарование и разносторонние обширные знания Грибоедова признаны были безоговорочно.

Осенью Грибоедов и Вяземский начали совместную работу над водевилем «Кто брат, кто сестра, или обман за обманом», заказанным им Московским театром для бенефиса известной артистки Львовой-Синецкой. Грибоедов взял на себя всю прозу, диалог, расположение сцен. Вяземский — стихи и куплеты. Музыку писал Верстовский.

«Водевильная стряпня», как назвал Петр Андреевич эту работу, изготовлена была очень быстро, 24 января 1824 года состоялось первое представление.

В тот день Грибоедов, Верстовский, Владимир Федорович Одоевский, Василий Львович Пушкин и Де-

нис Давыдов обедали у Вяземского. Говорили, как обычно, о делах литературных и общественных. Время было глухое. Царское правительство, встревоженное широким распространением либеральных идей, старалось подавлять их с помощью религии и жестоких цензурных притеснений.

Василий Львович, поминутно вытирая платком облысевшую голову и по обыкновению смешно пришепетывая, рассказывал:

— В прошлом году, господа, самые невиннейшие элегии поэта Олина не были дозволены к печатанию в журнале... И почему бы, думаете? Журнал-то, изволите видеть, выходил великим постом, так цензор усмотрел весьма неприличным во дни поста «писать о любви девы, неизвестно какой»...

Все рассмеялись. Одоевский, поправив очки, придававшие его молодому лицу необычайно серьезный вид, заметил:

— А не больший ли курьез представляет составленная членом ученого комитета Магницким инструкция для университета, в коей отвергаются все науки, несогласные со священным писанием?

— Вы правы, Владимир Федорович, — согласился Вяземский. — Курьез постыднейший! Профессоров физики и естественной истории обязывают утверждать премудрость божию и непостижимость для нас окружающего мира! Студентов вместо учебников снабжают евангелием и библией! Я чую, господа, кладбищенский, тлетворный воздух на Руси...

— И говорят, будто Магницкий сильно ратует за сокращение начальных школ, — вставил, поблескивая черными умными глазами, Верстовский.

Денис Васильевич посмотрел на сидевшего против Грибоедова, сказал с хитринкой:

— А ты, Александр Сергеевич, как ни скрывай, а прохвоста этого Магницкого каждый в комедии твоей признает...

А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,
В ученый комитет который поселился,
И с криком требовал присяг,
Чтоб грамоте никто не знал и не учился?

Грибоедов слегка пожал плечами.

— Подлейшие сии черты не одному Магницкому свойственны, Денис Васильевич...

Одоевский с живостью дополнил:

— Это и дорого в пьесе, что в любом почти персонаже, будь то Фамусов, или Молчалин, или Скалозуб, обличаются невежественные нравы и дикие понятия не одного, а многих...

— Не забудем, однако, старой нашей пословицы: правда глаза колет! — произнес Верстовский. — Пьеса вызывает сильнейшее раздражение тех, кого обличает, а эти господа сидят не только в ученых комитетах, но и в цензурном ведомстве...

— Они могут сделать вид, что не с них портреты писаны, — сказал Василий Львович. — Нет, право, вспомним случай со стихами Рылеева! Не изволил же граф Аракчеев угадать себя в образе гнусного временщика? Даже с похвалой будто бы отозвался о сочинителе...

— Кстати, о сочинителях! — весело сказал Денис Васильевич. — Покойный атаман Матвей Иванович Платов, будучи представлен почтенному и, как всем известно, совершенно непьющему Николаю Михайловичу Карамзину, подморгнув ему пьяным глазом и хлопнув по плечу, изволил высказаться так: «Люблю сочинителей, ибо все они горькие пьяницы».

Все засмеялись. Вяземский попросил:

— А ты расскажи, как некоего бездарного сочинителя, связанного с тайной полицией, защищал его приятель. Чу́дно у тебя получается!

Лицо Дениса Васильевича приняло моментально выражение озабоченной простоватости, он проговорил с чувством:

— Нет, нет, господа, вы не судите о нем строго, он, спора нет, часто негодяй и подлец, но у него добрейшая душа. Конечно, никому не советую класть палец ему в рот, непременно укусит, да, пожалуй, верно, что при случае и продать и предать может, этого отрицать нельзя, такая у него натура. Но за всем тем он прекрасный человек и нельзя не любить

его. Утверждают, будто он служит в тайной полиции, но это сущая клевета! Никогда этого не было, господа! Правда, он просился туда, но ему было отказано...

У Вяземского тоже всегда имелись в запасе забавные истории. Да и остальные гости в долгу не оставались. Беседа становилась все оживленней.

Только Грибоедов находился в состоянии какой-то странной задумчивости. Денис Васильевич, заметив это, решил, что Александра Сергеевича беспокоит предстоящий сегодня спектакль. Верстовский, имевший большие связи в театральном мире, не скрывал возможности всяких закулисных интриг.

После обеда Денис Васильевич, отойдя с Грибоедовым к окну, спросил:

— А что, признайся, сердце у тебя немножко екает в ожидании представления?

— Так мало екает, — ответил отрывисто Грибоедов, — что я даже не поеду в театр [35].

— Стало быть... все-таки побаиваешься?

Грибоедов покачал головой:

— Нет. Но мне, признаюсь, горька мысль, что приходится смотреть на сцене свои безделки и, может быть, никогда не придется увидеть ни в театре, ни в печати любимое свое детище...

Денис Васильевич взял его руку, сочувственно пожал.

— Я понимаю тебя, Александр Сергеевич... Понимаю тем более, что сам из числа тех поэтов, которые, по обстоятельствам, довольствуются лишь рукописною или карманною славой. Но полно, стоит ли предаваться меланхолии? Ведь карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных осмотрщиков. Запрещенный товар как запрещенный плод: цена его удваивается от запрещения!

Губы Грибоедова тронула слабая улыбка. Он произнес тихо:

— Рукописная или карманная слава... Что ж, пусть будет так!

Денису Васильевичу исполнилось сорок лет. Семейная жизнь хотя и заставляла по-прежнему сдерживать вспышки страстей, но не тяготила. Старые привычки заменялись новыми. Он отдавал должное жене. Отношения с ней не оставляли желать лучшего. Она была верным, чутким и снисходительным другом.

Получив чистую отставку, он сказал:

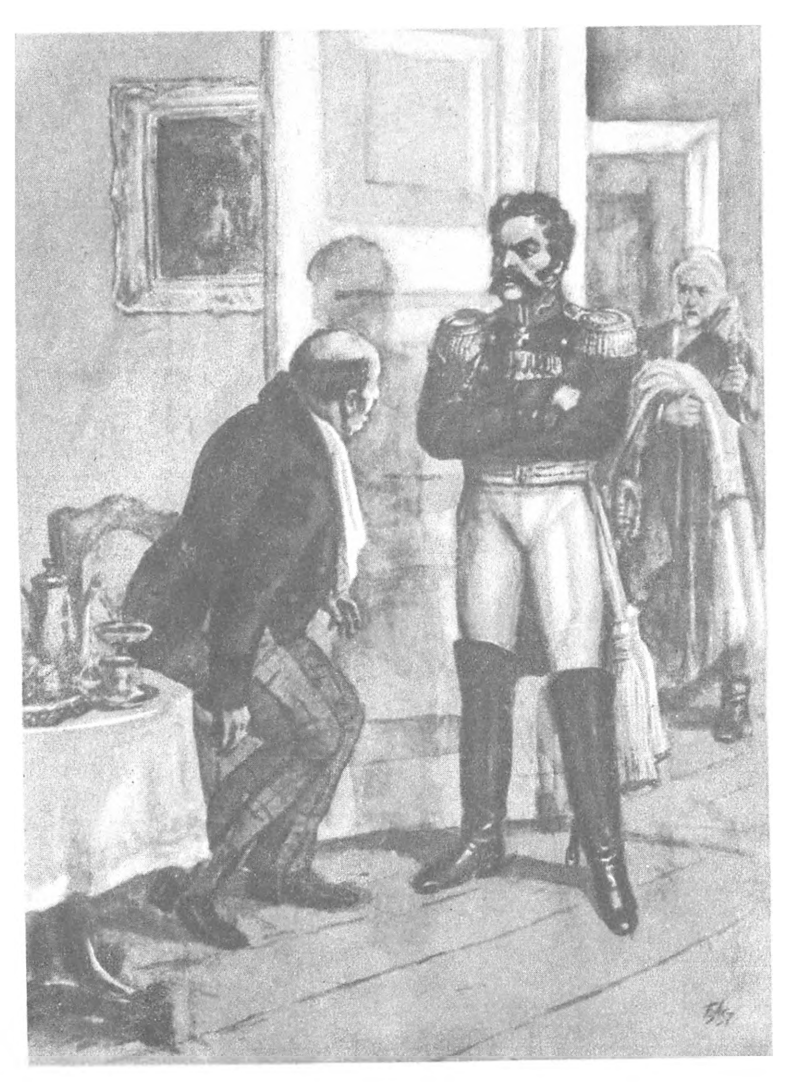
— Ну и слава богу! Будем благодарить провидение! Спокойней жить без наплечных кандалов генеральства!

Софья Николаевна знала: это говорится лишь затем, чтоб подсластить горькую пилюлю. В кабинете, на письменном столе, лежала недавно изданная книга И. М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде». Денис читал ее с большим интересом. Многие строки были подчеркнуты, а мысли, наиболее его взволновавшие, выписаны по обыкновению на отдельном листке:

«Опасности миновали, и жизнь воина становится томною... способности души его дремлют. Переход к сему положению от деятельности есть ужаснейшее состояние на свете, от коего зарождается смертельная души болезнь — скука... Опасности угрожают, зато они и дают человеку способность живее ощутить свое бытие...» [36]

Софья Николаевна всячески отвлекала мужа от мрачных размышлений. Она теперь не препятствовала ему бывать в мужских компаниях, не докучала хозяйственными заботами, старалась, чтоб он постоянно ощущал домашний уют и мог без помех отдаваться литературным занятиям.

Но более всего Дениса Васильевича радовали дети. Их было трое: Соня, Вася и появившийся на свет полгода назад Николенька. Отец любил всех. Однако признанной любимицей продолжала оставаться Сонечка. Он испытывал необыкновенную нежность к этой трехлетней курносенькой и темнобровой девочке и чувствовал, как с каждым днем возрастает привязанность к ней. Он под разными предлогами стал даже уклоняться от необходимых деловых



К стр. 196

поездок, лишь бы надолго не разлучаться с ней. Когда Сонечка заболевала, он не находил себе покоя. А уж баловал так, что жена вынуждена была выговаривать.

— Что поделаешь, душенька! — сознавался он. — Дурацкий характер! Ничего не могу вполовину...

И вдруг неизвестно как и откуда подкралось к Давыдовым страшное, непоправимое несчастье: Сонечка осенью схватила дифтерит. Московские медицинские знаменитости оказались бессильными спасти девочку.

Горе было беспредельно. Денис Васильевич, немало потерявший родных и друзей, впервые с такой лютой остротой предавался отчаянию. Глухая тоска давила сердце. Он весь словно окаменел. Не хотелось ни жить, ни мыслить.

И только через два месяца, узнав, что Павел Дмитриевич Киселев тоже потерял первенца, Денис Васильевич собрал силы, чтобы взяться за перо.

«Впрочем, бог знает, — писал он старому приятелю, — на радость ли, на горе нам даются дети? Конечно, тяжело терять их, коих имеешь, но когда нет их, то желать их страшно, особенно тем, кои ничего не могут любить посредственно. Я после потери моей Сонечки окаменел сердцем. Люблю детей, но так слабо в сравнении с нею, что о такой любви и говорить нечего. Мраморный бюст ее мне милее их. Знаю, что со временем я буду их любить, но девственность сердца исчезла. Святилище его ни одному из детей моих навек недоступно».

Бушевала за окном зимняя вьюга. Дом снова начал постепенно оживляться. Васенька и Николенька, подрастая, становились все шумливей. Мать разрешила им бегать по всем комнатам — детская возня лучше всего отвлекала от горьких дум и черной меланхолии. И, конечно, благодетельная работа! На письменном столе уже давно лежала корректура брошюры «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона». Надо браться за перо, надо делать то, что считал долгом делать. Жизнь шла своим чередом.

XI

В средине февраля 1825 года в Москву неожиданно приехал Базиль. Новость, которую он под секретом сообщил Денису Васильевичу, показалась сначала невероятной.

— Недавно был на Кавказе Сергей Григорьевич Волконский. Он встречался там с Якубовичем, и тот дал ясно понять, что у них создано тайное общество, во главе коего стоит Алексей Петрович Ермолов.

— Быть того не может! Ручаюсь! Вздорные слухи! Чепуха! — пытался возражать Денис Васильевич. — Брат Алексей Петрович, будучи здесь, сам мне признался, что никакого касательства к тайным обществам не имеет...

— С тех пор прошло более трех лет, мой милый, — сказал Базиль. — Согласись, ручаться трудновато!

Денис Васильевич задумался. Ручаться, конечно, нельзя. Тем более что в последнее время Ермолов почему-то совсем перестал писать.

Да, в сущности, если хорошенько поразмыслить, так ли уж и невероятно сделанное Базилем сообщение? Ведь в поведении Ермолова и прошлый раз остались неразгаданными многие странности. И Грибоедов постоянно намекал на склонность Алексея Петровича окружать себя людьми вольнолюбивыми. А Якубович, принадлежавший к ермоловскому кругу, несомненно, был осведомлен о том, что там творилось.

Базиль уехал. А вызванное его сообщением душевное смятение никак не утихало. Денис Давыдов, судя по некоторым замечаниям Базиля и по многим другим признакам, догадывался, что деятельность тайных обществ расширилась; и на юге и на севере зреют какие-то заговорщицкие замыслы. Неужели Ермолов, несмотря на заверения, все-таки решился поддержать их?

Вопрос долго обдумывался со всех сторон, и все же никакой ясности не было.

Оставалось ждать Якубовича. В одном из сражений с горцами храбрый капитан, командуя авангар-

дом, получил тяжелое ранение в голову и намеревался весной ехать в Петербург для лечения в клинике Медико-хирургической академии. Он обещал непременно задержаться в Москве и навестить Дениса Васильевича.

И вот в конце апреля наступил день, когда они впервые свиделись. Давыдовы в связи с перестройкой своего особняка временно снимали квартиру на Поварской улице, в доме Яновой. Якубович явился сюда в черкесском чекмене и папахе. Он был высок, крепко сложен и наружность имел вообще довольно примечательную. Шелковая повязка на лбу, черные выпуклые глаза, резкие складки на щеках, белые, крупные, ровные зубы, блестевшие из-под толстых казацких усов. Все свидетельствовало о человеке сильных страстей, и Дениса Давыдова сразу к нему расположило.

— Дайте мне руку, почтенный Александр Иванович, и будем друзьями, — приветливо сказал он, встречая гостя. — Я давно жаждал сего и имею на то право не по службе моей, которая ничем особенным не ознаменована, но по душе, умеющей ценить подвиги ваши.

— Не заставляйте меня краснеть, Денис Васильевич, — ответил Якубович. — Вы врубили свое имя в славный двенадцатый год, а моя известность не простирается далее канцелярии командующего отдельного Кавказского корпуса.

Они перешли в кабинет. Закурили трубки. Поговорили о Кавказе, о Ермолове, вспомнили Грибоедова, Пушкина, общих знакомых. Потом Якубович, не стесняясь, стал рассказывать о гвардейской бурной своей молодости и о том, как за участие в дуэли был по личному распоряжению императора выписан из гвардии и выслан из столицы.

Денис Васильевич заметил:

— В молодых летах я испытал участь, несколько сходную с вашей, но менее счастливую, ибо нашел в ссылке не битвы, а разводы и манежи.

— А были ли вы оскорблены подобно мне? — сверкнув глазами, задал неожиданный вопрос Яку-

бович и, достав из кармана бумагу, размахивая ею, продолжил негодующим тоном: — Вот пилюля, которую я восемь лет ношу у ретивого! Приказ по гвардии, в коем объявлено, будто корнет Якубович выписывается в армейский полк за неприличные поступки, порочащие честь гвардейского офицера! Киселев убил на дуэли Мордвинова — и прощен! А меня за секундантство у друга упекают к черту на кулички и щелкают притом как бесчестного человека! Нет, не могу простить! Не прощу! Жажду мщения!

Последние слова Якубович выкрикнул совсем свирепо. И хотя умолчал, кому же, собственно говоря, собирается мстить, было и без того понятно, что подразумевается высшее начальство, вернее всего царь, допустивший несправедливость.

Считая момент благоприятным для того, чтоб перейти к интересовавшей его щекотливой теме, Денис Васильевич сказал:

— Не могу не сочувствовать вам, ибо жестокий произвол, жертвой коего вы являетесь, сопутствует мне самому всю жизнь... Легко ли, судите сами, сносить равнодушие, с каким оттолкнули меня в толпу хлебопашцев после стольких лет службы! Но что же поделаешь? Вероятно, лишь какие-нибудь перевороты способны изменить существующий порядок вещей...

— Ну, я, признаюсь, ни в какие перевороты не верю, — без тени смущения на лице отозвался Якубович. — Да и кому у нас перевороты производить?

— Я слышал, — осторожно намекнул Денис Васильевич, — будто существуют тайные общества...

— Я тоже слышал, только никакого проку в том не вижу, — с несомненной прямотой отразил Якубович. — Умствуют и кричат на ветер господа либералисты... Дурачества пустые!

— Однако ж, любезный Александр Иванович, мне передавали, будто на Кавказе многие тоже сих дурачеств не чуждаются?

— Болтовни либеральной всюду хватает, — проговорил Якубович, — но тайные общества, слава бо-

гу, у нас покамест не заводились... Да и не допустит Алексей Петрович!

Денис Васильевич был в крайнем удивлении. Что же это такое? Неужели Волконский и Базиль каким-то образом введены в заблуждение? Или Якубович нарочно из осторожности так искусно маскируется? Нет, не похоже! Якубович горяч, тщеславен, любит, вероятно, побахвальствовать, прихвастнуть тем, чего и не было, но дипломатические тонкости и увертки явно ему несвойственны.

После нескольких встреч с Якубовичем, убедившись совершенно в его откровенности, Денис Васильевич стал склоняться к мысли, что кавказского тайного общества, по всей видимости, не существует [37].

Вместе с Якубовичем не раз бывал у Дениса Давыдова штабс-капитан Александр Александрович Бестужев, приехавший в Москву из столицы. Любезный, веселый и остроумный красавец Бестужев щеголял в нарядном мундире адъютанта герцога Вюртембергского, обожал шумную светскую жизнь и романтические приключения, кружил головы московским красавицам, и по первому взгляду вряд ли кто мог догадаться, что у этого блестящего офицера есть другая жизнь, другие интересы. Возвращаясь с балов и пикников, Бестужев снимал мундир, облекался в халат и, пренебрегая отдыхом, с той же страстностью, с какой отдавался развлечениям, брался за книги и рукописи. Бестужев был превосходно образованным, талантливым писателем, критиком и публицистом. Повести, которые он печатал под псевдонимом «Марлинский», имели большой успех. Альманах «Полярная звезда», издаваемый Бестужевым и Кондратием Рылеевым, читали с интересом всюду.

Денис Давыдов познакомился и подружился с Бестужевым два года назад [38].

Бестужев не только охотно печатал в альманахе давыдовские стихотворения, но и одним из первых критиков оценил их своеобразие.

«Амазонская муза Давыдова, — писал он, — говорит откровенным наречием воинов, любит беседы вокруг пламени бивуака и с улыбкою рыщет по полю смерти. Слог партизана-поэта быстр, картинен, внезапен. Пламень любви рыцарской и прямодушная веселость попеременно оживляют оный. Иногда он бывает нерадив в отделке; но время ли наезднику заниматься убором? В нежном роде — «Договор» с невестою и несколько элегий; в гусарском — залетные послания и зачетные песни его останутся навсегда образцом» *.

Бестужев и Якубович в небольшом уютном кабинете Дениса Давыдова чувствовали себя как дома. Хозяин принимал молодых офицеров с неизменным радушием, держался с ними на равной ноге. А главное, здесь можно было говорить и спорить о чем угодно и острых слов не остерегаться.

Как-то Бестужев особенно красноречиво и пламенно громил существующие порядки:

— Посмотрите вокруг себя, господа, много ли увидите вы лиц счастливых? Налоги разоряют торговцев и ремесленников. Военных угнетает бессмысленная муштра. Злоупотребления земских и гражданских властей достигли неслыханной степени бесстыдства. Жизнь крепостных крестьян ужасна. Негры на плантациях счастливее многих помещичьих крестьян! Продать в розницу семьи, похитить невинность, развратить жен крестьянских считается ни во что и делается явно. А есть изверги, которые заставляют крестьянок выкармливать грудью борзых щенков! Да, господа... Приложите ухо к земле, и вы услышите, как клокочет лава общего негодования!

Якубович, сидевший с трубкой в зубах на диване, мрачно осведомился:

— Так что же, по-твоему, нам делать? В карбонарии записываться, что ли?

— Я не даю рецептов, милый тезка, — ответил с легкой досадой Бестужев. — Каждый волен посту-

---

* «Взгляды на старую и новую словесность в России». Альманах «Полярная звезда», 1823 г.

пать согласно своим убеждениям и наклонностям...

— Мщение! Кровь за кровь, как у горцев! Вот что нужно! А для этого не требуется создавать тайные венты, и я скоро всем докажу, — несколько бессвязно загадочным тоном проговорил Якубович. — Один решительный человек полезнее всех карбонариев и масонов! [39]

Желая казаться необыкновенным человеком, Якубович постоянно, кстати и некстати, выставлял себя каким-то кровожадным мстителем. Это начинало надоедать. Денис Васильевич постарался направить разговор по другому руслу. Обратившись к Якубовичу, с которым успел дружески сойтись, он сказал:

— Более близок к истине был бы ты, дорогой мой богатырь-философ, если б сказал, что самое насущное и справедливое требование века заключается в усилении просвещения... Не так ли, любезнейший Александр Александрович? — повернулся он к Бестужеву.

— Кто из здравомыслящих и честных людей, Денис Васильевич, не желает усиления просвещения? — откликнулся Бестужев. — Но можно ли мечтать об этом, пока существует деспотизм, коему нужно невежество? Можно ли питать какие-то надежды, когда темный и распутный монах Фотий, ратующий за неграмотность народа, имеет свободный доступ в кабинет царя, а лучших наших поэтов, гордость словесности отечественной, держат на положении ссыльных вдали от столицы?

— Каких же поэтов ты имеешь в виду? — заинтересовался Якубович. — Я знаю только, что выслан в свою деревню Пушкин...

— А Грибоедов, автор знаменитой комедии и старый твой приятель? — напомнил Бестужев. — Тебе разве не известно, что он тоже далеко не по собственной воле вновь предпринимает путешествие в теплую Сибирь, как называет государь Кавказ. А Баратынский, дивные стихи которого потрясают читателей? Сам чародей наш Пушкин писал мне в прошлом году: «Баратынский прелесть и чудо!

После него никогда не стану печатать своих элегий...» И что же? Баратынский девять лет тянет солдатскую лямку! За детское озорство в кадетском корпусе солдатство без выслуги! Какая бессмысленная жестокость!

— Разделяю ваше возмущение, любезный Александр Александрович, — произнес Денис Васильевич, — но, думается, скоро мы все же увидим Баратынского среди нас в офицерских эполетах.

— Напротив, — покачав головой, возразил Бестужев, — я слышал, будто Жуковский недавно говорил об этом с государем, и тот опять отказал...

— Ну, я не знаю, как там было у Жуковского, зато мне точно известно, что Баратынский на днях произведен в прапорщики, — с довольным видом сказал Денис Васильевич.

Бестужев и Якубович с изумлением на него взглянули.

— Неужели? Каким же чудодейственным образом все устроилось?

Денис Васильевич пояснил:

— Счастливое сцепление обстоятельств. Нейшлотский пехотный полк, где служит Баратынский, расквартирован в Финляндии. А туда полтора года назад назначили военным губернатором моего старого доброго друга Закревского. Ну, я и не преминул этим воспользоваться... Жуковский и Александр Тургенев действовали на главном направлении, обстреливая своими просьбами дворец, подобно тяжелой артиллерии. Я же по старой партизанской привычке наскочил на фланг, начав бомбардировку резиденции финляндского губернатора. Мои письма Закревскому можно сравнить с брандкугелями, которыми некогда беспокоил я французов из жалких конных пушчонок, подсунутых мне генералом Милорадовичем. Мое преимущество было в том, что брандкугели недорого стоят, я стрелял часто и до тех пор, пока не добился своего...[40]

— Слава партизанской системе! — пробасил Якубович. — Я недаром всегда ее расхваливаю!

— Позвольте обнять вас, милый Денис Василь-

евич, — сказал Бестужев. — Ваше благородное участие в облегчении участи несчастного Баратынского трогает меня несказанно!

XII

Весть о кончине в Таганроге императора Александра поразила неожиданностью и совершенно расстроила Дениса Давыдова. Он целый день ходил из угла в угол по кабинету, беспрерывно курил и шумно вздыхал. Зная, что муж к покойному никакой симпатии не питал, Софья Николаевна полюбопытствовала:

— Что с тобой, мой друг? Все-таки жалко государя?

Денис Васильевич покачал головой.

— Совсем не жалко, Сонечка... Но опасаюсь, как бы при новом хуже не было... Константин Павлович император всероссийский! Этот шут гороховый сумасбродным нравом и невежеством, пожалуй, перещеголяет и папеньку... Суди сама, сколь приятно присягать такому владыке и чего от него ожидать можно?

Присягать все же пришлось. В витринах магазинов появились портреты неказистого нового императора. А спустя несколько дней в Москве стали распространяться слухи, будто присяга была ошибочной, будто Константин Павлович, женившись на польке Грудзинской, утерял права на престол и по завещанию покойного царя наследовать должен второй брат Николай Павлович.

Дениса Васильевича начали одолевать более тревожные мысли. Великого князя Николая Павловича он видел мельком, зато того, что слышал о нем, было вполне достаточно, чтоб составить самое нелестное мнение. Николай Павлович слыл человеком ограниченным, грубым, жестоким, злопамятным и мстительным. Говорили, что в детстве, ласкаясь к своим наставникам, он, как дикий звереныш, кусал им руки. Говорили о многочисленных случаях непристойного поведения великого князя и фельдфебель-

ских его замашках. Он удивлял всех отсутствием каких-либо серьезных знаний и мастерским выбиванием барабанной дроби.

Пристрастный, как и братья, к парадированию и бессмысленной муштре, Николай Павлович, командуя гвардейской бригадой, стремился довести шагистику до самой высокой степени совершенства. Вечерами он вызывал к себе во дворец старых ефрейторов человек по сорок. Зажигались люстры, бил барабан, звучала команда. Его высочество изволил с упоением заниматься маршировкой по гладко натертому паркету. И не раз случалось, что на правый фланг, рядом с огромным усатым гренадером, становилась молоденькая жена великого князя Александра Федоровна и, вытягивая носки, маршировала вместе с ефрейторами в угоду супругу[41].

Войска его ненавидели, особенно гвардейцы. Всем было памятно, как три года назад Николай Павлович, недовольный разводом одной из гвардейских рот, незаслуженно оскорбил в самой грубой форме любимого товарищами командира Норова. Тот вызвал великого князя на дуэль, а когда последний «сатисфакции не отдал», офицеры полка в знак протеста стали один за другим выходить в отставку. Капитан Челищев, родственник Бегичевых, принимавший участие в этой истории, клялся, что гвардия никогда Николаю Павловичу позорного поступка его не простит!

Таков был новый, всем немилый претендент на трон российского самодержца. Но может ли он добраться до трона, если слухи о завещании покойного царя окажутся верными? Ведь Константину уже присягнули! Пожелает ли он уступить место младшему брату? Не вспыхнет ли междоусобица и не воспользуются ли этим чрезвычайно удачным обстоятельством тайные общества?

Неотвязные мысли о возможном колебании государства Дениса Васильевича особенно страшили и жгли. Что-то будет, если российские карбонарии перейдут от слова к делу? Перебирая в памяти старые встречи и разговоры, он с предельной ясностью вдруг

припомнил некогда высказанное Михаилом Орловым предположение: «Девятнадцатый век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий!» Почем знать, может быть, этому суждено сбыться! Что-то необычайное явно назревало. Первая четверть века заканчивалась, но не была еще закончена. Денису Васильевичу захотелось повидать Михайлу, откровенно обо всем поговорить с ним.

Орлов, отстраненный три года назад от командования дивизией и уволенный из армии, жил последнее время близ Донского монастыря.

Орлов изменился неузнаваемо. Продолжая находиться под влиянием жены, в которую был влюблен без памяти, он от политической деятельности устранился, в общественных местах показывался редко и, вероятно, от домашней сидячей жизни располнел, обрюзг, поскучнел. Куда исчез задорный блеск в глазах! Куда девались прежнее красноречие и боевой пыл!

— Когда дьявол стареет, он становится отшельником, — невесело сказал по-французски Орлов, встречая старого приятеля с обычной любезностью.

Однако задушевная беседа между ними не состоялась.

Слухи о завещании покойного царя волновали Михаила Федоровича не менее других, и, судя по всему, он испытывал большую растерянность, но старался всячески скрыть это, говорил осторожно, взвешивая каждое слово, и, в сущности, ничего нового к тому, что всем известно, не прибавил.

Свидание произвело на Дениса Васильевича какое-то удручающее впечатление. Возвращаясь домой, он опять, как некогда после разговора с Базилем, ловил себя на страшно противоречивом отношении к поведению Михайлы Орлова. Сколько раз, бывало, в жарких спорах с Михайлой предостерегал его он, Денис Давыдов, от рискованного увлечения химерами, советовал быть осторожным и благоразумным! И вот Михайла остепенился, следовательно, заслуживает похвалы, а не осуждения... А смотреть на

него грустно! Не согревает, а студит душу его благоразумие!

На ум приходят невольно две яркие пушкинские строчки:

Ты, видно, стал в угоду мира
Благоразумный человек!

Нет, эти отзывающиеся горькой иронией стихи обращены не к Михайле Орлову, а к нему, Денису Давыдову. Ведь он тоже после женитьбы, сменив мундир на фрак, стал все более удаляться от шумных сборищ и избегать острых политических прений, подчиняя страсти житейским условностям.

Денис Васильевич тяжело вздыхает. Давят мысли сумбурные, темные. Отмахнуться от них он не может. Разобраться не в состоянии. А что-то беспокоит, что-то мучает!

Баратынский отлично знал, что производством в прапорщики он обязан во многом Денису Давыдову. Еще в прошлом году Закревский, вызвав к себе Баратынского и беседуя с ним, спросил между прочим:

— Вы давно знакомы с Денисом Васильевичем Давыдовым?

— Мне никогда не приходилось с ним встречаться, ваше превосходительство, — удивляясь вопросу, ответил Баратынский.

— Вот что! А ведь, судя по его письмам, я полагал, вы в близких с ним отношениях.

— Прошу прощения, ваше превосходительство, я не представляю, что же может писать обо мне Денис Васильевич?

— Он в восхищении от вашего дарования и настойчиво просит меня избавить вас от оков солдатчины, — произнес откровенно Закревский. — Это не так просто, ибо не от меня одного зависит, вы сами понимаете. Тем не менее я уже уведомил Дениса Васильевича, что все от меня зависящее, — он подчеркнул последнюю фразу, — будет сделано...

Дождавшись производства и взяв отпуск, Бара-

тынский пробыл более месяца в столице, а затем приехал в Москву. Прежде всего надо было благодарить Дениса Давыдова. Однако, отправляясь к нему, Баратынский вместе с чувством глубокой признательности испытывал и некоторую настороженность, вызванную болезненной мнительностью. Имя Давыдова было известно всем, и чин он имел генеральский, хотя и находился в отставке. Не посмотрит ли он свысока на вчерашнего солдата, не возьмет ли оскорбительного покровительственного тона?

Но все получилось совсем не так. Увидев молодого, высокого, большелобого, с детскими капризными, чуть припухлыми губами прапорщика, Денис Васильевич сразу догадался, кто он такой, приятельски пожал его руку и по-родственному расцеловал.

— Вот мы и познакомились наконец-то! Рад душевно! Я от Вяземского слышал, будто из Петербурга сюда собираешься... Спасибо, что навестил меня, голубчик!

Баратынский промолвил:

— Я должен благодарить вас, я стольким обязан вашему превосходительству...

Денис Васильевич сморщился, замахал руками:

— Ну, ну, бог с тобой, Евгений Абрамович, что за выходка, право, какое там превосходительство! Я про свое генеральство давно и сам позабыл... Садись-ка рядом да поговорим без изворотов, как и должно говорить со своими... А первей всего скажи, голубчик, что в столице болтают насчет царей-то? Неужто впрямь Николай на трон заберется?

Баратынский, собираясь сюда, решил держаться сдержанно, воли языку не давать, но простота хозяина и дружеский, задушевный прием умилили Евгения Абрамовича почти до слез, и скрытничать он не стал.

— Мне говорили, будто из Варшавы получено отречение Константина, но в такой странной, неопределенной форме, что Николай не решается объявить об этом. Между ним и Константином продолжается переписка, скачут по варшавской дороге сотни фельдъегерей, идет, как замечают некоторые умники,

игра короной в волан... Хотя все это, разумеется, толком никто ничего не знает!

— Вот то-то и оно, что толком никто ничего не знает! — вздохнул Давыдов. — А я, признаться, побаиваюсь, как бы чего не вышло... Николая в войсках терпеть не могут!

— Да, всякое может статься, если объявят вторую присягу, — согласился Баратынский. — Подобные смены властителей всегда чреваты неожиданностями!

Откровенная беседа быстро сближала. Говорили и о политике, и о литературе, и о Пушкине, и о семейных делах. Прошел какой-нибудь час, а Баратынский смотрел уже на маленького, густобрового и взъерошенного отставного генерала влюбленными глазами. И в голове сами собой начинали слагаться взволнованные стихи о первой встрече с ним:

Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминаньи горделиво
Хранить я буду оный день!
Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной.
Твоею лирой боевой,
И в славный год войны народной
В народе славной бородой! [12]

Баратынский, вытерпевший за годы солдатчины столько всяких обид и унижений, особенно нуждался в добром человеческом отношении. Но судьба продолжала его мучить. Мать, жившая в подмосковном имении, заболела тяжелым психическим расстройством. Родные смотрели на него со скрытым недоверием, как на каторжника, отбывшего наказание.

Неудивительно, что Баратынский быстро и прочно сблизился с Денисом Давыдовым, в котором об-

рел отзывчивого и попечительного друга. Софье Николаевне молодой поэт тоже пришелся по душе. Он стал в доме Давыдовых своим человеком.

Зная, как тяготит его военная служба, Денис Васильевич посоветовал:

— Если решил просить отставку, то медлить не надо. Лучшего времени для этого не сыщешь! Пока идет, как ты говоришь, игра короной в волан, Закревский на свой риск враз все устроит...

Баратынский согласился. Денис Васильевич не замедлил отписать старому другу:

«Мой *протеже* Баратынский здесь, часто бывает у меня, когда не болен, ибо здоровье его незавидное. Он жалок относительно обстоятельств его домашних, ты их знаешь — мать полоумная, и, следовательно, дела идут плохо. Ему надо непременно идти в отставку, что я ему советовал, и он совет мой принял. Сделай же милость, одолжи меня, позволь ему выйти в отставку, и когда просьба придет, то реши скорей — за что я в ножки поклонюсь тебе, ты меня этим навек обяжешь».

Письмо было написано 10 декабря 1825 года. А спустя несколько дней Денис Васильевич отправился проведать Бегичевых и возвратился от них поздней ночью сам не свой.

Софья Николаевна, встретившая мужа в передней, сразу почуяла беду. Но расспрашивать не решилась. Молча прошла за ним в кабинет, зажгла свечи.

Он остановился в остолбенении посреди комнаты. Потом перевел блуждающий взгляд на жену, проговорил не очень связно хриплым голосом:

— В Петербурге произошло восстание. Расстреливали картечью. Случилось то, чего я опасался. Выступление воинских частей подготовлялось тайным обществом. Все открыто. Схвачены Рылеев, Бестужев, Якубович... Начинается расправа, и, судя по всему, она будет жестокой!

— Боже мой, как это ужасно, — прошептала Софья Николаевна, глядя с тревогой на помертвев-

шее лицо мужа, —но ведь тебе, мой друг... разве тебе тоже может что-то угрожать?

— Не знаю, не знаю, не спрашивай... Думаю не о себе, а о тех, кто был связан с тайным обществом... Страшит участь Базиля! Других близких! А что ожидает Ермолова? Ведь Якубович отрицал существование кавказского общества, как и свою причастность к заговорщикам, а оказался среди них... Что же теперь будет, что будет!

Денис Васильевич схватился за голову и с глухим стоном медленно, словно больной, повалился на диван. Софья Николаевна знала, что сейчас лучше всего побыть ему одному. Она тихо вышла из кабинета и прикрыла за собой дверь.



...С бородою бородинской
Завербованный в певцы,
Ты, наездник, ты, гуляка,
А подчас и Жомини,
Сочетавший песнь бивака
С песнью нежною Парни!

П. Вяземский

I



ресты продолжались всю зиму. Восстание в самом конце декабря вспыхнуло и на юге, где тоже не обошлось без кровопролития. Закрытые кибитки, сопровождаемые хмурыми фельдъегерями и полицейскими чиновниками, мчались в Петербург по всем дорогам. Ямщики с почтовых станций поясняли скупо и неохотно:

— Государственные преступники...

Москва замерла в напряженном ожидании. Наступившие святки не веселили, как обычно. Во многих домах, где жили родственники или просто знакомые заговорщиков, не спали ночами. Тревожно

прислушивались к каждому стуку, готовили на всякий случай сумки с теплым бельем и необходимыми вещами. Всюду пылали печи и камины, жглись письма и дневники, где был хоть какой-нибудь намек на неосторожные мысли и сомнительные знакомства.

А по глухим московским переулкам бродил лохматый и грязный костромской монах Авель, известный всем прорицатель, и, проклиная нового царя, вещал хриплым голосом:

— Змей проживет тридцать лет! Змей проживет тридцать лет [43].

Денис Давыдов находился в необычайном душевном смятении. Списки арестованных каждый день пополнялись близкими и знакомыми именами. Бестужев, Рылеев, Якубович, Михайла Орлов, Александр и Николай Раевские, Волконский, женившийся недавно на Марии Раевской, младшей дочери генерала, брат Василий Львович, Басаргин, Бурцов, Поджио, Кюхельбекер, Ивашев...

Денис Васильевич перестал выходить из дому. Вся прелесть жизни, недавно еще беспечной и оживленной дружескими беседами, исчезла. Привычные светские развлечения казались ничтожными, пошлыми. С утра до ночи, в домашнем халате, с неизменной трубкой в зубах, сидел Денис Васильевич у камина в своем кабинете и думал, думал...

Итак, игра короной в волан, как говорили остроумцы, закончилась. Николай Павлович уселся на трон. Восстание подавлено. В зимнем дворце беспрерывно заседает «Комитет для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества». Николай Павлович лично допрашивает арестованных. Ежедневно называются новые фамилии. Трудно рассчитывать, что оставят в покое отставного генерал-майора Давыдова, давно внушающего подозрения сочинителя, находившегося в дружбе со столькими бунтовщиками, и двоюродного брата одного из главарей Южного общества!

Возможный арест и допрос, который будет производить царь, представлялись довольно живо.

— Вы разделяли преступные взгляды мятежни-

ков, мы располагаем показаниями многих из них, не запирайтесь, — скажет сурово Николай Павлович.

— Ваше величество! Я никогда не принадлежал тайным обществам, — ответит он, — никогда не одобрял их деятельности...

— Ваша, не менее тяжелая, вина в другом. Вы знали о существовании тайных обществ и не предупредили правительство!

— Я полагаю, ваше величество, оно было осведомлено об этом лучше, нежели частные лица...

— Долг верноподданного не умствовать, а в любых случаях содействовать искоренению вредных замыслов... Вы не состояли в тайном обществе, но образ ваших мыслей и поступки свидетельствуют о вашей неблагонамеренности. Вращаясь среди заговорщиков, вы вместе с ними подвергли критике самодержавие, сочувственно относились ко многим прожектам безумцев. Вам ненавистно все устройство наших войск, существующие уставы и порядки, вы нарочно уклоняетесь от военной службы, подавая дурной пример другим. А ваши связи с Ермоловым...

Тут воображаемая обвинительная речь царя прерывалась. Мысли Дениса Васильевича меняли направление. Ермолов! Что с ним, каково его отношение к тому, что происходит? Известий от Алексея Петровича давно не было. А в Москве упорно распространялись тревожные слухи, будто Ермолов отказался присягать Николаю Павловичу и собирается двинуть против него войска Кавказского корпуса. Говорили, будто австрийский посол, встретив во дворце великого князя Михаила Павловича, спросил открыто:

— Какие новости из Грузии? Правда ли, что генерал Ермолов со всей армией находится на марше к Петербургу?

А приезжавший в Москву близкий к дворцовым кругам генерал, не стесняясь в выражениях, поносил Ермолова как изменника и говорил, будто его в скором времени привезут с Кавказа в кандалах.

Денис Васильевич хотя и опровергал подобные разноречивые слухи как вздорные, но в глубине ду-

ши понимал, что нет дыма без огня: на Кавказе явно было неблагополучно.

В памяти оживало последнее свидание с Базилем, утверждавшим, якобы Ермолов возглавляет кавказское тайное общество. Кто знает, кто знает! Якубович схвачен и, возможно, не выдержав пыток, выдал Алексея Петровича, а попутно рассказал и о московских распашных беседах с Бестужевым и Давыдовым. Всякое может быть. Надо готовиться к худшему.

Денис Васильевич чувствовал на себе холодный, неподвижный взгляд царя. Гроза собиралась над головой.

Как-то в начале февраля, рано утром, к Давыдову заехал Дмитрий Никитич Бегичев. Он был чем-то обеспокоен. Войдя в кабинет, тщательно прикрыл дверь, вытер платком шею, красное от мороза лицо и сказал:

— Сообщаю тебе за тайное... Вчера проездом останавливался у меня арестованный на Кавказе... кто бы ты думал! Александр Сергеевич Грибоедов!

Денис Васильевич задохнулся от волнения.

— Как... останавливался... арестованный? — спросил он, стараясь взять себя в руки.

— Упросил своего телохранителя Уклонского, за деньги, я думаю, сделать в Москве остановку, — ответил Бегичев. — Впрочем, оказался лысый Уклонский этот малым покладистым. Даже возражать не подумал, когда Грибоедов попросил меня за братом Степаном послать. А когда Степан приехал и несколько опешил, застав нас в обществе безволосой фигуры в курьерском мундире, Александр Сергеевич, не стесняясь, в самом шутливом тоне изволил представить брату сего Уклонского, как испанского гранда Дон-Лыско-Плешивос-ди-Париченца...

— Не понимаю, зачем Грибоедову понадобился глупый этот фарс? — пожал плечами Давыдов.

— А затем, чтоб нас ободрить, показать, в каких отношениях он к своему телохранителю, — пояснил Бегичев. — Ну, а после обеда Александр Сергеевич совершенно его отпустил.

— То есть... как это... отпустил?

— Очень просто. Обратился к нему и говорит: «Что, братец, ведь у тебя здесь есть родные, ты бы съездил повидаться с ними». Уклонский откланялся и уехал. Мы остались одни, так-то, конечно, нам свободней было обо всем беседовать... Ну, и мы, сам понимаешь, воспользовались случаем...

— Не томи, ради бога! — не выдержал Давыдов. — За что Грибоедов арестован?

— Причина нынче одна. Подозревается в связях с бунтовщиками. Но держится молодцом, спокоен. И надежду питает оправдаться вскоре...

— А что с братом Алексеем Петровичем?

— Пока, слава богу, жив-здоров, на прежнем месте... Слухи эти всякие насчет ермоловских замыслов Александр Сергеевич отвергает.

— Но что же все-таки там произошло?

— Ну, всего-то Грибоедов не скажет... Дипломат! Но кое-что поведал... В корпусе на самом деле задержка с присягой произошла, несколько дней священника не могли найти...

— Помилуй, что за причина! Да ведь в каждом полку священник есть и в каждом селении! — удивился Денис Васильевич.

— Алексей Петрович с отрядом в какой-то, видишь ли, станице дальней находился, там будто одни раскольники беспоповского толка проживают,— с легкой усмешкой сказал Дмитрий Никитич. И неожиданно тяжело вздохнул: — Дело-то, как Александр Сергеевич ни скрывает, по-моему, скверное. Вот на раскольников-беспоповцев и сваливают грех, следы заметают.

— Да, похоже на то... Но не будем гадать! Еще о чем с Грибоедовым говорили?

— Интересовался Александр Сергеевич всякими подробностями бунта, осведомлялся, кого взяли и кого еще не взяли, чтобы на допросах не проболтаться... Картина ясная!

— Мне-то Ермолов ничего с Грибоедовым не передавал?

— Передавал. Я затем и заехал, чтоб сообщить... Советует тебе Алексей Петрович снова на военную службу определиться. И доводы приводит веские! Новый царь, наверное, не очень-то хорошего о тебе мнения... А время смутное! Своим же прошением о службе ты угодишь царю и мнение его изменишь. А там, как заваруха эта кончится, причины, чтоб снять мундир, найдутся... По-моему, маневр не плох!

Денис Васильевич, выслушав зятя, самодовольно улыбнулся:

— Вполне с тобой согласен. Именно посему, рассудив совершенно таким же образом, я уже подал рапорт...

— Да что ты! — удивился Бегичев. — А ведь я, признаться, полагал, тебя уговаривать придется... Скажешь, что о войне слуху-духу нет, а для мирных экзерциций не годен...

— Так-то оно так, — вздохнул Давыдов, — да не приходится церемониться, когда только о том думаешь, как бы в каземат не попасть... Вопрос: примут ли на службу-то? Не разгадают ли маневра?

— Примут, не сомневайся, — попробовал ободрить Бегичев. — Мне сказывали, что к подобным прошениям о возвращении на военную службу государь относится с особой благосклонностью.

— Причина-то для моего возвращения больно шаткая, — поморщился Давыдов. — Слишком известна неприязнь моя к фрунтомании и парадирству. А Николай Павлович, кроме развития этой отрасли военного искусства, как будто ничего и не обещает! На одной явной лести выезжаю... Называю педанта чрезвычайно сведущим в военном искусстве, выражаю готовность поддержать душой и саблей будущие его военные предприятия... Белыми нитками все шито!

— А я бы на твоем месте еще несколько письмишек с изъявлением верноподданнических чувств послал в разные места друзьям и знакомым, — подсказал Бегичев. — Письма-то наверняка в тайной полиции окажутся. Ежели запросят — они тебе там самую наилучшую рекомендацию дадут!

Денис Васильевич заметил с усмешкой:

— Метода не новая, Митенька. Пользуемся помаленьку. Риска, конечно, нет. Только неизвестно, кого более в заблуждение введешь: то ли тайную полицию и царя, то ли собственных друзей и потомков?

II

Переданное императору Николаю Павловичу из тюрьмы письмо мятежника Владимира Штейнгеля было обстоятельно и достаточно достоверно.

«Сколько бы ни оказалось членов тайного общества или ведавших про оное, сколь бы многих по сему преследованию ни лишили свободы, все еще остается гораздо множайшее число людей, разделяющих те же идеи и чувствования. Россия, которую я имел возможность видеть от Камчатки до Польши, от Петербурга до Астрахани, так уже просвещена, что лавочные сидельцы читают уже газеты, а в газетах пишут, что говорят в Париже в палате депутатов... Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Рылеева, Пушкина, дышащими свободою? Кто не цитировал басни Дениса Давыдова «Голова и Ноги»?..»

Взгляд царя привычно задержался на фамилиях. Рылеев сидел в крепости. Пушкин — в псковской своей деревне под строжайшим надзором. Дерзкие их сочинения императору более или менее известны. Но... что это за басня Дениса Давыдова? Почему поставлена она в один ряд с произведениями, развращающими умы вольнолюбивыми бреднями?

Император знал, что имя поэта-партизана пользуется большой популярностью. В галерее Зимнего дворца среди портретов героев Отечественной войны двенадцатого года, написанных недавно знаменитым английским художником Доу, находился портрет Дениса Давыдова. Император несколько раз останавливался перед ним и рассматривал. Добродушное круглое лицо. Залихватски приподнятые кончики холеных гусарских усов, открытый взгляд выпуклых, умных глаз. Нет, он никак не походил

на бунтовщика! Да и в показаниях арестованных заговорщиков имя Дениса Давыдова до сей поры не всплывало. А что касается его гусарских стихов — в них решительно не было ничего предосудительного. Николай Павлович сам, бывало, не без удовольствия декламировал их в веселую минуту!

Необходимо произвести строжайшую проверку. Ведь среди «друзей четырнадцатого», как называл царь декабристов, оказалось немало таких лиц, кои были вне всяких подозрений.

Император взял со стола перо, чтоб сделать запись в памятную книжку, и тут же положил его обратно. Вспомнил, что письмо Штейнгеля передано Бенкендорфом, а вся корреспонденция, проходившая через руки любезного Александра Христофоровича, предварительно им прочитывалась и необходимые справки подготовлялись заранее.

Император дернул сонетку. Вошедшему адъютанту приказал отрывисто:

— Александра Христофоровича ко мне...

Бенкендорф, в гвардейском, застегнутом на все пуговицы мундире с пышными эполетами и свисающими аксельбантами, позванивая шпорами и благоухая духами, появился в кабинете незамедлительно.

Николай спросил:

— Тебе что-нибудь известно про басню Дениса Давыдова, упоминаемую в письме Штейнгеля?

Бенкендорф к такому вопросу был, видимо, хорошо подготовлен. Ответил сразу:

— Я имел возможность, ваше величество, ознакомиться с нею недавно по списку, найденному при обыске на юге у комиссионера Иванова...

— И, полагаю, ты распорядился, конечно, снять копию?

— Так точно, ваше величество... Но, — Бенкендорф слегка запнулся, — басня сия полна столь неистового вольномыслия...

— Ничего, Александр Христофорович, мы с тобой не институтки, — чуть скривив губы, перебил

Николай. — Пачкаться нам приходится в этом каждый день!

Бенкендорф молча протянул листок бумаги. Николай пододвинул свечку, быстро пробежал глазами написанное. Смысл дерзкого спора Ног с Головой был предельно ясен.

Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись — как же быть, —
Твое Величество об камень расшибить.

Лицо царя потемнело, брови гневно сдвинулись. Дочитав, он непроизвольно скомкал бумагу и прошипел:

— Какой негодяй, однако! Я не думал!

— Осмелюсь заметить, ваше величество, — произнес Бенкендорф, — басня сия написана более двадцати лет назад. Давыдов был выписан за сочинительство из гвардии в армейский полк.

— Покойный брат непростительно миндальничал! — сказал с раздражением Николай. — За подобные басни следует судить как за подстрекательство к бунту. Прикажи комиссионера Иванова строжайше допросить, кто и как распространяет подобные произведения и не принадлежат ли господа сочинители оных и тайным обществам...[44]

И, чуть помедлив, осведомился:

— А чем занимается Денис Давыдов в настоящее время? Он, кажется, в отставке?

— Так точно. Не служит шесть лет.

— Что за причина?

— Насколько удалось выяснить, Давыдов остался партизаном и чуждается установленных в армии порядков...

— Гм... А связей ни с кем из наших друзей четырнадцатого не имел?

— Пока таких сведений нет, ваше величество. Зато имеются основания предполагать, что он находится в близких отношениях с генералом Ермоловым, коему приходится двоюродным братом, а также с семейством генерала Раевского...

Брови Николая удивленно и сердито приподнялись.

— Вот как! Ну в таком случае все равно ничего доброго от него ожидать нельзя! Ермолов и Раевский, я убежден, были и остаются опаснейшими либералами... Недаром мятежники намеревались избрать их в свое правительство!

Николай сделал несколько крупных солдатских шагов по кабинету и, остановившись перед Бенкендорфом, приказал:

— За Давыдовым учреди наблюдение самое тщательное... Опасаюсь, не принимает ли он участия в каких-то неясных еще мне ермоловских махинациях.

Бенкендорф, теребя серебристый шнур аксельбанта и глядя подобострастно на царя, проговорил:

— Ваши опасения весьма проницательны, государь. Три года назад Ермолов с необычайным и подозрительным упорством добивался назначения Давыдова в Кавказский корпус... А ныне сам Давыдов, рассчитывая, вероятно, что изменившиеся обстоятельства помогут ему в конце концов пробраться к Ермолову, просит вновь зачислить его на военную службу...

— Ну, этого удовольствия я ему не доставлю, — сказал Николай. — Военного мундира каналья не получит!

— Простите за откровенность, государь, — неожиданно возразил Бенкендорф, — но, мне кажется, было бы полезней сделать наоборот...

Николай пристально посмотрел в светлые, нагловатые глаза любимца и, стараясь понять смысл сказанного им, произнес с расстановкой:

— Ты думаешь... будет полезней... принять Давыдова на службу?

— Так точно, ваше величество, — ответил Бенкендорф. — Вступление Давыдова на военную службу благотворно подействует на многих и послужит хорошим примером. Помимо сего, каждый военный может быть, по соизволению вашего величества, пе-

реведен или послан по служебной надобности в любое место империи.

— Так, так, так, — почесывая рыжие бачки и, видимо, что-то постигнув, отозвался император. — Прав, пожалуй, Александр Христофорович...

Казенный пакет из главного штаба был получен в начале апреля. Денис Васильевич, ожидавший свыше трех месяцев ответа на свое прошение, нетерпеливо прочитал бумаги и сказал жене с облегченным вздохом:

— Ну, слава богу! На службу зачислили, назначили состоять при кавалерии... Стало быть, никаких подозрений против меня нет. Тучи разошлись!

А спустя некоторое время стали доходить до Москвы и другие добрые вести. Выпустили из крепости Александра и Николая Раевских, освободили Грибоедова, избежал суда Михайла Орлов... Затеплилась надежда, что и с остальными заключенными обойдутся милостиво. Генерал Ивашев, ездивший в столицу хлопотать за арестованного сына, уверял Дениса Давыдова, что государь настроен благодушно и никаких строгостей не ожидается. Может быть, удастся и брату Василию Львовичу, судьба которого особенно тревожила, отделаться высылкой на поселение или в собственную деревню под надзор.

И вдруг, словно гром в ясном небе, этот ужаснувший всю страну, кажущийся неправдоподобным судебный приговор: пятерых четвертовать, тридцати одному, в том числе Василию Давыдову, отрубить головы, остальным каторга! Правда, четвертовать людей и рубить головы царь не решился, но все же и смягченная окончательная сентенция отличалась чудовищной жестокостью. Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин приговаривались к повешению; Василий Давыдов, Волконский, Бестужев, Басаргин, Ивашев, Кюхельбекер, Якубович и еще свыше ста человек после лишения дворянства и чинов отправлялись в каторжные работы навечно или на длительные сроки.

13 июля ранним утром на пустыре у крепостного рва состоялась казнь. Император сам изыскивал спо-

собы придать этой картине наиболее мрачный характер. Всех приговоренных, одетых в белые саваны, отпели живыми. Барабанщики все время выбивали мелкую дробь, как при наказании солдат сквозь строй [45].

После того как на приговоренных набросили петли и затем отняли доски из-под ног, Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол упали с виселицы. Распоряжавшийся казнью петербургский генерал-губернатор Павел Васильевич Кутузов подскакал ко рву, где в окровавленных саванах копошились трое мучеников. Рылеев, с трудом приподнявшись и откинув колпак, сказал губернатору:

— Вы, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, его желание исполняется: вы видите, мы умираем в мучениях...

— Вешайте их скорее! — неистово завопил Кутузов.

Рылеев, глядя на него, произнес:

— Дай же палачу твои аксельбанты, чтобы нам не умирать в третий раз...

Подробности кровавой расправы передавались из уст в уста, вызывая общее негодование. Вяземский, отдыхавший в Ревеле, писал жене:

«О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибивает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место... Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно нестерпимо... Я не могу, не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни! Сколько жертв и какая железная рука пала на них!»

У Дениса Давыдова было столь же подавленное состояние. Воображение мучили и виселицы на крепостном пустыре и звон кандалов, которыми царь заменил веревку другим несчастным. Со сколькими из них он, Денис Давыдов, еще недавно откровенничал, шутил, спорил! Руки чувствовали еще теплоту дружеских рукопожатий и Волконского, и Бестужева, и Басаргина, и Кюхельбекера, и Якубовича... А милый, родной Базиль? Сердце обливалось кровью, когда

думал о нем! Оживали в памяти все встречи, долгие распашные братские беседы и особенно этот разговор в Киеве, когда Базиль признался в своих чувствах к Сашеньке Потаповой. Хорошо, что год назад, после смерти матери, Базиль все-таки женился на Сашеньке, успел узаконить положение ее и трех детей, иначе она ничего не смогла бы сделать для облегчения его страданий; а теперь, как и другие жены декабристов, Александра Ивановна Давыдова собиралась ехать к нежнолюбимому мужу в далекую Сибирь. Да, если предполагаемые поездки осуществятся, это будет самым лучшим утешением для страдальцев!

Впрочем, вскоре другие события отвлекли Дениса Васильевича от тягостных размышлений, вызванных ужасным приговором.

Император Николай, очистив, как ему казалось, отечество от крамолы, в конце июля прибыл вместе со всем двором, огромной свитой и гвардией в Москву для коронации. В Кремле состоялось торжественное молебствие. Гудели колокола, гремели пушки. Митрополит Филарет возносил благодарственные молитвы богу за победу царя над бунтовщиками.

Денису Васильевичу кое-как удалось уклониться от участия в этом гнусном спектакле, но он был обязан представляться царю среди других генералов и чиновных москвичей.

Признав Давыдова, вероятно, по портрету, Николай задержал на нем взгляд, сказал:

— Рад видеть тебя, любезный Давыдов... Благодарю, что надел эполеты в мое царствование... Здоров ли ты? Можешь ли служить в действительной службе?

— Могу, государь.

Николай ничего более не спросил и, милостиво кивнув головой, проследовал дальше. Все как будто обстояло благополучно.

Но через несколько дней Давыдова вызвал начальник генерального штаба генерал Дибич. Глядя в сторону, как всегда он делал, выполняя особо важные поручения царя, рыжий и криволицый старый знакомец объявил:

— Мне весьма прискорбно, что имею препоручение от государя императора предложить вам то, что, может быть, неприятно вам будет принять. Государю угодно, чтобы вы ехали в Грузию. Там опять начинается война с персианами. Нужны отличные офицеры. Государь избирает вас...

О том, что персидские войска недавно вторглись в пределы Грузии, Давыдову было уже известно. В предложении, переданном Дибичем, ничего странного не было. Оно показалось даже лестным. Денис Васильевич поблагодарил за оказанную ему честь.

— Но, — значительно добавил Дибич и опять отвел глаза в сторону, — государю угодно, чтобы вы как можно скорей ехали туда...

Вот эта-то фраза, а вернее, та особая интонация, с которой произнес ее Дибич, заставила Дениса Васильевича невольно насторожиться. Зачем посылают его на Кавказ? Действительно ли как боевого генерала с прямой целью или?.. Какое-то смутное подозрение начало закрадываться в душу. Ведь в кавказскую армию отправлены все офицеры и солдаты, хотя бы косвенно причастные к восстанию в Петербурге и на юге. Туда же прямо после выхода из Петропавловской крепости получил назначение оправданный, но оставленный в подозрении Николай Раевский. Правда, Ермолов был еще командующим Кавказским корпусом, однако о его близком смещении продолжали говорить упорно.

Денис Васильевич решил во что бы то ни стало повидать царя. Попытаться отгадать его замысел. Выторговать на всякий случай право возвратиться домой после окончания войны.

И эту встречу с Николаем в кабинете Кремлевского дворца он запомнил до мельчайших подробностей.

Николай, начавший к тридцати годам сильно толстеть, был в своем обычном зеленом гвардейском мундире. Выпуклая, обложенная ватой грудь, туго стянутый живот, расширенные бока, жирные ляжки в белых лосинах и полусогнутая рука, большой палец, который театрально заложен за борт мундира. Нико-

лай в молодости недаром брал уроки у французских актеров Сенфаля и Батиста.

Но особенно приметилось лицо царя: пухлое, болезненно белое, лишенное всякой живости. И большие, навыкате, какие-то оловянные глаза.

Николай стоял у окна. Увидев вошедшего Давыдова, подошел к нему, дружелюбно протянул руку.

— Прости меня, любезный Давыдов, что я посылаю тебя туда, где, может статься, тебе быть не хочется, — сказал царь своим деревянным голосом.

«Дибич начал разговор почти такой же фразой, — промелькнуло в голове Давыдова. — Почему они извиняются, если дело чистое?»

— Напротив, государь, — ответил он, сдерживая волнение, — я не колеблюсь ни минуты и пришел благодарить ваше величество за выбор, столь лестный для моего самолюбия... Но позвольте изложить вам мою просьбу.

— Что такое?

— Когда война кончится, позвольте возвратиться в Москву. Я здесь оставляю хвост — жену и детей...

— Как! Я не знал, что ты женат! Много ли у тебя детей?

— Три сына.

— Славно! А как была фамилия твоей жены?

— Чиркова.

— Кажется, есть родня ей в гвардии?

— Есть, государь, двоюродный брат...

Просьба, видимо, оказалась неожиданной. Ответ не был подготовлен. Какая-то недобрая морщинка собралась на крутом лбу царя и сразу исчезла. Он резко повернулся, сделал несколько шагов по кабинету. Затем снова принял прежнюю, величественную, как ему казалось, позу и произнес:

— Я не определяю тебя в Кавказский корпус, а посылаю с оставлением по кавалерии... Когда война кончится, скажи Алексею Петровичу, что я желаю твоего возвращения, он отпустит, и дело кончено...

— Благодарю, государь!..

— Ты давно не получал писем от Ермолова? —

как бы продолжая разговор, спросил Николай, не меняя позы.

— Давно. Алексей Петрович последнее время почти не пишет.

— Вот как! Ну, теперь сам скоро его увидишь... Кланяйся от меня, скажи, что я с нетерпением жду известий и молюсь за него. Да, я забыл! Ведь ты, кажется, и прежде желал служить на Кавказе?

— Желал, государь... Мечтал, можно сказать!

Николай окинул Давыдова быстрым, ничего не говорящим взглядом и неожиданно ласково полуобнял.

— Очень рад, если так... Прощайте, любезный Давыдов, желаю счастья и успехов!

Несмотря на то, что Давыдов отметил при разговоре с царем некоторые фальшивые его жесты и интонации, все же он решил, что Николай относится к нему благосклонно, никакого тайного замысла не имеет. Сомнительными теперь показались и все слухи о Ермолове. Наверное, выдумывают враги брата Алексея. Ведь болтали же о его связях с заговорщиками, а между тем следствие кончилось, суд свершился, а Ермолов по-прежнему на Кавказе и государь говорил о нем в самом благосклонном тоне.

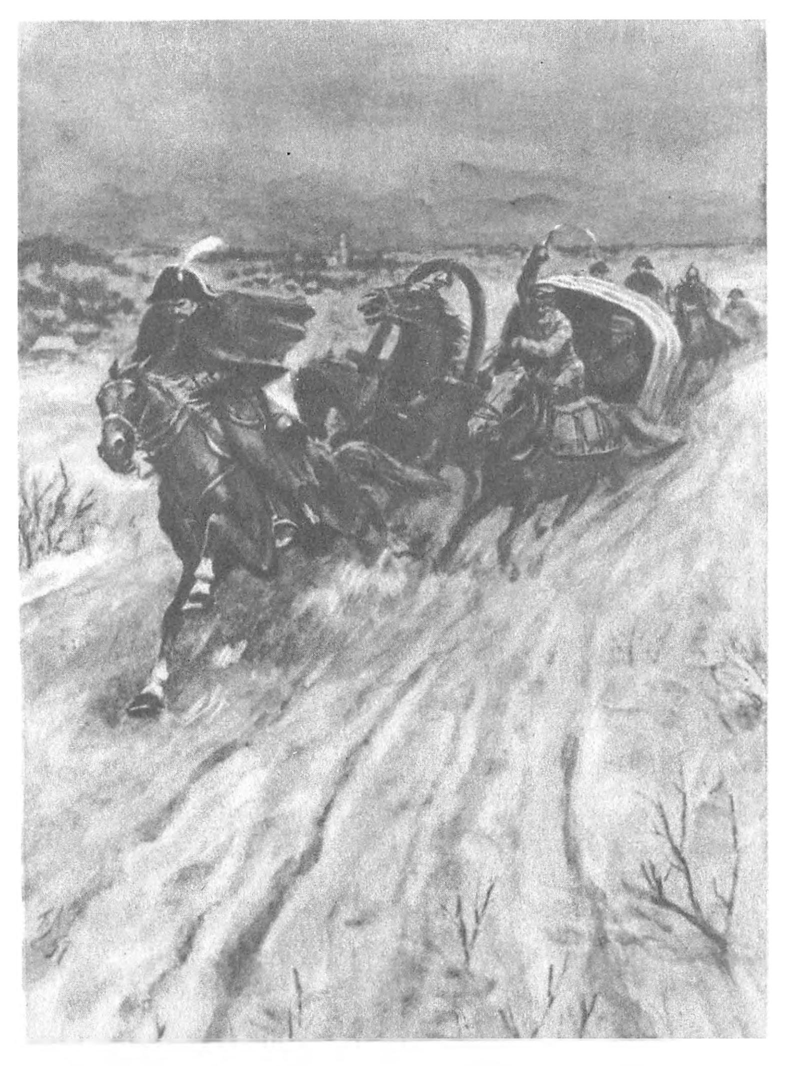
Но при выходе из дворца Денис Васильевич лицом к лицу столкнулся с Закревским. Осведомившись, о чем разговаривал с царем старый друг, Арсений Андреевич отвел его в сторонку и спросил:

— А ты не думаешь, что можешь оказаться на Кавказе под начальством какого-нибудь другого командующего, а не Алексея Петровича?

У Дениса Васильевича от невольного волнения дрогнул голос:

— То есть... почему же? Разве Ермолова сменяют?

— В этом все дело, милый Денис, — тихо и доверительно произнес по-французски Закревский. — Я сообщаю тебе то, что, надеюсь, будет навсегда сохранено в полной тайне... Государь на днях при мне сказал, что терпеть Ермолова более не намерен. И вчера на Кавказ уже выехал любимец царя, интимный друг его Паскевич. Он должен немедленно найти любые



К стр. 241

причины для смещения Алексея Петровича и занять его место...[46]

Денис Васильевич совершенно опешил.

— Помилуй, Арсений! Я отказываюсь верить! Ведь он, — Давыдов кивнул на дворец, — только что говорил...

Закревский вздернул плечи, перебил решительно:

— Не будем обсуждать того, чего не должно... Наша долгая, ничем не омраченная дружба и моя самая глубокая привязанность к Алексею Петровичу обязывают меня сделать предупреждение, дабы вы могли не сомневаться в цели, с какою отправлен Паскевич на Кавказ, и соответствующим образом, с наибольшим благоразумием определить свои поступки... Вот все, что мне хотелось!

Страшную новость, сообщенную Закревским, подтвердил косвенно и ермоловский адъютант Талызин, только что прибывший с Кавказа. Он встретил Паскевича под Воронежем. Талызин рассказал также, что еще зимой в Кавказский корпус прибыл полковник Бартоломей, посланный царем для сбора тайных сведений о Ермолове. Паскевичу остается лишь подписать донос. И Алексей Петрович сам чувствует, что на Кавказе служить ему недолго.

Денису Давыдову все теперь стало ясно. Значит... царь лгал, говоря с ним о Ермолове как о главнокомандующем, который после войны отпустит его домой! Царь хорошо знал, что Ермолова не будет, а будет Паскевич! Зачем же эта низкая, бесчестная игра? Чего он хочет?

Посылка на Кавказ без определенного назначения ставила Давыдова в полную зависимость от воли командующего Кавказским корпусом. Пока оставался в этой должности Ермолов, нечего было беспокоиться о дальнейшем. Теперь же, продумывая создавшееся положение, Денис Васильевич ясно различал для себя три возможности. Командующий мог назначить начальником превосходного отряда и поручить славное дело, достойное опытного и боевого командира; командующий мог оставить при главной квартире, обрекая на унизительное безделье, порочащее достоин-

ство и честь; командующий мог, наконец, послать в опасную экспедицию, на верную смерть, особенно если будет на то тайное соизволение свыше... И эта третья, последняя возможность представлялась самой вероятной.

Николай желает избавиться от него. Как можно скорее. Фраза, сказанная Дибичем, приобретала теперь особое, зловещее значение.

С тяжелым чувством собираясь в дальний путь, Давыдов скрыл от родных и близких угрожающую ему опасность. Не сказал даже жене. Она должна была скоро родить, не хотел расстраивать. Но на одном из прощальных вечеров не мог все-таки удержаться от горькой эпиграммы, посвятив ее генералам, танцующим на балу:

Мы все несем едино бремя,
Но жребий наш иной;
Вы назначены на племя,
Я же послан на убой...

III

Стояли чудесные, тихие и солнечные августовские дни. Открытая рессорная коляска, запряженная тройкой лошадей, бойко катилась по старому почтовому тракту, пролегавшему на юг через Елец и Воронеж.

Денис Васильевич, первый раз ехавший по этому пути, с любопытством смотрел на картины, открывавшиеся взору. Величественная, щедро одаренная природой мать Россия, которую любил он нежным сыновним чувством, раскрывалась перед ним во всей своей красоте и убожестве. Прекрасны были эти плодородные черноземные поля, быстры и чисты реки. Манили прохладой тенистые леса, нежили взгляд тронутые первой позолотой березовые рощи. Господские дома и угодья, расположенные обычно на взгорьях, окруженные садами и парками, щеголяли нарядной архитектурой, затейливыми башенками, белыми арками и колоннами. А в близком соседстве с ними тянулись кривые улицы и переулки соломенных деревень. где мужики и бабы в посконных рубахах и лаптях

молотили цепами хлеб. А в барских садах загорелые и босые девки складывали в корзины налитые сладким соком яблоки и пели грустные песни. И легкий ветерок вместе с тихими напевами доносил еле уловимый тонкий запах спелых плодов.

Тяжелое настроение, владевшее Давыдовым при выезде из Москвы, постепенно заменялось чувством какого-то умиротворения. Деревенская жизнь, вдали от столицы, показалась ему соблазнительной. «Наверное, — думал он, — никого здесь не волнуют ни политические события, ни дворцовые интриги, живут тихо, спокойно, наслаждаясь семейными радостями. Охота, друзья, книги. Право, есть смысл!»

И вдруг живо воскресла в памяти далекая приволжская деревенька Верхняя Маза. И почему-то сразу посветлело на душе. Счастливая мысль! Служить отечеству там, пожалуй, можно лучше! Он был участником многих замечательных событий, ему есть о чем рассказать в своих книгах. Да, непременно надо, выйдя в отставку, поселиться там, подальше от этого страшного человека с холодным взглядом оловянных глаз... Лишь бы поскорей удалось благополучно освободиться от кавказской службы. Вся надежда на брата Алексея Петровича. Он пока еще главнокомандующий. Он посоветует, поможет. Надо торопить ямщика!

И вот уже кончились бесконечные ковыльные степи, и в безоблачном темно-голубом небе засеребрились вершины Кавказских гор.

А недалеко от Владикавказа неожиданная встреча. Александр Сергеевич Грибоедов. Возвращается в Тифлис к месту прежней службы.

Подробности его ареста Давыдову были уже известны. В Москве Талызин рассказал, как Ермолов, получив ордер на арест Грибоедова, предупредил его, помог уничтожить бумаги. Талызин сам принимал в этом участие. И, конечно, Александр Сергеевич будет век благодарен Ермолову. Грибоедов свой, близкий человек. Захотелось обнять его, расцеловать. Но, с другой стороны, он ведь приходится родственником Ивану Федоровичу Паскевичу, женатому на его двоюродной сестре. Родство, правда, не бог знает какое,

однако в сложившихся обстоятельствах оно приобрело значение, невольно сдерживая душевный порыв.

Грибоедов, очевидно, тоже чувствовал неловкость, держался сухо, настороженно. Узкое, желтое от лихорадки лицо его пасмурно. В умных, чуть прищуренных глазах застыла, казалось, какая-то скорбная мысль.

Узнав, что в Дарьяльском ущелье произошли обвалы и Грибоедову, ехавшему с почтой, придется ждать, пока расчистят дорогу, Давыдов предложил:

— Мне одалживают двухместные дрожки. Налегке пробраться в Тифлис, думаю, можно... Прошу разделить со мной компанию.

— Багодарю, глубоко признателен, Денис Васильевич.

В Тифлис они едут вместе. И невольный холодок между ними начинает постепенно исчезать. У них столько общих интересов, столько общих близких знакомых. Им есть что вспомнить и о чем поговорить наедине. Грибоедов, наконец, доверчиво признается:

— Вам известны мои отношения с Алексеем Петровичем... Я предан ему до гроба. Какой светлый ум, какая высокая душа! Но мое положение... это ужасно, если оно отдалит его... И, признаюсь, Паскевич никогда не был мне близок. Он самонадеян и тщеславен. Я не верю, чтобы этот человек восторжествовал над одним из умнейших людей в России.

— Паскевич выполняет волю государя, — не соглашается Денис Васильевич, — а высочайшее мнение о Ермолове никогда, к сожалению, не сходилось с твоим... Впрочем, не будем загадывать.

Грибоедов молчит. Хмурится. О чем-то сосредоточенно думает.

— Высочайшее мнение! Высочайшая воля! — неожиданно иронически восклицает он, и в глазах, сквозь стекла очков, вспыхивает злобная искорка. — Я содержался на гауптвахте главного штаба и видел многих из этих несчастных... Мне передавали разговор императора с Николаем Бестужевым, братом нашего Александра. Государь, удивленный умом и твердостью Бестужева, сказал: «Вы знаете, что все в мо-

их руках, что я все могу, и я бы простил вас, если бы мог быть уверен, что впредь буду иметь в вас верноподданного!» — «В том наше и несчастье, ваше величество, — ответил Бестужев, — что вы все можете, что ваша воля выше закона. А мы желаем, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел не от вас, а от закона»... Вот видите, какое, оказывается, частное мнение, — Грибоедов сделал на этой фразе ударение, — существует о высочайшей воле.

— Помилуй, Александр Сергеевич. С подобным мнением согласится каждый честный человек, следственно, оно уже не частное, — горячо отозвался Денис Васильевич.

Грибоедов внимательно посмотрел на него потеплевшими глазами и улыбнулся:

— Я потому прямо и говорю с вами о таких вещах, что хорошо знаю вас, друга Ермолова, Пушкина, Раевских... Но я никогда не открывал и не открою своего сердца Паскевичам.

По мере того как дрожки, запряженные парой лошадей, медленно продвигались вперед, дорога становилась все хуже. Камни и огромные валуны во многих местах преграждали путь. Казачий конвой, ехавший впереди, спешивался, казаки убирали камни, выпрягали лошадей, на руках переносили дрожки.

Ущелье становилось все теснее. Горы, обступавшие со всех сторон, казалось, готовы были упасть на головы. Грибоедов долго, неподвижно смотрел вверх на каменные громады. Потом медленно опустил голову. Какое-то затаенное огромное горе исказило вдруг тонкие черты его лица. Губы дрожали, в глазах стояли слезы.

— Что с тобой, Александр Сергеевич? — спросил обеспокоенный Давыдов, тихо дотрагиваясь до его локтя.

Грибоедов вздрогнул и как-то судорожно схватил, сжал руку Давыдова.

— Я чувствую себя раздавленным, друг мой, — прерывающимся голосом заговорил он по-французски. — Я могу вам признаться, что во многом не соглашался с ними... Сто прапорщиков хотят изменить

весь государственный быт России. Я сам как-то сказал эту фразу. Но кто же откажет им в мужестве, честности и благородстве! Так за что же столько страданий? Ведь их даже не судили, а осудили по высочайшей воле. Александр Бестужев и Александр Одоевский — тягчайшие государственные преступники! Ваш брат, умнейший и добрейший Василий Львович, которого я имел честь знать, осужден на каторгу! Мое сердце обливается кровью. Я плохо сплю... я постоянно слышу мерную дробь барабана и звон кандалов. На кронверкской куртине, где повешены эти пять мучеников, распяли нашу совесть... о, как это ужасно! А Фамусовы, Скалозубы и Молчалины торжествуют! Мне непереносимо это отвратительное зрелище...

Грибоедов остановился, глубоко вздохнул и, понизив голос, закончил:

— Но верьте, друг мой, что их страдания бесплодно не исчезнут... Я сам недавно пришел к этой мысли... Пройдут годы, и явятся другие... и час свершения настанет... Россия оставаться в младенчестве не будет.

Эта последняя, с большим чувством произнесенная фраза Денису Васильевичу запомнилась особенно крепко.

IV

В Тифлис приехали поздно ночью. Алексей Петрович Ермолов, вопреки обыкновению рано ложиться спать, находился еще в своем просторном, скромно убранном кабинете. И тотчас же Дениса Васильевича принял.

Ермолову исполнилось сорок девять лет. Резкие складки морщин на крупном, мужественном лице, темные круги под глазами и крайняя раздражительность, появившаяся за последнее время, свидетельствовали, что огорчения, вызванные происшедшими событиями, войной и неблагоприятными отношениями с новым императором, не прошли бесследно.

Ермолов сидел за большим дубовым столом в парадном мундире, при всех орденах, хотя обычно, как всем было известно, ходил в простом черкесском чек-

мене. Он тяжело поднялся навстречу брату, сердечно его обнял:

— Слышал, что едешь, ждал, рад тебя видеть, Денис... Как семья твоя? Все здоровы? Ну, слава богу... Садись, поговорим...

И, заметив, что Давыдов окинул удивленным взглядом его парадный мундир, усмехнулся:

— Что? Думаешь, привычки свои изменил? Нет, брат, это я для господина Паскевича павлином вырядился... Час назад проводил его отсюда. Нельзя, брат Денис, иначе, — продолжал он иронически, — особа знатная, полным доверием государя пользуется. Сам царь мне о том писал.

Алексей Петрович сделал несколько шагов по кабинету, потом остановился перед Давыдовым, вспомнил:

— Да, так ты, говорили мне, с Грибоедовым сюда? Ну, что? Переменился, я думаю... Еще бы! Паскевичу родней приходится, а у Паскевича сама государыня императрица детишек крестить изволила. Дух захватывает от столь высокого родства, — не удержался Ермолов от насмешки. — Как же Александру Сергеевичу с нами, опальными, дружбу водить?

— Напротив, почтеннейший брат, — возразил Давыдов, — Грибоедов более всего опасается, чтобы вы сами через это родство к нему не охладели...

— Да, что ушло, то ушло... Может быть, и несправедливым я окажусь, после рассудят, а прежних отношений у нас не будет, — задумчиво произнес Алексей Петрович.

— Грибоедов душевно расположен к вам... И, простите, мне непонятны сомнения ваши.

Ермолов подошел к столу, достал какую-то бумагу.

— А ты послушай, что военный министр мне пишет, — сказал он и, пододвинув свечу, прочитал: — «...коллежский асессор Грибоедов, на коего упало подозрение в принадлежности к тайному злоумышленному обществу, по учинению исследования, оказался совершенно, — подчеркнул Ермолов последнее слово, — неприкосновенным к нему. Вследствие чего, по

повелению его императорского величества, освобожден из-под ареста, с выдачей аттестата...»

— Таковые аттестаты выданы не одному Грибоедову, а и многим другим лицам, — заметил Давыдов.

— Знаю, знаю, — кладя бумагу на стол, сказал Ермолов, — а все-таки... Этот самый господин Паскевич, прибыв сюда, с первых слов просит Грибоедова в его канцелярию откомандировать... Слов нет, нужда в сочинителе господину Паскевичу крайняя. Сам грамотей не бойкий: говорит со знаками запинания, а пишет без оных... Однако ж мне особое благоволение этого господина к Грибоедову по многим причинам нравиться не может...

— Помилуй! Я совсем сбит с толку! — воскликнул Денис Васильевич.

Ермолов подошел к окну, прикрыл его, завесил тяжелой шторой. Затем сел в кресло рядом с Давыдовым, положил на его плечо широкую, горячую руку.

— От тебя скрывать мне нечего, — тихо произнес он. — Прошлой осенью брат наш Василий Львович предлагал мне примкнуть к ним... А письмецо его Грибоедов мне доставил! Следственно, полным их доверием был облечен Александр Сергеевич...

— И что же вы решили? — не дослушав фразы, перебил Денис Васильевич.

— Не беспокойся, ничего страшного нет, — ответил Ермолов. — Никаких обсщаний я не давал, в переговоры не вступал... Но, признаюсь, однажды намекнул Александру Сергеевичу, что ежели этакое случится... усмирять не пойду и, смотря по обстоятельствам, подумаю...

— Стало быть, эта задержка с присягой?..

— Мой грех, — наклонив голову, с тяжелым вздохом отозвался Ермолов. — Было в голове разное... Ну, а потом дело исправил, с этим кончено. Один свидетель Александр Сергеевич, да я на него в этом деле совершенно полагаюсь, ибо зачем же ему меня и себя губить. И тому, что вышел он чистым из скверной истории, я не менее, а более других рад...

— Поверьте, почтеннейший брат, Александр Сергеевич навсегда останется вам признателен...

— А вот тут-то как раз бабушка надвое сказала! — прищурился Ермолов. — Я голову на отсечение дам, что Александра Сергеевича рука Паскевича из пропасти вытащила, следственно этот господин Грибоедову не только родня, но и благодетель... Сам суди, как в таком случае мне держаться теперь с Грибоедовым. Не знаю, не знаю, брат Денис, напрасно подозревать не могу, но в моем положении опасаться всего должен...

Ермолов поднялся. Сделал опять несколько грузных шагов, остановился, потер широкий лоб.

— А положения моего тебе объяснять нечего... Отношение Николая ко мне известно. Он с тех пор еще, как я за пьяные дебоши в Париже его отчитывал, зубы на меня точит и разделаться со мною собирается. Теперь настал его час счастливый! — Ермолов сделал короткую передышку и затем продолжил: — Я не из робкого десятка, ты сам знаешь, меня царским неблаговолением не испугаешь, но я низостью, подлостью его возмущен! Ну, неугоден ему, так отреши от должности, твоя воля. Нет, натура не такова. Боится, чтобы тень, упаси бог, на него не упала. Желает, чтобы сам я в отставку подал... а на всякий случай шпионов сюда засылает... И опять подлость свою фиговым листком прикрывает. Вот он, этот листик-то, прибрал на память, — желчно добавил Ермолов, достав из кармана какую-то бумагу. И, насмешливо выделяя слова, прочитал: — «...назначив его командующим под вами войсками, даю я вам отличнейшего сотрудника, который выполнит всегда все ему делаемые поручения с должным усердием и понятливостью. Я желаю, чтобы он, с вашего разрешения, сообщал мне все, что от вас поручено будет...»

— Назначает, оказывается, господина Паскевича моим помощником! Дает отличнейшего сотрудника! Благодарю покорно! А этот сотрудник сидит здесь, словно дитя невинное, любезничает, в царской любви меня уверяет, а за спиною грязные сплетни против меня собирает. Николай клеветой и вздором не брезгает. Мерзко, подло, гнусно!

Негодование захватило Ермолова. Он резким дви-

жением расстегнул, словно душивший его, ворот мундира и продолжал:

— Вот и надел я эти ордена, чтобы превосходство свое над царским лазутчиком чувствовать. Не за дружбу с царями боевые ордена получал. Этот, — указал он на один из георгиевских крестов, — самим незабвенным Александром Васильевичем Суворовым пожалован. Этот, — дотронулся до другого, — князем Петром Ивановичем Багратионом! Этот — за войну Отечественную...

Ермолов оборвал фразу, махнул рукой, сразу перешел на другой тон:

— Ну, да ты сам все знаешь, и чувства мои тебе понятны. И не будем больше говорить обо мне...

Он вытер платком разгоряченное лицо, опять подсел к Давыдову.

— Займемся твоими делами, брат Денис, пока я еще помочь могу, если требуется...

Давыдов подробно рассказал все, что произошло с ним в последнее время. Ермолов слушал молча, внимательно. Ни один мускул на лице не дрогнул даже тогда, когда Давыдов говорил о своем свидании с царем и Закревским. Тайная цель, с какою прибыл на Кавказ Паскевич, разгадана была раньше. Да и не послал бы Николай сюда брата Дениса, если бы рассчитывал самого Ермолова оставить командующим Кавказским корпусом. И, конечно, при Паскевиче служить Денису нельзя. Тоже все ясно. Но как выйти ему из корпуса, куда он назначен лично царем? Пока продолжалась война с персианами, немыслимо было об этом думать. Необходимо принять участие в военных действиях, отличиться, отвести от себя всякие возможные подозрения.

Алексей Петрович прежде всего познакомил Давыдова с военной обстановкой. Наследник персидского шаха Аббас-мирза, находившийся под сильным влиянием окружавших его англичан, нарушив мирный договор с Россией, вторгся в Карабах, обложил крепость Шушу. Действующий заодно с ним брат Эриванского сардара Гассан-хан овладел Бамбакской и Шурагельской провинциями.

Войска Кавказского корпуса, изнуренные постоянными кровопролитными стычками, были разрозненны. Ермолов против стотысячной персидской армии мог выставить не более десяти тысяч. Однако, превосходно осведомленный о вооружении и боевых качествах противника, Алексей Петрович не считал положение угрожающим. Войска корпуса были лучше вооружены, а главное, одушевлены суворовским духом, отличались большим мужеством и стойкостью.

— Долгой войны не предвижу, — спокойно сказал Ермолов. — Но персиане бесчинствуют в занятых местностях и при набегах, поэтому следует поспешить... Я сосредоточил войска против главных сил Аббаса... А под твое начальство, брат Денис, даю превосходный отряд, действующий против Гассан-хана. Находится этот отряд сейчас под временным начальством полковника Николая Николаевича Муравьева, человек он умный, знающий, помощником тебе будет отличным...

— Я опасаюсь, однако, почтеннейший брат, не причинило бы мое назначение обиды Муравьеву?

— Ничего. Я ему особое письмо пошлю с просьбой содействовать тебе, как моему брату... Надеясь на твой опыт, никакими особыми предписаниями рук тебя не связываю. Ты должен быстрым ударом разбить Гассана и двигаться к персидской границе... Ну, а дальше обстоятельства подскажут, что предпринять. Думаю, что лучшим предлогом для оставления корпуса послужат твои болезни. Дибичу напишешь. Я тоже заранее его уведомлю, что ты из последних сил служишь... На всякий случай!

Ермолов сделал небольшую паузу и с горькой усмешкой добавил:

— Да, любезный Денис, ты прав, по нынешним временам деревня для нас самое подходящее место. Что ж, и там люди живут!

— А вы когда же направляетесь к войскам, почтеннейший брат? — поинтересовался Давыдов.

— Пока остаюсь в Тифлисе. Нельзя иначе. Здесь всего четыреста солдат гарнизона, опасаюсь, что при моем отсутствии неприятель сделает набег. Ну, а при

мне, — усмехнулся он, — вряд ли персиане на этакое дело осмелятся... Мы с Аббасом приятели старые. При войсках же я менее необходим сейчас. Там мои ширванцы, там Вельяминов, Мадатов, я снабдил их подробными наставлениями. Уверен, нескольких пушечных выстрелов будет достаточно, чтобы принудить персиан к бегству. У Аббаса и орудий нет, десяток шестифунтовых пушек на верблюдах возят... Справиться не трудно!

— Кому же все-таки вы вверяете начальство над действующими силами?

— Господину Паскевичу.

— Как! — изумился Денис Васильевич. — Вы предоставляете этому господину случай столь легко украситься свежими лаврами? Помилуйте, почтеннейший брат!

— Я за край сей не перед одним государем в ответе, — медленно произнес Ермолов. — О большей пользе дела думаю, а за легкими лаврами не гоняюсь. Ибо никогда не разлучено со мною чувство, что я россиянин...

Ермолов встал, подошел к окну. Поднял тяжелые шторы, распахнул рамы. Занималось утро, пели петухи. Поток свежего воздуха, ворвавшись в комнату, заколебал оплывшие нагаром свечи. Ермолов молча стоял у окна, жадно вдыхая прохладу и, наконец, повернулся:

— В Москве, наверное, от народу теперь деваться некуда? — обратился он к Давыдову и, не дожидаясь ответа, насмешливо продолжил: — Еще бы! Коронация государя императора! Не каждый год такие зрелища показывают... Помню, как при коронации родителя его, Павла Петровича, московский полицмейстер Архаров отличился. Народ тогда тоже толпами валил. Все знали, что государь немудрящий, да поглазеть-то всякому любопытно. А Павлу бог знает что вообразилось. «Видишь, — похвалился он Архарову, — как меня народ любит?» — «Вижу, ваше величество», — отвечает полицмейстер, а сам со страху соображать перестал. «А приходилось ли тебе, — продолжает Павел, — наблюдать когда-нибудь такое сте-

чение народа?» — «Так точно, ваше величество, приходилось», — не задумываясь, режет Архаров. «Это когда же и где?» — удивляется государь. «Недавно, в Москве, ваше величество». — «А по какому случаю?» — «Слона водили...»

И Алексей Петрович не выдержал, расхохотался:

— Вот бы Николаю Павловичу напомнить кстати!

V

Николай Николаевич Муравьев принадлежал к числу замечательных людей своего времени. Сын известного генерала, основателя Московской школы колонновожатых, он с ранних лет увлекался книгами французских просветителей, под влиянием которых зародилась у него мысль заняться усовершенствованием человеческих отношений. Шестнадцатилетний Муравьев в конце 1810 года создает юношеское тайное общество, куда входят его сверстники, воспитанники школы колонновожатых Артамон Муравьев, Матвей Муравьев-Апостол, братья Перовские и другие. Юные мечтатели ставят перед собой благородную, хотя и несколько туманную цель — устроить для примера республиканское правление на острове Сахалине. Николая Муравьева избирают президентом общества. Вырабатывают устав, вводят условные знаки для узнания друг друга при встрече, подготовляют будущие республиканские законы, порядки.

Отечественная война прекратила деятельность юношеского общества. Николай Муравьев и его товарищи отправились в действующую армию. А через три года за излишнее свободомыслие Николая Муравьева переводят в кавказские войска. Ермолов приближает к себе превосходно образованного молодого офицера с незаурядным военным дарованием. Муравьев становится ревностным ермоловцем, дружески сходится с Кюхельбекером и Грибоедовым.

Между тем все его бывшие друзья юности оказываются в рядах заговорщиков. Родной брат Александр возглавляет Союз спасения. И, по всей видимости, Николай Николаевич хорошо знал о деятельно-

сти тайных организаций. Возможно, через него осуществлялась какая-то связь ермоловского кружка с Южным обществом. По крайней мере Сергей Григорьевич Волконский на заданный ему следственным комитетом вопрос о возможности такой связи ответил ясно:

— Я знаю, что полковник Бурцов переписывался с полковником Муравьевым...

Впрочем, следственный комитет почему-то не обратил внимания на это показание. Николая Николаевича даже не побеспокоили допросом. Тем не менее ему приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Ведь после декабрьского восстания все большое семейство Муравьевых было буквально опустошено, все родные и двоюродные братья попали в крепость.

Когда персидские войска вторглись в пределы Грузии, полковника Муравьева вызвал к себе Ермолов и приказал:

— Возьми шесть рот Тифлисского полка да конных пушек десяток и отправляйся в Джелал-Оглу. В крепости сей примешь также под свою команду три роты карабинеров, а в ближайшее время я постараюсь подкрепить тебя несколькими казачьими сотнями... Будешь не только отсиживаться в крепости, но и постоянно тревожить Гассан-хана нападениями. Понятно?

Муравьев посмотрел на Ермолова благодарными глазами.

— Так точно, Алексей Петрович...

После такого разговора Муравьев не сомневался, что самостоятельно действующий отряд, формирование которого ему поручалось, останется под его непосредственным начальством и он получит возможность полнее развернуть свое военное дарование, отличиться. А он так желал этого! И не только из честолюбивых побуждений, но и потому, что проявленное усердие могло создать хорошую репутацию и прекратить еще тяготевшие над ним в высших сферах подозрения.

И вдруг все надежды рухнули! Отряд, стоявший в Джелал-Оглу, начал уже боевые действия, как при-

шел неожиданный приказ. Командиром отряда назначался генерал-майор Давыдов, а полковник Муравьев утверждался в должности начальника штаба. Полученное вместе с приказом личное письмо Ермолова гласило:

«Почтенный Муравьев! Знаю усердие твое к службе и деятельности и потому ни минуты не усомнюсь, что всеми средствами будешь ты способствовать Давыдову, которому необходимы сведения твои о земле и неприятеле... Прошу дружбы к Давыдову, о котором говорю я теперь как о брате. Прошу содействовать ему трудами. Прощай. Душевно любящий Ермолов».

Прочитав письмо, Муравьев почувствовал себя незаслуженно оскорбленным. Ермолов отстранял его, боевого и опытного кавказского офицера, от командования отрядом и заставлял помогать своему родственнику, не имевшему, как видно было из письма, представления об устройстве неприятельских войск и совершенно незнакомому с местными условиями. Самолюбие Муравьева было задето сильнейшим образом. Раздражение против Ермолова не утихало, а вместе с тем возникла и невольная глухая неприязнь к Давыдову.

15 сентября, пасмурным, холодным днем, офицеры отряда собрались для встречи нового начальника в большом деревянном, недавно отстроенном комендантском доме. Общее любопытство к Давыдову подогревалось нескончаемыми рассказами о его овеянном романтической дымкой прошлом, о совершенных и несовершенных им партизанских подвигах. И хотя было известно, что последние годы находился Давыдов в отставке и гусарских залетных посланий давно не сочиняет, но все же представлялся он всем этаким зрелым молодцом Бурцовым, лихим кавалеристом, грозным в сражениях и неутомимым в товарищеских пиршествах.

— Едет, едет, господа! — крикнул стоявший у окна толстенький, краснощекий поручик Васенька Корсаков.

Офицеры, толпясь, вышли наружу. Коляска, окру-

женная казачьим конвоем, остановилась у подъезда. Денис Васильевич, ласково отвечая на приветствия встречающих, приподнялся, хотел сойти и вдруг, схватившись за поясницу, с легким стоном опустился на кожаные подушки сиденья.

Глядя на болезненно сморщенное лицо генерала, Муравьев осведомился встревоженно:

— Что с вами, ваше превосходительство?

— Ужасный ревматизм, мой друг! — со слабой улыбкой отозвался по-французски Давыдов. — Единственная награда нам за долголетнюю и верную службу!

Двое спешенных казаков осторожно подняли генерала, помогли добраться до комендантского дома. Офицеры, недоумевающими глазами поглядывая друг на друга, последовали за ним. Первая встреча всех несколько разочаровала.

Но в теплых комнатах Денис Васильевич скоро отогрелся, и болезнь словно рукой сняло. Он с большим удовольствием поужинал с будущими сослуживцами, пил кахетинское, рассказывал анекдоты, шутил, Он не походил на воспетого некогда им самим разгульного гусара, зато отсутствие начальственной надменности, открытый характер и простота в обращении сразу к нему всех расположили.

Офицеры поздно вечером расходились довольные. Васенька Корсаков, делясь с товарищами своим впечатлением о новом начальнике, говорил:

— Я не могу, господа, судить о других качествах Дениса Васильевича, но ручаюсь, что душу он имеет добрейшую!

Товарищи соглашались, добавляли:

— И ума от него не отнимешь и опыта боевого! Недаром же любили его и Кутузов, и Багратион, и Кульнев...

Муравьев настроен был иначе. Денис Васильевич казался ему слабым, ленивым и довольно пустым человеком, который, вероятней всего, нарочно демонстрировал свою болезнь, чтоб иметь возможность подольше оставаться в крепости и не показываться на

глаза неприятелю. Однако это вызванное предубеждением мнение пришлось вскоре изменить[47].

Оставшись наедине с Муравьевым, выслушав доклад о состоянии отряда, находящегося в постоянных стычках с конницей Гассан-хана, Денис Васильевич объявил:

— Нам надлежит произвести вторжение в персидские владения, дабы тем самым отвлечь внимание неприятеля, сосредоточивающего основные силы на пути к Тифлису...

Муравьев приподнял удивленно густые рыжие брови.

— Позвольте напомнить, ваше превосходительство, что проведение подобной операции без кавалерии весьма рискованно.

Денис Васильевич, подтверждая правильность высказанной мысли, кивнул головой:

— Знаю, знаю. Кавалерия завтра прибудет, Николай Николаевич. Я оставил ее на марше, в шестидесяти верстах отсюда. Две тысячи конных грузинских ополченцев!

На лице Муравьева отразилось еще большее удивление.

— Гассан-хан, по нашим сведениям, имеет не менее десяти тысяч обученных иностранными инструкторами и довольно стойких в бою конников. Трудно рассчитывать, что грузинские ополченцы выдержат натиск впятеро сильнейших вражеских сил!

Денис Васильевич возразил спокойно и уверенно:

— В двенадцатом году наши партизаны, вооруженные чем попало, успешно производили нападения на более грозные громады неприятельских войск. Успех сей определялся внезапностью налета и горевшей в партизанских сердцах священной ненавистью к врагам отечества. А грузинские ополченцы будут драться не менее отважно, чем наши партизаны, ибо грузины не забыли еще ужасов прошлых нашествий персиан, набегов подстрекаемых ими абрагов, страшной резни, устроенной в Тифлисе сарбазами Ага-Магомет-хана... Что касается быстроты и внезапности — это уж наша

забота. Как вы полагаете, сколько времени понадобится, чтоб подготовить отряд к выступлению?

— Все зависит от того, как долго продлится рейд.

— Думаю, семь-восемь дней, не больше. Вас что смущает? Вероятно, опасаетесь задержки с подвозом провианта?

— Так точно. Создание большого транспорта и движение его по горным дорогам, несомненно, затруднит осуществление смелого замысла...

— А мы транспортом обременять себя не будем! Поступим, как некогда, во время похода в Швецию при незабвенном Кульневе. Каждый возьмет по ковриге хлеба, по три фунта мяса и по фляге водки. Фураж погрузим на запасных верховых лошадей.

Денис Васильевич сделал небольшую паузу и, посмотрев на лежавшую перед ним карту, продолжил:

— Мы перейдем границу вот здесь, близ Мирака, а выйдем обратно к Гумрам, куда тем временем интенданты вполне успеют доставить необходимое продовольствие... Что вы скажете?

Доводы были основательны. Муравьев не мог не признать этого. Предстоящий смелый рейд начинал невольно увлекать его самого. Ответил он кратко:

— Согласен, ваше превосходительство. Отряд будет готов к походу через три дня.

Денис Васильевич радостно посмотрел на него и дружески протянул руку:

— Великолепно! Я так и думал, что мы договоримся!

Верхом на коне Денис Васильевич чувствовал себя помолодевшим. Несмотря на затянувшуюся холодную погоду, ревматические боли не беспокоили, и о них в другое время он не вспомнил бы, но теперь никак нельзя было забывать. Ермолов уже известил Дибича, якобы брат Денис серьезно болен и «служит из последних сил». Надо держать себя так, чтоб никто из сослуживцев не усомнился в генеральском ревматизме, чтоб каждый мог, в случае необходимости, под-

твердить достоверность ермоловского донесения. Задача, что и говорить, не из легких! Особенно когда командуешь таким превосходным отрядом, и всюду видишь пламенеющие боевым задором лица, и уже различаешь вдали неприятельские пикеты, и улавливаешь тонкий свист пуль, посланных из горных ущелий неуловимыми джигитами.

Отряд, перевалив через хребет Безобдала, спускался в долину близ Мирака. Достигнув места, откуда открывался вид на миракские укрепления, захваченные неприятелем, Денис Васильевич разглядел на высотках впереди укреплений и с правой стороны от них большое скопище конницы. Отряд приостановился. Полковник Севарсамидзе, начальник грузинских ополченцев, гарцевавший на горячем кабардинце в передней цепи, подскакал к Денису Васильевичу.

— Конница проклятого Гассан-хана... Прошу позволения атаковать!

Красивое, горбоносое, загорелое лицо молодого полковника слегка подергивалось, черные глаза возбужденно сверкали. Нетерпение его было понятно. Вероломный и жестокий Гассан-хан разорил десятки грузинских селений, в том числе принадлежавшее Севарсамидзе имение, уничтожив там его родных.

Денис Васильевич, глядя ободряюще на полковника, не замедлил распорядиться:

— Хорошо. Сбейте их правый фланг, но опасайтесь засад и не преследуйте далеко... А вы, Николай Николаевич, — обратился он к стоявшему рядом Муравьеву, — возьмите казаков и пару пушек и отрежьте персианам дорогу в наш тыл. Я же с остальными орудиями и пехотою двинусь прямо на Мирак. С богом, господа!

Муравьев еще раз мог убедиться, что в отсутствии отваги, решительности и военных познаний Дениса Васильевича упрекнуть трудно. Миракская операция удалась блестяще. Грузинские ополченцы обрушились на правый фланг с яростью необыкновенной. Неприятельская конница была приведена в полное расстройство. Гассан-хан попытался, как и ожидалось, передвинуть часть своих войск и зайти в тыл, но там стоя-

ли скрытые в кустарнике пушки Муравьева, залпы картечью заставили персиан повернуть обратно.

В это же время загрохотали орудия и на центральном направлении. Пехота, приведенная Денисом Васильевичем, грозно ринулась на штурм укреплений, и спустя какой-нибудь час на них уже развевался русский флаг.

А на другой день отряд Дениса Давыдова был в персидских владениях. Заняли большое селение Кюлиюдже и несколько деревень, подошли к урочищу Судег-ям. Сопротивления никто не оказывал. Жители пограничных городов и сел бежали в глубь страны. Гассан-хан с остатками разбитой конницы спешил укрыться за толстыми каменными стенами Эриванской крепости. Паническое смятение, вызванное известием о вторжении русских, заставило сардара эриванского отказаться от наступательных планов, собранные для этой цели близ озера Гохчи войска стягивались теперь сардаром для защиты своей столицы.

В начале октября, благополучно завершив смелый рейд, отряд Дениса Давыдова возвращался в Джелал-Оглу. Офицеры и солдаты находились в приподнятом настроении. Опасности были позади, ожидался длительный, заслуженный отдых, возможно и награды, а к тому же в Гумрах интенданты вволю снабдили отряд провиантом и вином.

На привалах не умолкали песни и острые шутки, кипели жаркие споры, начисто вытаптывались полянки вокруг костров неутомимыми плясунами.

Только в палатке начальника стояла печальная тишина. Денис Васильевич лежал на походной узкой кровати и, прислушиваясь к доносившемуся веселому гомону голосов, предавался воспоминаниям. Совсем как будто недавно он был молод и вот так же, как они сейчас, наслаждался прелестями походной жизни. И как памятны ему незабвенные, навек очаровавшие душу бивуачные огни под суровыми финскими небесами, и на балканской земле, и в дремучих лесах Смоленщины! Как привольно тогда жилось, как сладко

дышалось! А теперь его жизнь осложнена и возрастом, и постоянными думами о семье, и беспокойным ожиданием какой-нибудь новой царской подлости. А тут еще и в самом деле начал прихварывать, схватил где-то лихорадку. Нет, видно по всему, что он стал полусолдатом и служба для него тягостна.

Неожиданно на губах Дениса Васильевича появилась улыбка. Полусолдат! Вот слово, достаточно точно определяющее его состояние! Рука непроизвольно потянулась к бумаге и перу. В голове рождались и зрели поэтические строки:

Нет, братцы, нет: полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!
Вы видели: я не боюсь
Ни пуль, ни дротика куртинца;
Лечу стремглав, не дуя в ус,
На нож и шашку кабардинца.
Все так! Но прекратился бой,
Холмы усыпались огнями,
И хохот обуял толпой,
И клики вторятся горами,
И все кипит, и все гремит;

А я, меж вами одинокий,
Немою грустию убит,
Душой и мыслию далеко.
Я не внимаю стуку чаш
И спорам вкруг солдатской каши;
Улыбки нет на хохот ваш;
Нет взгляда на проказы ваши!
Таков ли был я в век златой
На буйной Висле, на Балкане,
На Эльбе, на войне родной,
На льдах Торнео, на Секване?

Бывало, слово: друг, явись!
И уж Денис с коня слезает;
Лишь чашей стукнут — и Денис
Как тут — и чашу осушает...

Стихи оживили, подняли настроение. Денис Васильевич встал с кровати, накинул бурку и, опираясь на палку, вышел из палатки. Была изумительная лунная ночь. Лагерь давно затих. Где-то невдалеке, в гор-

ных теснинах, бились о камни быстрые воды Аракса. Откуда-то из долин доносился пряный запах южных цветов и трав. Восточная часть неба начинала светлеть. Горы вырисовывались все отчетливей, и угадывался уже среди них хмурый Алагёз, прикрытый легким кружевным туманом.

И весь этот роскошный кавказский пейзаж становился теперь как бы частицей его жизни и тоже требовал поэтического воплощения.

Аракс шумит, Аракс шумит,
Араксу вторит ключ нагорный,
И Алагёз, нахмурясь, спит,
И тонет в влаге дол узорный;
И веет с пурпурных садов
Зефир восточным ароматом,
И сквозь сребристых облаков
Луна плывет над Араратом...

Долго неподвижно стоял Денис Васильевич, созерцая восхищенными глазами эту картину, и губы его шептали слова благоговейно, как молитву. Он переставал быть солдатом, но продолжал оставаться поэтом.

В Джелал-Оглу пришлось провести еще два томительных месяца. Ермолов приказал немедленно завершить начатое ранее строительство укреплений и каменных казарм. Гассан-хан, собрав новые силы, мог в конце концов совершить внезапное нападение, чтоб отомстить за позор своего поражения.

В декабре все работы были окончены. Передав командование отрядом Муравьеву, Денис Васильевич спешит в Тифлис. Первым встречает его там и обнимает Грибоедов. Первая новость, сообщенная Александром Сергеевичем, радует сердечно.

— Вы слышали?.. Государь возвратил из деревенской ссылки Пушкина!

— Вот это славно! Вспомнили наконец-то! Где же теперь наш чародей обитает?

— Среди московских своих друзей и поклонников. Наслаждается свободой и собирается печатать недавно законченную трагедию «Борис Годунов»... Мне

пишут, что пиеса сия превосходит все, созданное им доселе!

Они говорят о достоинстве пушкинских стихов, о великом значении литературы, о равнодушии высшего света к людям с дарованием, о многом другом. И говорят вполне откровенно.

Денис Васильевич интересуется:

— Ну, а что же ты ничего не скажешь о своих отношениях с Алексеем Петровичем?

Грибоедов передергивает плечами, с напускным равнодушием произносит:

— Пока все как будто обстоит по-старому... Жаловаться мне не на что!

Грибоедов лукавит. Вчера он писал Степану Бегичеву совсем другое:

«Милый друг мой! Плохое мое житье здесь. На войну не попал: потому что и Алексей Петрович туда не попал. А теперь другого рода война. Два старшие генерала ссорятся, с подчиненных перья летят. С Алексеем Петровичем у меня род прохлаждения прежней дружбы. Денис Васильевич этого не знает; я не намерен вообще давать это замечать, и ты держи про себя...»

Денис Васильевич все же замечает. Грибоедов уклоняется от разговора на щепетильную тему, следовательно что-то произошло. Вероятно, Ермолов не смог скрыть известной настороженности, о которой сам говорил... Впрочем, может быть, все еще обойдется!

Вскоре, однако, он с грустью убеждается, что возобновление старых дружеских отношений Ермолова с Грибоедовым совершенно невозможно. Алексей Петрович угрюм и зол больше прежнего. Паскевич продолжает под него подкапываться. Он собрал вокруг себя ермоловских недругов, которые, выслуживаясь перед царским фаворитом, лжесвидетельствуют и стряпают бесчисленные доносы на проконсула Кавказа. Дело доходит до того, что негодяи, с молчаливого согласия Паскевича, сочиняют подложное письмо, якобы писанное Аббас-мирзою, обвиняющим Ермолова в нарушении мира и возлагающим на него ответственность за возникновение войны.

Алексей Петрович, поведав брату Денису про эти вражеские козни, заключает мрачно:

— По всему видно, что последние недели служу... Придется отставку просить, иначе, чего доброго, господин Паскевич распорядится какого-нибудь черкеса с кинжалом ко мне подослать...

Денис Васильевич невольно вздрагивает и пытается возразить:

— Мне думается, почтеннейший брат, вы слишком преувеличиваете...

Ермолов, расхаживавший привычно по кабинету, останавливается, резко перебивает:

— Ничуть! Я же для Паскевича не только соперник, коего не терпится убрать с дороги, но и лицо, во всех отношениях неугодное царю, следственно, опасаться нечего... И черкес, поражающий в спину жестокосердного проконсула, — картинка весьма соблазнительная! Хе-хе-хе!

Короткий, желчный ермоловский смешок скребет сердце. Денис Васильевич молчит. Ермолов, передохнув, продолжает с еще большим раздражением:

— А подлости у господина Паскевича на десятерых хватит, не сомневайся! Говоришь с ним — словно в грязи барахтаешься! Рожа его гнусная омерзительна! И всех тех я презираю, кои у него бывать не брезгают. Вот, знаю, спросишь ты о Грибоедове... Нет, грешить не буду, никакого предательства за ним не замечал, и хочется иной раз даже приласкать его по-прежнему, да как вспомнишь, что Паскевич ему родня... Ну, право, всякое доброе слово к гортани прилипает! Конечно, конечно, навеки ушло былое...

Ермолов, тяжело дыша, опускается в кресло, вытирает платком шею, затем неожиданно круто ломает разговор:

— О миракском деле и о смелой твоей экспедиции я не преминул донести государю... Был бы на твоем месте придворный шаркун или Паскевичев любимчик, вышел бы ему, конечно, и чин и крест, ну, а тебе, брат Денис, придется довольствоваться одним объявленным высочайшим благоволением...

— Ничего иного, скажу по совести, я и не ожи-

дал, — вздыхает Денис Васильевич. — Да и бог с ними, с чинами и крестами! Мне лишь бы под начальство Паскевича не попасть!

— Да, я сам об этом не забываю, — отзывается Ермолов. — И ныне решаюсь на свою ответственность отпустить тебя к семейству. Что скажешь?

— Покорно благодарю, почтеннейший брат! Мне лучшего награждения не нужно! Смотрите, однако ж, как бы высшего начальства нам не рассердить. Война-то еще продолжается.

— Напишем, что отпуск дан для излечения твоих недугов, о коих я и главный штаб поставил в известность и господину Паскевичу сказывал!.. На войне ты побывал, усердие показал, а в болезнях не мы, а бог волен! Доводы, брат Денис, крепкие! Езжай домой, целуй за меня своих... А там будет видно, как дальше поступать...

Ермолов глядит на него чуть прищуренными проницательными глазами и смеется:

— Смотри только, чтоб господь в милосердии своем не облегчил тебя в болезнях прежде времени!..

VI

Новый, 1827 год встречал Денис Васильевич в семейном кругу. И намеревался всю зиму провести дома на правах больного, чтоб не возбуждать ненужных толков, но, конечно, не вытерпел, спустя несколько дней помчался с визитом к московским приятелям. В голове их колонны, как он выражался, первым стоял Вяземский, с которым не виделся почти год.

Вяземские перебрались недавно в собственный двухэтажный дом, находившийся в Чернышевском переулке. Денис Васильевич приехал сюда днем. Вяземского не было, он с утра отправился куда-то по делам, обещав возвратиться к обеду. Принимала наверху Вера Федоровна. Она появилась оживленная, сияющая и после обычных приветствий с таинственным видом сказала по-французски:

— Пойдемте со мною. Я покажу вам нечто весьма любопытное.

— Безбожно так интриговать, княгиня, — пошутил Денис Васильевич.

— О, я уверена, то, что вам откроется, стоит нескольких минут загадочной неизвестности...

По маленькой домашней лестнице они спустились вниз. Там размещались спальные и детские комнаты. Около одной из них Вера Федоровна остановилась, приложила маленькую ручку к губам, делая знак соблюдать тишину, и осторожно приоткрыла дверь.

Посреди комнаты, освещенной неяркими лучами зимнего солнца, прямо на ковре, рядом с толстеньким семилетним Павлушей Вяземским сидел, приподняв фалды парадного фрака и поджав под себя ноги, Александр Сергеевич Пушкин. Мальчик и поэт с увлечением во что-то играли и беспрерывно спорили. В руках у них были карточки, обычно оставляемые посетителями во время праздничных визитов.

Павлуша, сделав ход, горячо доказывал:

— А мой Жихарев вашего Снегирева бьет... Жихарев прокурор, а ваш Снегирев археолог... На карточке так и написано!

— Позволь, дружок мой, — возражал Пушкин. — Снегирев профессор, а к тому же цензор... Жихарев не может запретить мне стихи печатать, а Снегирев может!

— А Жихарев может в тюрьму посадить и Снегирева и вас...

— Гм... Пожалуй, ты прав! Это он может! — смеется Пушкин и, в свою очередь, выбрасывает карточку. — Ну, а чем, посмотрим, ты моего графа Виельгорского крыть будешь?

Павлуша опять что-то говорит. Пушкин раскатисто и заразительно хохочет. Разгадав, чем забавляется Пушкин, Денис Васильевич тоже едва сдерживается от смеха.

Вера Федоровна шепчет:

— Какая у Александра удивительная непосредственность...

Денис Васильевич переступил порог. Пушкина ошеломило его появление, он даже выпустил невольно из рук карточки, потом с мальчишеской живостью вскочил с ковра, кинулся в раскрытые объятия.

— Вот неожиданность! А мы с Петром Андреевичем только вчера тебя вспоминали... Когда же с Кавказа? Войну-то с персианами не закончили? Что Ермолов? Что Грибоедов? А где Раевский-младший?

Пушкин тормошил, забрасывал вопросами. Денис Васильевич держал его руки в своих и улыбался. Пушкин! Все такой же горячий, нетерпеливый, милый, влюбленный в жизнь и жадный до всего земного Пушкин! Словно не было позади долгих скитаний и ссылки, острых столкновений с правительством, горьких раздумий и мучительных переживаний.

— Подожди-ка, Александр... Дай сначала разглядеть тебя... Шесть лет не виделись, шутка ли?

— Да, шесть лет, — повторил со вздохом Пушкин. — Годы бегут, а с ними улетают и страсти и воображение! Шесть лет... Помнишь, как веселились мы у Базиля в Каменке?

Вера Федоровна, бросив беспокойный взгляд на прислушивавшегося к разговору сына, предложила.

— Пройдите в гостиную, господа... А меня извините... Павлуше пора заниматься уроками!

Мальчик недовольно на нее покосился, затем неожиданно вставил:

— А я Пушкина все-таки обыграл, мама! Моего Урусова ему крыть нечем было!

— Не хвались, друг мой Павел, — сказал Пушкин, ласково поглаживая кудрявую головенку маленького своего партнера, — в следующий раз и на твоего Урусова козырь найдется!

— А какие же это преимущества обнаружены им у промотавшегося князька Урусова? — поинтересовался Денис Васильевич, поднимаясь наверх вместе с Пушкиным.

— Три дочери и все красавицы, — весело пояснил Пушкин. — Довод, согласись, неотразимый!

— Допустим... Но тебе не кажется, что подобные

занятия с мальчишкой... как это теперь говорят... не педагогичны?

— У меня свой взгляд на эти вещи, мой милый. Позволительно все, что возбуждает здоровый смех. Суть нашей игры не в разжигании страстей, а в остроумных определениях и доказательствах.

Гостиная Вяземских была очень уютна. Паркетный пол устлан пушистым ковром. Стены украшены дорогими картинами и гравюрами. Мебель из красного дерева, отделанная бронзой и обитая малиновым штофом, мягка, покойна. Все располагало здесь к душевным беседам, интимным признаниям.

Они говорили о многом. Денис Васильевич поведал и о положении на Кавказе, и о своих семейных и служебных делах, и о своих опасениях. Пушкин о том, как был привезен он фельдъегерем из деревни в Москву и в дорожном, покрытом грязью платье, усталый, небритый доставлен прямо в Кремлевский дворец.

— Меня ввели в кабинет. Государь поднялся навстречу, сказал: «Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты тем, что возвращен?» Я отвечал как следовало. Потом он спросил: «Пушкин, принял бы ты участие в бунте четырнадцатого декабря, если б был в Петербурге?» Я не стал изворачиваться, ответил чистосердечно: «Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем». Царям, видимо, льстит иной раз такая откровенность, он произнес милостиво: «Довольно ты шалил, надеюсь, теперь будешь благоразумен, и мы более ссориться не станем. Присылай ко мне все, что сочинишь; отныне я сам буду твоим цензором».

Выслушав этот рассказ, Денис Васильевич заметил:

— Ну, если так... чего же лучше? Случай небывалый! Тебе повезло на этот раз, Александр Сергеевич! Поздравляю!

Пушкин грустно покачал головой.

— Милый, ты ошибаешься так же, как я сам ошибся! Царь освободил меня от цензуры, однако ж, когда высшее начальство узнало, что я читал

знакомым «Бориса Годунова», мне, весьма, правда, учтиво, вымыли голову. А шеф жандармов Бенкендорф изволил напомнить, что я обязан даже каждую написанную мною безделицу прежде всего представлять ему... Я боюсь, что меня задушит царская опека!

— Ты же, надеюсь не собираешься впредь противоборствовать правительству?

— Это будет зависеть от правительства, а не от меня... Гонимый шесть лет сряду, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю и подсвистывал ему до самого гроба. Теперь началось новое царствование. Я возвращен из ссылки и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости, но... меня уже начинает многое раздражать... Голубые жандармские мундиры слишком часто мелькают перед глазами, я не могу избавиться от ощущения какого-то ужасного гнета.

— Я понимаю, — отозвался со вздохом Денис Васильевич, — это неизгладимые следы событий четырнадцатого декабря и жестокой расправы над мятежниками.

— Да, да, тебе тоже, наверное, не дают покоя мысли о близких, запрятанных заживо в каторжные норы, — проговорил Пушкин сразу изменившимся, глуховатым голосом. — А сколько осталось осиротевших семей, сколько безнадежно разбитых отчаянием сердец? Вспомним Раевских...

Пушкин склонил голову и замолк. Продолжать было тяжело, да и не нужно. Денису Васильевичу лучше, чем ему, известны бедствия, обрушившиеся на дорогую обоим семью. Сыновья генерала, освобожденные из-под ареста, были под надзором. В деревенской ссылке безвыездно жили Орловы. В каторге зять Волконский и Поджио с Лихаревым, мужья племянниц. А совсем недавно уехала к мужу в Сибирь любимица отца Мария.

— Я находился среди лиц, собравшихся проводить в далекий путь Марию Николаевну, — тихо и

медленно произносит, наконец, Пушкин. — Перед отъездом ее вынудили подписать чудовищно жестокие условия, придуманные императором. Ее заставили отказаться от своего ребенка, лишили права возвратиться в Россию, она потеряла звание и состояние... И все же она уехала!

Пушкин опять затих, задумался. Большие ясные глаза затеплились нежностью. Образ Марии давно занимал воображение поэта. Он познакомился с нею летом 1820 года, когда ездил с Раевскими на Кавказ и в Крым. В то время Мария была еще подростком, но уже тогда он угадал в ней такие душевные качества, каких более ни в ком не находил. Потом они встречались в Киеве, в Одессе. И сколько раз, бывало, там, на юге, и позднее в деревенской глуши вставала перед ним пленительная, смуглая, резвая и умная девушка!

Все думы сердца к ней летят,
О ней в изгнании тоскую...

И вот этот последний, прощальный вечер... В домашнем театральном зале княгини Зинаиды Волконской, родственницы Марии по мужу, собрались лучшие певцы и музыканты. Мария, бледная, похудевшая, сидит в гостиной, у дверей в зал, напряженно слушая рыдающие звуки скрипки.

— Еще, еще! — шепчет она. — Подумайте только, я никогда больше не услышу музыки!

В больших темных глазах сверкают слезинки. Пушкин, наклонившись, берет ее руку, подносит к губам.

— Я переєду через Урал, поеду дальше и явлюсь к вам просить пристанища в Нерчинских рудниках...

Сердце его переполнено любовью и восхищением, и лишь величие ее подвига сдерживает готовые сорваться с языка признания. О, этого вечера он никогда не забудет!

Денис Давыдов знал только об отъезде Марии Волконской в Сибирь, а на прощальном вечере не присутствовал и о переживаниях Пушкина, вероятно, не догадывался. Но Марию он помнил с детских

лет, и твердость ее характера и самоотверженность казались ему вполне естественными. Ведь она дочь Раевского!

Денис Давыдов с юных лет был своим в семье Раевских; благотворное нравственное влияние этой семьи он ощущал всю жизнь. И все, что связывалось с Раевским, принималось им близко к сердцу. Пушкин любил Раевских не меньше, он сам некогда писал брату, что провел в семье Раевских счастливейшие минуты своей жизни. И эта, почти родственная, привязанность к Раевским не только скрепляла дружбу Пушкина с Денисом Давыдовым, но и накладывала на нее отпечаток особой теплоты и сердечности.

Раевские! Это была большая, интересная для обоих тема, которая никак не исчерпывалась самоотверженным поступком Марии.

Денис Васильевич, сидя в кресле и покуривая трубку, рассказывает:

— Я виделся с Николаем Николаевичем незадолго до отъезда на Кавказ. Сердечные горести быстро его состарили. Он почти не слышит, с трудом передвигается. Зато какая изумительная, свойственная героям древности твердость духа.

— Я таким и представлял себе Николая Николаевича в несчастье, — добавляет задумчиво Пушкин. — И как бы мне хотелось, милый Денис, чтобы ты, всегда столь красноречиво повествующий о Раевском, взялся когда-нибудь хотя бы за очерк о нем...

— Нет, душа моя, я об этом сам думал, но, во-первых, вспомнил, что это собственность Михайлы Орлова, а во-вторых, оробел, зная скудность своего дарования...

— Ну, ну, не надевай на себя маску скромности, мой милый! Михайла Федорович, вероятно, мог бы превосходно написать военные страницы жизни Раевского, а я имею в виду иное. Меня привлекают более душевные качества Николая Николаевича. Я люблю в нем человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою, снисходительного, попечительного друга, че-

ловека без предрассудков, с сильным характером и чувствительного...

— Словом, тебе не нравится жалкое обыкновение наших биографов представлять деятелей военных только на коне, в дыму битв и с гласом повелительным! Вполне разделяю твой взгляд и тем не менее остаюсь при своем мнении, что изобразить Раевского таким, каким и ты и я желаем, мне не под силу... Для такого предприятия нужны люди, владеющие пером искуснее меня!

Вскоре появился Вяземский. Он привез с собой Баратынского. Позднее подъехали Четвертинские и Федор Толстой. Тишина, стоявшая в доме, сменилась шумными возгласами, смехом. И сразу установилась та полная непринужденности атмосфера, которая обычно господствовала у Вяземских.

В столовой, куда все перешли, общее веселое оживление усилилось. Свечи в бронзовых канделябрах, поставленных на стол, были зажжены. Заискрился хрусталь. Запенилось в бокалах золотистое шампанское. Зазвучали тосты. Плелась, словно кружево, легкая светская болтовня и ничем серьезным отягощать ее никому не хотелось.

Пушкин, садясь за стол, так и объявил:

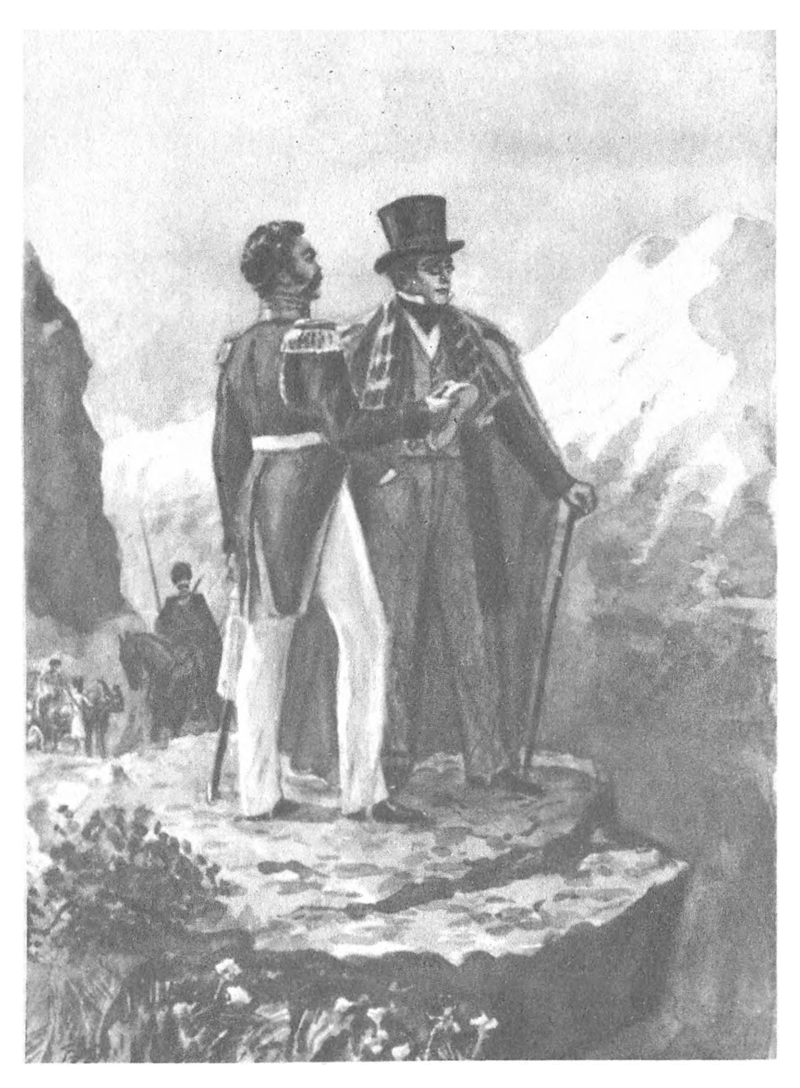
— A demain les affaires serieuses *. — Затем, обведя всех сиявшими глазами, добавил по-русски: — Хочется глупостей!

Пушкин был неистощим на выдумки, шутки и каламбуры. Другие от него не отставали. Вяземский всегда имел в запасе десятки любопытных анекдотов. Денис Васильевич в словесных стычках никому не уступал. Умели пошутить и Баратынский и Федор Толстой. Приподнятое настроение было кому и чем поддержать! И все же...

Началось с того, что в конце обеда кто-то заговорил о недавно основанном журнале «Московский вестник». И сразу возник спор. Пушкин обещал редактору Погодину полную поддержку и постоянное сотрудничество. Баратынский тоже. Но Вяземский

---

* Отложим на завтра серьезные дела *(франц.)*.



К стр. 261

решительно противился. Он оставался верен журналу «Московский телеграф», который издавался старым его приятелем Николаем Полевым.

— Ей-богу, мне грустно от твоего упрямства, — упрекал Пушкин Вяземского. — Так никогда порядочные литераторы вместе у нас ничего не произведут! Нам нужно, пойми ты это, ангел мой, соединиться, завладеть хотя бы одним журналом и царствовать самовластно и единовластно!

— Так почему же нам не соединиться в журнале Полевого? — возражал Вяземский. — Чем Полевой как издатель хуже Погодина?

— А тем, что издателю полагается знать грамматику русскую и писать со смыслом, а этого, согласись, Полевой не умеет! Как же мы доверим ему издание журнала, освященного нашими именами?

— Доводы белыми нитками шиты, Александр... Полевой издатель старый, опытный и необидчивый, а последним качеством нам отнюдь пренебрегать не следует! У меня в памяти такой случай... Лет двадцать тому назад не потрафил чем-то один московский издатель Юрию Александровичу Нелединскому, тот разгорячился и собственноручно изволил сего издателя наказать... Дело в общем заурядное! Но другой-то издатель, пожалуй, оскорблением посчитал бы прикосновение к его личности, в суд бы жаловаться побежал, а этот был необидчив. И своим клиентам встречу с автором так расписывал: «Ну, надо признаться, вспыльчив господин Нелединский! Приходит на днях ко мне и ни с того ни с сего начинает меня ругать и позорить; я молчу, жду, что дальше будет. А он, наругавшись вдоволь, кинулся на меня, стал тузить и таскать за бороду. Я опять молчу, ожидаю: что дальше будет? Наконец плюнул он мне в лицо и ушел, хлопнув дверью, не объяснив даже, в чем дело. Я все молчу и жду, не воротится ли он для объяснения. Нет, не возвратился... Так и остался я, господа, ни при чем!»

Все рассмеялись. Денис Васильевич заметил.

— Нет, шутки в сторону, душа Вяземский, а я готов согласиться с Пушкиным, что нам надо действо-

вать сообща и завладеть каким-нибудь журналом... А того лучше тебе самому или Пушкину взяться за издание. Я готов быть вам помощником. Жуковский, Баратынский, Дельвиг, все лучшие литераторы поддержат, а с таким ополчением, я уверен, мы все журналы затопчем в грязь! Право, господа, подумайте-ка!

Баратынский, соглашаясь, кивнул головой.

— Мысль занятная! Я говорил недавно с Языковым, он тоже намекал на желательность своего журнала... и, конечно, будет с нами!

— В тюрьме он будет, а не с нами, — неожиданно с мрачным видом пробасил Толстой. — Вы разве не слышали, какими его стихами наводнена вся страна?

И, не дожидаясь ответа, прочитал:

Рылеев умер как злодей,
О, вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей!

В столовой все затихло. Странная неловкость овладела всеми. Дело было не в том, что стихи отличались поразительной смелостью, их уже многие знали, а в том, что слишком резко и беспощадно напоминали они о недавних ужасах царской расправы над декабристами.

Пушкин медленно поднялся. Его нельзя было узнать. На побледневшем, странно замкнувшемся лице никаких следов недавних дурачеств. Голосом тихим, чуть сдавленным он произнес:

— Не будем лукавить, господа. Происшедших несчастных событий предать забвению невозможно... Да и нельзя стремиться к этому, ибо повешенные повешены, а каторга ста двадцати друзей, братьев, товарищей ужасна! Они лишены всего, чем мы пользуемся. Можем ли мы лишать их нашей любви и дружества?

Он дотронулся до лба, словно желая что-то припомнить, и, слегка вздохнув, продолжил:

— Я навестил на днях Александру Григорьевну Муравьеву, жену Никиты, нашего арзамасца Адельстана... Она, как и княгиня Волконская, отправилась к мужу в Сибирь... И я передал с ней свое послание к ним...

Пушкин сделал короткую паузу и голосом звонким и вдохновенным начал:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье,
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Пушкинское послание весьма чувствительно затронуло Дениса Васильевича. Трогательны были прекрасные, согретые сердечным жаром стихи, благородно мужество поэта, посылавшего эти стихи на каторгу друзьям. Послание порадует несчастных, нравственно их ободрит.

Денис Васильевич всей душою был с теми, кто осуждал жестокие меры правительства против декабристов и желал облегчения их участи. А вместе с тем в происшедшем восстании он видел только бесплодную, а потому казавшуюся ненужной попытку изменить самодержавный строй. Собственно говоря, он и прежде думал, что ничего из этого не выйдет. Сам некогда писал Киселеву, что самовластие, словно чудовищный домовой, навалилось на Россию, и стряхнуть его усилиями отдельных лиц невозможно, необходимо, чтоб вся страна привстала разом. Россия не привстала. Домовой продолжал душить ее.

Но находились люди, — их было, правда, немного

в дворянской среде, — которые рассуждали иначе, придавали неудавшемуся восстанию большое значение, верили в правоту затеянного дела и в конечную его победу. Еще в прошлом году, по дороге в Тифлис, подобное мнение высказывал Грибоедов. А теперь оно более отчетливо утверждалось в пушкинских стихах:

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье...

Денис Васильевич понимал, что эти строки вызваны не простым желанием сказать приятное осужденным, а являются плодом глубоких размышлений умницы Пушкина. И долго потом строки эти не выходили из головы, они волновали, заставляли снова и снова возвращаться к осмысливанию того, что представлялось недавно достаточно осмысленным. Это было нелегко, а порой мучительно, ибо противоречивые мысли, как всегда, плохо склеивались, а отмахнуться от них он был не в состоянии.

VII

А между тем императору доложили, что Денис Давыдов пребывает не на Кавказе, а в Москве. Император, не скрывая раздражения, отозвался так:

— Ермолов нарочно устроил это своевольство, чтоб досадить мне... Впрочем, хорош и Давыдов с хваленой своей партизанской храбростью!

Дениса Васильевича о царском неудовольствии уведомили. Он встревожился не на шутку.

«Недавно дошла до меня весть неприятная, — писал он Закревскому, — будто бы *свыше* мною недовольны, зачем я отпущен Алексеем Петровичем и зачем я сим отпуском воспользовался. Неужто это правда? Я не могу этому поверить! Я болен и очень болен с самого моего прибытия к отряду, которым я командовал...»

Письма о болезни были посланы и другим столичным приятелям. Пусть при каждом удобном случае разъясняют, что заставило его воспользоваться отпуском!

Но спустя несколько дней надежда на спасительную «болезнь» рухнула.

Виноват был он сам. Не показывайся никуда из дому, если болен! А он не проявил необходимой осторожности. Стояла оттепель, он выезжал на дрожках к близким, это не укрылось от любопытных глаз. По московским клубам и салонам пошла гулять эпиграмма:

Когда кипит с врагами бой,
И росс вновь лавры пожинает,
Усатый, грозный наш герой
В Москве на дрожках разъезжает.

Ядовитые эти стишки сочинил грузинский князек Шаликов, издатель «Дамского журнала». Обстоятельство само по себе более чем странное. Шаликов был старым знакомым. Держался он всегда почтительно, даже с некоторой робостью, и не раз свидетельствовал о своем уважении в слащавых до приторности мадригалах. Года четыре назад Шаликов написал к портрету Дениса Давыдова такие строки:

В нем храбрость, ум, талант и чувство благородства
Блистают равными чертами превосходства!

И вдруг теперь такой неожиданный, резкий выпад! С чего бы это?

Появление эпиграммы, недвусмысленно обвиняющей в трусости заслуженного генерала, могло вызвать самые дурные последствия для Шаликова, он, будучи человеком малодушным, панически этого боялся. Можно было ручаться, что по собственному разумению князек никогда бы напасть не отважился. Значит, его вдохновили на сочинительство какие-то сильные покровители, за спины которых в случае необходимости он рассчитывал спрятаться. И эти покровители явственно разглядывались. Московские литераторы давно поговаривали о связях Шаликова с полицией, он сам хвалился, что во время пребывания в Москве царского двора был дважды милостиво принят всемогущим шефом жандармов Бенкендорфом.

А если так... что же Денису Васильевичу оставалось? Он поспешил оправиться от «болезни» и, несмотря на весеннюю распутицу, отправился обратно на Кавказ. Ермолов еще не был смещен. Что-нибудь вместе они там придумают. Он утешал себя надеждами.

Баратынский, возмущенный провокационным поведением Шаликова, опубликовал ответ ему:

Грузинский князь, газетчик русской
Героя трусом называл;
Не эпиграммою французской
Ему наш воин отвечал.

На глас войны летит он к Куру,
Спасает родину князька;
А князь наш держит корректуру
Реляционного листка.

...Приехав в Тифлис, Денис Васильевич попал к самому концу драматического поединка между Ермоловым и Паскевичем, длившегося свыше полугода. Ермолов вынужден был сдаться.

«Недостаток доверенности вашего величества, — писал он царю, — поставляет меня в положение весьма затруднительное... В этих обстоятельствах, не имея возможности быть полезным для службы моего отечества, я почти вынужден желать увольнения от командования Кавказским корпусом...»

Прибывший на Кавказ начальник главного штаба Дибич объявил волю государя. Отставка Ермолова утверждалась. Главнокомандующим Кавказского корпуса назначался Паскевич.

Денис Васильевич застал Ермолова за сборами к отъезду. Алексей Петрович чувствовал себя несколько спокойней, чем прошлый раз, хотя, рассказывая о последних событиях, не удерживался, разумеется, от язвительных замечаний:

— А побаивается, видно, меня Николай Павлович не меньше, чем своих друзей четырнадцатого, — говорил Ермолов, сидя на диване рядом с Денисом и покуривая трубку, что делал изредка и лишь когда интимничал с близкими. — Дибич объявляет о моем

смещении и тут же, представь, меня, отставного, покорнейше просит... О чем бы ты думал? Не прощаться с войсками, ибо он опасается, что они, по преданности ко мне, могут взбунтоваться... Каково признание? А? Ей-богу, век весь гордиться буду!

— Дибич, вероятно, любопытствовал знать и о ваших планах и о ваших желаниях? — спросил Денис Васильевич.

— Еще бы! Не единожды даже осведомляться изволили, нет ли у меня просьб, кои он обещал повергнуть к стопам государя... Надеялись, что я, как другие, о всяких милостях клянчить буду! А я ответствовал, что прошу лишь сохранения прав и преимуществ чиновника четырнадцатого класса, что избавляло бы меня по крайней мере от телесного наказания... Хе-хе-хе!.. Вот и пусть к царским стопам повергнет!

Ермолов передохнул. Густые брови его сердито сдвинулись. Как бы рассуждая сам с собой, он продолжил:

— Службу, слов нет, оставлять тяжело... Тридцать пять лет на одном винту крутился, не шутка! И чувствую, что отечеству мог бы еще быть полезен... В этом главное! А Николаю Романову я служить не собирался и не хочу. Мне и тогда на него противно смотреть было, как в моей гвардейской дивизии он торчал, бригадой командовал... Да уж если на то пошло, — Ермолов привычно прищурился и взглянул на Дениса, — я тебе один секретец открою... Неизвестно еще, Романов ли наш царь-то Николай Павлович или... из приблудных?

Дениса Васильевича эта неожиданность совершенно сбила с толку.

— Помилуйте, почтеннейший брат! Возможно ли такое подозрение?

Ермолов утвердительно кивнул головой:

— Вполне. Император Павел Петрович ничуть в том не сомневался. Он даже манифест заготовил, в коем младшие сыновья Николай и Михаил объявлялись незаконнорожденными. Граф Ростопчин, бывший тому свидетелем, сам мне говорил, с каким

трудом удалось задержать обнародование манифеста... [48]

— Занятная история, нечего сказать! Кому же предположительно обязан Николай появлением на свет божий?

— Поговаривали, будто генералу Федору Петровичу Уварову. Долголетняя связь Уварова с Марией Федоровной сомнений, во всяком случае, не вызывает. Да и ростом и сходством Николай на него смахивает... Впрочем, об этом толковать бесполезно! — неожиданно заключил Ермолов, поднимаясь с дивана. — Кто бы царь ни был, Уваров или Романов, а нам с тобой ожидать от него хорошего не приходится... Подличать и угодничать мы не научились, а он только эти свойства человеческие и ценит! Поедем в деревню, брат Денис, огурцы сажать и кур разводить...

— Мне ж, однако, надо прежде отсюда выбраться, — напомнил печально Денис Васильевич. — Я остаюсь без вас в очень трудном положении...

— Ну, не думаю, чтоб так, — сказал Ермолов. — Паскевич своего достиг, пыл борьбы утих, мой отъезд совершенно его успокоит, большой гадости он тебе не сделает. Слишком наглядно обнаружились бы низость и мстительность! А нынче подобной наглядности царь стал остерегаться, ибо без того его жестокость и коварство всюду отвращение вызвали. Недаром Аракчеев отстранен, а жене казненного Рылеева пожалована пенсия. Приходится и царям великодушничать!

— Соглашусь с вами, почтеннейший брат, что большой-то гадости Паскевич, может быть, теперь и не сделает, зато, уж верно, хорошей команды мне не даст, заставит вместе с маркитантами таскаться за главной квартирой...

Ермолов сделал несколько шагов по комнате, остановился, подтвердил:

— Вот эта догадка твоя правильная. Так оно и будет. Паскевич всюду своих вассалов определяет. А тебе чего же лучше? Более благовидного повода для оставления службы и отыскать мудрено! Поду-

май-ка! К тому же барон Дибич здесь, старый дружок твой... Можешь Ваньке на Ваньку для отвода глаз пожаловаться, что достойной команды не дает, и с благородным негодованием требовать своего возвращения...

— Дибич для меня пальцем о палец не стукнет, ибо знает о царской ко мне неприязни. С Дибичем говорить бесполезно!

— Не скажи, не скажи, брат Денис, — снова усаживаясь на диван, произнес Ермолов. — Я сам о Дибиче невысокого мнения, но и он полезных для нас слабостей не лишен. Тщеславен барон свыше меры! Я уже приметил, как при разговоре со мною он пыжился, желая собственным величием и великодушием блеснуть... Лестно и барону показать, что он не просто царский холуй, а и сам по себе что-то значит! Для тебя же, который его еще в мелких чинах и в захудалости знавал, он особенно постарается.

— Вашими бы устами да мед пить, — улыбнулся Денис Васильевич. — Побываю у Дибича непременно, хотя признаюсь, лицезрение криволицего сего баловня фортуны никогда удовольствия мне не доставляло...

— Не возлагай только надежд на продолжение служебного поприща, — заметил Ермолов, — и не верь никаким обещаниям, питающим твои мечтания о хороших командах... Надо смотреть правде в глаза, брат Денис! Мы с тобой не проповедовали революций, но мыслям и действиям нашим всегда было тесно в дозволенных самовластьем границах... и у царя есть основания не доверять нам... и нас не простят, как и тех, кто осмелился выступить открыто...

Ермолов замолчал и, потирая пальцами лоб, несколько секунд оставался в задумчивости. Потом медленно повернулся лицом к Денису и вдруг, наклонившись к его уху, дохнул жарким шепотом:

— Может быть, прогадал я тогда, что не решился примкнуть к ним... двинуть Кавказский корпус? Сто тысяч штыков! Не усидел бы, пожалуй, Николай на троне? А?

Ермолов уехал. Паскевич заводил в войсках свои порядки, требовал строевой выправки, поощряя телесные наказания и командирам приказывал солдатских спин не щадить. Делая смотр Ширванскому полку, особенно любимому Ермоловым, и заметив, что не все солдаты соблюдают предписанный уставом шаг, новый главнокомандующий, побагровев от злобы, пригрозил открыто:

— Я из вас вышибу ермоловский дух!

Денис Давыдов сознавал, что ему ничего, кроме неприятностей, ожидать нельзя. Разговор с Паскевичем был краток, вежлив, холоден и выразителен.

Давыдов:

— Вашему высокопревосходительству известно, что прошлой осенью я командовал не без успеха значительным отрядом, действовавшим против Гассан-хана, а затем занемог и был отпущен в Москву для лечения. Ныне, преодолев недуги, я возвратился в Кавказский корпус, чтоб продолжать службу, определенную для меня милостивым выбором государя.

Паскевич:

— Я высоко ценю усердие к службе вашего превосходительства и при первом случае предоставлю вам с удовольствием достойное место.

Давыдов:

— Я не прошу ничего иного, как команды в действующих против неприятеля войсках.

Паскевич:

— В настоящее время, к глубокому моему сожалению, я не в состоянии ничего сделать. Никакой команды для вас пока на примете нет.

Все складывалось точно так, как и предполагалось. Команды, конечно, были. Паскевич раздавал их своим клевретам, зачастую не имевшим ни боевого опыта, ни достаточных военных знаний. Денис Васильевич имел основание негодовать и жаловаться. Он отправился к Дибичу.

Облеченный широкими полномочиями, успевший получить и полный генеральский чин и титул графа, этот разукрашенный неизвестно как добытыми орденами баловень фортуны принял любезно и в

самом деле, как предугадывал проницательный Ермолов, постарался разыграть роль всесильного мужа и великодушного друга. Выслушав с видом сочувствия жалобу старого знакомца, Дибич важно изрек:

— Я скажу Ивану Федоровичу. Команду на днях вы получите. Я обещаю!

Денису Васильевичу сразу припомнилось предупреждение Ермолова, и он сам не склонялся верить обещанию, но ведь оно сделано начальником главного штаба и в таком уверенном тоне, что просить после этого о возвращении домой было просто невозможно. Он поблагодарил, откланялся. И лишь спустя несколько дней, удостоверившись, что Паскевич никакой команды давать ему не собирается, опять обратился к Дибичу.

На этот раз прием прошел иначе. Дибича словно подменили. Важность исчезла, он чувствовал себя неловко, исподлобья озирался и говорил нехотя. Было нетрудно догадаться, что Дибич прошлый раз переиграл. Паскевич пользовался большим доверием царя и, вероятно, здорово осадил начальника главного штаба за покровительственное отношение к ермоловскому родственнику.

Денис Васильевич решил не церемониться.

— Видя себя излишним в корпусе, — сказал он,— я предаю чувства мои благородной душе вашего высокопревосходительства и смею уверить вас, что в настоящем затруднительном положении моем я приму дозволение возвратиться в Россию за истинное благодеяние...

— Вы посланы сюда государем, — промолвил Дибич. — Я должен войти к нему с докладом по этому вопросу, что непременно сделаю по приезде в столицу.

— В таком случае, впредь до получения вашего ответа, разрешите мне отъехать в Пятигорск, где бы я мог пользоваться минеральными водами от жесточайшего ревматизма, которым страдаю пятнадцатый год.

Дибич, пожевав губами, согласился:

— Хорошо. Тут, я думаю, Иван Федорович возражать не будет...

Итак, Денис Васильевич мог сделать более или менее точные выводы. Опасность, висевшая над ним подобно дамоклову мечу, миновала благодаря задержке со смещением Ермолова и изменившимся за это время обстоятельствам. Однако нелестное мнение о нем высшего начальства сохранилось. Военная карьера закончена. А если так, то и пребывание в Кавказском корпусе бессмысленно. Разрешение возвратиться домой он, несомненно, получит!

На минеральных водах Денис Васильевич пробыл больше двух месяцев. Паскевич по высочайшему соизволению приказал выписать его из корпуса 17 июля. А в конце этого месяца он уже подъезжал к Москве и с трепетным сердцем глядел восторженными глазами на раскрывавшийся перед ним белокаменный и златоглавый, всегда дорогой ему город.

Стихи, вызванные взволнованными чувствами, слагались сами:

О, юности моей гостеприимный кров!
О, колыбель надежд и грез честолюбивых!
О, кто, кто из твоих сынов
Зрел без восторгов горделивых
Красу реки твоей, волшебных берегов,
Твоих палат, твоих садов,
Твоих холмов красноречивых!

VIII

Время неумолимо отсчитывало часы, дни, месяцы. Жизнь в стране переустраивалась не на лучших, а на худших основах. Император Николай, смертельно напуганный восстанием декабристов, стремился всеми средствами предотвратить возникновение новых революционных и антиправительственных замыслов. Политика расчетливых великодушных жестов и неясных обещаний каких-то улучшений прекратилась. Россия оказалась под строжайшим надзором жандармов.

Тюрьмы стали наполняться лицами, заподозренными в свободомыслии или непочтительности к власти. Скалозубы, поставленные во главе гражданских

учреждений, подстригали под одну казенную гребенку вкусы и мысли подчиненных. Чиновники, имевшие свое мнение, заменялись другими, которые его не имели, и были способны без рассуждений выполнять волю начальства. Распространение грамотности среди народа решительно пресекалось. Частные учебные заведения закрывались, а в казенных школах вводилось наказание розгами; образование сводилось к тому, чтоб приучить детей чтить бога и царя и не умничать.

Литература была взята под особый контроль. Цензорам предписывалось запрещать всякое произведение, где порицались существующие порядки или замечались «бесплодные и пагубные мудрствования». Жандармы, коим вменялось в обязанность «вникать в направление умов», считали господ сочинителей самыми вредными людьми. Благоденствовали только те из них, кто подобно редактору «Северной пчелы» Фаддею Булгарину являлся тайным агентом полиции или подобно Нестору Кукольнику сочинял восхваляющие царя и самодержавный строй книги. Рассказывали, будто Кукольник на упреки читателей, как не стыдно ему пресмыкаться, с циничной откровенностью сказал: «Прикажут — завтра же буду акушером!» Продажность и угодничество, порождаемые страхом, наблюдались, впрочем, всюду.

Денис Васильевич, живя в Москве, чувствовал нерадостные перемены и к жандармским порядкам испытывал глубокое отвращение. Так были настроены и все его приятели. Пушкин, Баратынский, Вяземский, опальный Ермолов, которого он часто навещал, даже благонамеренный и тихий Митенька Бегичев — никто не скрывал возмущения, говоря о жандармских насилиях, цензурных притеснениях и неслыханном попрании человеческого достоинства.

В 1828 году началась война с Турцией. Денис Васильевич на этот раз в армию не стал проситься. И, как бы успокаивая себя, говорил друзьям так:

— Кто прослужил, не сходя с поля чести, от Аустерлица до Парижа и в антрактах подрался со шведами, турками и персианами, тот совершил уже

круг своих обязанностей как солдат и видел то, чего настоящие и будущие рыцари не увидят. Видел Наполеона с его разрушительными перунами, видел сшибки полумиллиона солдат и три тысячи пушек на трех и- четырехверстовых пространствах, видел минуты, решающие, *быть или не быть* России и независимости вселенной, *быть или не быть* Наполеону, видел и участвовал в этом так, что оставил по себе память. После этого взятие Эривани, Тульчи и Мачина не удивят меня, и конечно, я не сшибками с турками прибавлю что-либо к моему военному имени!

Успокоительная эта тирада нуждалась в дополнении. Давыдов не просился в армию потому, что это было совершенно бесполезно. Он помнил предупреждение Ермолова. Обращение к высшему начальству, считавшему его подозрительным человеком, могло окончиться лишь каким-нибудь новым унижением или оскорблением. Да, все возможно! Пушкин попросился в действующую армию, а шеф жандармов Бенкендорф предложил поэту сначала определиться к нему на службу. Пушкину, которого вся страна почитала великим поэтом, предложили стать полицейским шпиком! Вот до чего дошла жандармская наглость! Нет, лучше всего в такое подлое время к высшему начальству ни с чем не соваться...

Тем не менее Давыдов внимательно следил за развитием военных действий. Парадные реляции не интересовали, он знал им цену, но появлявшиеся в газетах описания сражений и подвигов русских войск читались с жадностью. И, конечно, как он ни скрывал этого, грустно было ему, человеку военному, сознавать свою определенную высшим начальством отрешенность... В одном из стихотворений той поры он признается:

Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы...

Оставалось только радоваться славным деяниям россиян, несших на своих победных знаменах осво-

бождение славянским народам Балкан от долголетнего турецкого владычества. Особенно взволновало его мужество молодых морских офицеров Ефима Зайцевского, отличившегося при штурме Варны, и Александра Казарского, прославившегося геройской защитой военного брига «Меркурий». Зайцевский был к тому же поэтом. Это обстоятельство невольно сближало с ним. Денис Васильевич откликнулся стихотворным посланием:

Счастливый Зайцевский, поэт и герой!
Позволь хлебопашцу-гусару
Пожать тебе руку солдатской рукой
И в честь тебя высушить чару...

. . . .

...Казарский, живой Леонид,
Ждет друга на новый пир славы...
О, будьте вы оба Отечества щит,
Перун вековечной державы!

В послании не было ничего крамольного. Оно дышало любовью к России, гордостью за храбрых ее сыновей. И все же напечатать послания цензура не дозволила. Показалось подозрительным, что бывший в генеральском чине автор восторженно приветствовал офицеров, имевших скромные звания капитан-лейтенантов, да еще величал их щитом отечества![49]

Денис Васильевич тяжело вздыхал. Черт знает, какое нелепое самоуправство! Значит, нечего и думать о том, чтоб печатать в московских журналах военные и партизанские записки, где столько всяких критических замечаний. Ни Погодин, ни Полевой на такое предприятие не отважатся.

А ведь он продолжал упорно работать над военными сочинениями, и эта работа становилась главным смыслом жизни. Вяземскому, проводившему лето в селе Мещерском, недалеко от Пензы, он пишет:

«Я теперь пустился в записки свои военные, пишу, пишу и пишу. Не дозволяют драться, я принялся описывать, как дрались».

В том же письме он сообщает о своем намерении вскоре и надолго основаться в Симбирской губернии.

Мысль об этом не покидала его с первой поездки на Кавказ. Укрыться в деревне, подальше от жандармских ушей и глаз!

Ермолов, приехавший в Москву на несколько дней, говорил:

— Нам с тобой, Денис, нельзя жить в столицах, где каждое наше слово на замете... Да что там слово! Я недавно посетил Дворянское собрание и задержался на минутку у дверей в зал, а в Петербург донос отправили, будто Ермолов, остановившись насупротив портрета государя, грозно посмотрел на него!

Софья Николаевна тоже поддерживала мысль о переезде в Верхнюю Мазу. Там во всех отношениях жизнь легче, чем в городе. И детям раздолье. И можно даже скопить какие-то средства, если самим хозяйствовать. А заниматься сочинительством где же лучше?

Давно задуманный переезд в Верхнюю Мазу Давыдовым удалось осуществить весной 1829 года.

Собираясь туда, мечтая в тишине и покое продолжать работу над военными записками, Денис Васильевич опасался только помех со стороны любопытствующих и назойливых соседей, от которых хотел оградить себя «парапетом из книг и бумаг», как шутя писал Вяземскому.

Но соседи были на редкость людьми скромными. Старуха Мария Ивановна Амбразанцева, навещавшая чаще других, обращалась со всеми просьбами к Софье Николаевне, старалась «самого» не беспокоить и говорила в доме шепотом. Бывший гусарский майор Карл Антонович Копиш, обрусевший немец, владелец десяти душ в соседней деревеньке Дворянские Терешки, знал наизусть все стихи Дениса Давыдова, благоговел и робел перед ним и являлся не иначе, как по приглашению или в большие праздники с поздравлением. Алексей Васильевич Бестужев из своей Репьевки выезжал редко, занимаясь созданием образцового хозяйства и выведением новой породы молочного скота [50].

Нет, на соседей жаловаться не приходилось, и если Денис Васильевич все-таки брался здесь за перо редко, причины тому нужно искать в другом. Он более тесно, чем прежде, соприкоснулся с жизнью приволжского крестьянства, и то самое бесправие народа, о котором столько говорилось в московских распашных беседах с друзьями, открылось перед ним в поражающей воображение ужасной неприглядности.

Возвращаясь домой из Пензы, куда ездил на летнюю ярмарку, Денис Васильевич сделал остановку в какой-то деревушке. День был жаркий, и, пока лошади кормились на постоялом дворе, он спустился к протекавшей вблизи быстроводной речонке, искупался, подремал в тени ракит, а на обратном пути увидел, как большая толпа мужиков и баб что-то возбужденно обсуждает на деревенской лужайке. «Наверное, сено делят или лесные делянки распределяют», — подумалось ему. Но хозяин постоялого двора Корней Иваныч, степенный, с умными, чуть прищуренными глазами крестьянин, поглаживая темную, с сильной проседью бороду, пояснил:

— Старики наши выборные с дурными вестями из города явились... Порешили там сечь нас плетьми!

— Вот оно что! Значит, вы чем-нибудь провинились?

— Да ведь оно как сказать, барин, случаи бывают, и безвинных стегают, — проговорил со вздохом Корней Иваныч. И поведал одну из тех историй, которые в то время считались довольно заурядными.

Пять лет назад проводились в здешних местах маневры, и потоптала кавалерия крестьянские посевы. Военное начальство потраву подтвердило, крестьянам в возмещение убытка было приказано уплатить около двух тысяч рублей. Однако чиновники губернской казенной палаты отобрали у выборных бумагу якобы для проверки дела, затем несколько лет всячески мытарили их и, наконец, объявили, что деньги им разрешили уплатить по ошибке и чтоб они забыли о них думать. Возмущенные крестьяне

подали на чиновников жалобу пензенскому губернатору. А тот, не вникнув в суть, довольствуясь объяснениями тех же чиновников, признал жалобу клеветнической и распорядился всех, кто под ней подписался, наказать розгами.

Денис Васильевич велел позвать в избу выборных. Пришли четыре старика в длинных, покрытых пылью рубахах и в лаптях. Перекрестились на образа, отвесили низкие поклоны и все, о чем говорил Корней Иваныч, подтвердили. Губернатор Горголи не позволил им сказать слова. Сразу начал кричать, и устрашать, и топать ногами. Что поделаешь, начальство! Видно, забыли люди про бога и про совесть, и нет на земле правды!

Денис Васильевич сидел нахмуренный, курил трубку и молчал. Сомнений не было. Рука руку моет. Чиновники присвоили мужицкие деньги, а губернатор покрывает виновных и карает невинных. Так водилось всюду!

Денис Васильевич и негодовал, и страдал, и не знал, на что решиться. Старики глядели на него правдивыми, добрыми глазами, и взгляд этих глаз, в которых теплилась последняя, робкая надежда, выворачивал душу. Надо, надо помочь мужикам! Он отдавал себе отчет в том, что заступничество за них может показаться высшему начальству подозрительным, и все же встревоженная совесть властно толкала на такой поступок. Справедливость и человечность не были для него отвлеченными понятиями. Вопрос заключался лишь в том, чем же можно помочь несчастным.

Пензенский губернатор Горголи был известен как человек крайне упрямый, взбалмошный и самолюбивый. Вступись за мужиков, и он, чтоб оправдать себя, взвалит на них нарочно еще какую-нибудь вину и расправится с ними покруче, чтоб впредь не жаловались. Нет, к Горголи обращаться не следует. И вдруг мысль явилась! Написать Закревскому! Старый приятель продолжал головокружительное восхождение по служебной лестнице, сумел расположить императора и несколько месяцев назад стал минист-

ром внутренних дел. Произвести расследование и образумить губернатора, пожалуй, как раз в его власти.

Открыть свой замысел старикам Денис Васильевич остерегался, могли возникнуть всякие кривотолки, а Закревскому написать не забыл:

«Не мое дело впутываться в дела, до меня не касающиеся, но о деле, где гибнет невинность, не могу умолчать. Вот оно: во время маневров при *покойном* потоптали засеянные поля у казенных мужиков, не помню какого-то села близ Пензы. Государь приказал за это заплатить, деньги выданы и, как водится, не дошли до крестьян: они просили Горголи — их осудили в непослушании и хотят сечь плетьми за несправедливый донос. Спаси несчастных, если это правда!»

Письмо немного облегчило душу, но от мучительных раздумий не избавило. Если Закревский в данном случае и поможет восстановить справедливость, то в тысяче других случаев будут торжествовать произвол и насилие. Денис Васильевич эту сущность жизни понимал отлично. Он писал Закревскому, что деньги *не случайно,* а *как водится,* не дошли до крестьян. И все-таки, находясь в плену сословных традиций, он по-прежнему был далек от того, чтоб видеть главный источник зла в существующем строе. Он, как и многие его друзья, возлагал надежды на постепенное нравственное совершенствование человеческих отношений, хотя и тут достаточной ясности не было. Ведь жизнь не улучшалась, а ухудшалась. Страдания людей не уменьшались, а увеличивались. Жестокость в обращении с людьми царствовала всюду. Искоренить ее трудно даже в собственном доме. Да, это было именно так.

Однажды, под вечер, выйдя в сад, он услышал, как за кустами желтой акации, густо разросшейся около ограды, кто-то глухо всхлипывал. Он подошел поближе, окликнул. Всхлипывания сразу затихли. Он раздвинул кусты и увидел смотревшие на него испуганные и заплаканные девичьи глаза.

Это была Анюта, четырнадцатилетняя девчонка, обычно проворная и веселая, взятая недавно в горничные. Окаменев от неожиданности, она сидела на

траве, поджав под себя босые ноги. Русые волосы были растрепаны, а на детском еще, нежном и милом личике ярко и неестественно багровели припухшие щеки.

Денис Васильевич спросил:

— Ты почему здесь? Кто тебя обидел?

Анюта вскочила, быстрым движением оправила сарафан и, опустив голову, стояла молча. Он переспросил. Она, не поднимая глаз, снова тихо всхлипнула и прошептала:

— Барыня... нашлепала... и прогнала...

— За что же?

— Пенки... лизала... пальцем...

Признание, выявившее ничтожность проступка, отличалось трогательной детской интонацией. Он сказал:

— Ступай в людскую, не плачь. Я попрошу барыню, чтоб она тебя простила...

Маленькая эта сценка вывела Дениса Васильевича из себя. Жене, кажется, достаточно известно, что он решительный противник телесных наказаний и рукоприкладства. Как могла она избить девчонку! Гадость, мерзость!

Он прошел прямо на веранду, где Софья Николаевна варила варенье. Рядом вертелись дети. Значит, вполне возможно, она била Анюту по щекам при них! Еле сдерживаясь, с несвойственной суровостью в голосе он отослал детей в дом.

Софья Николаевна посмотрела на мужа немного удивленными голубыми холодными глазами и, продолжая помешивать ложечкой кипевшее в тазу варенье, произнесла с обычной невозмутимостью:

— Что с тобой, мой друг? Какие-то неприятности?

Поразительное спокойствие жены показалось ему сейчас отвратительным. Задыхаясь, негодуя, он проговорил:

— Надо потерять совесть, чтоб черт знает за что истязать несчастную девчонку! Я не удивлюсь, если со временем из тебя выйдет вторая Салтычиха...

Софья Николаевна слегка повела полными плечами и, не теряя спокойствия, произнесла:

— Ты напрасно вмешиваешься не в свое дело... Если каждая дворовая девка будет совать грязные руки в варенье, то, пожалуй, тебе первому станет противно его кушать!

— Не оправдывай того, чего нельзя оправдать! Бить по лицу! Девчонку, почти ребенка! Бессердечно!

— Не сверкай глазами и не подбирай страшных слов. Это ничего не доказывает, кроме твоей горячности, которая мне без того известна. Скажи просто, что тебе угодно?

— Мне угодно, чтоб у нас не было этой подлости!.. избиения людей... Пора бы тебе знать о моих желаниях!

— Хорошо. Впредь я буду тебе докладывать о провинившихся... Соблаговоли сам назначать им наказание или увещевать их назидательными беседами...

В голосе жены слышалась явственно насмешка. Денис Васильевич понял, что переубеждать ее бесполезно. И, глядя ей в лицо, заключил строго и решительно:

— Так или иначе, а заводить аракчеевские порядки я тебе не позволю. И если ты попробуешь... это добром не кончится! Подумай!

IX

Первая ссора длилась недолго. Спустя несколько дней он помирился с женой. Она обещала себя сдерживать. Анюта снова взята была в дом. Тихое течение жизни в Верхней Мазе продолжалось.

Однако образовавшаяся трещинка в его отношении к жене не заглаживалась. Он знал, что Соня, не желая продолжать ссоры, поступилась своими взглядами, а не отказалась от них, и единомыслия между ними нет, и вряд ли оно может быть достигнуто.

Чувства жены впервые были подвергнуты критическому рассмотрению. Она, несомненно, по-своему любила его как мужа и отца их детей, но ее любовь грела ровным теплом, подобно осеннему солнцу, без

того накала, который порождает самозабвенную готовность следовать дорогой любимого.

Ему невольно вспомнились жены декабристов, уехавшие к мужьям в Сибирь. Особенно живо представлялась маленькая, хрупкая фигурка Александры Ивановны Давыдовой, жены Базиля. Прошедшей зимой она проездом два дня пробыла у них в Москве. Она спешила к мужу, оставив трех детей на попечение деверя Петра Львовича.

Денис Васильевич с восторженным удивлением и благоговением всматривался в миловидное, бледное, с мелкими, словно высеченными из мрамора, чертами лицо кузины. Она отдавала отчет, что, возможно, никогда оставляемых детей больше не увидит. Впереди ожидали невероятные лишения. И все-таки...

Соня у ней как-то спросила:

— Удивляюсь, милая Саша, откуда у вас, такой маленькой и слабой, столько душевной силы и твердости?

— Я люблю Базиля и не забываю ни на минуту о его страданиях, — ответила она тихо. — Там будет трудно, я знаю, но мне легче с ним там, чем здесь без него!

Денис Васильевич думал о том, что, окажись он в положении Базиля, Соня, без сомнения, осталась бы при детях и к нему не поехала. Он готов был даже признать такой поступок благоразумным, и в то же время как бы хотелось, чтоб Соня хоть немного походила на кузину!

Трещинка не заглаживалась. И, может быть, поэтому дома ему никак не сиделось. Он все чаще искал развлечения на стороне, устраивал охоты, не пропускал ни одной ярмарки в соседних городах. А иной раз завертывал к Терентию, жившему на правах вольного мастерового человека, и предавался вместе с ним воспоминаниям о былых партизанских делах.

Были еще две поездки в Саратов. Было недолгое увлечение красавицей Софьей Кушкиной, вдохновившей написать стихи, снискавшие впоследствии общую похвалу всех его литературных друзей.

Бывали ль вы в стране чудес,
Где, жертвой грозного веленья,
В глуши земного заточенья
Живет изгнанница небес?
Я был, я видел божество;
Я пел ей песнь с восторгом новым
И осенил венком лавровым
Ее высокое чело...

Так начиналась «Душенька». Стихи появились в первом номере «Литературной газеты», как назывался новый альманах, издаваемый Дельвигом и Пушкиным.

Объясняя Вяземскому появление этих стихов, Денис Васильевич писал:

«Поверить не можешь, как поэтический хмель заглушает все стенания моего честолюбия, столь жестоко подавленные в глубь души моей; без него и в уединении покой не был бы моим уделом. Мне необходима поэзия, хотя без рифм и без стоп, она величественна, роскошна на поле сражения, — изгнали меня оттуда, так пригнали к красоте женской, к воспоминаниям эпических наших войн, опасностей, славы, к злобе на гонителей или на *сгонителей с поля битв на пашню*. От всего этого сердце бьется сильнее, кровь быстрее течет, воображение воспаляется — и я опять поэт!»

Поэтическое вдохновение, впрочем, иссякло очень быстро. Более ни одной поэтической строки Денис Васильевич здесь не написал. А деревенскую скуку осенней и зимней поры скрашивал не поэтический хмель, а вполне прозаическая и обширная переписка с друзьями. Он не хотел отставать от жизни, он жадно всем интересовался. Почта сдавалась и принималась ежедневно. Братья Лев и Евдоким сообщали о столичных новостях. Бегичевы и Вяземский — о московских. Баратынский и Дельвиг уведомляли о событиях литературных. Ермолов делился своеобразными и язвительными замечаниями о современных военных деятелях. Приходили письма и с заграничными штемпелями. Французский академик Арно посылал свои стихи, посвященные поэту-партизану. Знаменитый английский романист Вальтер Скотт, выпустивший

недавно книгу «Жизнь Наполеона», просил почтить замечаниями на нее. А сколько было еще всяких корреспондентов!

Не было только переписки с Пушкиным. Он весь год находился в разъездах. «Черт знает, где этот Пушкин? — писал Денис Васильевич Вяземскому. — Уведомь ради бога, куда адресовать письма к нему?» Но известие о Пушкине пришло от Ермолова. Оказывается, Александр Сергеевич отправился в Грузию и по пути заехал в Орел познакомиться с Алексеем Петровичем. Ермолов писал:

«Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения. Ему также, я полагаю, необыкновенным показался простой прием, к каковым жизнь в столице его, верно, не приучила».

Власть высокого таланта! Денис Васильевич после нескольких московских встреч с Пушкиным был совершенно заворожен им. Новые творения поэта, особенно «Борис Годунов» и «Полтава», произвели неизгладимое впечатление, да и все, что не только писал, но и говорил Пушкин, отличалось особой, свойственной ему душевностью, благородством и поразительной ясностью мыслей. Ничто сказанное им не улетучивалось с течением времени из памяти, а, напротив, приобретало большее значение и весомость.

Денис Васильевич давно любил Пушкина, но прежде, когда представлялся он лишь талантливым и озорным юношей, чувство к нему было как бы отеческим и отчасти покровительственным, а теперь чувство стало неизмеримо глубже, оно словно впитало в себя и возросшее уважение, и почтительность, и братскую привязанность. А ко всему этому примешивались и лестные для самолюбия Дениса Васильевича мысли о том, что его собственные стихи способствовали в какой-то, пусть самой малой, степени развитию необычайного пушкинского поэтического гения.

Признание это сделал сам Пушкин. Они обедали однажды у общего приятеля Сергея Дмитриевича Киселева, отставного полковника, брата Павла Дмитриевича. Хозяин вспомнил, с каким восхищением гусарские стихи Дениса Давыдова читались офицерами их полка. Пушкин подхватил:

— Неудивительно! Стихи прекрасные! Они написаны неподражаемым живописным слогом и полны истинного поэтического жара. Я помню, как, читая их в лицее, впервые почувствовал возможность быть оригинальным.

Денис Васильевич непривычно покраснел.

— Ты знаешь, Александр Сергеевич, я не цеховой стихотворец и не весьма ценю мои успехи на поприще поэтическом... Я могу принять твои слова разве что за дружеский комплимент...

Пушкин быстро откликнулся:

— Напрасно, мой милый. Я говорю серьезно. От твоих стихов я стал писать свои круче и приноравливаться к оборотам твоим, что потом вошло мне в привычку [51].

Слова эти Денисом Васильевичем не забывались и радовали его, и близость с Пушкиным ощущалась еще более.

Пушкин вспоминался постоянно. Особенно хотелось видеть его и говорить с ним, когда пришла глухой осенью прискорбная весть о кончине Николая Николаевича Раевского, а через несколько дней была получена его некрология, напечатанная в журнале «Русский инвалид».

Некрология появилась без подписи, однако, судя по некоторым подробностям и по слогу, Денис Васильевич догадался, что она принадлежит Михайле Орлову, находившемуся по-прежнему в деревне под надзором и потому скрывшему свое авторство. Как бы там ни было, а душевные качества покойного, о которых с таким чувством говорил Пушкин, в некрологии не нашли места. Это было очень обидно, и теперь, когда особенно много и тепло думалось о Раевском, совет Пушкина взяться за очерк о Ни-

колае Николаевиче не выходил из головы. Да и Вяземский в письмах уговаривал!

Во всяком случае необходимо дополнить некрологию хотя бы замечаниями о том, что военная служба Раевского, принесшая столько пользы и славы отечеству, была блистательнейшей, но не превосходнейшей из песней благозвучной его жизни.

Денис Васильевич начал зимой делать черновые наброски. Пушкинская выразительная и памятная характеристика Раевского давала как бы главное направление работе и порой отчетливо слышалась в тексте замечаний:

«Чем ближе я вникал в образ мыслей, чувства и деяний его, тем более открывал в нем сочетание древних, едва ли в нашем веке в одном человеке сочетающихся добродетелей: сильного характера с отменною чувствительностью, ума проницательного, точного с кротостью неподдельною, естественною; снисходительности к слабостям других со строгостью к своим собственным».

Раевский оживал. Черты обаятельного его образа становились все отчетливей. Денис Васильевич мысленно прочитывал написанные наброски Пушкину и чувствовал, что он его одобрит.

X

Летом 1830 года в Поволжье стали распространяться тревожные слухи, будто с персидской границы ползет в Россию страшная болезнь, от которой нет никому спасения. Повальный мор, холера морбус!

Слухи скоро подтвердились. Где-то вблизи Астрахани холера в два дня опустошила дочиста приволжскую рыбацкую деревеньку. Затем сразу обнаружились ее грозные признаки в Саратовской и Пензенской губерниях.

Народ заволновался. В надежде укрыться от гибели многие побежали куда глаза глядят, а это переселение еще более способствовало распространению заразной болезни. Начальство стало решительными мерами пресекать переселение и переезды. Всюду уч-

реждались карантины, на больших дорогах и переправах появились заставы. Но холера продолжала продвигаться к центру страны, вызывая смятение и панику. Кое-где крестьяне, находясь во власти темных слухов, избивали лекарей, якобы пускавших мор, а заодно поджигали барские усадьбы и расправлялись с господами и приказчиками.

Денису Васильевичу удалось заблаговременно перевезти семью в подмосковную свою деревню Мышецкое. Сюда же приехала и сестра Сашенька Бегичева с тремя детьми. Дмитрий Никитич, осторожности ради, отправил их из Воронежа, куда недавно был назначен губернатором.

История с назначением Дмитрия Никитича представлялась москвичам чрезвычайно таинственной. Дмитрий Никитич всем был известен как добродушный, тихий и скромный обыватель, никак не пригодный к административной должности. И вдруг этого байбака куда-то вызывают, дают чин статского советника и облачают в губернаторский мундир. Почему, за какие заслуги? Вопрос этот порождал самые разнообразные и противоречивые толки, тем более что сам Дмитрий Никитич не мог удовлетворить любопытствующих сколько-нибудь связным ответом. Он пыхтел, улыбался, разводил руками и ссылался на волю начальства.

Назначение на самом деле произошло не совсем обычным порядком. В январе или феврале прошлого года в Москву прибыл только что сделанный министром Закревский. Денис Васильевич явился поздравить старого приятеля, принят был любезно и, пользуясь случаем, как бы в шутку сказал:

— Теперь-то, пожалуй, я могу надеяться, что ты за меня порадеешь и мне будет уготовано теплое местечко?

— А что ты под этим подразумеваешь?

— Ну, хотя бы приличное губернаторство?..

Закревский взглянул ему прямо в глаза и ответил с оттенком легкой грусти:

— Если б это зависело от меня, милый Денис! Но я губернаторов рекомендую, а утверждает их госу-

дарь, а его отношение к тебе, сам знаешь, не отличается, к сожалению, благосклонностью...

— Знаю, знаю, — перебивая, махнул рукой Денис Васильевич. — Я ведь думал, это в твоей собственной власти...

— Она ограничена, как видишь, волей государя и... — Закревский замялся, бросил быстрый взгляд на дверь, затем, понизив голос до шепота, докончил по-французски: — Бенкендорф следит за каждым моим шагом. Мое доброжелательное отношение к Ермолову и к тебе давно внушает ему подозрение. Не проси никогда невозможного и сам будь всегда осторожен!

Денис Васильевич поблагодарил за откровенность, хотя она и показалась отчасти сомнительной. Министр внутренних дел под жандармским надзором! Это уж чересчур! А впрочем, время такое, всякое может статься[52].

— Я понимаю, в сложившихся обстоятельствах обо мне и заикаться нельзя, — произнес он, — однако за моего Митеньку Бегичева прошу тебя постараться... Я уже писал тебе о нем, если помнишь?

— Это дело другое! Тут я могу действовать с большими шансами на успех и при первой вакансии зятя твоего попробую пристроить, — пообещал Закревский.

Дмитрию Никитичу и Сашеньке разговор этот, конечно, был известен и последовавшее назначение неожиданности для них не представляло. Отнеслись же к этому назначению супруги по-разному: Дмитрий Никитич без особого удовольствия, так как предчувствовал, что лестная должность все же лишит его привычного покоя и праздности; Сашенька с восторгом, ибо самолюбия и тщеславия у нее было куда больше, чем у мужа, и о службе для него Денис хлопотал ведь по ее настоятельным просьбам.

В Воронеже новая губернаторша командовала и мужем и подчиненными ему чиновниками. Достаточно было нескольких месяцев, чтоб воронежцы убедились, кто является подлинным правителем губернии. На прием к губернаторше посетителей всякого рода набивалось побольше, чем к губернатору.

А сейчас, когда холера, по слухам, добралась уже до Воронежа, Сашенька отсиживалась в подмосковной брата и волновалась. Нет, она ни в коем случае не оставила бы мужа одного, если б не дети. Уезжая из Воронежа, она питала тайную надежду: погостить немного у родных, оставить детей на Соню и возвратиться обратно. В конце концов Сашенька не вытерпела и высказала это свое желание. Софья Николаевна пришла в ужас:

— Ты сумасшедшая! Ехать в город, где свирепствует холера!

Сашенька возражала:

— Пойми, без меня Митя хандрит и теряется. И мало ли что может там случиться!

Денис Васильевич душой был на стороне сестры. Смелость и самоотверженность всегда его привлекали. Соня слишком односторонне и эгоистически на все смотрит! Не высказывая своих мыслей вслух — сестру-то любимую ему отпускать не хотелось, — он все же постарался разведать, можно ли вообще проехать в Воронеж. И выяснил, что почти нельзя.

Холера бушевала в центральных губерниях. Дорога заграждена карантинами. Крестьяне бунтуют во многих городах, деревнях и селах. В Тамбове произошло восстание. В лесах под Воронежем завелись разбойничьи шайки. Теплая, тихая осень дышала мятежами и смутой. Куда же ехать! Сашеньке волей-неволей пришлось отказаться от своего замысла.

В Москве день ото дня тоже становилось все тревожней. Говорили, будто в городе уже выявились случаи холерных заболеваний. Москвичи жили в страхе. Обезлюдели прежние шумные улицы и покрытые опавшей желтой листвой бульвары. В присутственных местах и казенных заведениях пахло карболкой, в частных домах и квартирах — сладковатым пахучим дымком старинных лечебных трав.

Приехав как-то в город из подмосковной, Денис Васильевич столкнулся на Кузнецком мосту с Вяземским. Они обнялись, сделали порученные женами покупки, отправились обедать в английский клуб.

Вяземский с семьей укрывался от холеры в своем Остафьеве. Настроение у него было невеселое, и шутил он мрачно:

— Я недавно занятный разговор слышал. Встретились два приятеля, вроде нас, один из них говорит: «Скверная, брат, штука эта холера! Вот мы сегодня с тобой мило беседуем, смеемся, а завтра заходишь ты ко мне... — тут он запнулся и поправился, — то есть я захожу к тебе, а ты уже того... готов!» Запиночка-то какова! Без слов человека рисует!

В английском клубе было непривычно пусто и за обедом никто беседовать не мешал. Говорили обо всем, что лежало на душе, но больше всего о Пушкине, о предполагаемой его женитьбе на московской красавице Наталии Николаевне Гончаровой.

Вяземский знал все подробности сватовства. Мать Наталии, злая, сварливая баба и ханжа, не желала брака дочери с Пушкиным. Он представлялся женихом незавидным: состояния не имел, отличался вольнодумством и был на дурном счету у государя. Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой разъяснить его ложное и сомнительное положение. Шеф жандармов известил, что к предстоящей женитьбе Пушкина царь относится благосклонно и поэт находится «не под гневом, но под отеческим попечением его величества». Это письмо будущую тещу успокоило. В мае состоялась помолвка Пушкина, и он начал предсвадебные хлопоты. Отец выделил ему деревеньку Кистеневку близ села Болдино Нижегородской губернии. Было получено разрешение царя напечатать «Бориса Годунова». Все как будто складывалось хорошо. И вдруг в конце августа в доме Гончаровых произошел скандал. Будущая теща осыпала жениха градом колкостей и незаслуженных оскорблений. Он не стерпел и в долгу не остался. А потом со свойственной горячностью возвратил невесте ее слово и, не простясь, уехал в Болдино.

— Значит, что же... женитьба расстроилась? — выслушав эти подробности, спросил Денис Васильевич.

— Трудно сказать, — ответил Вяземский. — Во

всяком случае, повод для этого налицо, он оставил дверь открытой настежь...

— Жаль, ей-богу! Жениться молодцу давно пора! Он хотя и смеялся как-то, что законная жена род шапки с ушами, голова вся в нее уходит, да ведь это для красного словца сказано, а жизнь и годы свое берут. Без шапки-то молодому хорошо!

— А меня, признаюсь, не расстройство с женитьбой беспокоит, — сказал Вяземский. — Я сегодня был у губернатора Дмитрия Васильевича Голицына, он сообщил, будто окаянная эта холера морбус в Нижнем объявилась. Проезд туда и выезд оттуда со вчерашнего дня запрещены. Представляешь положение Пушкина? Один в глухой деревне, среди озлобленных мужиков!

— Скверно, скверно, слов нет! — согласился Денис Васильевич. — Оно хотя и у нас небезопасно, да все же с деревней не сравнишь... Здесь и медицинская помощь и меры защиты от холеры принимаются...

— Голицын мне говорил, между прочим, что сейчас Москва и пригороды разбиваются на санитарные участки, — продолжил Вяземский. — В каждом будет несколько карантинов, и лечебные учреждения, и необходимый персонал... Вся беда в том, что московское дворянство уклоняется от помощи во всех этих защитительных действиях. Своя рубашка ближе к телу. Мало находится охотников взять на себя сопряженный с опасностью для жизни надзор за санитарным участком.

Денис Васильевич задумался. Картина знакомая. Тогда, в двенадцатом году, многие дворяне тоже уклонялись от защиты отечества. Но разве в то время он сам ограничивался простым осуждением подобного позорного поведения? Разве он не был в числе тех, кто, показывая иное понимание долга, дрался не на жизнь, а на смерть с чужеземцами? Так почему же теперь, когда неслыханное бедствие пало на страну, он сидит спокойно в своей подмосковной?

— Нехорошо получается, — произнес он вслух, отвечая самому себе на внезапно возникшие вопросы.

— Нехорошо, конечно, а что поделаешь! — Подхватил Вяземский. — Болезнь заразная, страшная! Кому охота связываться? Строго и осуждать нельзя...

Денис Васильевич затевать спора с Вяземским не счел нужным. А простившись с ним, поехал прямо к губернатору. И там без дальних слов вызвался надзирать за двадцатым санитарным участком, на территории которого находилась и его подмосковная — Мышецкое. И сразу почувствовал большое облегчение. Пусть соотечественники знают, что он при всяком общем бедствии, как в двенадцатом году, так и в теперешнюю тяжелую годину, не из последних является на службу отечеству!

Однако дома не обошлось без перепалки с женой. Софья Николаевна, узнав о поступке мужа, возмутилась:

— Какое безрассудство! Взяться надзирать за вторжением холеры, самому лезть головой в омут!

— Ты преувеличиваешь, Соня, — попробовал он возразить. — Должность надзирателя не так уж подвержена опасности. Мне не придется иметь непосредственного соприкосновения с больными.

— Тебе следовало подумать, что ты живешь не один, у тебя семья, дети!

— Надзор для того и устанавливается, чтоб защищать от холеры и мою и другие семьи...

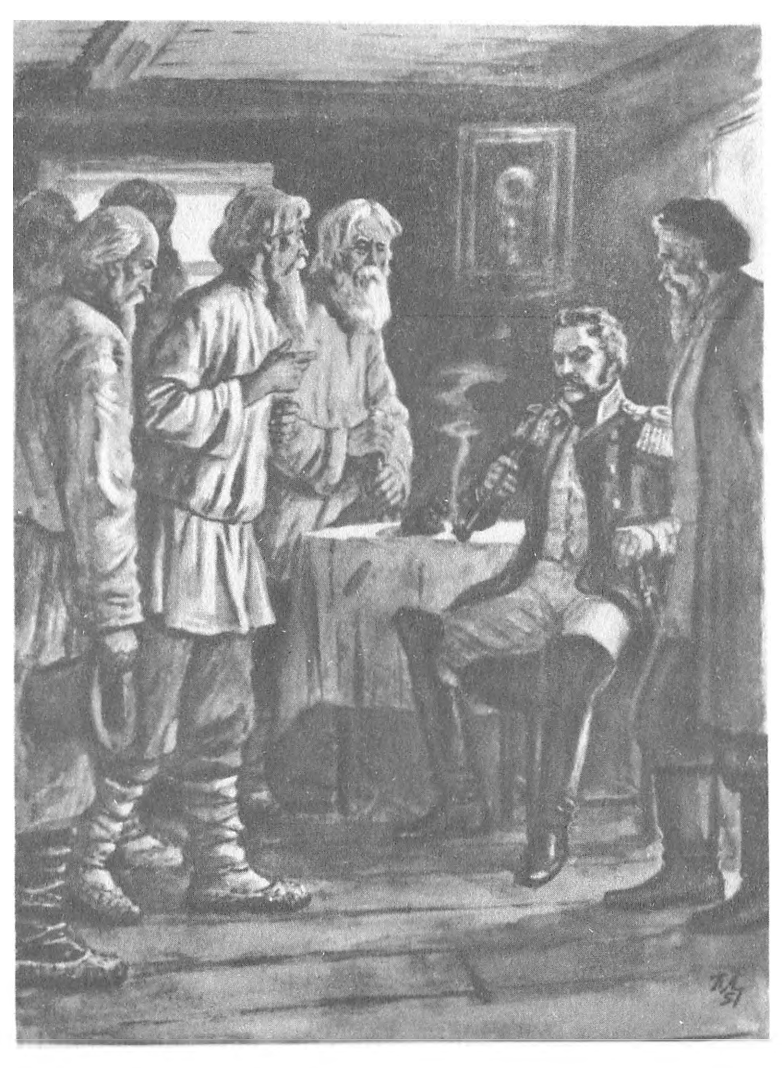
— Пустые слова! Тебе нет дела до семьи! Ты не думаешь о нас! Тебе дорого удовлетворение твоего тщеславия, ты ищешь похвал и награждений!

Она продолжала распаляться и повышать голос. Он не желал раздувать ссоры.

— Я ничего не ищу и не хочу, кроме одобрения собственной совести, — тихо сказал он и пошел к себе в кабинет.

Сестра Сашенька, слышавшая происшедшую перепалку, нагнала его у дверей, обняла, поцеловала и шепнула:

— Прими этот поцелуй, Денис, не как от сестры, а как от женщины, умеющей ценить благородство и мужество!



К стр. 305

Двадцатый санитарный участок, пересекаемый петербургской дорогой, считался одним из трудных. Здесь было сосредоточено значительно больше, чем в других местах, лечебных и карантинных учреждений, и от надзирателя требовались особые усилия и бдительность. Стоило ведь пропустить одного больного, и холера могла вспыхнуть в столице!

Понимая свою ответственность, Денис Васильевич трудился не покладая рук. Он каждый день объезжал участок, устанавливал всюду строгий порядок и военную дисциплину, следил за неукоснительным выполнением своих распоряжений. Все лечебные учреждения были быстро отремонтированы, побелены, санитарные отряды увеличены, запасы необходимой одежды, лекарств и дезинфекционных средств пополнены.

Московский губернатор, посетив двадцатый участок, нашел здесь все в таком превосходном состоянии, что стал этот участок рекомендовать другим надзирателям как образцовый. Но эта рекомендация имела некоторые непредвиденные дурные последствия.

Прибывший в конце октября для ознакомления с работой надзиратель выглядел довольно бодрым стариком. Лицо его сразу показалось Денису Васильевичу знакомым. Где-то он видел этого человека с тонким крючковатым носом и серыми, навыкате глазами? А вспомнить решительно не мог, пока прибывший не отрекомендовался:

— Яков Иванович де Санглен...

Денис Васильевич немного даже растерялся. Перед ним с любезной улыбкой на тонких губах стоял бывший начальник тайной военной полиции. Некогда он предал Сперанского, а в 1812 году был послан императором Александром в армию для тайного наблюдения за Кутузовым и преданными ему офицерами.

Денис Васильевич не раз мимолетно встречался с де Сангленом (хотя с тех пор прошло много лет, не мудрено, что это забылось) и теперь, глядя на старого шпиона, думал о том как, должно быть, неприятны таким людям свидания с теми, кто знал об их темном прошлом. Но Яков Иванович, видимо, был иного мнения на этот счет. Он сам напомнил о старинном зна-

комстве и о том, что когда-то выполнял некие важные поручения покойного императора, поспешив, впрочем, добавить, что давно находится в отставке, занимается хозяйством и не осмелился бы беспокоить высокочтимого Дениса Васильевича, если б не губернатор, посоветовавший нанести этот визит.

Делать было нечего. Пришлось дать гостю место в своей коляске и ездить с ним по участку. Яков Иванович держался вежливо, почтительно, осматривал все с большим любопытством и одобрением.

А между тем начали сгущаться ранние осенние сумерки. В московских пригородах зажигались огни. Денис Васильевич предложил спутнику возвратиться в Мышецкое, отдохнуть, переночевать и продолжить осмотр завтра.

Де Санглен охотно согласился.

В доме гость показал себя вполне светским человеком, начитанным, остроумным. Сидя после обеда в кабинете хозяина и благодушно покуривая предложенную трубку, он выказал себя давним поклонником давыдовских стихов и учтиво осведомился:

— А чем новеньким, милейший Денис Васильевич, собираетесь вы порадовать своих почитателей?

— Увы, кажется, ничем, кроме военных обзоров и статеек, — ответил Денис Васильевич. — Стихи сейчас в голову не идут!

— Но ваша военная проза представляется мне, не сочтите за комплимент, не менее сладостным плодом благородного и высокого литературного дарования, — сказал де Санглен. — Читая ваши возражения на записки Наполеона, я испытывал величайшее наслаждение, ибо видел, что писаны они и патриотом, и воином, и поэтом... Право, я был бы несказанно счастлив услышать хотя бы небольшой отрывок из последнего вашего сочинения!

На письменном столе лежали «Замечания на некрологию Раевского». Ничего предосудительного в них Денис Васильевич не видел. Он отложил в сторону трубку и придвинул свечу.

— Извольте, я прочитаю не обработанные еще страницы о покойном генерале Раевском, только за-

ранее прошу извинить за многие погрешности, исправление коих требует времени.

Читая рукопись, он увлекся, и строки, посвященные несчастным событиям в семье Раевского, прозвучали особенно сильно и взволнованно.

«Неожиданная гроза разразилась над главою поседевшей, но еще не остылой от вдохновений воинственных и еще курившейся дымом сражений... Раевский был поражен во всем милом, во всем драгоценном для его сердца, созданного любить без меры все то, что однажды оно полюбило. Мы видели и мужей твердых в опасностях, видели самого Раевского в весьма критических обстоятельствах; он никогда, нигде и ни от чего не изменялся, — но тут он превзошел наше ожидание, или лучше самого себя! Новый Лаокоон, обвитый, теснимый змеями, он не докучал воплями небу, не унижал себя мольбами о сострадании. Ни единого ропота, ни единого злобного слова не вырвалось из уст его, ни единым вздохом, ни единым стенанием не порадовал он честолюбивую посредственность, всегда готовую наслаждаться страданиями человека, далеко превосходящего ее своими достоинствами»...

Яков Иванович слушал с величайшим вниманием и не спускал с автора поблескивающих от удовольствия глаз. И вдруг с тонких губ его сорвался короткий приглушенный смешок. Денис Васильевич приостановил чтение и с недоумением посмотрел на гостя. Тот пояснил:

— Помилуйте, драгоценнейший Денис Васильевич, вас ли я слышу, возможен ли этакий неуместный либерализм!

—Не понимаю, где вы либерализм обнаружили, — сердито буркнул Денис Васильевич. — Генерал Раевский достаточно известен России, как один из самых храбрых и благородных ее сыновей...

— Боже мой, да разве я оспариваю достоинства генерала Раевского? — разведя руками, воскликнул Яков Иванович. — Меня удивляет ваше толкование всем памятных крамольных событий... О чем вы скорбите? О справедливом возмездии, совершившемся по

воле премудрого нашего государя над вреднейшими преступниками, являвшимися ближними родственниками покойного генерала. Вот дело в чем-с! А ежели я ошибаюсь — давайте поспорим! Докажите, докажите ошибочность моего суждения, милейший!

Денис Васильевич догадался, что старый шпион нарочно вызывает его на политический разговор и постарался от него уклониться, отделавшись незначащими общими фразами. А о том, что произошло дальше, он написал начальнику московского жандармского округа Волкову, бывшему ранее московским комендантом, тому самому, с которым когда-то встречался у Закревского.

«Я пишу не к окружному начальнику и генералу жандармского корпуса, а пишу старинному моему приятелю Александру Александровичу Волкову в полной надежде, что он разрешит мое сомнение, или избавит меня от другого подобного случая, или скажет, отчего такая со мной могла случиться неприятность.

Вот дело в чем. Я живу с семейством моим в подмосковной спокойно, уединенно и надзираю за 20-м участком от вторжения заразы. Вдруг на днях приезжает ко мне господин де Санглен, человек известный России со стороны более чем невыгодной и с которым не только что я был знаком, но который по случаю трех или четырех мимоходных моих встреч с ним в течение всей моей жизни мог приметить явное мое презрение к его отвратительной особе...

В течение вечера и на другой день поутру он явно рассказывал нам о четырех тысячах рублей жалованья, получаемых им от правительства, о частых требованиях его вами для совещаний и для изложения вам его мыслей и пр., переменял со мною ежеминутно разговоры, переходя от одного политического предмета к другому, — словом, играл роль подстрекателя и платим был мною одним безмолвным примечанием изгибов его вкрадчивости и гостеприимством.

Наконец я узнал, что на обратном пути, завозя домой в с. Чашниково случившегося тогда у меня помощника моего в надзоре за 20-м участком поручика Специнского, он несколько раз ему повторял, что

приезд его ко мне дорого стоит... что он был у меня не для удовольствия меня видеть и пользоваться моею беседою... что я стал очень скромен... и сверх того не переставал расспрашивать Специнского о всех мелочах, до образа моих мыслей касающихся...

Разрешите мое сомнение, любезнейший Александр Александрович: если де Санглен точно на мой счет был прислан, то мне остается только взглянуть на седой ус, в столькотысячах боях окуренный порохом, уронить на него слезу и молчать. Но если этот господин сам собою приезжал тревожить покой честного и семейного человека, то прошу вас, и покорнейше прошу вас, почтить меня официальным, полуофициальным или партикулярным письмом такого рода, чтобы в случае вторичного его ко мне прихода я мог дать ему вашим письмом такой отпор, от которого бы он никогда уж не смел присутствием своим заражать воздух, коим дышит заслуженной и прямой жизни человек»[53]

Волков никаких поручений де Санглену не давал и направил копию письма шефу жандармов, а спустя несколько дней Денису Васильевичу объявил:

— Бенкендорф распорядился через губернатора господину де Санглену приказать, чтобы впредь он не смел тревожить московских жителей таковыми поступками...

— Все это прекрасно, любезный Александр Александрович, но ежели вы помните, я желал выяснить не то, чем будет впредь заниматься господин де Санглен, а точно ли этот господин был послан на мой счет или сам собою приезжал?

— Мне кажется поступок де Санглена самовольным, — сказал Волков. — Вот послушайте, что пишет Александр Христофорович: «Я считаю долгом уведомить вас, что господин де Санглен столько известен нам, что он ни мною, ни вами употреблен быть не может ни для каких поручений».

Это сообщение уверенности Дениса Васильевича в том, что де Санглен был к нему кем-то подослан, не поколебало. Напротив, он взглянул прямо в глаза Волкову и произнес:

— Согласитесь, в письме опять нет ясности... «Ни мною, ни вами употреблен быть не может»... А кем же?

Волков пожал плечами и ничего не ответил.

Вопрос оставался загадочным, однако, недолго. Через братьев, живших по-прежнему в столице, Денис Васильевич вскоре узнал, что де Санглен приезжал в Петербург и был милостиво принят императором, с которым имел длительный разговор. А после этого, в одной из частных бесед, старый шпион признался, что он убедил императора в политической неблагонадежности Дениса Давыдова.

Черта была подведена. Размышлять над тем, кто и зачем подсылал шпиона, более не требовалось. Причины царского недоброжелательства и подозрительности давно известны. Оправдываться не имеет смысла. Но спокойно относиться к тому, что случилось, Денис Васильевич, вполне понятно, был не в состоянии. Черные тучи беспрерывно ходили над головой, и гроза могла ударить.

Он не сомневался, что надзора над ним не прекратят, а он не давал обета молчания и в конце концов мог болтнуть лишнее. Сам знал за собой такой грешок! А голубые жандармские мундиры теперь на каждом шагу. Еще больше тайных соглядатаев. Ермолов, говоря об одном генерале, ядовито намекнул:

— Мундир на нем зеленый, а если хорошенько поискать, то, наверное, в подкладке обнаружишь голубую заплатку...

Вот эти голубые заплатки в военных мундирах, чиновничьих сюртуках и штатских фраках страшили более всего. Нет, довольно! Только в далекой от столиц деревенской глуши можно, пожалуй, чувствовать себя в большей или меньшей безопасности. Надо опять поскорей перебраться в Верхнюю Мазу. Холера как будто начинает затихать. Карантины снимают. По зимнему первопутку нужно и отправляться!

Жизнь в деревне становилась теперь необходимостью. Иного выбора не было.



> Страсть есть преобладающее чувство в песнях любви Давыдова; но как благородна эта страсть, какой поэзии и грации исполнена она в этих гармонических стихах... Боже мой, какие грациозно-пластические образы!
>
> *В. Белинский*

I

Всю ночь бушует декабрьская вьюга. Бешеные степные ветры со свистом и визгом поднимают и крутят снежные тучи и под самые крыши заносят сыпучими сугробами крестьянские избенки в Верхней Мазе, где в такую непогодь редко кто спит. Мужики пытаются пробраться сквозь сугробы во двор и в хворостяные, смазанные глиной закуты — там мычит озябшая, голодная скотина. А бабы тщетно разжигают кизяки в давно остывших печах. Тяги нет; густой едкий дым оседает в хатах, смешиваясь с чадом лучин и неистребимым запахом кислых овчин. Кричат на полатях проснув-

шиеся дети. Жалобно блеют одуревшие от смрада ягнята.

А в большом господском доме, расположенном несколько в стороне от деревни, злая метель никого, кажется, не беспокоит. Там еще с вечера все окна надежно укрыты обитыми войлоком ставнями, а печки жарко натоплены. И давно уже потушены в доме последние огни, давно сладко спят в чистых и теплых постелях взрослые и дети, вся большая семья Дениса Васильевича Давыдова.

Не спится только ему самому... Вот уже вторую неделю лежит он, не поднимаясь, на широкой, турецкой тахте в своем кабинете, стены которого увешаны оружием, портретами знаменитых полководцев и писателей, а пол устлан великолепным персидским ковром. У изголовья, на маленьком столике, стоят пузырьки и склянки с лекарствами. Стакан крепкого, остывшего чая. Тонкие ломтики лимона на хрустальной розетке. И открытый на середине томик стихов Языкова.

Денис Васильевич болен. Мучает астма, припадки которой за последнее время усилились. Дает себя знать застарелый ревматизм левой ноги. Пошаливает сердце.

Вызванный женой из Саратова модный врач-гомеопат, рыжебородый немец Клейнер, взяв за визит двести рублей, предписал строжайшую диету и абсолютный покой. В комнатах, недавно оживленных детской беготней и смехом, установилась тишина. Жена закрыла на ключ клавикорды и надела мягкие туфли. Дети ходят на цыпочках. Однако больной облегчения не чувствует, напротив, тишина начинает его угнетать.

Часы за стеной пробили три раза. Порывистый ветер глухо бьется о ставни. Слабый, колеблющийся свет ночника наполняет кабинет дрожащими полутенями. Тускло отсвечивают стекла шкафов, где собрана большая библиотека.

Денис Васильевич с открытыми глазами неподвижно лежит на спине и, заложив под голову короткие руки, предается грустным размышлениям...

Кончается 1833 год, а в следующем ему исполняется пятьдесят лет. Жаловаться на то, что полвека прожиты безрадостно для себя и бесполезно для отечества, никак нельзя. Не многим на долю выпал завидный жребий быть участником стольких замечательных событий! Он воевал бок о бок с Кутузовым, Багратионом, Кульневым, Раевским, он врубил свое имя в достопамятный двенадцатый год, да и в отечественной словесности какой ни на есть след оставил. Недавно вышел из печати первый сборник его стихотворений, и в автобиографическом предисловии он с полным основанием мог дать себе такую любопытную характеристику:

«Давыдов не нюхает с важностью табаку, не смыкает бровей в задумчивости, не сидит в углу в безмолвии. Голос его тонок, речь жива и огненна. Он представляется нам сочетателем противоположностей, редко сочетающихся. Принадлежа старейшему уже поколению и летами и службою, он свежестью чувств, веселостью характера, подвижностью телесною и ратоборством в последних войнах собратствует, как однолеток, и текущему поколению. Его благословил великий Суворов; благословение это ринуло его в боевые случайности на полное тридцатилетие; но, кочуя и сражаясь тридцать лет с людьми, посвятившими себя исключительно военному ремеслу, он в то же время занимает не последнее место в словесности между людьми, посвятившими себя исключительно словесности. Охваченный веком Наполеона, изрыгавшим всесокрушительными событиями, как Везувий лавою, он пел в пылу их, как на костре тамплиер Моле, объятый пламенем. Мир и спокойствие — и о Давыдове нет слуха, его как бы нет на свете; но повеет войною — и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика. Снова мир — и Давыдов опять в степях своих, опять гражданин, семьянин, пахарь, ловчий, стихотворец, поклонник красоты во всех ее отраслях — в юной деве ли, в произведениях художников, в подвигах ли военном или гражданском, в словесности ли, — везде слуга ее, везде раб ее, поэт ее. Вот Давыдов!»

И все же большого удовлетворения прожитыми годами он не испытывал и знал почему. Мыслям и действиям его всегда было тесно в дозволенных самовластьем границах. Прав Ермолов, заметивший это! Императоры Александр и Николай окружали себя бездарными педантами и невеждами, преграждавшими путь способным, инициативным, просвещенным людям. Мертвящие душу косноязычные инструкции и уставы сковывали каждый шаг. Он, Денис Давыдов, в сущности, так и не получил возможности полно развернуть свое военное дарование, обширные знания и опыт оставались без употребления...

Ему вспоминались последние годы. Тогда, после печального случая с подсылкой шпиона де Сангленa, он не успел переехать в Верхнюю Мазу. Непредвиденные обстоятельства, как не раз уже бывало, спутали все планы. Началось поднятое шляхтой восстание в Польше.

В том кругу, где он вращался, отношение к восставшим было сбивчивым и противоречивым. Пушкин, возвратившийся в то время в Москву, им не сочувствовал. Шляхта не думала о свободе польского народа, она пеклась об усилении своих прав и привилегий, честолюбиво мечтая расширить польские границы за счет украинских и белорусских земель. А европейские политиканы, злобно клевеща на Россию, призывали свои правительства ополчиться на нее под предлогом помощи восставшим за свободу полякам. Пушкин отвечал клеветникам стихами:

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою
Вопрос, которого не разрешите вы.

Как хорош был Пушкин, читая эти стихи, каким благородным негодованием пламенели его прекрасные глаза! И он, Денис Давыдов, разделял отношение Пушкина к мятежной польской шляхте и европейским ее покровителям.

Решение проситься в армию возникло, впрочем, из

других побуждений. Будучи уверен в бесполезности своих просьб, он не подавал заявления о желании служить в прошедшую турецкую войну, но после доноса, сделанного царю де Сангленом, положение изменилось, теперь молчание могло быть истолковано в самую дурную сторону. И хотя воевать он не собирался и, как все кругом, полагал, что мятеж не продлится более двух месяцев, — в Москве бились об заклад, что Варшаву возьмут без выстрела! — а все же пришлось писать начальнику главного штаба, демонстрировать верноподданнические чувства и готовность принять участие в военных действиях.

И вдруг в ответ на письмо неожиданно приходит назначение в войска, общее начальство над которыми вверялось Дибичу. Назначение удивило и смутило, однако делать нечего, он надевает мундир, опоясывается саблей и отправляется в Польшу, думая не о предстоящих сражениях, а о том, как бы поскорей возвратиться домой.

Он не спешил попасть туда, куда попадать не хотелось. Некогда Ермолов ехал свыше месяца из Петербурга в Лайбах. А он в более короткой дороге пробыл два месяца! Заехал в Юхнов проведать старого друга Степана Храповицкого, погостил у знакомых в Смоленске и станционных смотрителей нигде спешной подачей лошадей не утруждал [54].

Два месяца! Срок достаточный, чтоб разбить во много раз слабейшего противника. И, вероятно, так оно и получилось бы, прояви главнокомандующий необходимую быстроту и решительность. Но Дибич, произведенный недавно в фельдмаршалы, этими качествами не отличался.

Денису Васильевичу живо представился этот баловень фортуны таким, каким видел его тогда в главной квартире. Низенький, толстенький, с опухшей и воспаленной физиономией, небритый, немытый, с рыжими нечесаными волосами, падавшими почти до плеч, в запачканном сюртуке без эполет и с обычными, странными ужимками и ухватками. А под этой неблаговидной оболочкой скрывался все тот же методик и педант, способный сутками просиживать над

составлением инструкций и диспозиций и не замечать истинного положения дел.

Два месяца русские войска передвигались с места на место, теряя самое благоприятное для наступательных действий время.

Под стать барону Дибичу были и остальные высшие армейские чины: начальник штаба барон Толь и корпусные командиры бароны Крейц, Розен, Гейсмар. Они тщательно следили за тем, чтоб в вверенных войсках все было застегнуто от глотки до пупа, чтоб всякая пуговица, всякая пряжечка, всякий солдат, вахмистр, офицер и генерал находились на месте, уставом им определенном, зато не обращали никакого внимания на то, что войска обтрепаны и изнурены, а путь их следования всюду отмечается трупами павших от бескормицы лошадей и застрявшими в грязи орудиями и повозками. Солдаты невесело шутили: лбами красимся, а затылки вши едят!

Служба под начальством баронов была для Дениса Васильевича тяжела и противна. Командуя небольшим отрядом, он отличился в нескольких стычках с противником, получил давно следуемый по старшинству чин генерал-лейтенанта, но вся эта военная кампания оставила в душе мрачный налет. Видя бестолковые действия начальства и плохое состояние войск, он явственно различал и причину такого положения: отжившая свой век прусская система военной подготовки продолжала господствовать в русской армии.

Возвратясь домой, он начал под свежим впечатлением писать об этом, хотя и знал, что острота критических замечаний делает записки непригодными для печати, цензура не осмелится пропустить их. Ведь он открыто обличал императора Николая и правительство в том, что они, не понимая истинных требований века, не щадят ни усилий, ни огромных материальных средств на гибельное развитие притупляющей человеческие способности системы, могущей в конце концов ввергнуть Россию в страшную беду. «Горе ей, — думал он с грустью, — если к тому времени, когда деятельность умных и сведущих людей

будет ей наиболее необходима, наше правительство будет лишь окружено толпою неспособных и упорных в своем невежестве людей».

А все-таки было там, в Польше, и нечто приятное, при воспоминании о чем невольно теплели его глаза и на губах появлялась легкая радостная улыбка. Вечно незабвенен будет для него необычайный прием, оказанный войсками! Еще не доехав до главной квартиры, он писал жене:

«Вообрази, что офицеры, генералы, мне незнакомые, все меня знают и все сходятся или знакомиться, или хотя глядеть на меня и слушать меня! Нет деревни и местечка, где бы этого со мною не получилось! Вчера, приехав вперед с Тиманом, мы зашли в трактир отобедать и как скоро узнали в городе, что я тут, — вся зала наполнилась любопытными, как будто о великом персонаже» [55].

Сначала он недоумевал: неужели подобная известность заслужена его партизанством и гусарскими стихами? Затем стал догадываться, что дело не в этом. Близ Красностава, где находился его отряд, входивший в корпус барона Крейца, встречи были особенно триумфальными. Офицеры и солдаты на походе, на привалах и биваках толпами бежали к нему и, окружив со всех сторон, глядя веселыми глазами, говорили:

— Ваше превосходительство, слава богу, что вы приехали, есть на кого опереться!

И он отвечал им растроганно:

— Постараюсь заслужить ваше обо мне доброе мнение, братцы...

Так вот оно что! Высшее начальство, состоявшее из ревнителей прусской системы, не решалось доверить ему небольшой самостоятельной команды, а войска встречали его как командира, на которого можно опереться, значит считали, что он выгодно чем-то отличается от других генералов. И тут уже начиналась ясность. Войска чествовали в его лице генерала любезной им суворовской школы, отвергавшей изнурительную, бессмысленную муштровку и жестокое обращение с подчиненными. В родимых вой-

ских, окованных кандалами германизма, никогда не забывали о суворовских временах, и не потухала никогда в сердцах надежда на возвращение их!

И новый смысл обрела теперь для него работа над военными сочинениями. Он видел тех, для кого писал, видел тысячи устремленных на него, горевших любопытством глаз. Рождалось ощущение большого невыплаченного долга. Сколько тем и замыслов было еще не воплощено! Писать, писать! Он должен рассказать и о войнах, в которых участвовал, и о своих встречах с Суворовым и Кутузовым, и о том, как воспитанные в суворовском духе русские войска доказали всему свету свою непобедимость.

Военная служба была оставлена без сожаления. И в Москве, где после возвращения из Польши пробыл более года, взялся он за военную прозу по-настоящему. Выправил и выпустил отдельной книжкой «Замечания на некрологию Н. Н. Раевского», закончил прежде начатые статьи «Мороз ли истребил французскую армию» и «Встреча с фельдмаршалом Каменским», готовился писать о Суворове.

Друзья относились к его прозаическим произведениям сочувственно. Редактор «Библиотеки для чтения» Сенковский просил позволения печатать их в своем журнале. Но более всего ободряла поддержка Пушкина.

Денис Васильевич прикрывает глаза, чтоб живей представить дорогой образ, и пробует повернуться, как вдруг короткий, удушливый кашель сотрясает все его тело. Болезненно морщась, он приподнимается, выпивает успокоительные капли, и несколько минут молча сидит на тахте, охватив руками колени поджатых ног, прикрытых одеялом. Прислушивается.

Вьюга за окнами стихает. Из соседней комнаты, спальной жены, доносится спокойное, равномерное дыхание. Денис Васильевич отбрасывает одеяло, опускает ноги в туфли, накидывает халат и тихо пробирается к письменному столу. Там, в одном из ящиков, хранится побывавшая во многих походах его старая трубка. Надежный друг, с которым разлучил врач Клейнер. «Чертов колбасник», — усмехнувшись, про-

износит Денис Васильевич, набивая табак дрожащими пальцами. И вскоре ароматный, слегка кружащий голову дымок расплывается по комнате. И возбужденные мысли снова возвращают к прошлому.

Пушкин! Он возникает во всей неповторимой своей притягательности, маленький, быстрый, с широкими бакенбардами и вьющимися темными волосами. Будучи женихом, он не казался довольным, часто впадал в задумчивость и любил повторять некогда сказанную Баратынским фразу:

— В женихах счастлив только дурак, а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим...

Или, теряя порой надежду на женитьбу и высказывая желание отправиться в Польшу, расхаживал быстро по комнате и напевал:

Не женись ты, добрый молодец,
А на те деньги коня купи...

В то время Денис Васильевич встречался с Пушкиным почти каждый день. Вместе ездили они в Остафьево к Вяземскому, собирались в английском клубе, у Баратынского и в других местах. Пушкин одним из первых прочитал и одобрил рукопись «Замечаний на некрологию Н. Н. Раевского»:

— Какой красноречивый eloge! * Чудесно, милый! Впрочем, я иного от тебя и не ожидал... Теперь смелей принимайся писать всю жизнь Раевского!

Поездка в армию разлучила с Пушкиным. На его свадьбе гулять не пришлось. И свиделись они вновь через несколько месяцев, когда Пушкин был уже женат. Приехав из Петербурга, он остановился у Нащокина, жившего близ Пречистенских ворот. Павел Воинович Нащокин, отставной офицер Измайловского гвардейского полка, был общим приятелем. Отличаясь своеобразным умом, живым художественным чувством, несказанной добротой и сердечностью, Нащокин жил широко и безалаберно. В квартире его ни днем ни ночью не смолкал шум. Тут толкались люди самого разного сбора: игроки и отставные гу-

---

* Похвальное слово *(франц.)*.

сары, студенты, стряпчие, цыгане, шпионы, заимодавцы. Играли в карты, пили, пели, плясали. Всем было вольно у гостеприимного хозяина! Пушкина такая жизнь страшно тяготила, но переселяться на другую квартиру он не хотел — Нащокин нежно любил его и мог смертельно обидеться.

Денис Васильевич навещал Пушкина обычно днем.

— Ну что, Александр Сергеевич, нет ли чего новенького?

— Есть, есть, — кивая головой, отвечал тот с неизменной приветливостью.

Потом тащил гостя в свою комнату, усаживал на диван, доставал из стола тетрадь и принимался с добродушной простотой за чтение новой повести или стихов [56].

Чаще же всего коротали они время за долгими беседами об историческом и военном прошлом России. Тема эта увлекала обоих, и во многих случаях взгляды их удивительно сближались.

Они воскрешали в памяти славный двенадцатый год. Кто тут нам помог? Мороз ли, как утверждали иностранцы, или бог и царь, как пытались доказать Булгарин, Загоскин, Кукольник и прочие верноподданные литераторы? Отвергая с негодованием подобные доказательства, Пушкин и Давыдов истинные причины гибели наполеоновской армии согласно видели в героизме русского народа, в мужестве партизан и воинов, в полководческом искусстве Кутузова.

А разве не возмутительно было для обоих принижение чужеземными историками значения Петра Первого? Пушкин как раз замышлял писать его жизнь, а Денис Васильевич только что окончил небольшую статью «О России в военном отношении», где защищал Петра от клеветнических нападок французского историка Левека.

Пушкин, с особым удовольствием прослушав эту пылкую статью, сказал:

— Я совершенно с тобой согласен... Петр один есть целая всемирная история! Ты хорошо сделал, на-

писав этот прекрасный памфлет. Впрочем, и остальная твоя военная проза заслуживает похвалы со всех сторон. Мне лишь непонятно, почему ты не предаешь своих статей гласности?

— Боюсь, душа моя, таможенных застав цензуры, нападений критиков, а того более издевательских своевольств...

— А что? Разве тебя кто прижимает?

— Сенковский просил прислать ему что-нибудь, я отправил для пробы статейку, а он так исковеркал... Читаешь, уши краснеют!

—Ну, это уж черт знает что такое! — возмутился Пушкин. — Сенковскому учить тебя русскому языку все равно, что евнуху учить Потемкина...

Денис Васильевич, прервав воспоминания, снова приподнимается. Буря, кажется, кончилась. Он выбивает горячий пепел из трубки, прячет ее от глаз жены в стол и, поправив повыше подушки, опять ложится, — куреньем немного расслабленный и успокоенный.

Да, Пушкин мог его подбодрить! И еще, пожалуй, Вяземский! Тому как-то он писал: «Ты и Пушкин имеете дар запенить меня, как бутылку шампанского». Вяземский живет сейчас в Петербурге. Поступил на службу, стал важным чиновником, назначен недавно вице-директором департамента внешней торговли, того и гляди произведут в генералы! И большинство других приятелей и знакомых каждый год продолжают украшаться чинами и орденами. Митенька Бегичев по-прежнему губернаторствует в Воронеже, и, кажется, им довольны. Процветают Закревский и Киселев. Стали министрами бывшие арзамасцы Блудов и Дашков. Лишь Ермолов да он отвергнуты и вынуждены жить в деревне. Губит их судьба забвением!

И что там ни говори, как ни убеждай друзей, будто честолюбие черт знает куда делось и не желаешь ничего, кроме спокойной, деревенской жизни, а тяжелая, давняя обида не проходит, и стенания подавленного в глубь души честолюбия порой беспокоят весьма чувствительно.

Деревня! Он давно сам собирался сюда, и рабо-

тается здесь несравненно лучше, чем в Москве, и есть тут другие привлекательные стороны, это верно, а все-таки...

«Если б вы знали, — писал он издателю своих стихотворений Салаеву, — что такое день прихода почты или привоза газет и журналов в деревню степную и удаленную от всего мыслящего, то вы поняли бы мое положение... Истинно нестерпимо сидеть в пропасти, как заваленному в Геркуланум, слышать над собой движение и жизнь и не брать в них участия».

Он мог бы добавить к этому, что поселился в деревне не совсем-то по доброй воле, что нельзя ему было оставаться в Москве, где он «задыхался от полицейских и жандармских надзоров». Поэтому-то и не исчезало у него в деревенском уединении ощущение ссылки; в письме брату Льву он прямо сообщал, что чувствует себя «как сибирский невольник». А закадычному другу Петру Ермолову, двоюродному брату Алексея Петровича, жаловался:

«Я живу в деревне степной губернии. Поле да небо. Но разве это я делаю от удовольствия? И я бы умел с вами разделить жизнь столицы» [57].

Грустно думать об этом, грустно сознавать, что годы незаметно уходят и жить, вероятно, осталось не так уж долго, а ты оторван от привычного общества и прозябаешь в степном захолустье.

Скоро наступят святки. Соня готовит для детей елку и праздничные подарки. Приедут с поздравлениями соседи, и будешь говорить с ними о посевах сахарной свекловицы и выгодности разведения мериносов или слушать немудреные деревенские сплетни. А потом снова размеренная, тихая, однообразная деревенская жизнь и работа над военной прозой... И ничего для души, для сердца, для поэтического вдохновения! Неужто должно с этим примириться? Неужто так никогда и не вспыхнет для него во мраке золотистая звездочка?

Денис Васильевич тихо вздыхает и, чувствуя, как туманятся мысли и приятно немеют ноги, повертывается на правый бок и отдается во власть благодетельного, спокойного сна.

II

Он пробудился от невнятного шороха и увидел сердитое лицо жены. Она успела чуть-чуть приоткрыть форточку, и оттуда вместе с ослепительным солнечным лучиком врывался в комнату, клубясь и сразу оседая, морозный воздух.

— Ну, можно ли, Денис, так отравлять себя проклятым табаком? — произнесла Софья Николаевна, заботливо укрывая мужа вторым одеялом. — Я вошла и задохнулась... Ты же отлично знаешь, что курение тебе запрещено...

Он протянул к ней руки и сказал примирительно:

— Знаю, душенька, виноват, не ворчи, пожалуйста. Что-то не спалось, буря, вероятно, мешала, вот и соблазнился! — И, смеясь, признался: — Явно старею, Сонечка!.. Трубку спрятал и полагал — концы в воду, а того в толк не взял, что дым в комнате!

Сердитое выражение с ее лица сошло. Она коснулась рукой его лба, промолвила:

— Жара как будто нет... А как ты себя чувствуешь?

— Пока хорошо. Не хочется даже лежать. И денек как будто прелестный! А сколько сейчас времени?

— Двенадцать скоро...

— Ого! Поспал славно! И, право, Сонечка, если б ты была более человеколюбива, — продолжал он в шутливом тоне, — ты не стала бы возражать, чтоб я потеплей оделся и хотя бы на часок поехал в санках полюбовался степью...

— Нет, такого человеколюбия от меня ты не дождешься! Да и любоваться нечем, одни сугробы кругом. Из Репьевки от Бестужева нарочный верховой прискакал, говорит — санного пути нигде нет...

— А с чем же нарочный?

— Алексей Васильевич из Пензы вчера возвратился, там виделся с Бекетовым и письмо от него тебе привез...

— Так что же ты молчала? — приподнимаясь, нетерпеливо перебил он. — Давай, давай скорей! Это

же, я полагаю, не какой-то другой Бекетов, а Митенька милый мой!

Ну, конечно, конечно! Писал Дмитрий Алексеевич Бекетов, бывший поручик Ахтырского гусарского полка, ясноглазый и румяный Митенька, который в двенадцатом году одним из первых офицеров вступил в его партизанский отряд. Митенька Бекетов! Хороший, надежный товарищ во всех партизанских кочевках, верный и преданный друг! Года четыре тому назад, будучи в Пензе на ярмарке, Денис Васильевич впервые после долгой разлуки свиделся с ним. Бекетов давно находился в отставке, жил совместно с братом, растолстел и немного обрюзг, но по-прежнему глядел на бывшего своего начальника влюбленными глазами и, будучи несказанно обрадован неожиданной встречей, тут же стал приглашать к себе в Бекетовку, верстах в сорока от города.

Денис Васильевич спешил тогда домой и обещал Митеньке приехать погостить в другой раз, да так и не собрался. И вот теперь Бекетов, напоминая о невыполненном обещании, снова настойчиво приглашал к себе.

— А что? Не съездить ли и впрямь к нему на святки? — прочитав вслух письмо, сказал Денис Васильевич, обращаясь к жене. — Мне, кстати, и в Пензе побывать надо...

Софья Николаевна, знавшая, что деревенская однообразная жизнь ему наскучила, поддержала:

— Если будешь здоров, поезжай непременно! Все-таки немного развлечешься...

Он сразу оживился:

— Нет, право, душенька, соблазн велик! Митенька, помнится, говорил, у них зайцев и лисиц видимо-невидимо и будто даже медведи водятся... Поохотимся, поговорим, вспомним партизанство наше! А двести верст по зимней дороге не заметишь, как и проскочат! Поеду!

Братья Бекетовы считались богатейшими помещиками Пензенской губернии. Они владели восемью тысячами десятин земли и леса. Родовое их село Беке-

товка, или Богородское, выгодно отличалось от соседних деревень своей благоустроенностью. Улицы были хорошо распланированы, хаты снаружи побелены и покрыты черепицей или свежей соломой, дворы обнесены крепкой изгородью, два больших пруда, обсаженные ветлами, содержались в видимом порядке. А господский каменный, двухэтажный, с колоннами и лепными барельефами дом, к которому примыкал огромный старый парк, выглядел как дворец.

Братья Бекетовы жили в душевном согласии и делиться не думали, хотя Дмитрий Алексеевич оставался холостяком, а Николай Алексеевич, мичман в отставке, был женат, имел четырех детей. Семья Николая Алексеевича занимала весь нижний этаж дома. Там же находилась столовая. А кабинет Дмитрия Алексеевича, зал, приемные комнаты и довольно значительная библиотека помещались наверху. Бекетовы слыли людьми просвещенными и гуманными. Вяземский, побывавший у них проездом несколько лет тому назад, пришел в восторг от их культурного образа жизни и милого гостеприимства.

Приезд Дениса Васильевича радостно всполошил весь дом. Да иначе и быть не могло. Столько чудесных историй рассказывал домашним Дмитрий Алексеевич про своего храбреца командира, с таким восхищением всегда декламировал его стихи! Николай Алексеевич, его жена и дети, многочисленные родственники и соседи, собиравшиеся, по обыкновению, в Бекетовку на святки, встретили долгожданного гостя с большим радушием и сердечностью.

Среди встречающих были и племянницы Бекетовых, милые девушки Евгения и Полина Золотаревы, дочери покойной сестры Екатерины Алексеевны, бывшей замужем за пензенским помещиком Дмитрием Васильевичем Золотаревым[58].

Евгении шел двадцать третий год. Эта стройная, с каштановыми локонами и темными бархатными глазами девушка окончила пензенский женский пансион, любила почитать и помечтать, отличалась большими музыкальными способностями. Полина, бывшая на год моложе сестры, хотя и походила на нее неко-

торыми чертами лица, однако во всем остальном представляла ее полную противоположность. Она тоже окончила пансион, но полученное образование не оставило на ней никакого следа. Толстенькая, пухленькая, краснощекая Полина не утеряла детской наивности, могла без устали хохотать и веселиться и ничем серьезным себя не утруждала.

Когда Дмитрий Алексеевич представлял племянниц, Полина, стоявшая немного впереди сестры, сделала неловкий реверанс и, покраснев до ушей, улыбнулась совсем некстати.

Взглянув на Полину, Денис Васильевич без труда определил и ее непосредственность и ее простоватость и тут же, переведя взгляд на старшую сестру, отдал ей невольное предпочтение. Эта без смущения протянула ему руку и, грея ровным теплом своих чудесных глаз, произнесла по-французски необыкновенно свежим и мягким голосом:

— Eugenie...

И тут Денис Васильевич молниеносно вспомнил, где и при каких обстоятельствах двадцать один год назад слышал он это имя. Вспомнил осенний дождливый день на марше к Вязьме, вспомнил, как ехавший рядом Митенька, беспрерывно болтая, упомянул впервые имя своей крошечной племянницы, оставленной в Пензе! Евгения! Так вот она какая стала, эта самая Евгения!

— Я с вами знаком по рассказам любезного вашего дядюшки Дмитрия Алексеевича, — с улыбкой на губах сказал он и, заметив, как при этом дядя и племянница обменялись быстрым недоумевающим взглядом, пояснил: — Это было в двенадцатом году, вы покоились тогда в колыбели и вряд ли могли выговорить свое имя даже на детском наречии...

Все рассмеялись. Дмитрий Алексеевич промолвил:

— Верно, верно! Теперь я припоминаю такой разговор... только подробности ускользают...

— Ты говорил о племяннице в тот день, душа моя, как мы столкнулись с французскими войсками, продвигавшимися на Калугу, и вынуждены были отойти на Медынскую дорогу.

Дмитрий Алексеевич, сияя всем лицом, подхватил:

— А на другое утро узнали, что Москва освобождена от неприятеля! Боже, как мы ликовали! Незабвенные дни!

Денис Васильевич, обратившись к Евгении, заметил:

— Видите, какими великими событиями освящено наше знакомство... Это верный залог моего расположения к вам!

Щеки девушки слегка порозовели, но она не опускала глаз и смотрела на него смело и с доброжелательным любопытством.

А на следующий день, зайдя в библиотеку, Денис Васильевич застал там Евгению за просмотром новых книг и журналов. Она была в скромном синем шерстяном платье с белоснежным кружевным воротничком и показалась еще привлекательней, чем вчера. На его приветствие кивнула она изящной головкой ласково и без всякого жеманства, как старому знакомому.

— Простите, Эжени, я, кажется, вам помешал? — осведомился он.

— О нет! Да я уже сейчас и заканчиваю!.. Вон сколько отобрала читать! — указала она на стопку книг, лежавших отдельно на круглом столике, за которым сидела.

— Позвольте полюбопытствовать... что же привлекает ваше благосклонное внимание? Романы Радклиф, Дюма, Вальтера Скотта?

— Я жадная, я читаю все, что попадется под руку, — улыбнулась она, — хотя верное изображение жизни в книгах предпочитаю игривым и неправдоподобным сюжетам...

— Ну, а каково ваше мнение о нашумевших романах Загоскина? — спросил он, присаживаясь на диванчик, и наблюдая за ней, и любуясь ею.

— Мне больше понравился «Юрий Милославский», а в «Рославлеве»... — Она на секунду задумалась... — Дядя рассказывает про двенадцатый год несколько иначе и более интересно, чем описывается в романе... А скажите, — неожиданно обратилась она

к нему, — это правда, что написано там господином Загоскиным про вас?

— Моего имени, однако ж, он как будто нигде не употребляет...

— Да, но кто же не узнает вас в начальнике партизанского отряда? И дядя подтверждает, будто случай с пленным французским поручиком произошел на самом деле... Верно ли это?

— Верно, хотя описано не совсем точно, — сказал он. — Поручик, взятый нами в плен, был не кирасир, а гусар по фамилии Тилинг. Он пожаловался, что казаки отняли у него кольцо, портрет и письмо любимой женщины. Увы, будучи сам склонен ко всему романтическому, — при этом он вздохнул, — я не мог оставаться равнодушным к его жалобе. В то время я пылал страстью к неверной, которую полагал верной. Чувства моего узника отозвались в душе моей, ибо мы служили одному божеству и у одного алтаря. Я был счастлив, когда мне удалось отыскать у казаков вещи Тилинга и отослать их при той записке, о которой сообщается в романе: «Примите, сударь, вещи столь для вас драгоценные. Пусть они, напоминая о милом предмете, вместе с тем докажут вам, что храбрость и злополучие так же уважаемы в России, как и в других землях».

Евгения, слушавшая с затаенным дыханием этот рассказ, воскликнула:

— Воображаю, как несчастный влюбленный был рад и как должен он был благодарить вас!

Денис Васильевич слегка усмехнулся:

— Что касается благодарности... Этот Тилинг, живший после того два года в Орле, говорил о сем приключении как о великодушии некоторых атаманов-разбойников.

— А каким же образом ваша записка стала известна Загоскину?

— В одной из моих бесед с ним я сам сообщил об этом эпизоде, ибо, будучи чуждым не только словесности, но и грамматики, я довольствуюсь ролью указчика и подсказчика знаменитым нашим писате-

лям некоторых происшествий, участником коих являлся...

Евгения внезапно вспыхнула, перебила:

— Неправда, неправда! Зачем вы так говорите? Я знаю ваши стихи... и читала статьи... Пушкин недаром ценит вашу оригинальность и ваш неподражаемый слог!

Денис Васильевич от последних слов пришел в совершенное недоумение:

— Позвольте... откуда же вы знаете, что ценит Пушкин?

— А разве его лестные отзывы являются для вас новостью? — с едва приметным лукавством ответила она вопросом на вопрос.

— Положим, я что-то такое слышал, — признался он, — но ведь я не раз бывал с Пушкиным, это никому не покажется странным, а кто же вам-то поведал о том, что Пушкин ценит? Что за тайна!

— Никакой тайны нет. Мне говорил Вяземский.

— Вяземский? Вы с ним знакомы?

— Да. Мы встречались в Пензе. Петр Андреевич был со мною очень мил и любезен.

— Вот что! Значит, милейший наш Вышний Волочок и у вас подвизался на любимом поприще!

— Я... не очень понимаю вас.

— Простите... Вышним Волочком мы дружески прозвали Вяземского за постоянные волокитства... А Пушкин называет его еще и князем Вертопрахиным.

Она засмеялась.

— Прелестно! Этот грешок за ним водится, я тоже замечала. А все-таки он человек интересный. Я до сих пор вспоминаю о нем с удовольствием. И он не менее моего дяди много и хорошо говорил о вас!

— И напрасно, ибо вы, вероятно, успели теперь убедиться, насколько все эти похвальные слова обо мне были преувеличины.

— Я слишком мало вас знаю, чтоб иметь право на какое-либо мнение о вас, — опустив глаза, тихо сказала она и тут же решительно поднялась: — Мы заговорились, я совсем забыла, что пора ехать домой.

— Как! Вы сегодня уезжаете?

— Да. Погостили пять дней, пора и честь знать. И, кроме того... не забудьте, что сейчас праздники и в Пензе ожидает нас много веселостей. Полина покоя мне не дает!

Он взял ее руку и не удержался от смелого и откровенного признания:

— Мне жаль расставаться с вами, Эжени...

Она улыбнулась и сказала:

— Приезжайте к нам, я буду рада вас видеть. Кстати, на будущей неделе большой бал в Дворянском собрании.

— Постараюсь быть, — ответил он, — хотя не могу обещать, завтра затевается тут охота, потом облава на волков...

— Успеете и всех волков истребить и в Пензу вояж совершить, — произнесла она на прощанье и повторила: — Приезжайте!

Он молча поклонился. А сам уже знал, что поедет непременно.

III

Евгения осталась без матери двенадцати лет. Отцу было давно за пятьдесят, он с двумя женатыми сыновьями, Сергеем и Павлом, жил постоянно в своей Золотаревке, под Пензой, где построил довольно большую по тем временам суконную фабрику.

Евгению и Полину взяла старшая их сестра Анна Дмитриевна, бывшая замужем за скромным и тихим отставным поручиком Спицыным. Анна Дмитриевна своих детей не имела и всей душой отдалась заботам о любимых без памяти сестренках. Дом Спицыных в Пензе стал их родным домом. Девочек баловали, одевали, как куколок, и присматривали за ними без строгости.

Когда они окончили пансион и заневестились, отец выделил им по шестьдесят тысяч рублей. Девушки, получив возможность жить самостоятельно и беспечно, стали блистать в пензенском обществе. У богатых невест толпа поклонников не редела, и многие пытались за них свататься, хотя безуспешно. Полина,

правда, остановила как будто свой выбор на молодом чиновнике губернаторской канцелярии Барабанове, однако на вопрос Анны Дмитриевны о серьезности ее намерений девушка, смеясь, ответила:

— Подожду, может быть, получше найдется, а этот от меня никуда не уйдет...

А у Евгении все было сложнее. Она не отказывалась от светских развлечений, но в среде пензенских дворянских сынков и губернских чиновников, не отличавшихся своеобразием и живостью мысли, большой отрады для себя не находила. Книги, к чтению которых пристрастилась еще в пансионе, расширяли ее умственный кругозор. Сатирические замечания Вяземского на пензенцев не выходили из головы. Ощущение какой-то неудовлетворенности и пустоты являлось все чаще. Евгении грезились люди высоких духовных запросов, люди незаурядные и остроумные, совсем не похожие на окружающих ее лиц.

Приезда Дениса Давыдова в Бекетовку она ожидала с нетерпением. Овеянное романтикой имя поэта-партизана было давно ей известно и давно возбуждало интерес. И хотя предстал он перед нею с поблекшим лицом и густой сеткой мелких морщинок под глазами, но эти отпечатки неумолимых лет как-то сразу сглаживались благодаря присущей ему изумительной молодости сердца и нрава[59].

Евгения нашла Дениса Васильевича приятным во всех отношениях, осталась довольна знакомством и чувствовала, что он тоже отнесся к ней не безразлично, однако, собираясь на бал в Дворянское собрание, не была достаточно уверена в том, что он приедет. Думая об этом, она ловила себя на противоречивых мыслях: она одновременно и желала встречи с ним и побаивалась его приезда, ибо, кто знает, не вообразит ли он, что ее дружеское приглашение означает нечто большее и не создаст ли это обстоятельство ложных отношений между ними?

Опасения Евгении не оправдались. Денис Васильевич упросил, впрочем без особого труда, друга Митеньку ехать с ним. В Пензе у Бекетовых был свой дом, где они, приехав засветло, и остановились, а за-

тем, надев парадные мундиры, отправились к Спицыным, чтобы захватить Евгению и Полину и вместе ехать в собрание. Денис Васильевич находился в хорошем настроении, и, пока девушки кончали одеваться, он не отказался от предложенного Анной Дмитриевной чая и остроумной беседой совершенно расположил к себе хозяев.

Все обошлось наилучшим образом. Евгения не ощутила ни малейшей неловкости при встрече с Денисом Васильевичем. Он держался непринужденно, спокойно, и, когда она попросила написать на память что-нибудь в ее альбом, он тут же взял перо и ответил прелестным четверостишием:

В тебе, в тебе одной природа, не искусство,
Ум обольстительный с душевной простотой,
Веселость резвая с мечтательной душой,
И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство!

Но что было особенно важно и за что она была особенно ему благодарна, взятый им тон семейной простоты в обращении с нею он сохранил и в собрании. Никаких кривотолков возникнуть не могло. Все знали, что знаменитый поэт-партизан гостит у Бекетовых, и таким естественным казалось его появление на балу в обществе бывшего сослуживца и его племянниц и дружеское обхождение с ними!

Только старый знакомец Иван Васильевич Сабуров, местный помещик и оригинал, человек угрюмый и желчный, увидев Дениса Васильевича, проходившего под руку с Евгенией и Полиной, попробовал вызвать смущение и сказал как бы в шутку:

— А ведь милые девицы в конце концов могут потребовать от вашего превосходительства ответа, которой же отдано ваше сердце? Что тогда?

Денис Васильевич быстро нашелся:

— Я поступлю, любезный Иван Васильевич, как в подобном случае поступил Талейран... Лукавый сей дипломат, проводя время в обществе неразлучных подруг госпожи Рекамье и госпожи Сталь, ни одной из них явного предпочтения не отдавал. Тогда прекрасные дамы договорились сами вызвать его на признание. «Если б мы обе тонули, — спросили они

однажды Талейрана, — которую из нас бросились бы вы сперва спасать?» — «О, я уверен, сударыни, — ответил дипломат, — что вы обе отлично умеете плавать!»

Хорошее настроение не покидало Дениса Васильевича весь вечер, несмотря на то, что быть наедине с Евгенией пришлось очень немного. Митенька, гордясь дружбой с бывшим командиром, старался с ним не разлучаться и без конца представлял его своим любопытствующим землякам. Подобное проявление дружеских чувств при других обстоятельствах показалось бы несносным, но теперь принималось в качестве необходимого средства для сохранения декорума. Денис Васильевич был в новом для него обществе, вызывал повышенный интерес и понимал, как любой его неосторожный шаг или даже взгляд могут скомпрометировать Евгению. Довольно с него нескольких милых слов, сказанных во время одной из отданных ему кадрилей:

— Мне с вами так хорошо, свободно и легко, словно...

— Словно вы мой старый двоюродный дядюшка, — шутя докончил он, слегка пожав ее руку.

— О, я совсем не то хотела сказать, — смутившись, произнесла она, — мне легко с вами потому, что вы кажетесь таким простым и открытым...

Музыканты, размещенные на хорах, играют вальс. Кипит веселый людской поток. Огни люстр и канделябров, колыхаясь, отсвечивают на паркете. Денис Васильевич в группе почтенных пензенцев стоит в дверях зала и, наблюдая за танцующими, видит ее одну, ловит брошенный ею ласковый взгляд. Сердце его начинает биться сильнее, чем положено. Нежность, затаенная в душе, требует выхода. Поэтический хмель кружит голову. И начинаются стихи:

Кипит поток в дубраве шумной
И мчится скачущей волной,
И катит в ярости безумной
Песок и камень вековой.
Но, покорен красой невольно,
Колышет ласково поток
Слетевший с берега на волны

Весенний, розовый листок.
Так бурей вальса не сокрыта,
Так от толпы отличена,
Летит воздушна и стройна
Моя любовь, моя харита,
Виновница тоски моей,
Моих мечтаний, вдохновений,
И поэтических волнений,
И поэтических страстей!

Стихотворение, впрочем, было им положено на бумагу и вручено вдохновительнице спустя несколько дней после бала.

Вяземскому, посылая «Вальс», он писал:

«По стихам этим ты подумаешь, что я смертельно влюблен, и хорошо сделаешь. Кстати о вдохновительнице оных, она помнит тебя, хотя я употребляю все мои старания, чтобы она тебя совсем забыла».

15 января 1834 года в Пензе силами местных артистов была поставлена комедия «Горе от ума».

Денис Васильевич, успевший съездить в Бекетовку и снова возвратиться, находился вместе с Евгенией среди зрителей. И, несмотря на близость пленившей его девушки, он, глядя на сцену и вслушиваясь в страстные, обличительные монологи Чацкого, невольно и все чувствительнее отдавался во власть нахлынувших грустных воспоминаний.

Грибоедов словно живой встает перед ним. Вот за столом у Бегичевых, поблескивая очками, с чуть приметной улыбкой на тонких губах, читает Александр Сергеевич впервые свою бессмертную комедию; вот сидит против него задумчивый на шумном обеде у Вяземского; вот едут они вместе на дрожках в Тифлис. А что же произошло дальше? Ермолов сказал тогда, что не может более доверять Грибоедову, как доверял прежде, что Грибоедов сочиняет партикулярные письма своему родственнику и благодетелю Паскевичу, переметнувшись в его лагерь. И он, Денис Давыдов, будучи безгранично предан Ермолову, не выяснив подробностей, тоже начал сердито обвинять Грибоедова в неблагодарности,

в том, что, «терзаемый бесом честолюбия, он заглушил в сердце своем чувство признательности к лицам, не могущим быть ему более полезными». Но так ли это было?

Как-то в Остафьеве он прочитал Вяземскому свои черновые наброски о Грибоедове. Петр Андреевич заметил:

— Бес честолюбия терзает нас всех, милый Денис, и тебя не менее других, что не причина для обвинения Грибоедова, а доказательных доводов в твоей статье нет, да и сомневаюсь, что ты найдешь их...

Он согласился, статью обрабатывать и печатать не стал, спрятал в стол. Однако все это было позднее, тогда... Ермолов разорвал связи с Грибоедовым, и, таким образом, он, Денис Давыдов, был поставлен в условия, при которых сохранение прежних отношений с Грибоедовым сделалось невозможным. И как больно отложилась в памяти последняя кавказская встреча с ним! Грибоедов направлялся в канцелярию Паскевича, а Денис Васильевич, только что получивший разрешение на выезд в Россию, выходил оттуда. Они молча, сухо раскланялись и разошлись, словно никогда не существовало между ними близости, полной душевных откровений, признаний и теплоты.

Денис Васильевич не удержался от легкого, непроизвольного вздоха. Евгения, чуть наклонившись к нему, тихо по-французски спросила:

— Вам, очевидно, не очень-то нравится игра наших артистов?

Он, сразу придя в себя, промолвил:

— Мне довелось слышать, как Грибоедов сам читал свою комедию...

Этот разговор продолжился после спектакля. Они решили подышать свежим воздухом и отправились домой пешком. Был легкий морозец, светила полная луна. Евгения, идя под руку с Денисом Васильевичем, как зачарованная слушала полные живости рассказы о знаменитом писателе.

— А вы знаете, — сказал, между прочим, Денис Васильевич, — что в Платоне Михайловиче Гориче

изображен не кто иной, как мой зять Дмитрий Никитич Бегичев?

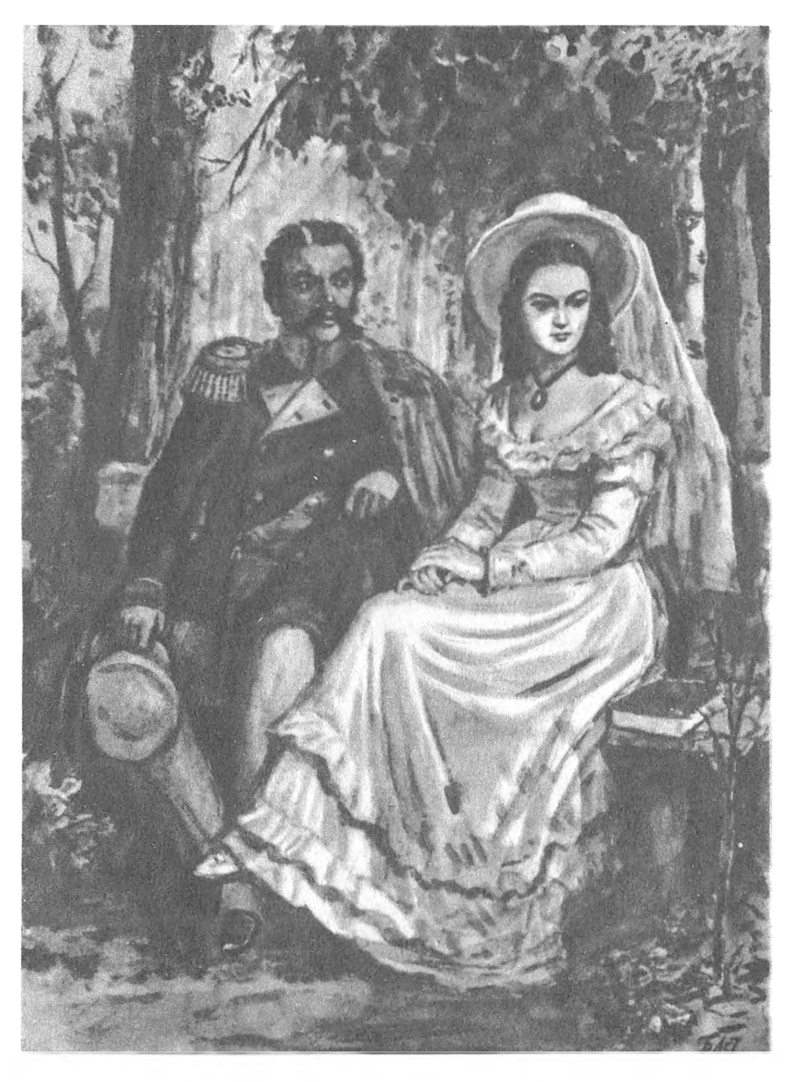
— Да что вы говорите! А я слышала, будто Бегичев губернатором в Воронеже?

— Ну, в то время, когда писалась пьеса, Дмитрий Никитич о губернаторстве и не помышлял... Летом он с женой, моей доброй сестрой Александрой Васильевной, гостил у брата Степана в тульской деревне, где в это же время жил и Грибоедов. Чтоб никто не мешал Александру Сергеевичу работать, для него в саду построили особый павильон с двумя большими окнами, там и была закончена знаменитая комедия. И вот однажды, придя домой, Грибоедов застал братьев Бегичевых в жаркой беседе о давно прошедших временах. Вечер был теплый. Они сидели у открытых окон с расстегнутыми жилетами, и сестра моя, зная, что Дмитрий Никитич склонен к простуде от сквозняков, подойдя к нему, стала уговаривать застегнуть жилет. Дмитрий Никитич, обратясь к ней, с досадой воскликнул: «Эх, матушка!» — и сейчас же, повернувшись снова к брату, заключил прерванный с ним разговор вздохом: «А славное было время тогда!» Грибоедов, наблюдавший сцену, рассмеялся, побежал в свой павильон и, возвратясь с рукописью, прочитал известную сцену с Платоном Михайловичем и Натальей Дмитриевной. Когда же все посмеялись, Грибоедов добавил: «Вы не подумайте только, что я вас изобразил, я окончил эту сцену перед приходом сюда». Но так или иначе, а многие черты зятя схвачены верно; подобно Чацкому и Горичу, Грибоедов и Бегичев были однополчане и знали друг друга в совершенстве[60].

— Из этого можно сделать вывод, — улыбнулась Евгения, — как опасны знакомства с писателями и поэтами... Ведь они предают бессмертию не только наши достоинства, но и недостатки!

Намек был сделан в шутливом тоне. Денис Васильевич весело отозвался:

— Милая Эжени, вам нечего страшиться, ибо поэты — рыцари прекрасного, а вы... вы вся поэзия с ног до головы!



К стр. 357

Она смутилась и выпустила его руку.

— Ваши комплименты начинают пугать меня... Я их не заслуживаю!

Он пылко возразил:

— Какие там комплименты! Да знаете ли вы, что одного вашего взгляда достаточно, чтобы любой самый сухой приказный ударил по струнам лиры? А что же говорить о тех, кому свойственно ощущение поэтического? Я, подобно закупоренной бутылке вина, три года стоял во льду прозы, а сейчас...

Евгения не выдержала и рассмеялась:

— Пробка хлопнула! И что же?

Он в тон ей продолжал:

— Вино закипело и полилось через край, грозя наводнением Парнасу, коим для меня отныне является сей холм, на котором лежит Пенза. Нет, право, глядя на вас, невольно начинаешь даже мыслить стихами...

Они подошли к дому. Он взял ее руку и, глядя с нежностью ей в глаза, проговорил:

Уходишь ты, и за тобою вслед
Стремится мысль, душа несется,
И стынет кровь, и жизни нет!..
Но только что во мне твой шорох отзовется,
Я жизни чувствую прилив, я вижу свет,
И возвращается душа, и сердце бьется!..

Потом, достав из кармана аккуратно сложенный листок бумаги и передавая ей, сказал:

— А вот эти стихи появились на свет божий и вчера... Я не уверен, что они понравятся вам, но я писал их, думая о вас!

Евгения, придя к себе, нетерпеливо развернула листок и прочитала:

Море воет, море стонет,
И во мраке, одинок,
Поглощен волною, тонет
Мой заносчивый челнок.
Но, счастливец, пред собою
Вижу звездочку мою —
И покоен я душою,
И беспечно я пою:

Молодая, золотая
Предвещательница дня,
При тебе беда земная
Недоступна для меня.
Но сокрой за бурной мглою
Ты сияние свое —
И сокроется с тобою
Провидение мое!

IV

Он пробыл в Пензе до марта и возвратился в Верхнюю Мазу великим постом «очищать себя от грехов всех родов поэзии», как писал поэту Языкову, жившему тогда по соседству с ним в той же Симбирской губернии.

Начавшийся роман с Евгенией Золотаревой был, разумеется, тщательно от жены скрыт, да в то время он еще и не выходил за рамки восхищения умной девушкой и легкой влюбленности, порождавшей радостную поэтическую настроенность.

Денис Васильевич давно не чувствовал себя так свежо и молодо, как в эту весну. И давно так хорошо ему не работалось! Он с увлечением писал воспоминания о польской войне и одновременно отделывал статьи о прусской кампании 1807 года. А вечерами отправлялся по обыкновению гулять и, слушая весенние степные шорохи и гортанные крики пролетавших в вышине журавлиных стай, с замиранием сердца думал о Евгении, и трепетные слова, мысленно сказанные ей, ложились в стихотворные строфы.

4 апреля он писал поэту Языкову:

«Я к вам послал еще несколько пиес, вырвавшихся из души, а при сем еще посылаю одну. Вы видите, что чем черт не шутит! Однако все эти посылки я делаю не для того, чтобы вы стихи мои хвалили, а более для того, чтобы вы их бранили и изъявили бы мнение ваше, где в них что надо исправить и как исправить? Так со мною поступают друзья мои: Баратынский, Пушкин, Вяземский, того и от вас прошу. Да, ради бога, не пишите ко мне церемониальных писем. Последнее ужаснуло меня официальным

заключением: «с истинным почтением и таковою же преданностью, честь имею быть вашего превосходительства и пр.». Бог с вами с такими выходками!»

В тот же день было написано письмо и Пушкину, новую повесть которого «Пиковую даму» он только что с наслаждением прочитал в третьем номере «Библиотеки для чтения».

«Помилуй, что у тебя за дьявольская память; я когда-то на лету рассказывал тебе разговор мой с М. А. Нарышкиной. Ты слово в слово поставил это эпиграфом в одном из отделений «Пиковой дамы». Вообрази мое удивление и еще более восхищение жить так долго в памяти Пушкина, некогда любезнейшего собутыльника и всегда единственного родного моей душе поэта. У меня сердце облилось радостью, как при получении записки от любимой женщины.

Как мне досадно было разъехаться с тобой прошлого года! Я не успел проехать Симбирск, как ты туда явился, и что всего досаднее, я возвращался из того края, в который ты ехал и где я мог бы тебе указать на разные личности, от которых ты мог бы получить нужные бумаги и сведения. Ты был потом у Языкова, а я не знал о том. Неужели ты думаешь, что я мог бы засидеться в своем захолустье и не прилетел бы обнять тебя? Злодей, зачем не уведомил ты меня о том?

Знаешь ли, что струны сердца моего опять прозвучали. На днях я написал много стихов, так и брызгало ими. Я, право, думал, что рассудок во мне так разжирел, что вытеснил последнюю поэзию; не тут-то было, встрепенулась небесная, а он давай бог ноги! Так что по сю пору не отыщу его».

А в конце месяца, сообщая Вяземскому, что продолжает находиться в поэтическом восторге, признается:

«Без шуток, от меня так и брызжет стихами. Золотарева как будто прорвала заглохший источник. Последние стихи, сам скажу, что хороши, и оттого не посылаю их тебе, что боюсь, как бы они не попали в печать, чего я отнюдь не желаю... Уведомь, в кого

ты влюблен? Я что-то не верю твоей зависти моей помолоделости; это отвод. Да и есть ли старость для поэта? Я, право, думал, что век сердце не встрепенется и ни один стих из души не вырвется. Золотарева все поставила вверх дном: и сердце забилось, и стихи явились, и теперь даже *текут ручьи любви,* как сказал Пушкин. A propos *, поцелуй его за эпиграф в «Пиковой даме», он меня утешил воспоминанием обо мне... Жду с нетерпением Пугачева. Я уверен, что это будет презанимательная книга. Уведомь, что он еще пишет? Да ради бога заставьте его продолжать Онегина, эта прелесть у меня вечно в руках...»

Прошла весна. В июне происходила знаменитая ежегодная пензенская ярмарка, и Денис Васильевич, собираясь ехать туда вместе с Языковым, нетерпеливо считал оставшиеся до поездки дни. Он заранее известил Евгению о предполагаемом приезде, и она в небольшой ответной записке выразила удовольствие вновь его увидеть; эта записка послужила поводом для нового нежного послания к ней, и, таким образом, завязалась переписка, как бы подливавшая масла в огонь, готовый вспыхнуть.

И тут произошла неприятность, которой он опасался. В журналах появились его первые песни любви, да еще с явным намеком, где живет их вдохновительница!

Вяземскому по этому поводу он писал так:

«Злодей! Что ты со мною делаешь? Зачем же выставлять *Пенза* под моим *Вальсом?* Это уже не в бровь, а в глаз; ты забыл, что я женат, что стихи писаны не жене. Теперь другой какой-то шут напечатал и *Моя звездочка* — вспышку, которую я печатать не хотел от малого ее достоинства, и также поставил внизу *Пенза.* Что мне с вами делать? Видно, придется любить прозою и втихомолку. У меня есть много стихов, послал бы тебе, да боюсь, чтобы и они не попали в зеленый шкаф «Библиотеки для чтения». Вот что со мной наделали, или лучше, — что я сам с собой наделал!

* Между прочим *(франц.).*

Если б, подобно тебе, я сначала приучил жену читать стихи мои ко всем красавицам без разбору, то и дело было бы в шляпе, а внезапность опасна. Правда, жена моя не верит моим восторгам к другим, ну, а как неравно поверит? Ведь такую гонку задаст, что своих не узнаешь, и поделом. Что я за Мазепа другой, чтобы соблазнять другую Марию? Шутки в сторону, а я под старость чуть было не вспомнил молодые лета мои; этому причина бродящий еще хмель юности и поэзии внутри головы и черная краска на ней снаружи; я вообразил, что мне еще по крайней мере тридцать лет от роду».

Случай с журналами, как видно из письма, несколько отрезвил его, вызвав вполне благоразумные размышления. Чем, кроме ужасных страданий и бедствий, мог кончиться для него и для нее завязавшийся роман? Он вдвое старше Евгении, у него семья, шестеро детей...

Думать о взаимности, о настоящем ответном чувстве ему просто смешно! Необходимо положить конец увлечению, пока не поздно! Пусть останется светлым пятном в его жизни встреча с нею, и только! Надо написать прощальное письмо, отослать посвященные ей стихи и отказаться от поездки в Пензу.

Но милый образ был таким обаятельным и манящим, что вскоре чувство невольно начало сопротивляться доводам рассудка и толкать на иное решение вопроса. «В конце концов почему же надо отказаться от поездки? — думал он.— Что за малодушие! Нет, я должен сдержать обещание, поехать, повидаться с Евгенией и честно объясниться...»

Искать смысла в таком заключении нечего, ибо ясно, что в нем было скрыто одно лишь желание во что бы то ни стало еще раз увидеть ее — он не мог уже отказаться от этого.

И он поехал.

Евгения в летнем открытом платье и соломенной шляпке сидела на скамье в далеком конце бекетовского парка. В бархатных глазах ее каждый безошибочно отгадал бы следы скрытой тревоги. Книга,

взятая с собой, лежала на коленях. Евгения пробовала отвлечь себя от беспокойных мыслей чтением — и не могла.

Три дня назад произошла в Пензе встреча с Денисом Васильевичем. Он подарил ей свои чудесные стихи, потом они вместе ходили на ярмарку и покупали безделушки, он был по обыкновению мил и любезен. Но вечером, когда прощались наедине, он, целуя ей руки, страстно прошептал:

— Если б вы знали, как я люблю вас и как вы меня мучаете, милая Эжени!

Она невольно вздрогнула от этого шепота и сразу изменилась в лице. Для нее не было новостью его признание; он еще зимой говорил о своем чувстве к ней, и оно сквозило в каждой строчке посвященных ей стихов, однако все это воспринималось как-то не очень серьезно, казалось проявлением ничем не обязывающего флирта и чисто поэтической взволнованности. Разница в летах, а главное, семейное его положение, словно каменной стеной, ограждали от каких бы то ни было практических видов на него, хотя он и нравился ей все более.

Теперь же в страстном шепоте она ощущала подлинную силу его любви и сердечной муки. И, потупив глаза, несколько секунд стояла молча, не зная, что сказать. Нужно было время, чтоб разобраться в самой себе. И нужно уехать из Пензы, где все на виду.

Она робко протянула ему руку и произнесла:

— Я собираюсь завтра на несколько дней в Бекетовку...

Вероятно, уловив ход ее мыслей, он почтительно осведомился:

— А вы разрешите мне навестить вас там?

Она кивнула головой... Глаза его радостно просияли.

И вот она здесь. Вопросы, встающие перед ней, сложны и тяжелы, потому что расставаться с ним навсегда она никак не хочет. А в таком случае что же? Неужели она любит? Или просто не понимает, какими опасностями чревато продолжение их свида-

ний? Кажется, что любит... Ее волнуют немые взгляды его горячих глаз, его признания, его стихи...

Евгения машинально раскрывает книгу. Там хранится дорогой листок с написанным для нее романсом:

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолетних сновидений
Не возвращай, не возвращай!
Не повторяй мне имя той,
Которой память — мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.
Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай.
Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой.

Евгения перечитывает эти трогательные строчки, в которых, казалось, слышны были рыдания души опаленного страстью поэта. На глазах у нее навертываются невольные слезинки. Милый Денис Васильевич... Как он страдает! И теперь она должна оттолкнуть его, сказать, чтоб он поскорей забыл ее? Нет, этого она не сделает! Он честен, рыцарски благороден, на него можно положиться, пусть сам решает, как нужно поступить.

И все же полного успокоения подобные самовнушения не давали, она ждала приезда Дениса Васильевича в Бекетовку не с прежней беззаботностью, а с затаенным смятением, ибо знала, что приближается час неминуемого объяснения и что-то должно серьезно измениться в ее жизни.

И час объяснения настал.

Спускалась на землю короткая летняя ночь. Чистое, подрумяненное закатом небо украшалось первыми звездами. В парке цвели липы, и сильный медвяный запах слегка кружил голову. Денис Васильевич и Евгения сидели на той самой скамье, где недавно она одна предавалась размышлениям.

— Вы угадываете, конечно, о чем я хочу говорить с вами? — начал он и вопросительно посмотрел на нее.

— Да... Мне так кажется по крайней мере, — смущенно промолвила она, опуская глаза.

Он немного помолчал, затем вздохнул и взволнованным голосом сказал:

— Если б я был свободен... я, не колеблясь ни минуты, упал бы к ногам вашим и, как величайшего счастья, просил бы руки вашей... Но вам известно, что я не могу этого сделать, следовательно... нам должно расстаться...

— Ах, нет! — воскликнула она вдруг, и на длинных ресницах ее приподнятых глаз блеснули слезы.

Тронутый этим душевным порывом, он благодарно поцеловал ее руку и продолжил:

— Я верю, что вы не хотите разрыва, милая Эжени, и знаю, что вы жалеете меня... Однако наши отношения могут быть истолкованы в превратном смысле, и безупречность вашей репутации подвергнется незаслуженным сомнениям... А потом, — он почти до шепота понизил голос, — подумайте немного и о том, каково мне. Я имею в виду не мнение света и семейные неприятности, я говорю о своем чувстве... Жить призрачным счастьем и сгорать в огне безнадежной любви! Согласитесь, подобное мучительное состояние тяжелей любой пытки...

— Почему же вы... говорите... о безнадежной любви? — чуть слышно сказала она.

— Потому, что я вдвое старше вас, милая Эжени, и потому...

Евгения неожиданно с нервной дрожью в голосе перебила:

— Неправда! Я не стала бы сидеть с вами здесь, и у меня не сжималось бы сердце от ваших слов, если б я...

Она не договорила и отвернулась, сжав губы, чтоб не расплакаться. Он, не веря ушам своим и задыхаясь от прихлынувшего к груди потока жаркой крови, произнес:

— Возможно ли? Вы... вы... любите? Эжени, жизнь моя!

Она медленно повернула голову. Он увидел ее милое, смущенное, счастливое лицо и, ликуя от восторга и уже не владея собой, стал целовать ее руки, ее глаза, ее полуоткрытые горячие губы...

И не в эту ли памятную ночь, а вернее, в часы рассвета, ошеломленный счастьем и еще обуреваемый сомнениями, он писал:

Неужто я любим? — Мой друг, мой юный друг,
О, усмири последним увереньем,
Еще колеблемый сомненьем
Мой пылкий, беспокойный дух!
Скажи, что сердца ты познала цену мною,
Что первого к любви биения его
Я был виновником!. Не надо ничего —
Ни рая, ни земли! Мой рай найду с тобою...

V

Может быть, эти летние дни, проведенные с Евгенией в Бекетовке и Пензе, были самыми счастливыми днями в его жизни. Он перебирал в памяти прошлые свои увлечения и ни в одном не находил сходства с тем, что испытывал сейчас. Аглая, Лиза Злотницкая, Соня... И он их любил, и они его любили, каждая по-своему. Но кто был ему близок по общности духовных интересов и поэтическому восприятию жизни? Никто! И он давно ощущал душевное свое одиночество и писал о нем:

Я часто говорю, печальный, сам с собою:
О, сбудется ль когда мечтаемое мною?
Иль я определен в мятежной жизни сей
Не слышать отзыва нигде душе моей?

В отношениях с Евгенией появилось то, о чем он мечтал. Душа нашла отзыв. Чувственные волнения сочетались с волнениями поэтическими. Денис Васильевич и Евгения могли часами говорить на самые разнообразные темы, спорить о литературе и не замечать времени. Она наслаждалась его рассказами и стихами, он — ее наслаждением. Его привязанность к ней возрастала.

Вопрос о будущем затемнялся теперь еще больше и, если посмотреть со стороны, уже приобретал драматические очертания, однако Денис Васильевич, находясь на верху блаженства, старался об этом не думать, вернее — склонен был, как многие в подобных случаях, к тому, чтобы предоставить решение мучительного вопроса времени спасительному «там будет видно».

Пока же можно было не беспокоиться. Жена в конце августа уезжает с детьми в Москву, он останется один и всю осень проведет в Пензе с Евгенией!

И осень, на редкость сухая и теплая в том году осень, наступила, принеся с собой не только ожидаемые радости, но и неожиданные огорчения. Впрочем, можно ли называть их неожиданными? Произошло то, что не могло не произойти. Как ни старались Денис Васильевич и Евгения скрывать свои свидания, а все-таки они были пензенцами замечены, и по городу ядовитыми змеями стали расползаться сплетни.

Анна Дмитриевна Спицына встревожилась первой.

— Надо прекратить ваши встречи, они до добра не доведут, — решительно и строго заявила она Евгении. — Если ты сама этого не сделаешь, я буду говорить с Денисом Васильевичем...

Евгения вспыхнула:

— Не уподобляйся, пожалуйста, базарным кумушкам и оставь нас в покое! Я не намерена лишать себя его общества только потому, что кому-то это не нравится!

Анна Дмитриевна укоризненно покачала головой.

— Надо считаться с мнением людей, Евгения... Понятие о том, что девицам прилично и что неприлично, не мною установлено. Подумай-ка хорошенько!

Разговор с сестрой Евгению и взволновал и насторожил. Она в глубине души соглашалась, что сестра права, необходимо, во всяком случае, хотя бы сократить встречи, показываться вместе в обществе как можно реже. А Денис Васильевич принял эти

доводы за начавшееся с ее стороны охлаждение! Он несколько дней не показывался, потом явился с новыми стихами, выражавшими его настроение:

Я вас люблю так, как любить вас должно:
Наперекор судьбы и сплетней городских,
Наперекор, быть может, вас самих,
Томящих жизнь мою жестоко и безбожно.
Я вас люблю, — не оттого, что вы
Прекрасней всех, что стан ваш негой дышет,
Уста роскошствуют и взор востоком пышет,
Что вы — поэзия от ног до головы!
Я вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, —
Я мог бы вас любить глухим, лишенным зренья...
Я вас люблю затем, что это — вы!
На право вас любить не прибегу к пашпорту
Иссохших завистью жеманниц отставных:
Давно с почтением я умоляю их
Не заниматься мной и убираться к черту!

Последние четыре строчки Евгении не понравились. И не потому, что звучавшее в них раздражение как-то огрубляло нежные слова признания, а потому, что раздражение вылилось в форму бравирования, и это показалось совсем неуместным. Ведь сплетни не так были страшны для него, как для нее. Ему следовало бы над этим подумать, прежде чем задевать завистливых отставных жеманниц!

Так прозвучал первый упрек, так начались первые размолвки. Они окончились, правда, новыми клятвами и поцелуями, а все же от внутреннего беспокойства и недовольства Евгения не избавилась. И это понятно.

В середине ноября Денис Васильевич уехал в Москву, где собирался пробыть до весны. Евгения хотя и грустила, но в то же время была довольна, ибо его отъезд положил конец обывательским пересудам. В одном из писем к нему она сообщает, что «проводит дни за чтением книг и отдыхает от злых языков наших салопниц». В другом пишет, что страстный язык, которым он выражается, «заставляет ее трепетать», и предлагает, чтобы впредь между ними сохранились лишь дружеские отношения.

Он был несказанно таким предложением огорчен и отозвался так:

«У вас хватает смелости предлагать мне дружбу, жестокий друг? Любовь подобна жизни, которая, раз утраченная, не возвращается более. Будьте откровенны хоть раз в жизни, — вы хотите отделаться от меня, который, я это чувствую, гнетет и беспокоит вас. Убейте меня, вонзите, не поморщась, мне нож в сердце, говоря: я вас не люблю, я никогда вас не любила, все с моей стороны было обман, я забавлялась».

Евгения поспешила его успокоить, и переписка, так ее восхищавшая, продолжалась всю зиму. Заметим, что в письмах Дениса Васильевича, полных не только любовных вздохов, но и живых набросков московской жизни, много отзывов о новых книгах, которые он постоянно вместе с новыми нотами посылал Евгении.

«Вы всегда говорили мне, — пишет он, — что из романов вы любите менее игривые. Я писал так моему поставщику Белизару, и он мне прислал один из знаменитых А. Дюма. Я не знаю, достоин ли он быть вам предложенным, я его не читал, так как получил только вчера, а сегодня посылаю вам. Также посылаю повести Пушкина, прочтите их, я уверен, что вы их будете ставить гораздо выше Павлова. Особенно «Выстрел», который Пушкин сам мне читал много раз, и я перечитываю его с большим удовольствием».

В другой раз, сообщая о посылке романа Бенжамена Констана «Адольф» и стихов Виктора Гюго «Осенние листья», он рекомендует их прочитать непременно как произведения замечательные. А ведь в стихах Виктора Гюго, о которых идет речь, революционные мотивы звучат с такой силой, что далеко не всякий решился бы рекомендовать подобные стихи, да еще провинциальной барышне!

Подобные приписки позволяют, во всяком случае, судить о тех общественных и литературных интересах, какими в значительной степени скреплялись отношения Дениса Васильевича и Евгении.

...В конце января 1835 года в Москву неожиданно приехал из своей деревни Алексей Петрович Ермолов.

Царская опала, которой он подвергся, снискала ему еще большую популярность в войсках и среди гражданского населения. Из рук в руки ходила басня — и поговоривали, будто написана она знаменитым Крыловым, — про боевого коня, доставшегося плохому наезднику, приказавшему держать его на привязи:

Вот годы целые без дела конь стоит;
Хозяин на него любуется, глядит:
        А сесть боится,
        Чтоб не свалиться.
И стал наш конь в летах,
Потух огонь в его глазах,
        И спал он с тела.
И как вскормленному в боях не похудеть без дела!
Коня всем жаль: и конюхи плохие,
Да и наездники лихие
Между собою говорят:
«Ну, кто б коню такому был не рад,
Кабы другому он достался».
В том и хозяин сознавался,
Да для него вот та беда,
Что конь в возу не ходит никогда.
И вправду: есть кони, уж от природы
        Такой породы:
Скорей его убьешь,
Чем запряжешь!

Появление Ермолова в общественных местах неизменно вызывало общий интерес. В либеральных кругах его идеализировали, считали смелым противником николаевского казарменного режима. В Кавказском корпусе складывались легенды о бывшем проконсуле, причем он награждался всеми гражданскими добродетелями, а жестокости, допускаемые им при замирении горцев, обычно замалчивались. Именно в таком виде изобразил его Александр Марлинский в повести «Аммалат-Бек», недавно напечатанной в «Московском телеграфе». Все знали, что Марлинский — это псевдоним служившего солдатом на Кавказе декабриста Александра Бесту-

жева, и это обстоятельство придавало черты особой привлекательности образу Ермолова. Наконец имя обиженного царем генерала вопреки его желанию стали использовать и агитаторы-революционеры, бунтовавшие народ и уверявшие, что «Ермолов стоит с нами заодно».

В высших сферах не могли, разумеется, мириться с подобными признаками все возраставшей популярности Ермолова и давно искали случая скомпрометировать чем-нибудь отставного проконсула в глазах его приверженцев.

Император Николай, будучи в Москве после польского восстания, принял Ермолова с необычайным радушием и в знак особого благоволения пригласил к обеду. Но за столом, когда разговор коснулся некоторых мятежных польских генералов и все осуждали их и ожидалось, что Ермолов тоже присоединится к этому мнению, заявив себя, таким образом, сторонником крутых мер, принимаемых царем против поляков, Алексей Петрович произнес:

— А я думаю, господа, что они поступили как благородные граждане...

Николай, услышав эти слова, вспыхнул и, неприлично возвысив голос, сказал:

— Не забудь, однако ж, Алексей Петрович, что эти любезные тебе граждане вскоре станут жителями Сибири...

— Никто их при этом, конечно, не убедит, — спокойно ответил Ермолов, — что милосердием государя они не будут возвращены оттуда...

Николай был обезоружен. И, переведя разговор на другую тему, несколько раз намекнул, что был бы рад видеть вновь Ермолова на службе. Алексей Петрович промолчал.

А через некоторое время Ермолова посетил военный министр граф Чернышев и от имени царя в самом почтительном тоне предложил занять место председателя в генерал-аудиториате.

Ермолов быстро раскусил, в чем дело. Генерал-аудиториат утверждал приговоры судов над военно-

служащими. Ермолов решительно предложение отверг:

— Передайте государю, что единственным для меня утешением была привязанность войска, я не приму должности, которая бы возлагала на меня обязанности палача...[61]

Рассказывал Алексей Петрович о царских происках и многом другом брату Денису так занимательно, что тот однажды посоветовал:

— Вам бы, право, следовало записывать рассказы ваши.

— А зачем? Кто же их публиковать осмелится?

— Так-то оно так, да ведь надо же и в нетленном виде что-нибудь для будущего сохранить...

— Ну, в этом я вполне на тебя полагаюсь, — с обычной усмешкой отозвался Ермолов. — Ты, я знаю, давно всякие, цензурой не допускаемые, любопытные истории в заветные тетради записываешь. думаю, и для моих рассказов местечко там найдешь!

— С вашего позволения, почтеннейший брат, — вставил Денис Васильевич, — и, признаюсь, с большим удовольствием!

Заветные тетради, о которых упомянул Ермолов, существовали на самом деле. Они находились под ключом, тщательно от всех оберегались. Вписывались туда в форме набросков, заметок или анекдотов такие случаи и происшествия, в которых с резкой беспощадностью обличались царственные особы и высшее начальство. Меткие и острые авторские характеристики дорисовывали неприглядные портреты.

Император Александр представлялся как «Агамемнон новейших времен, коего подозрительный и завистливый характер немало всем известен». Цесаревич Константин Павлович, ненавидевший, «подобно младшим братьям своим, умственных занятий», выглядел как полное ничтожество, трус и дурак. Император Николай, по его описанию, имел «мрачный характер и был большей частью крайне злопамятен», он «вовсе не сочувствовал людям способным и бескорыстным», всегда был готов на подлый обман,

а к тому же этот «змей», коему некоторые приписывали мужество, совершенно был лишен его. Со слов своего друга Денис Васильевич записал, что 14 декабря 1825 года у Николая все время «душа была в пятках». А летом 1831 года, когда на Сенной площади в Петербурге произошло народное возмущение, царь укрылся в Петергофе и, дрожа от страха, «прислушивался, не раздаются ли выстрелы со стороны Петербурга», вместо того чтоб быть в столице, как «поступил бы всякий мало-мальски мужественный человек». Он прибыл в Петербург «лишь на второй день, когда уже все начинало успокаиваться». Явно осуждается в записках поведение Николая накануне казни главнейших заговорщиков 14 декабря и жестокое отношение к сосланным декабристам; царь даже «не изъявил согласия на просьбу графини Канкриной, ходатайствовавшей об отправлении в Сибирь лекаря для пользования сосланного больного брата ее Артамона Муравьева».

Денис Васильевич знал, какой опасности он подвергается, делая подобные записки, и все же не оставлял их, а для этого, может быть, требовалась не меньшая отважность, чем в самых смелых партизанских налетах.

Необходимо кстати сказать, что в военных сочинениях Дениса Давыдова, которые к тому времени лишь частично были опубликованы, а в большинстве находились в рукописях, описываются очень многие военные деятели. Такие выдающиеся из них, как Суворов, Кутузов, Багратион, Кульнев, Раевский, обрисовываются полнокровно, кистью влюбленного в них вдохновенного художника. Бездарных же ревнителей шагистики, особенно тех, которые еще здравствовали, автор изображал с помощью сатирической характеристики. Он перед ними галантно расшаркивается, как бы смягчая удар тут же спущенной ядовитой стрелы сарказма.

Так, например, он пишет:

«Генерал Беннигсен был известен блистательными кабинетными способностями, редким бескорыстием и вполне геройскою неустрашимостью», а через не-

сколько строк добавляет, что «он был одарен малою предприимчивостью, доходившей в нем иногда до чрезмерной робости», а к тому же «был подвержен падучей болезни, которая проявлялась в то время, когда ему следовало бы наиболее обнаружить умственные способности и деятельность».

«Генерал Эссен... в своем кабинете простирал свою распорядительность до самой изящной аккуратности. Эссен не был лишен замечательного ума и решительности, но правила, которыми он руководствовался, были иногда более пагубны для своих, чем вредны для противника».

«Генерал Седморацкий... обнаруживал большое хладнокровие при встрече с неприятелем, которого он еще никогда не видывал».

«Князь Дмитрий Владимирович Голицын есть в полном смысле благородный и доблестный русский вельможа», а в конце того же абзаца сообщает, что этот русский вельможа, став московским губернатором, «весьма мало знакомый с русским языком, принимая городские сословия, держит часто речи, написанные на полурусском и говоренные им на четвертьрусском наречии».

Алексей Петрович Ермолов, которому прочитывались все рукописи, помогал не только полезными сведениями, но и в некоторой степени способствовал своими обычно язвительными замечаниями созданию оригинального и порой замысловатого стиля давыдовской прозы.

VI

Племянница пензенского губернатора Панчулидзева, бойкая, умная, веселая и пикантная брюнетка Мария Львовна Рославлева, была задушевной подругой Евгении Золотаревой. Заметив, что с некоторых пор Евгения как будто загрустила и стала избегать общественных увеселений, Мария Львовна вызвала подругу на откровенное объяснение. И Евгения в конце концов со слезами на глазах призналась:

— J'aime un homme marié!..* Ты знаешь, о ком я говорю...

Рославлева посмотрела на нее почти с испугом и воскликнула:

— O, c'est trés malheureux! ** Я не спрашиваю о его чувствах, они написаны на его лице, но ведь у него большая семья... Я не представляю... Вы говорили о возможности развода?

Евгения отрицательно покачала головой. Рославлева удивленно развела руками:

— В таком случае прости, ma chere, я отказываюсь тебя понимать... Чтобы ты, всегда такая серьезная, умная, и вдруг... Какое невероятное легкомыслие! — И, немного помолчав, как бы рассуждая с собою, сказала: — А интересно знать, что же думает делать он?

— Поверь, Мари, ему не легче, чем мне, — прошептала Евгения.

— Я не об этом... Он тебе пишет?

— Да. Я получила из Москвы два письма. Страстный язык, каким он выражается...

Рославлева с досадливой гримаской на лице остановила подругу:

— Cela ne peut pas tirer a conséquence! *** Он поэт, ma chere, я не сомневаюсь ни в страстности, ни в красоте его выражений... Но тебе, надеюсь, ясно, что он должен или оставить тебя в покое, или найти способ узаконить ваши отношения? В этом смысле я и спрашиваю... Каковы его дальнейшие намерения?

Евгения опустила голову и вздохнула:

— Не знаю... Он об этом не пишет...

— И тебя это не волнует?

— Ну, что ты говоришь! — произнесла Евгения приглушенным и чуть обиженным голосом. — Я непрестанно об этом думаю и думаю и не вижу впереди ничего хорошего, и терзаюсь... И в конце концов сама не понимаю, что со мною творится!

---

* Я люблю женатого человека... *(франц.)*.

** О, это большое несчастье! *(франц.)*.

*** Из этого ничего еще не следует! *(франц.)*.

— А он знает о твоих переживаниях? Ты ему написала об этом?

— Нет, как можно! Я не хочу, чтоб он знал... И мне вообще трудно переписываться с ним, трудно отвечать, я ощущаю все время страшную неловкость...

Рославлева внимательно посмотрела на нее и неожиданно улыбнулась:

— Ты не обидишься, милая Эжени, если я выскажу одно предположение?

— Какое же?

— В твоем чувстве к нему, мне кажется, больше жалости, сострадания, чем любви...

Щеки Евгении зарумянились, она хотела что-то возразить. Рославлева приложила к ее губам свою руку, мягко продолжала:

— Подожди, подожди! Сначала разберемся... Денис Васильевич очень милый, остроумный, тебе приятно с ним, тебе нравятся его стихи, его поклонение... Все это так. Но скажи, пожалуйста, кого и когда затрудняла переписка с возлюбленным? Пушкинская Татьяна, полюбив Евгения, решается даже писать ему первой... Да и переживания твои, прости меня, не создают впечатления об истинной любви и страсти! Ты приняла за любовь, милая Эжени, близкое к ней чувство, но это еще не любовь...

Евгения, охватив руками голову, сидела молча. Она лишь явственно различала в своем отношении к Денису Васильевичу какие-то изменения. Тогда, летом, ее словно опьянила его пламенная страсть, и в те бездумные, чудные, счастливые дни она и засыпала и просыпалась с мыслями о нем, и он был для нее самым дорогим человеком на земле. А потом, после первых осенних размолвок, она стала все чаще думать о нем с той подсознательной критической оценкой, которая знаменует обычно начало разочарования. Впрочем, этого процесса Евгения не могла еще точно определить, ибо слишком памятны были дурманные летние вечера и не остыл на губах жар его поцелуев, а потому мучительное свое состояние она готова была считать следствием каких-то иных, непонятных ей причин.

Слова подруги вызывали невольный протест, согласиться с ними Евгения не хотела, а вместе с тем и доводы для возражения не находились. Она только тихо спросила:

— И как же, по-твоему, мне следует поступить?

— Проверь себя, милочка, — ответила Рославлева, — и если увидишь, что я немножко права...

— Расстаться?

— Может быть... Это, во всяком случае, от тебя будет зависеть, и это не худший исход вашего романа.

— Нет! — взволнованно отозвалась Евгения. — Нет, этого я не смогу сделать. Он сам летом говорил о том, а я не захотела, а сейчас сяду и напишу, что не люблю его, что напрасно его завлекала и чтоб он забыл обо мне...

На глазах Евгении опять заблестели слезы. Рославлева поспешила успокоить:

— Зачем же такие крайности, милая Эжени? Ты вполне можешь сохранить знакомство и дружбу с ним...

— Нет, я знаю его лучше, чем ты... Ему нужна моя любовь, а не дружба!

— Не забудь, однако, что он, несомненно, сам тоже ищет выхода из тяжелого положения и если не имеет в виду ничего иного, то, возможно, будет теперь настолько благоразумен, что предпочтет дружеские отношения полному разрыву... Ты попробуй осторожно намекнуть в письме на это!

Евгения попробовала, и, как известно, ее предложение о дружбе было Денисом Васильевичем отвергнуто самым решительным образом.

Что же Евгении оставалось делать? «Любовь подобна жизни, которая, раз утраченная, не возвращается более», — эта фраза из его письма сжимала грудь. Он догадывался, что наступила пора охлаждения, догадывался и страдал! Евгения не могла быть жестокой. Она смешала правду и неправду, ответив, что никакого обмана с ее стороны не было и относится она к нему по-прежнему.

Дни шли. Весна сменила зиму. Письма из Москвы приходили прелестные, и она читала их с удовольствием, а слова признания, высказанные в них, почти не трогали. Евгения убеждалась, что любви в сердце ее было, пожалуй, меньше, чем жалости. Но от этого было не легче, а тяжелей. Сознание, что она, не разобравшись как следует в себе, уверила его в своей любви, и увлекла, и все поведение ее явилось, таким образом, причиной его нравственных мук, породило у Евгении чувство виновности перед ним, и это чувство все обострялось по мере того, как все ощутительней становилось охлаждение к нему. Испытывая угрызения совести, Евгения старалась, как могла, загладить свою виновность и отвечала на его письма хотя сдержанно, но неизменно тепло и ласково. Вот источник, питавший угасавшие надежды Дениса Васильевича!

К концу мая он снова приехал в Пензу. Евгения встретила его приветливо, была мила и нежна, сделала все, чтоб он не заметил начавшегося охлаждения. «Прием, который вы тогда мне оказали, наполнил меня вновь счастьем и восторгом», — писал он ей позднее. Однако заблуждение не могло продолжаться вечно.

Губернатор Панчулидзев сочетал в себе жестокость царского сатрапа с любовью к музыке, держал большой оркестр, составленный из крепостных, и часто давал у себя концерты для избранной публики. Будучи однажды на таком концерте, Денис Васильевич заметил, как в антракте Евгения и Рославлева, с которой давно был знаком, уединились в гостиной с каким-то неизвестным молодым человеком и ведут с ним оживленный, видимо интересный обеим разговор.

Денис Васильевич почувствовал легкий укол ревности. Он стоял в дверях с губернатором и, когда, наконец, девицы под руку с неизвестным вышли из гостиной, спросил Панчулидзева как бы между прочим:

— А кто таков молодец, фланирующий с вашей племянницей, любезный Александр Алексеевич? Я, кажется, впервые его вижу...

Панчулидзев повел длинным носом в указанную сторону и, слегка поморщась, пояснил:

— Служащий моей канцелярии. Выслан сюда недавно из Москвы под строгий надзор за пагубное свободомыслие и пение пасквильных песен... Признаюсь, не понимаю: старинного дворянского рода, прекрасно воспитанный, богатый молодой человек — и вдруг этакая непозволительность!

— А позвольте полюбопытствовать об имени и фамилии?

— Огарев, Николай Платонович.

Антракт кончился. Беседа с губернатором прервалась. Но после концерта Евгения и Рославлева своего кавалера Денису Васильевичу представили.

Огарев был роста выше среднего, широк в плечах, с неправильными, но приятными чертами лица и густыми, вьющимися каштановыми волосами. Большие, серые, задумчивые глаза и добрая улыбка свидетельствовали о мягком и податливом характере. Денису Васильевичу он понравился. Чем-то неприметно Огарев напоминал брата Базиля, и не столько некоторым сходством внешних черт, сколько добровольным избранием опасной жизненной дороги. Базиль тоже был хорошо образован, богат, красив и, вместо того чтоб полно пользоваться этими щедрыми дарами жизни, предпочел заниматься политикой... И вот теперь расплачивается каторгой!

Денис Васильевич, как и прежде, а может быть, и больше, чем прежде, считал революционные замыслы химерами, но бескорыстное служение идее, пусть даже, по его мнению, ошибочной, внушало всегда уважение. И он, пожав руку Огарева, обменялся с ним несколькими фразами вполне доброжелательно.

Однако, провожая домой Евгению, не удержался от ревнивых намеков:

— О чем же вы, если не секрет, с Николаем Платоновичем столь любезно и приятно беседовали?

— Он занимательно говорил о своих наблюдениях, сделанных в губернаторской канцелярии, — ответила она, — а мы с Мари не во всем соглашались и спорили, хотя с Николаем Платоновичем спорить

не так легко... Он собеседник очень интересный и умный!

Денис Васильевич саркастически усмехнулся:

— Еще бы! Я заметил это уже по вашим красноречивым взорам, обращенным к нему...

Евгения весело рассмеялась и сказала по-французски:

— Не ревнуйте! Огарев безумно влюблен в Мари, и она мне созналась, что ответила взаимностью...

Вот оно что! Он сразу почувствовал душевное облегчение, и ему захотелось сказать что-нибудь необыкновенно хорошее про Мари и Огарева, но он не успел этого сделать. Евгения заметила:

— И они стоят друг друга, не правда ли? Прекрасная пара! Я все время смотрю на них и радуюсь!

Последняя фраза произнесена была с оттенком невольной легкой зависти, и это от него не ускользнуло и больно задело, опять изменив настроение.

— Чему же радоваться? — сказал он сумрачно. — Огарев, я слышал, оказался в Пензе не совсем по доброй воле, и родные Мари вряд ли одобрят ее выбор.

— О, вы не знаете Мари! — воскликнула Евгения. — Полюбив, она способна переступить через многое, чтоб сохранить свое счастье!

Говоря это, Евгения, вероятно, никакого умысла не имела, а Денис Васильевич, настороженно прислушиваясь к ее словам, воспринял их теперь как горький упрек себе. И, сознавая, что, в сущности, она права, высказывая в той или иной форме недовольство положением, в какое он ее поставил, вздохнув, промолвил:

— Счастье! Есть много способов завоевать его и ни одного верного, чтоб сохранить!

Она посмотрела на него долгим, изучающим взглядом и ничего не сказала. Он, простившись с нею, ушел в самом тягостном настроении.

И с того вечера, многое передумав и взвесив, начал сомневаться в том, что Евгения продолжает попрежнему любить его, и, следя за каждым ее поступком и словом, все более убеждался в том. Она под

разными предлогами избегала оставаться с ним наедине, и приманка милых слов не скрывала от него признаков сердечного холодка.

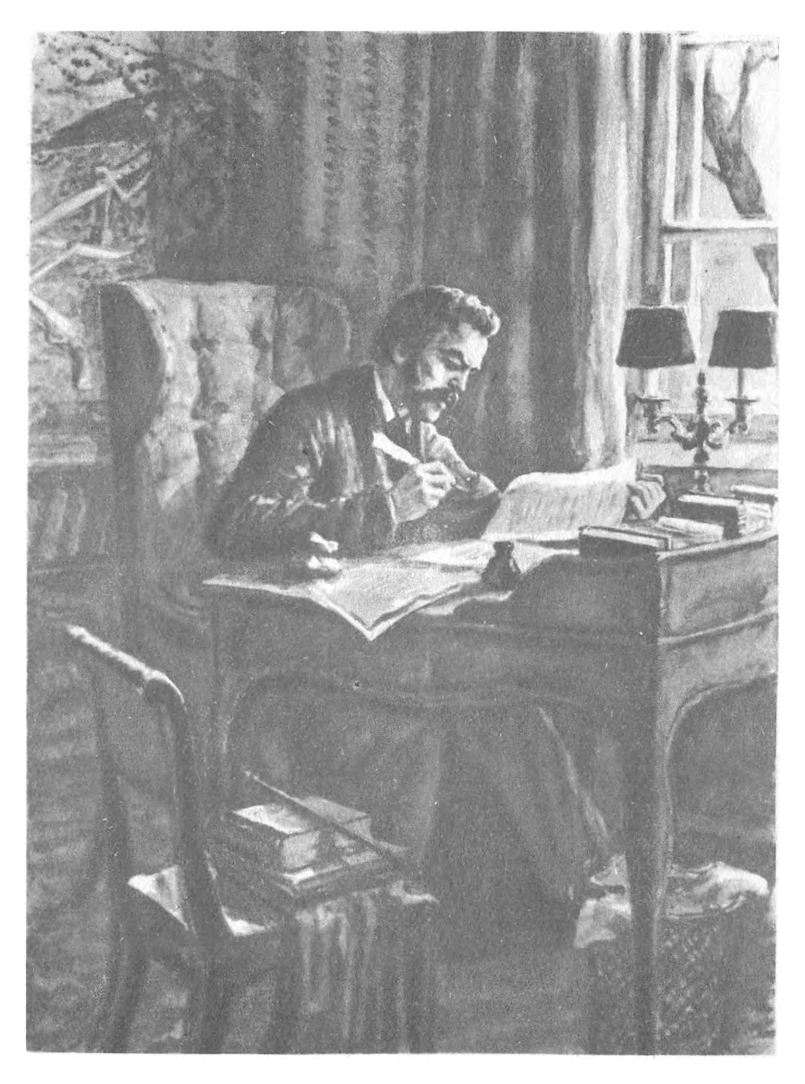
Пожив в Пензе месяц, он уезжал после ярмарки домой. И хотя они условились встретиться вновь осенью и она говорила, что будет с радостью ждать его, от сомнений и тоски он не отделался. Переданное ей в последнюю минуту стихотворение выражало как нельзя лучше его душевное состояние:

Жестокий друг, за что мученье?
Зачем приманка милых слов?
Зачем в глазах твоих любовь,
А в сердце гнев и нетерпенье?
Но будь покойна только ты,
А я на горе обреченный,
Я оставляю все мечты
Моей души развороженной...
И этот край очарованья,
Где столько был судьбой гоним,
Где я любил, не быв любим,
Где я страдал без состраданья,
Где так жестоко испытал
Неверность клятв и обещаний, —
И где никто не понимал
Моей души глухих рыданий!

Софья Николаевна Давыдова давно подозревала, что пензенские поездки мужа вызваны не столько его желанием отдохнуть у старого сослуживца и побродить с ружьем в привольных охотничьих местах, сколько какой-то возникшей там любовной интригой.

Он над ее подозрениями посмеивался, сознаваясь лишь в том, что «бросил на бумагу несколько стихотворных строк в честь племянниц Бекетова». Следуя примеру Вяземского, он даже прочитал жене наименее интимные стихи, уверяя при этом, что выражение любовных восторгов в поэтических произведениях является не чем иным, как обычной условностью.

Софья Николаевна сделала вид, что поверила. Но последняя поездка Дениса в Пензу, вернее — возвращение оттуда в расстроенном состоянии, чего скрыть никак не удалось, окончательно убедили ее в своей правоте, и она молча, с присущей твердостью решила действовать. Замысла своего она ничем не выдала,



К стр. 368

а когда в конце лета он опять стал собираться в Пензу, заявила, что ей необходимо там кое-что купить и она едет с ним. Ему ничего не оставалось, как согласиться, ибо отговоры могли сразу разоблачить его.

В Пензе остановились они в гостинице, и Софья Николаевна под предлогом, что одной удобней делать покупки, отпустила мужа на три дня в Бекетовку повидаться с Митенькой. Возвратясь, он застал жену за сборами к обратному отъезду. Удивился:

— Что такое? Уже домой?

Она обожгла его недобрым взглядом холодных глаз, сказала кратко:

— Лошади сейчас будут поданы...

Он быстро сообразил, что кто-то успел, вероятно, насплетничать про него, и, стараясь казаться равнодушным, проговорил:

— Как тебе угодно, Сонечка, хотя мне хотелось бы побывать с тобой у Бекетовых, там тебя ждут...

Она, сдерживая клокотавшее в груди негодование, резко оборвала:

— Там ждут тебя, а не меня! Мне все известно про твое распутство! Эта Золотарева твоя пассия! Весь город знает! Молчи, не смей возражать!

Возражать было бесполезно, он отлично понимал. И, закурив трубку, слушал гневные упреки жены молча. Всего она не знала — это выяснялось все более из ее слов и отчасти успокаивало.

Она заключила жестоко и без слез:

— Я не принуждаю тебя ехать со мною, можешь оставаться со своею пассией и никогда не возвращаться. Жалеть не буду, проживу сама с детьми отлично, не беспокойся!

Он опустил голову. Если б эти слова были сказаны год назад! О, тогда его отношения с Евгенией могли бы сложиться совсем иначе. А теперь? Он только что виделся с нею в Бекетовке; она была, как всегда, хороша и ласкова с ним, а все же признаки начавшегося охлаждения неумолимо напоминали о себе. Что же делать ему с полученной свободой? Поздно, поздно!

Он ответил жене с ледяным спокойствием:

— Ты раздражена сплетнями и не отдаешь себе отчета в словах, поэтому я молчу. Пройдет твоя дурь — поговорим! Едем!

Оправдаться перед женой Денис Васильевич сумел. Сентиментальное и поэтическое увлечение, ничего больше! Примирение так или иначе состоялось. И он опять погрузился дома в литературные дела.

Последняя его работа, печатавшаяся в «Библиотеке для чтения», статья «Воспоминания о сражении при Прейсиш-Эйлау», заслужила похвалу всех, кто ее читал, да и сам он чувствовал, как в этой статье оригинальный его слог придавал живость описанным военным событиям. С творческим увлечением писалась им статья «Взятие Дрездена» и небольшой, приправленный юмором очерк «О том, как я, будучи штабс-ротмистром, хотел разбить Наполеона». Во всяком случае, теперь он ясней, чем прежде, сознавал художественные достоинства своей прозы и поэтому отделывал статьи с особой тщательностью [62].

И, конечно, по-прежнему не мало времени отнимала переписка с друзьями. Порадовал Языков, посвятивший ему стихи, в которых были такие выразительные строки о двенадцатом годе:

Где же вы, незваны гости?
Серебристый русский снег
Покрывает ваши кости,
Ваш погибельный побег!
Долго, знать, запировались
Вы в московских теремах!
Как бежали, как сражались —
Так вы пали и остались
На холодных пустырях.
Знайте крепость нашей силы.
Вы зачем сюда пришли?
Иль не стало на могилы
Вам отеческой земли?! —
Много в этот год кровавый,
В эту смертную борьбу,
У врагов ты отнял славы,
Ты — боец чернокудрявый,
С белым локоном на лбу!

Благодаря Языкова за поэтический подарок, Денис Васильевич писал:

«Можете ли вы думать, чтобы я воспротивился напечатанию оного? Кто противится бессмертию? А вы меня к нему несете, как в поднебесную орел голубя, — мощно и торжественно. Что за стихи, что за прелесть... Вы меня так этими стихами расшевелили, что я было принялся писать вам стихами же, измарал около дести бумаги и стал в пень от совести платить медью за золото» [63].

Но работа работой, а жестокие слова жены, сказанные в Пензе, не забывались, настраивая при размышлении на мрачный лад.

Ревность жены была естественна, форма проявления ревности — более чем странна. Ни единой слезинки и никакого подобия чувства! И тоном таким говорила, словно рассчитывала провинившегося приказчика. «Жалеть не буду, проживу сама с детьми отлично». Это не простая фраза, сорвавшаяся с языка в запальчивости, он не раз слышал уже нечто похожее во время прежних домашних ссор. Имение принадлежало не ему, а жене. Золотой поток пшеницы надежней, чем литературные бредни! Она как бы намекала, что семья содержится на доход с ее имения, а следовательно, он не должен забывать о своей второстепенной роли в доме. И этот ощущаемый им оскорбительный намек, действуя на самолюбие, пробуждал глубокое раздражение против жены, против ее спокойной деловитости и помещичьей деятельности, против того жестокосердия, которое — он в этом не раз убеждался — было заложено в ее характере.

Вспомнился такой случай. Прошлый год выдался неурожайный. В ближнем селе Дворянская Терешка, где жила целая колония мелкопоместных дворян и среди них отставной гусарский майор Карл Антонович Копиш, приятель Давыдова, крестьянские посевы совершенно погибли, и настал голод. Тогда Копиш решил кормить своих крестьян, выдавая им ежемесячно хлеб из собственного амбара и не ожидая никакой беды за свой благородный поступок.

И вдруг в один прекрасный день являются к Ко-

пишу соседи-дворяне с объявлением, что хотят подать на него жалобу правительству как на неблагонамеренного человека, старающегося возбудить народ к бунту.

— Позвольте, господа, когда же и каким образом я это делал? — недоумевает Копиш.

— А как же, — толкуют ему соседи, — у наших крестьян нет ни куска хлеба, мякину с лебедой едят, и мы ни зерна им не даем на пропитание, а вы своих кормите... Знаете ли, какое это преступление? Знаете ли, какое последствие из этого выйти может, милостивый государь?

— Знаю, — отвечает Копиш, — последствия те, что мои крестьяне живы будут, а ваши или перемрут с голоду, или разойдутся просить милостыни.

— Нет, сударь, это ничего, это плевка стоит, — возражают дворяне, — а вот наши крестьяне, узнав, что вы своих кормите, а мы не кормим, взбунтуются, и тому причиною будете вы. Вы, сударь, бунтовщик, посягатель на спокойствие государства, язва государственная, стыд дворянского сословия, и мы сейчас идем писать на вас донос губернатору...

Будучи в гостях у Копиша и узнав об этой выходке помещиков, Денис Васильевич, возмущенный до глубины души, сказал:

— Беспокоиться вам о дурных последствиях нечего, Карл Антонович, я сегодня же отправлю письма куда следует... Да хорошо бы ваших ретивых соседей в комедии осмеять, чтоб другим неповадно было! Я Вяземскому сообщу, может быть, он возьмется... Экие ведь подлецы, право! [64]

Помещиков вразумили. Доносу хода не дали. Но дело не в том. Когда Денис Васильевич дома рассказал про это происшествие, жена, пожав полными плечами, произнесла:

— Не вижу причин для твоего негодования. Если все помещики, подобно Копишу, будут кормить мужиков, они забалуются и перестанут работать...

— Помилуй, Соня, что ты говоришь? — изумился он. — Там голод, люди пухнут от лебеды...

— В Поволжье неурожайные годы явление обыч-

ное, — отозвалась она невозмутимо, — поэтому разумные крестьяне имеют хлеб в запасе, а неразумным надлежит брать с них пример, а не рассчитывать на дармовое кормление... Вот и все, мой друг!

Да, рассуждая таким образом, Соня сама отдалялась от него, ибо отлично знала, как отвратительны ему всякие проявления жестокосердия.

И вместе с нараставшим раздражением против жены он все более испытывал теперь потребность в совершенно независимом от жены источнике дохода. Деньги, получаемые за продажу пшеницы, жгли ему руки. Пшеница выращивалась на жениной земле тяжелым трудом крепостных.

Денис Васильевич ясно, как очень немногие из дворян, понимал разницу между пшеничными деньгами и теми, которые зарабатывались собственным трудом. Известный издатель Смирдин платил по триста рублей за печатный лист военной прозы. Деньги небольшие, а получение их радовало необычайно. Ему самому деньги были не очень-то нужны, он никогда не был жаден до них, но подрастали, учились дети. Он не хотел, чтоб впоследствии жена говорила, что воспитала их сама, без его участия и на деньги пшеничные.

В конце декабря, сообщая известному историку Михайловскому-Данилевскому о предполагаемой своей поездке в Петербург, Денис Васильевич писал:

«Я вздумал все выручаемые мною деньги за сочинения мои употреблять на прибавку жалования учителям и на покупку книг детям моим... Мне хочется, чтоб в совершенном возрасте сыновей моих они знали, что на воспитание их употреблены были не одни деньги пшеничные, но и те, которые я приобретал головою. Это, может быть, послужит им примером, ибо хороший пример действительнее всякого словесного наставления».

VII

Став высокопоставленным чиновником, Вяземский и внешне и в своих убеждениях резко изменился. Он располнел, в глазах появилось выражение несвой-

ственной ему сухости, а в голосе некая начальственная медлительность и снисходительность. Былая горячая взволнованность уступила место холодной рассудочности. Былое свободомыслие испарилось, критическая настроенность заменялась постепенно признанием существующего порядка вещей.

В кругу старых приятелей Вяземский, правда, позволял еще себе иной раз либеральничать, зато за пределами этого круга высказывался лишь в казенных тонах благонамеренности. А в журналах вместо легких и изящных поэтических творений Вяземского стали печататься его статьи о внешней торговле. И у всех, кто близко знал Петра Андреевича как светского любезника и жуира, тяжеловесные и деловые его произведения вызывали невольную улыбку.

Денис Давыдов, приехавший в столицу 20 января 1836 года, явившись с первым утренним визитом к старому другу, разразился довольно красноречивым монологом по поводу его новой деятельности:

— Ты поверить не можешь, до какой степени мне странно твое превращение... Я читал твои статьи и глазам не верил. Как? Вяземский без классической своей улыбки! Вяземский без вдохновения, без чувств, без гармонии стихов, а холодный и рассчитывающий государственные приходы и расходы! О времена! Я видел тебя выбивающимся из этого океана вещественности, глотающим ее, захлебывающимся ею и протягивающим руку к какой-нибудь спасительной поэтической веточке. Но не тут-то было! Вместо рифмы попадается тебе в руку извлеченный кубический корень и вместо начальной буквы имени твоей красавицы — неизвестные икс и зэт. «Батюшки, — думал я, — он тонет! Запрягайте повозку, я скачу спасать его с бутылкою шампанского в руках! Пушкин, Жуковский, вы ближе меня к нему, помогите, помогите — один ведьмами и чертями, другой Онегиным, который ни на огне не сгорит, ни в воде не утонет. Караул! Вяземского топят! Его топят Канкрин и Бибиков! Они тянут его ко дну вещественности, как две гири государственных доходов. Бедный поэт!»

Вяземский слушал и улыбался.

— Очень забавно, милый Денис, однако не припомнишь ли ты некоего молодого человека, утверждавшего лет двадцать тому назад, что прозой пренебрегать не следует, ибо это тоже служба, отечеству небесполезная?

— Смотря какая проза! — с живостью возразил Денис Васильевич. — Иные твои статьи, внушенные не внешней торговлей, а умом и душой твоей, нежат не хуже стихов. И не извиняйся, пожалуйста, тем, что я тоже пишу иногда военные статьи. В темах военных есть поэзия, но какую, черт, поэзию ты найдешь под шкурой овцы, где спрятана блонда для тайного провоза через таможню? [65]

— Не задирай, не задирай, возражать все равно не собираюсь! — засмеялся неожиданно Вяземский.— Ей-богу, я так рад тебя лицезреть, что рапира из рук вываливается... Рассказывай про себя! Как живешь? Каковы успехи на романтическом поприще? Как чувствует твоя cara donna? *

Первый разговор, впрочем, был недолгим. Давыдов спешил по своим делам. Вяземского ждали в департаменте. Они уговорились встретиться вечером, чтоб вполне насладиться разговором наедине, столько ведь лет прожито в разлуке!

Но вечером... едва только Денис Васильевич показался в зале Вяземских, как его бросился обнимать Четвертинский. А следом за ним из дверей гостиной показался благодушно улыбающийся Жуковский, за широкой спиной которого прятался и хохотал Пушкин.

Оказывается, Вяземский, любивший подобные сюрпризы, успел известить всех о приезде Дениса, и они собрались сюда только для того, чтобы повидать его. Денис Васильевич был тронут. Вот истинные друзья! И после крепких объятий и поцелуев сказал:

— Скоро, мои любезные, мы будем видеться чаще... Будущую весну везу сюда учиться двух сыновей, а там ежегодно раза два придется производить партизанские наскоки для надзора за ними. Смотрите

---

* Возлюбленная *(итал.)*.

же, прошу не стареть до того времени и брать пример с меня, а если вздумаете стареть, то, чур, вместе. Ох, тяжелое это дело! — признался он вдруг со вздохом. — Как я ни храбрюсь, а все чувствую, что не тот уже, что был.

Вяземский пошутил:

— Видим, видим, не охай! Отмытым белым локоном и сединой нас не удивишь. Бес на седину падок!

Пушкин подхватил:

— А знаешь, Денис Васильевич, я как только прочитал прелестное послание к тебе Языкова, так и подумал, что после этого чернокудрявому бойцу ничего не остается, как снова отмыть воспетый поэтом белый локон. И, право, хорошо ты сделал. Это знак благоговения к поэзии!

Беседа незаметно и оживленно завязалась вокруг нового журнала «Современник», издание которого недавно было разрешено Пушкину. И Вяземский, и Жуковский, и Денис Давыдов искренне радовались, что будет наконец-то свой журнал. Вырваться из грязных лап Булгарина и Сенковского давно все мечтали!

Пушкин говорил:

— Смирдин предлагает мне пятнадцать тысяч, чтоб я от своего предприятия отступился и снова стал сотрудником его «Библиотеки». Я не согласился, хотя это и выгодно. Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура, что с ними связываться невозможно.

Денис Васильевич тут же поддержал:

— Ты совершенно прав. Давно пора нам отделаться от литераторов-ярыжников. Смирдин и Сенковский опакостили лучшие розы цветника моего.

— Какое оригинальное выражение недовольства редакторами! — заметил, смеясь, Жуковский.

— Согласись, однако, что оно достаточно точно и сильно, — вставил Вяземский.

— Нет, господа, кроме шуток! — продолжал Денис Васильевич. — Коверкая статьи, Сенковский не задумывается над тем, что одно переставленное слово часто отнимает всю душу периода. Посмотрите, например, как он расправился с концом моей статьи «Встреча с Суворовым». У меня было: «И Прага, за-

литая кровью, курилась», а Сенковский изменил так: «И Прага курилась, залитая кровью защитников». Этот урод не понял, что слово «курилась» в конце периода есть последний мах кисти живописца, следственно, в нем и вся сила периода. А что Смирдин и Сенковский сделали с любимым моим детищем «Воспоминанием о Прейсиш-Эйлауском сражении»! Варвары!

— Твое неудовольствие мне на руку, — весело сказал Пушкин, — ибо, надо полагать, ты охотно перейдешь после этого на службу под мое начальство.

— И служить буду лихо, не сомневайся! Рассчитывай на меня! — отозвался Денис Васильевич. — Помимо статьи «Занятие Дрездена», я обещаю тебе все, что будет выходить из-под пера моего и в прозе и в стихах.

— А скажи, как мне поступать, если то, что выходит из-под твоего пера, будет выглядеть несколько иначе, выйдя затем из-под пера цензора?

— Делай, как сочтешь нужным. Я уполномочиваю тебя вымарывать и изменять все, что твоей душе будет угодно. Я с тобой на все согласен, никаких условий не ставлю!

Так в тот вечер Денис Давыдов стал сотрудником пушкинского «Современника».

Родственную любовь и бескорыстную преданность поэта-партизана Пушкин всегда ценил и относился к нему с неизменной сердечностью и полным доверием. Года три назад Пушкин писал жене: «Я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник». А теперь, бывая вместе у Вяземского и у Жуковского, они сближались еще более.

Пушкин никогда не забывал, как в двенадцатом году, будучи лицеистом, он с восторгом слушал вести о партизанских подвигах Дениса Давыдова, как упивался его хмельными стихами и учился по ним «крутить» свои. И вот этот славный, милый Денис, не раздумывая, порывал связи со старыми, признанными книжными дельцами, вверяя безбоязненно ему, Пушкину, неопытному издателю, все свои литературные произведения!

Пригласив к себе Дениса Васильевича, Пушкин принял его, как родного, познакомил со своим семейством, а когда вошли в кабинет, взял с письменного стола книгу — это была недавно изданная «История Пугачевского бунта», — и, передавая ее гостю, сказал:

— Приготовлена для тебя. И с небольшим посланием!

Денис Васильевич раскрыл книгу и на первой странице увидел знакомый, тонкий, с легкими, нежными разводами пушкинский почерк и, краснея от удовольствия, прочитал:

Тебе певцу, тебе герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир:
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир.
Вот мой Пугач — при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой!
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.

...26 января в Зимнем дворце был прием. Денис Васильевич, которого Жуковский уговорил представиться императору, стоял среди раззолоченной, титулованной столичной знати. Николай с выпяченной по обыкновению грудью и с надменным выражением окаменевшего лица обходил солдатским шагом собравшихся. Увидев Дениса Давыдова, царь остановил на нем взгляд немигающих оловянных глаз и, слегка кивнув головой, сказал:

— Наконец и ты здесь. Что причиною?

— Приехал устраивать двух старших сыновей, государь.

Один из адъютантов царя сейчас же пояснил:

— У его превосходительства генерала Давыдова пять сыновей, и он желает всех поместить в разные училища...

— Надеюсь, однако, что все они будут военные? — спросил строго Николай.

— Нет, государь, — возразил Денис Васильевич, — один пойдет по статской службе.

— Почему так?

— Он слабее других здоровьем.

Николай неопределенно хмыкнул, затем круто перешел на другое:

— А что Ермолов? Ты, наверное, каждый день с ним видишься?

— Никак нет, государь. Я живу в приволжской деревне и очень редко выезжаю оттуда.

— Вот что! Сделался деревенским байбаком! А сочинительством заниматься продолжаешь?

— Тружусь по мере сил, государь, над описанием войн, в коих принимал участие.

— Ну, трудись, только смотри, — царь слегка погрозил пальцем, — не заносись в мыслях, как с тобой не раз бывало... Узнаю — поссоримся!

Разговор с царем и тяжелый давящий взгляд оловянных глаз действовали на Дениса Васильевича угнетающе. После приема он отправился к Жуковскому, который продолжал жить в дворцовой квартире. И, войдя, попросил:

— Сделай милость, Василий Андреевич, прикажи большую чарку водки дать...

Жуковский удивился:

— Да ведь ты как будто говорил, что от водки давно отказался?

Денис Васильевич зябко повел плечами:

— Продрог что-то! И потом бывают, знаешь, моменты, когда душа требует...

Выпив, он немного отошел, повеселел. Сообразив, что странное настроение Дениса связано с царским приемом, Жуковский собрался расспросить его обо всем подробно, но не успел. В гостиную, где они сидели, вошел остроносый, болезненного вида, с маленькими серыми глазами и застенчивыми манерами незнакомец. Жуковский сейчас же поднялся ему навстречу, обнял, расцеловал и представил:

— Николай Васильевич Гоголь.

Имя это Денису Васильевичу хорошо уже было известно. Он с удовольствием читал появлявшиеся в печати повести Гоголя, а о его недавно сочиненной комедии «Ревизор» все литературные приятели говорили как о совершенном шедевре. Пожимая теплую узкую руку Гоголя, он сказал:

— Счастлив познакомиться, Николай Васильевич, ибо принадлежу к числу восторженных ваших почитателей.

Гоголь добродушно улыбнулся:

— А я столько любопытного слышал о вас со всех сторон, и от Пушкина и от Языкова, что видеть вас — мое давнее желание...

Они успели обменяться лишь несколькими фразами. Комната стала заполняться другими гостями. Явился известный художник Чернецов, потом Вяземский с Плетневым, еще несколько столичных литераторов и, наконец, Пушкин[66].

Жуковский объявил:

— Некоторые из нас имели возможность насладиться прелестной комедией Николая Васильевича, однако большинство может судить о ее достоинствах только понаслышке, поэтому, господа, я решился просить любезного автора одолжить нас вторичным чтением...

Раздались дружные аплодисменты. Гоголь, смущаясь, встал, поклонился, сделал небольшую паузу и, встряхнув падавшие на лоб волосы, без всяких предисловий начал:

— Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор...

С первой же сцены слушатели были захвачены необычайным развитием происшествия, яркостью комедийных характеров и бесподобным по мастерству чтением.

От души смеясь над всполошенным чиновничьим уездным мирком, Денис Васильевич ловил себя на мысли, что пороки, в которых обличались герои комедии, были распространены всюду и прежде всего в самых высших слоях бюрократии. Каких-нибудь два

часа назад видел он во дворце и угодливо согнутые спины, и дрожащие колени, и подобострастные улыбки столичных Сквозник-Дмухановских и Ляпкиных-Тяпкиных. Комедия обнажала старые язвы отечества, сатирические стрелы со страшной силой впивались в толщу самодержавных устоев.

Возвращаясь поздно вечером от Жуковского вместе с Пушкиным, Денис Васильевич сказал:

— Не знаю, допустят ли комедию на сцену, но ежели допустят — многим не по себе будет... Гоголь не пощечинами пошлость бьет, а наотмашь хлещет. Талант великий, острый!

Пушкин кивнул головой и добавил:

— Ни у одного писателя, кроме Гоголя, не было и нет этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся эта мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Я не жалею, что именно Гоголю подсказал сюжет этой комедии.

— А почему же ты сам за нее не взялся?

— Мне не до того, милый Денис, — неожиданно мрачнея, признался Пушкин. — Ты не можешь представить моего положения. Я в вечных хлопотах и беспокойстве. Чем нам жить? У нас ни гроша верного дохода и пятьдесят тысяч долгов. Я теряю напрасно время и силы душевные и не вижу ничего хорошего в будущем.

— Мне кажется, тебя губит этот лощеный Петербург, — сказал Денис Васильевич. — Я уверен, если б ты уединился года на два в деревню...

— Царь не позволяет мне покинуть столицы, — перебил Пушкин, — и вместе с тем не дает способов жить здесь моими трудами... В этом все дело!

— Почему же так? Какой для него смысл?

Они шли по пустынной набережной. Пушкин оглянулся, потом заговорил по-французски тихо, быстро и взволнованно:

— Он пожелал, чтоб Наталия Николаевна танцевала в Аничковом дворце... Поэтому я и был обряжен в дурацкий кафтан камер-юнкера, неприличный

моим летам... И он, как офицеришка, ухаживает за женой, хотя она всячески старается избегать его любезностей...

Пушкин остановился, передохнул и закончил еще мрачней:

— Да, милый мой, хотя жизнь и сладкая привычка, как говорят немцы, но в ней есть горечь, делающая ее в конце концов отвратительной, а великосветская чернь — мерзкая куча грязи!

VIII

А роман с Евгенией не был еще окончен. Известная отчужденность от жены, происшедшая в последнее время, невольно возвращала Дениса Васильевича к мыслям о Евгении, и все связанное с ней казалось таким прекрасным, поэтическим, что он, и зная о ее начавшемся охлаждении, продолжал тешить себя несбыточными надеждами на возобновление былых отношений. Тайная переписка между ними продолжалась. И выраженные в чудесных стихах воспоминания о былой любви пробуждали не только грусть, но и нежность и неясное душевное томление.

В былые времена она меня любила
И тайно обо мне подругам говорила,
Смущенная и очи опустя,
Как перед матерью виновное дитя.
Ей нравился мой стих, порывистый, несвязный,
Стих безискусственный, но жгучий и живой,
И чувств расстроенных язык разнообразный,
И упоенный взгляд любовью и тоской.
Она внимала мне, она ко мне ласкалась,
Унылая и думою полна,
Иль ободренная, как ангел, улыбалась
Надеждам и мечтам обманчивого сна...
И долгий взор ее из-под ресниц стыдливых
Бежал струей любви и мягко упадал
Мне на душу — и на устах пылал
Готовый поцелуй для уст нетерпеливых...

Денис Васильевич пробыл в Петербурге всего две недели. Он спешил в Москву. Там ждала Евгения, приехавшая, как было заранее условлено, из Пензы с Полиной.

Встреча порадовала душевностью. Евгения первая обняла его, поцеловала и призналась, что соскучилась. Может быть, так оно и было. Давно не виделись, и он ей все-таки нравился.

Они стали вместе появляться в общественных местах: Евгению здесь никто не знал, и она чувствовала себя свободно. А ему на каждом шагу попадались знакомые, и приходилось думать о том, чтоб предотвратить возможность нового семейного скандала. Посплетничать в Москве любили не меньше, чем в Пензе!

Он решил, что лучше всего самому сообщить жене о встрече с Евгенией, придав этой встрече характер простой случайности.

Сначала, описывая бал в Благородном собрании, он вставил:

«Кого, ты думаешь, я там, между прочим, встретил? Pauline Zolotarew; сестры ее, старинной моей пассии (как ты думала) не было, она больна была и оставалась дома. Но встреча эта ничего не значит, а вот что значит. Pauline мне сказала о трех свадьбах в Пензе: какая-то родственница Всеволжского идет замуж, Рославлева, племянница губернатора, и еще Елизавета Александровна... Золотарева звала меня к ним, и я непременно буду у них на первой или на второй неделе, — надеюсь, что из тебя пензенская дурь вышла»[67].

А спустя несколько дней в другом письме появилась и такая подчеркнуто равнодушная фраза:

«Был у Золотаревых. Eugenie, кажется, замуж идет за какого-то Мацнева, помещика Орловского и Пензенского, но это не наверное».

Денис Васильевич, разумеется, не мог оставаться равнодушным к замужеству Евгении, но пока ничего определенного не было.

Пожилой и некрасивый Василий Осипович Мацнев, драгунский офицер в отставке, владелец села Рузвечи Наровчатского уезда Пензенской губернии, сватался за Евгению уже пятый год. Родители советовали ей принять предложение, она не хотела о нем

и слышать. И теперь, рассказывая Денису Васильевичу пензенские новости, Евгения полушутя сказала:

— А за меня опять приезжал свататься Василий Осипович... Клялся в неизменной любви и чуть не плакал!

— Ну, и чем же вы вознаградили столь древнего своего рыцаря? — спросил Денис Васильевич, чувствуя невольный холодок в сердце.

— А как вы думаете? — прищурилась она.

— Не знаю... Все зависит от вас... от вашего чувства и желания...

Он не в состоянии был сдержать волнения, она заметила это и сказала с улыбкой.

— Успокойтесь, я не дала своего согласия.

Он молча и благодарно поцеловал ее руку. И более ничто не омрачало дней, проведенных с Евгенией в Москве.

Денис Васильевич не был, впрочем, целиком поглощен своим романом. По укоренившейся привычке он и в Москве каждое утро садился к столу, работал над военной прозой [68].

Внимательно следя за иностранной литературой, он давно заметил, что большинство чужеземных историков, журналистов и писателей старались с особым рвением очернить все, что касалось России, ее народа и войска, быта и нравов.

Особенно много клеветников было во Франции и Англии, где не могли примириться с возраставшим военно-морским могуществом России, оспаривали ее право на прибалтийские и крымские земли, открывавшие естественный выход к морю, и в то же самое время прославляли Англию «за основание колоний во всех пяти частях света и самодержавие владычества ее на всех морях», а Францию «за завоевание почти всей Европы».

Готовя ответ чужеземным историкам, Денис Васильевич весьма справедливо замечает, что упреки англичан особенно странны, ибо «Англия, продолжая прибегать к инквизиционным мерам в своих сношениях с Ирландией, напрягает все свои усилия, чтоб смирить мятежную Канаду, и отторгла Бельгию от

Нидерландов, взамен колоний, которых она не помышляет возвращать Нидерландам».

И далее, отвечая беснующимся клеветникам, он пишет:

«Не благоразумнее ли поступили бы враги наши, если б к общему ополчению гортаней и перьев присоединили бы и логику?.. Неужели за все это время не было проведено нами в исполнение ни одного обширного труда, не было обнародовано ни одного благотворного постановления? Не была одержана ни одна блестящая победа на суше и море, не был заключен ни один славный мирный договор? Всего было довольно. Но в каком свете все это изображено иностранными писателями? Какой геройский подвиг, совершенный русскими, передан в истинном виде? Зато с какою алчностью хватаются за все воспоминания о малейших неудачах наших! С какою тайной радостью повествуют они о поражении нашей неопытной армии под Нарвой! Забавно то, что мы, школьники-воины, были предводительствуемы их единокровными: герцогом де Кроа и Аллартом, перебежавшим к неприятелю при начале сражения. Как торжественно передают они описание малейших частных неудач наших! Нет исторического и дамского альманаха, нет той детской книжки, где бы не были изображены эти события на чужеземный лад, то есть в искаженном виде!»

Как раз в то время, когда Денис Васильевич занимался этой статьей, ему приходилось по старой памяти бывать у Михаила Федоровича Орлова. Там собирались иногда московские либералисты, бывал Чаадаев, остро критиковавший пороки современной жизни, и вместе с тем зачеркивавший все историческое прошлое России и видевший ее спасение в перевоспитании на началах католицизма.

— Исторический опыт для нас не существует, поколения и века прошли без пользы для нас, — говорил Чаадаев. — Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы...

Патриотические чувства Дениса Васильевича были задеты сильнейшим образом. Он возражал чужезем-

цам, пытавшимся умалить славу отечества, а тут находятся свои ниспровергатели! Надо резко осмеять этих поклонников модных бредней! Так зарождался в голове сатирический памфлет, названный им «Современная песня».

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы.
То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.
Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.
Деспотизма супостат,
Равенства оратор, —
Вздулся, слеп и бородат,
Гордый регистратор.
Томы Тьера и Рабо̀
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет.
А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.
А глядишь: наш Лафайет,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей...

В этом стихотворном памфлете выявилось не только сатирическое дарование Дениса Давыдова, но и наиболее отчетливо обнаружилась неустойчивость его общественных взглядов.

Высмеивая либеральствующих салонных шаркунов, не видевших ничего хорошего в своем отечестве, Денис Васильевич в то время невольно смыкается с такими охранителями существовавшего строя, как Уваров и Булгарин, хотя в ожесточенной борьбе с ними, которую вел тогда Пушкин, Денис Васильевич был полностью на стороне последнего.

Заметим, что Пушкин, как и Денис Давыдов, с не-

годованием отверг высказывания Чаадаева о нашей исторической ничтожности. «Клянусь честью, — писал он старому приятелю, — что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». Но Пушкин вместе с тем заметил и то положительное, что содержалось во взглядах Чаадаева. «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили...»

В споре с Чаадаевым явно прав был Пушкин, а не перехвативший через край Денис Давыдов.

Пушкинский «Современник» не выходил из головы. О том, что издание нового журнала сопряжено с огромными трудностями, Денис Васильевич отлично был осведомлен. Пушкинская ода «На выздоровление Лукулла» взбесила ошельмованного в ней министра просвещения Уварова, казнокрада и карьериста, — от него теперь можно ожидать любых гадостей. Уваровский клеврет Дундуков-Корсаков, возглавлявший цензурный комитет, относился к Пушкину с нескрываемой недоброжелательностью. Фаддей Булгарин и его клика, почувствовав за спиной сильных покровителей, продолжала наглеть. А к тому же у Пушкина не было ни средств, ни связей с книгопродавцами, ни сотрудников...

Денис Васильевич, по собственному выражению, «пустился помогать Пушкину». Он рекомендует широкому кругу знакомых выписывать новый журнал, привлекает к сотрудничеству в нем видных литераторов.

Пушкина из Москвы он уведомляет:

«Баратынский хочет пристать к нам, это не худо; Языков, верно, будет нашим, надо бы и Хомякова завербовать, тогда стихотворная фаланга была бы в комплекте».

В первых числах марта Денис Васильевич отправляется из Москвы в Верхнюю Мазу не прямой дорогой, а через Языково, делая пятьсот верст лишних по весеннему бездорожью, чтоб только повидаться с Николаем Михайловичем. И, возвратившись затем домой, извещает Пушкина: «Языков готов поступить под твои знамена», — и тут же с тревогой спрашивает: «Нет ли прижимки твоему журналу со стороны наследников Лукулла?»

А через неделю сообщает Вяземскому:

«Я на днях писал к Пушкину и забыл спросить его, скоро ли будет объявление о журнале его в газетах? Объявление, которое я читал в «Инвалиде», недостаточно. Надо знать, где на этот журнал подписываться и пр. Меня уже на этот счет терзают вопросами, и охотников много, а сверх того я могу еще подобрать довольное число. Этим пренебрегать не надо».

Вскоре прижимки журналу, которых опасался Денис Васильевич, коснулись его собственной статьи «Занятие Дрездена». Она должна была идти во втором номере «Современника». Но цензура так изуродовала статью, выбросив из нее критические замечания о бароне Винценгероде, что Пушкин вынужден был отложить публикацию, известив автора о неприятном происшествии.

Денис Васильевич отозвался так:

«Правда твоя, видно какая-нибудь немецкая ведьма особого рода стоит горой за Дрезден и Винценгероде... Как бы то ни было, но эскадрон мой, опрокинутый, растрепанный и изрубленный саблею, прошу тебя привести в порядок; надо убитых похоронить, раненых отдать в лазарет, а с оставшимися всадниками «ура!» и снова в атаку. Так делывал я в настоящих битвах; солдату грешно унывать, надо либо пропасть, либо врубиться в паршивую колонну! Одного

боюсь я: как ты уладишь, чтобы при исключении погибших сохранить в эскадроне связь и единство? Возьми этот труд уже на себя, бога ради; собери растрепанные части и сделай из них нечто целое. Между тем не замедли прислать мне чадо мое (рукопись), пострадавшее в битве; дай мне полюбоваться на благородные его раны и рубцы, полученные в неравной борьбе, смело предпринятой и храбро выдержанной...»

Пушкин не замедлил ответить:

«Статью о Дрездене не могу тебе прислать прежде, нежели ее не напечатают, ибо она есть цензурный документ. Успеешь наглядеться на ее благородные раны.

Покамест благодарю за позволение напечатать ее и в настоящем виде. — А жаль, что не тиснули мы ее во втором № Современника, который будет весь полон Наполеоном; куда бы кстати тут же было заколоть у подножья Вандомской колонны генерала Винценгероде как жертву примирительную! — я было и рукава засучил! Вырвался, проклятый; бог с ним, черт его побери!

Вяземский советует мне напечатать *Твои очи* без твоего позволения. Я бы рад, да как-то боюсь. Как думаешь, — ведь можно бы без имени?»

Последняя приписка не оставляет сомнения, что Пушкину в подробностях был известен роман Дениса Давыдова. «Твои очи» одно из интимных стихотворений, посвященных Евгении Золотаревой, и опубликование его могло доставить новые неприятности автору. И, конечно, он в ответном письме Пушкину решительно воспротивился: «Очи» не позволяю тебе печатать ни за что, даже и без подписи».

А в Пензе тем временем произошло событие, которое приблизило развязку романа. Иван Васильевич Сабуров выпустил под псевдонимом Мурзы Чета своеобразную сатиру на пензенцев под названием «Четыре роберта жизни». Сабуров славился тяжкословием, литературными достоинствами его произведение не отличалось, но оно было полно оскорбительных намеков на «пензенских жителей обоего пола», в частности, в нем высмеивалось и любовное увле-

чение старого «партизана-подагрика», в котором все без труда признали Дениса Давыдова.

В Пензе поднялась суматоха. Некоторые из осмеянных заболели нервической горячкой, другие готовились по-свойски расправиться с новоявленным сатириком, до сих пор занимавшимся разведением мериносов в своем поместье, третьи взялись за перо, сочиняли злые ответы.

Денис Васильевич тоже написал эпиграмму:

Меринос собакой стал —
Он нахальствует не к роже,
Он сейчас народ прохожий
Затолкал и забодал.
Сторож, что ж ты оплошал?
Подойди к барану прямо,
Подцепи его на крюк
И прижги ему курдюк
Раскаленной эпиграммой!

Евгения Золотарева сатирой задета не была. Однако достаточно оказалось намеков на увлечение «партизана-подагрика», чтоб возбудить особый интерес пензенцев к предмету его увлечения. Евгению и ее родных это обстоятельство встревожило чрезвычайно. Давно распространяемые по городу слухи находили подтверждение в изданной книге! Нужно без промедления спасать репутацию!

Не подозревая, что сабуровской «пачкотне» придали такое значение, Денис Васильевич приехал в Пензу, явился с обычным визитом к Спицыным, но встречен был на этот раз не Евгенией, а Анной Дмитриевной. Она вежливо пригласила его в гостиную и, поведав с волнением о неприятных последствиях, вызванных появлением сатиры, объявила:

— Евгения дала согласие на брак с Василием Осиповичем Мацневым, и вы, надеюсь, понимаете, что дальнейшие ваши встречи с сестрой...

Он сидел в кресле молча, бледный как полотно, и, не дослушав, поднялся и проговорил чужим, хриплым голосом:

— Я прошу лишь об одном... прошу позволения... видеть Евгению Дмитриевну последний раз, чтоб проститься.

Анна Дмитриевна, догадавшись о силе молчаливого его страдания, отказать в просьбе не могла:

— Хорошо... Я скажу ей...

Евгения вошла, остановилась у дверей. Он взглянул в ее потупленное лицо, оно не скрывало следов душевной борьбы, тревоги и пролитых слез. Он отлично знал, что она не любит Мацнева и выходит замуж, принуждаемая проклятыми условностями жизни. Да, ей тоже нелегко!

Сдерживая себя, он произнес:

— Я не вправе ни в чем упрекать вас. Вы вольны в своем поступке. И я знал, что рано или поздно так должно было произойти, но это не облегчает удара... Все кончено для меня: нет настоящего, нет будущего, осталось только прошлое, и все оно заключается в письмах, которые я писал вам в течение двух с половиной лет счастья... Вот единственная причина, заставляющая меня желать возвращения писем...

Она подняла на него блеснувшие слезами глаза и сказала с тихой печалью:

— А я хотела просить вас, Денис Васильевич, чтобы вы позволили мне оставить эти письма у себя...

Он горько усмехнулся:

— Зачем? Чтоб они сделались когда-нибудь причиной ревности вашего супруга и полетели в огонь, смятые жестокой его рукой?

— Нет, нет, этого никогда не будет! — воскликнула она, и щеки ее вдруг запламенели. — Я бы возненавидела его и ушла от него в ту же минуту, если б он посмел, клянусь вам! Нет, я буду бережно хранить их до самой смерти... Зачем? А вы не догадываетесь разве, что шаг, на который я решаюсь, не обещает мне впереди больших радостей?.. Не лишайте же меня поддержки... вашими ласковыми и нежными словами, высказанными в письмах... может быть, только они и будут освещать и согревать мою жизнь...

Она не выдержала и расплакалась. Слезы стояли и в его глазах. Он сделал над собой усилие, шагнул к ней, взял и поднес к губам ее руку:

— Пусть будет, как вы хотите... Прощайте!

И быстро, не оглядываясь, вышел.

Тоска, тоска, страшная, гнетущая тоска овладела им, и не было, кажется, нигде от нее спасения. Ничто не радовало, ничто не утешало. И жизнь шла словно в тумане.

В августе в Симбирск приезжал император Николай. Дворянство губернии должно было по обычаям того времени явиться для встречи. Денис Васильевич видеть царя не захотел и соседу Бестужеву написал, что он «бог знает что налгал губернатору для передачи тому или тем, которые полюбопытствуют спросить обо мне».

А осенью, переехав в Москву, он признавался в письме Вяземскому:

«Итак, я оставил степи мои надолго. Дети так подросли, что уже нет возможности оставаться около риг и гумен. Однако не могу не обратить и мысли и взгляды мои туда, где провел я столько дней счастливых и где осталась вся моя поэзия! Здесь у меня перед окошками пожарное депо, а в обществе Хомутова и вечные Пашковы; поневоле вздохнешь и о хижине моей, в степях затерянной, и о двухсотверстных визитах моих, моих собаках, моих ловитвах, mon Eugenie et mes amours! * Но последнее из пера вырвалось, прошу, если победишь лень свою и вздумаешь писать ко мне, не упоминай о том ни слова».

Он искал забвения и не находил. Он всем существом своим чувствовал, что поэзия навсегда ушла из его жизни, а жизни без поэзии для него не было. Он до самой смерти не написал более ни одной стихотворной строки. Кроме вот этих прощальных, обнажавших душевные раны, сочиненных в одну из бессонных ночей в конце года:

Прошла борьба моих страстей,
Болезнь души моей мятежной,
И призрак пламенных ночей
Неотразимый, неизбежный,
И милые тревоги милых дней,
И языка не связный лепет,
И сердца судорожный трепет,

---

* Моей Евгении и моей любви *(франц.)*.

И смерть, и жизнь при встрече с ней...
Исчезло все! — Покой желанный
У изголовия сидит...
Но каплет кровь еще из раны,
И грудь усталая и ноет и болит!

И, может быть, только переписка с Пушкиным, работа для его журнала облегчали до некоторой степени. Денис Васильевич не сомневался в бессмертном значении творчества Пушкина, открыто называл его, единственного родного своей душе поэта, Великим Пушкиным, дорожил долголетней, ничем не омраченной, дружеской близостью с ним и тем, что Пушкин откровенными мыслями делился с ним, как с немногими.

Послав Пушкину статью «О партизанской войне», Денис Васильевич полагал, что она не встретит препятствий со стороны цензуры, однако ошибся. Пушкин ему написал следующее:

«Ты думал, что твоя статья о партизанской войне пройдет сквозь цензуру цела и невредима. Ты ошибся: она не избежала красных чернил. Право, кажется, военные цензоры марают для того, чтобы доказать, что они читают. Тяжело, нечего сказать. И с одною цензурою напляшешься; каково же зависеть от целых четырех? * Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны, но даже сами от себя согласны с духом правительства. Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче: даже и в последнее пятилетие царствования покойного императора, когда вся литература сделалась рукописною благодаря Красовскому и Бирукову.

Цензура дело земское; от нее отделили опричину — а опричники руководствуются не уставом, а своим крайним разумением».

Читая эти строки, Денис Васильевич, конечно, не предполагал, что более от милого и великого друга никогда уже ему писем не получать...

---

* «Современник», помимо общей цензуры, проходил военную, духовную, министерства иностранных дел и министерства двора.

Страшно близок был тот день, когда Баратынский в запорошенной снегом шубе, с глазами, припухшими от слез, ворвавшись в кабинет Давыдова, голосом, сдавленным глухими рыданиями, крикнет:

— Пушкин убит на дуэли! Пушкина нет более!

Да, неотвратима была кровавая развязка драмы, которая уже разыгралась в столице империи. И это тоже предстояло пережить и перестрадать!

IX

ДЕНИС ДАВЫДОВ — ВЯЗЕМСКОМУ

3 февраля 1837 года. Москва, на Пречистенке в собственном доме

Милый Вяземский! Смерть Пушкина меня решительно поразила; я по сю пору не могу образумиться. Здесь бог знает какие толки. Ты, который должен все знать и который был при последних минутах его, скажи мне, ради бога, как это случилось, дабы я мог опровергнуть многое, разглашаемое здесь *бабами обоего пола*. Пожалуйста, не поленись и уведомь обо всем с начала до конца и как можно скорее.

Какое ужасное происшествие! Какая потеря для всей России! Vraiment une calamité publique! * Более писать, право, нет духа. Я много терял друзей подобною смертию на полях сражений, но тогда я сам разделял с ними ту же опасность, тогда я сам ждал такой же смерти, что много облегчает, а это бог знает какое несчастие! А Булгарины и Сенковские живы и будут жить, потому что пощечины и палочные удары не убивают до смерти.

Денис

ВЯЗЕМСКИЙ — ДЕНИСУ ДАВЫДОВУ [69]

9 февраля 1837 года.
Из Санкт-Петербурга

Сейчас прочел я твое письмо от 3 февраля и спешу сказать тебе несколько слов в ответ. Понимаю твою скорбь и знал наперед, что ты живо почувству-

---

*Воистину общественное бедствие! *(франц.)*.

ешь нашу потерю. Чье сердце любило русскую славу, поэзию, знало Пушкина не поверхностно, как знал его равнодушный или недоброжелательный свет, и умело оценить все, что было в нем высокого и доброго, несмотря на слабости и недостатки, свойственные каждому человеку; кто умеет сострадать несчастию ближнего, — может ли тот не содрогнуться от участи, постигнувшей Пушкина, и не оплакивать его горячими, сердечными слезами!

Спроси у Булгакова копию с письма, в котором описываю ему подробности последних дней.

Ясно изложить причины, которые произвели это плачевное последствие, невозможно, потому что многое остается тайным для нас самих, очевидцев. Впрочем, и тем, что знаем, можно объяснить случившееся приблизительно и следующим образом: гнусные анонимные письма, о коих ты, верно, уже знаешь, лежали горячею отравою на сердце Пушкина. Ему нужно было выбросить этот яд с своею кровью или с кровью того, который был причиною или предлогом нанесенного Пушкину оскорбления. В первую минуту по получении этих писем он с яростью бросился на молодого Геккерна и вызвал его драться. Со стороны старика Геккерна пошли переговоры, и, по его просьбе, дуэль отсрочена на 15 дней. В эти 15 дней неожиданно, непонятно для всех, уладилась свадьба молодого Геккерна с сестрой Пушкина жены. Пушкин о том ничего не знал; узнав, не верил тому и полагал, что это все военная или дипломатическая хитрость. Но когда помолвка совершилась, он обратно взял картель, признавая, вероятно, в душе своей эту странную свадьбу, которая, во всяком случае, накидывала неприятную тень на молодого Геккерна, — за достаточную для себя сатисфакцию и, с другой стороны, признавая, по-видимому, несбыточность дуэли за жену свою с тем, который женится на сестре ее. Между тем тут же объявил он, что хотя от поединка, предложенного им, и отказывается, но семейных и даже общих сношений знакомства с семейством Геккерна иметь не будет; не принимал поздравлений, язвительно отзывался о свадьбе встречным и поперечным и

решительно объявил, что ни он, ни жена его не будут в доме Геккерна, ни они у него в доме, что и было в точности соблюдено.

Все это замазало рану, но не исцелило. Женитьба Геккерна мало что изменила в общем их положении. Страсть, которую он афишировал к Пушкиной, продолжал он афишировать и после женитьбы; городские толки не умолкали, напротив, общее внимание недоброжелательного, убийственного света впилось еще более в действующих лиц этой необыкновенной драмы, которой готовилась столь ужасная и кровавая развязка. Пушкин все это видел, чувствовал: ему стало невтерпеж. Он излил все свое бешенство, всю скорбь раздраженного, оскорбленного сердца своего в письме к старому Геккерну, желая, жаждая развязки. В этом письме пером, омоченным в желчь, запятнал он неизгладимыми поношениями старика и молодого и отправил ему письмо в понедельник, 25 января.

— С начала этого дела, — говорил он за час до поединка д'Аршиаку, секунданту молодого Геккерна, — я вздохнул свободно только на минуту, когда написал это письмо *.

Старик показал письмо сыну (или не знаю, что он ему, ибо никто на счет этот положительного не знает). Разумеется, делать было нечего тому, как драться. Он вызвал Пушкина. Вторник прошел в переговорах. Пушкин не хотел иметь секунданта, чтобы не компрометировать никого. Они настаивали, чтобы он имел секунданта. «Так как вызов последовал со стороны г. Геккерна, который оскорблен, — писал Пушкин к д'Аршиаку, — то он может выбрать мне секунданта, если этого ему хочется, я принимаю его заранее, если даже он выберет своего егеря».

Между тем все в мысли, чтоб не компрометировать русского, он адресовался к Медженису, советнику английского посольства, который требовал предварительно, до изъявления согласия, подробного изложения причин и обстоятельств, вынудивших дуэль.

---

* Чтобы не затруднять читателей, этот и другой текст, написанный Вяземским по-французски, дается в русском переводе.

«Я не желаю, — говорит Пушкин в том же письме д'Аршиаку, — чтобы петербургские праздные языки мешались в мои семейные дела. Я не согласен ни на какие переговоры между секундантами».

В день дуэли нечаянно попал он на улице на старого товарища лицейского, Данзаса, с которым он был всегда отменно дружен, не говоря ему ни слова, посадил его в свои сани и повез к д'Аршиаку. Спустя два часа они были уже за Черною речкою, близ комендантской дачи. Пушкин, ехав туда с Данзасом, был покоен и даже весел. Барьер назначен был в 10 шагах, и отсчитано еще 5 каждому. Оба подвигались, целя друг в друга. Геккерн выстрелил первый. Пушкин упал, сказав: «Я ранен». Он лежал головой в снегу. Все бросились к нему и Геккерн также. После нескольких секунд молчания и неподвижности он приподнялся, оперся левою рукою и сказал:

— Подождите! Я чувствую в себе довольно силы, чтобы сделать свой выстрел.

Геккерн возвратился на свое место. Опираясь левою рукою в землю, Пушкин стал прицеливаться в него твердою рукою, выстрелил — Геккерн пошатнулся и упал. Пушкин кинул вверх пистолет и вскрикнул: «Браво!» После, когда оба противника лежали каждый на своем месте, Пушкин спросил Данзаса:

— Убит ли он?

— Нет, но он ранен в руку и грудь.

— Странно, я думал, что мне будет приятно его убить, но я чувствую, что нет.

Данзас хотел сказать несколько мировых слов, но Пушкин, не дав ему времени, продолжал:

— Впрочем, все равно; если мы оба поправимся, то надо начать снова.

Пуля Пушкина попала в правую руку Геккерна, которою он прикрывал грудь свою, пробила мясо, ударилась об пуговицу панталон, на которую надеты были помочи, и уже ослабевшая отскочила в грудь, отчего сперлось дыхание в нем на несколько секунд, что, вероятно, было причиною падения. Пуля же роковая, которая отлита была на погибель Пушкина, раз-

дробила боковую кость его, разорвала внутренний сосуд и оконтузила кишки, так что с первого взгляда все доктора, и особенно Арендт, признали рану его смертельною по двум и более свойствам ее. Остальное ты найдешь в письме моем к Булгакову.

Главный вывод всего этого происшествия есть следующий: какое-то роковое предопределение стремило Пушкина к погибели. Разумеется, с большим благоразумием и с меньшим жаром в крови и без страстей Пушкин повел бы это дело иначе. Но тогда могли бы мы видеть в нем, может быть, великого проповедника, великого администратора, великого математика; но, на беду, провидение дало нам в нем великого поэта. Легко со стороны и беспристрастно или бесстрастно, то есть тупо и деревянно, судить о том, что он должен был чувствовать, страдать и в силах ли человек вынести то, что жгло, душило его, чем задыхался он, оскорбленный в нежнейших чувствах своих: в чувстве любви к жене и в чувстве ненарушимости имени и чести его, которые, как он сам говорил, принадлежали не ему одному, не одним друзьям и ближним, но России.

— Мне не довольно того, — говорил он однажды Софье Карамзиной, — что вы, что мои друзья, что здешнее общество, так же как и я, убеждены в невинности и в чистоте моей жены; мне нужно еще, чтобы доброе имя мое и честь были неприкосновенны во всех углах России, где мое имя известно.

Можно ли винить его в этой щекотливости? Разумеется, никто здесь из порядочных людей не сомневался в непорочности жены его; но все-таки в глазах света третье лицо стало между мужем и ею и набрасывало на них тень свою. Это был призрак; ничего существенного, действительного в нем не было, это правда; но не менее того и, напротив, именно от того, призрак неотступный и должен был свести с ума и бросить в крайность человека раздражительного. Конечно, он во всем этом деле действовал страстно, но всегда благородно и с удивительною, трогательною деликатностью к жене своей, которую он, можно сказать, полюбил неж-

нее, почтительнее с самого начала этой истории, в то самое время, когда он решился играть жизнь свою за нее, и не забудьте, какую жизнь, не дюжинную, не темную, но жизнь, ущедренную славою и любовию России, жизнь, которая должна была иметь цену и прелесть в глазах его. Твердость, спокойствие, ясность духа, которые воцарились в нем с той минуты, когда дуэль, то есть развязка нравственной пытки, была решена, и не изменили ему ни на месте битвы, ни на одре смертного страдания до последнего вздоха, убедительно показывают, из каких слоев сложена была эта душа, сильная и высокая. Смерть его явила, чем была истинная сторона жизни его. Все, что и было в ней нестройного, необузданного, болезненного, принадлежит обстоятельствам.

Смерть его произвела необыкновенное впечатление в городе, то есть не только смерть, но и болезнь и самое происшествие. Весь город, во всех званиях общества, только тем и был занят. Мужики на улицах говорили о нем. Я недавно спросил у своего извощика, жаль ли ему Пушкина? «Как не жалеть, — отвечал он мне, — все жалеют: он, слышь, был умная голова...» Участие, которое было принято публикою и массою в этом несчастье, могло бы служить лучшим возражением на письмо Чаадаева, и Чаадаев, глядя на общую скорбь, нанесенную несчастием одного лица, должен был бы признаться, что у нас есть отечество, есть чувство любви к отечеству, есть живое чувство народности...

Покажи мое письмо Баратынскому, Раевскому, Павлу Войновичу Нащокину и всем тем, которым память Пушкина драгоценна. Более всего не забывайте, что Пушкин нам всем друзьям своим, как истинным душеприкащикам, завещал священную обязанность оградить имя жены его от клеветы. Он жил и умер в чувстве любви к ней и в убеждении, что она невинна, и мы очевидцы всего, что было проникнуто этим убеждением; это главное в настоящем положении.

Адские козни опутали их и остаются еще под мраком. Время, может быть, раскроет их. Но пока я сказал тебе все, что вам известно.

«Современник» будет издаваться нами, и на этот год в пользу семейства Пушкина, пришли нам что-нибудь своего. Я все болен телом и духом. Прости, обнимаю тебя.

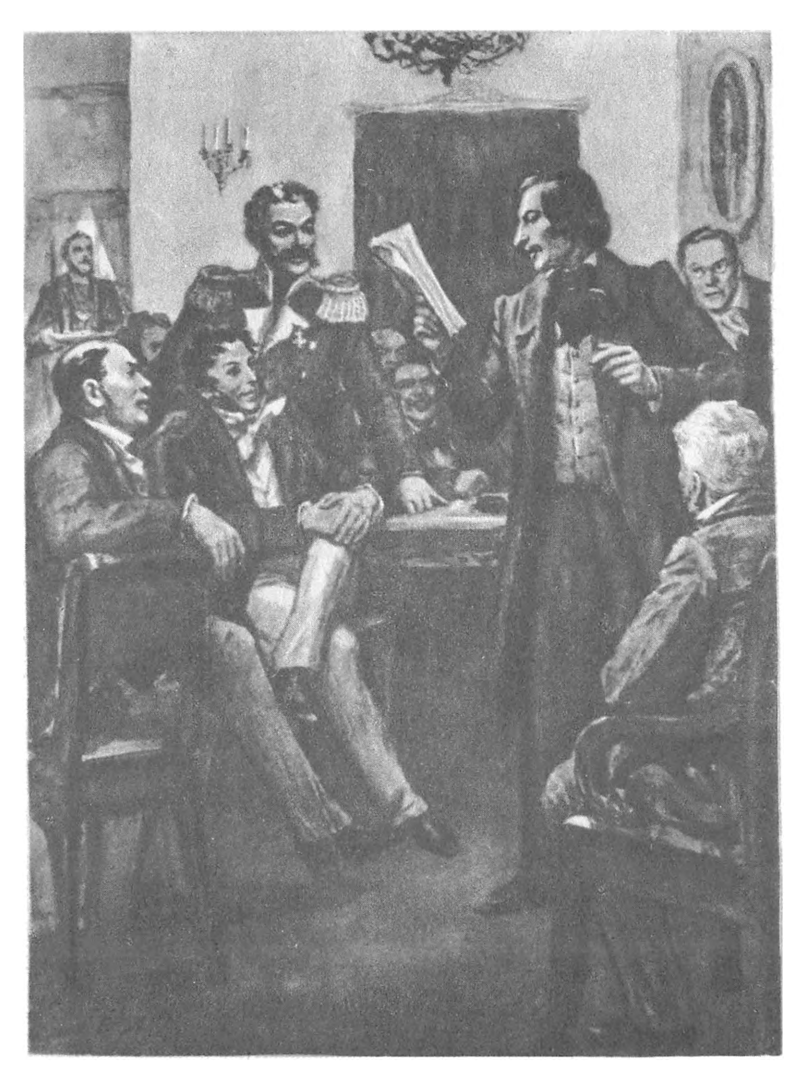
Вяземский

ДЕНИС ДАВЫДОВ — ВЯЗЕМСКОМУ

6 марта 1837 года.
Из Москвы

Я все был нездоров, мой милый Вяземский, и только что теперь собрался писать к тебе и благодарить тебя за письмо твое. Видя в обращении несколько описаний горестного происшествия с Пушкиным, между которыми и письмо твое к Булгакову, я не счел за преступление позволить списать Булгакову и одному из моих приятелей письмо твое ко мне, с тем однако ж, чтоб они не давали с него копий до твоего разрешения. Хорошо ли я сделал? Ты, может быть, забыл уже то, что ты писал ко мне в этом письме, но сколько я могу понять, в нем нет ничего непозволительного; напротив, в нем все дышит русским, истинно русским — и любовью к славе отечества, и любовью к царю нашему. Веришь ли, что я по сю пору не могу опомниться, так эта смерть поразила меня! Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям, я был и виновником и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою, подобно смерти Пушкина. Грустно, что рано, но если уже умирать, то умирать так должно, а не так как умрут те из знакомых нам с тобою литераторов, которые теперь втихомолку служат молебен и благодарят судьбу за счастливейшее для них происшествие. Как Пушкин-то и гением, и чувствами, и жизнью, и смертью парит над ними! И эти г . . . . .жуки думали соперничать с этим громодержавным орлом! Есть и в нашей столице некоторые, которые в присутствии моем будто сожалеют, а судя по лицам готовы плясать.

Я несколько месяцев тому назад просил Жуковского прислать мне экземпляр последнего издания сочинений его; он обещал мне; напомни ему. У меня



К стр. 388

есть первое издание, подаренное мне им, с подписью руки его, и подписью весьма для меня лестною; я мог бы последнее издание купить, но этой подписи не будет. Скажи ему это.

Прости, обнимаю тебя.

Денис

X

В середине августа 1838 года Денис Васильевич возвращался из Петербурга в Верхнюю Мазу, где семья опять проводила лето. До Москвы, по обыкновению, добрался он на почтовых, а из Москвы поехал на своих лошадях, присланных из деревни. Такой способ передвижения был более длительным, зато представлял бо̀льшие дорожные удобства и возможность вволю наслаждаться природой, что Денис Васильевич в последние годы особенно ценил. К тому же кучером по его просьбе ездил с ним Терентий, которого он любил за честность и совершенную преданность и с которым всегда усладительно было поговорить о партизанских отважных днях, казавшихся в четвертьвековом отдалении от них такими сказочно-яркими и поэтическими, что любое воспоминание согревало душу.

Вот и сейчас, остановившись на ночевку не в деревне, а прямо в поле, они разожгли костер и, закурив трубки, заговорили о минувшем.

Вспоминая двенадцатый год, Терентий, между прочим, признался:

— Я в ту пору, как мы партизанили, ни вам, ни кому другому не сказывал, а в голове у меня крепко думка сидела, как бы изловчиться да самого Наполеона Бонапарта в полон захватить...

— Не ты один, многие охотились! — заметил с усмешкой Денис Васильевич. — Фигнер даже в занятую неприятелем Москву с этой целью пробрался... Пустая, несбыточная затея!

— Теперича и я понимаю, — проговорил Терентий, — а тогда в горячке-то о чем только не бредилось... И чудней всего, что о личности Бонапарта я со-

всем никакого понятия не имел, а виделся он мне почему-то мужчиной громадного росту, носатым, черным вроде цыгана и в золотом кафтане!

— Ну, если так, — невольно улыбнулся Денис Васильевич, — Наполеону тебя опасаться нужды не было... Я в Тильзите его видел и запомнил отлично. Ростом он разве на вершок какой выше меня. Волосы темно-русые, а не черные. Лицо чистое, смугловатое, с чертами весьма регулярными. Нос небольшой, прямой, с легкой горбинкой. А мундир обычно носил темно-зеленый, конноегерский, с красной выпушкой и с отворотами и с эполетами полковничьими. В общем на портрет, созданный твоим воображением, нимало не походил!

— Вестимо, не походил, — согласился Терентий, — я потому и толкую, что, дескать, время-то хотя и грозное было, а для всяких, как вы сказали, несбыточных затей и для всяких геройств очень способное...

— Да, что верно, то верно, богатырская была эпоха! — сказал, начиная воодушевляться, Денис Васильевич. Невиданным мужеством россиян прославлен в веках двенадцатый год... Помню, как на Салтановской плотине горсть русских храбрецов преградила путь прославленным войскам маршала Даву. Помню, как под Смоленском составленная из рекрутов дивизия Неверовского отражала натиск главных сил Наполеона и хотя понесла значительный урон, но не была приведена в смешение. Помню, какими глазами мы увидели эту дивизию, подходящую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую пѐтом трудов и кровью чести! Каждый штык ее горел лучом бессмертия! А беспримерный героизм, проявленный верными сынами отечества на Бородинском поле? А пламенная отвага партизан и ополченцев? Незабвенные дни! Кочевье на соломе под крышей неба, вседневная встреча со смертью, неугомонная жизнь партизанская...

И долго еще с волнением сердечным и тихой грустью воскрешаются запечатленные до мельчайших подробностей картины былого. Потом Терентий идет к стреноженным невдалеке лошадям, проверяет пу-

ты и, возвратившись, укладывается прямо на траву, положив пиджак под голову, и быстро засыпает. А Денис Васильевич лежит на походной кровати и чувствует, как взбудораженные мысли гонят от него сон.

Ночь стоит теплая, безоблачная. Легкими волнами набегает ласковый полынный ветерок, нежит лицо и грудь. Где-то вдалеке, то угасая, то вспыхивая, горят костры чабанов. Из ближайшей деревни доносится чуть слышная тоскующая девичья песня. Чудесна эта ночь, эта безбрежная, вся в трепетном мерцании звезд громада мироздания, чудесна жизнь!

Денис Васильевич, сделав над собой усилие, отрывается от прошлого... Он видит себя вновь в только что оставленной столице. Он жил у Бегичевых, переехавших сюда недавно из Воронежа. Митенька получил покойное сенаторское место, растолстел неузнаваемо, сделался самодоволен и важен. Сашенька утеряла былую привлекательность и простоту, превратилась в капризную и жеманную барыньку. Хоть и свои, родные, а смотреть противно! И особенно удивляло, что простодушный и недалекий Митенька, достигнув без особого старания жизненного благополучия, стал считать себя страшно умным и дальновидным, а Сашенька, державшая мужа под башмаком, начинала верить в его несуществующие таланты и достоинства.

Несколько лет назад Митенька на досуге сочинил роман «Семейство Холмских», в котором описывались светские интриги и сплетни. Редактор «Московского телеграфа» Николай Полевой выправил и привел в относительный порядок рукопись. И все же произведение было до того литературно беспомощным, что Денис Васильевич посоветовал автору «фамилии не выставлять, чтоб не срамить родственников». Но в дворянской среде бульварную литературу многие предпочитали подлинно художественным произведениям. Книга, изданная без имени автора, имела неожиданный успех, принесла Бегичеву свыше двадцати тысяч рублей. Как было после этого не возомнить о себе!

И когда Денис Васильевич попробовал скептически отозваться о литературных способностях зятя, Сашенька вспыхнула:

— Странно тебя, Денис, слушать после общего признания Митиной книги... И, право, можно подумать, что ты нарочно говоришь так, чтоб позлить нас или из зависти...

Он пристально посмотрел в глаза сестры и произнес:

— Я не буду тебе отвечать, полагая, что ты, подумав, сама поймешь, какую глупость сказала...

Зависти он, разумеется, не испытывал, но, размышляя над судьбою Митеньки, находил в ней некое характерное явление своего времени. Бегичев ничем не выделялся из среды благонамеренных обывателей, ни административного, ни литературного таланта не имел. И вот этот Митенька Бегичев, добродушный любитель салонной болтовни и жирных кулебяк, становится сенатором и известным писателем и будет долго жить в свое удовольствие, поощряемый властями, хотя, в сущности, ничего истинно полезного для отечества он не делает и сделать не способен.

Подобные явления не были чем-то новым, но прежде они казались более естественными, а теперь, после ужасной гибели Пушкина, вызывали мрачные мысли. Судьба гениального поэта, обряженного царем в камер-юнкерский мундир и задыхавшегося в тяжелых жизненных условиях, невольно противопоставлялась судьбам таких людей, как Митенька, и это противопоставление усиливало внутренний протест против существовавшего порядка вещей, мучившего Дениса Васильевича последние годы.

Смерть Пушкина повлекла и резкое охлаждение к литературным делам. Печататься в журналах, где опять главенствовали булгарины и сенковские?.. Нет, он никогда не будет иметь ничего общего с теми, кто травил Пушкина при жизни и чернил после смерти! И вообще трудно писать, когда не видишь никакой спасительной поэтической веточки. Он не привез на этот раз в столицу ни одного стихотворения, ни одной статьи, не заходил в журналы и не искал встреч

с литераторами, кроме старых приятелей Жуковского и Вяземского. А эти чем порадовали его, чем облегчили тоскующую душу? Спору нет: они старались быть приветливыми и любезными, но развращающая близость к царскому двору приучила их сдерживать сердечные порывы и откровенные признания, составляющие главную прелесть истинной дружбы. Какой смысл распахиваться перед ними, если слова сочувствия они произносят шепотом и с оглядкою! Будучи с ними, он как-то повторил старую просьбу:

— Если я окончу жизнь прежде вас, напишите общими силами некрологию мою, и не пролетный листок для «Инвалида», а что-нибудь такое, что осталось бы надолго. Шутки в сторону, я этого стою: не как воин и поэт исключительно, а как один из поэтических лиц русской армии.

Жуковский ничего не ответил. Вяземский, по обыкновению, отшутился. А он горько подумал, что они, конечно, о неугодном царю человеке писать не будут и, вероятно, никто другой за перо не возьмется, чтоб рассказать о его жизни, прожитой не бесполезно для отечества...

Он возвращался из Петербурга никем и ничем не ободренный. И торопиться было некуда. Семья, дети? Они отлично обходятся без него. Соня права. Дом держится на ней. Она хозяйствует, продает пшеницу, воспитывает детей. Он не уверен даже, замечают ли домашние его отсутствие.

Круг жизни завершался безрадостно. И нет ничего удивительного, что он находит утешение в воспоминаниях о прошлом и в дальних дорогах. Прошлое встает перед ним в поэтической дымке и освежает душу. Поездки позволяют лучше познавать страну, неистребимая любовь к которой залегала в нем с детства. Дремучие непроглядные леса и привольные полевые просторы, сверкающие глади бесчисленных рек и озер, и шумные города, и тихие деревни с убогими хижинами селян — все это его отечество, плохо устроенное, но прекрасное по богатству природы и чудесным свойствам мужественного, трудолюбивого народа.

Он так и не избавился от противоречий, порожденных сословными традициями, он во многом ошибался, многое представлял неверно, однако, убедившись еще в двенадцатом году, насколько возвышается простой народ над «потомками древних бояр», он относился к этому народу с неизменным сочувствием. Он страстно желал, чтоб исчезли всюду нищенские избенки и обитатели их получили возможность жить в человеческих условиях, под сенью справедливых законов, и верил, что так оно и будет, хотя не знал, когда и каким образом это произойдет.

Денис Васильевич незаметно задремал. А когда открыл глаза, было уже утро, всходило солнце, таял клубившийся над рекой туман и алмазно искрилась роса на лугу. Терентий, сопровождаемый гурьбой босоногих ребят, подводил лошадей, готовясь закладывать коляску.

— Добрый день, Денис Васильевич! Как почивать изволили?

— Отлично, — ответил он, быстро поднимаясь и привычно берясь за трубку. — А ты где же помощниками обзавелся?

— Из ближней деревни сорванцы набежали... Что с ними поделаешь!

Ребята к коляске подойти не осмелились. Стали в сторонке и с любопытством наблюдали за происходящим. Денис Васильевич, раскурив трубку, обратился к ним:

— Ну, а кто из вас старший? Пойди-ка сюда, я на пряники дам...

Ребята испуганно попятились. Терентий с улыбкой пояснил:

— Оробели... Впервой, чай, доброе слово услыхали, вот и не доверяют, подвоха опасаются... Позвольте-ка я им снесу!

От Терентия ребята деньги взяли и, разделив довольно мирно серебряные монетки, не ушли, а уселись в кружок на траве и что-то оживленно стали обсуждать.

А Денис Васильевич с трубкой в зубах стоял и думал о том, что пройдут годы и, может быть, этим ми-

лым ребятам тоже придется защищать свою страну от чужеземных завоевателей, а военный и партизанский опыт их отцов и дедов, опыт, о котором он неустанно писал в своих статьях и книгах, будет воспламенять их дух и помогать в суровой борьбе! Да, его жизнь прошла небесполезно. Он честно служил отечеству и как воин и как писатель. Он чувствует себя спокойно перед судом своей совести. Он не исчезнет бесследно из памяти народной! Невольная счастливая улыбка озарила лицо его, и, бросив ласковый взгляд в сторону ребят, он мысленно повторил те самые слова, которые всегда говорил сыновьям своим:

— Будьте честны, будьте смелы и любите отечество наше с той же силой, как я любил его!

г. Воронеж
1944—1956 гг.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

[1] Стихи Вяземского, посвященные Денису Давыдову, понравились Пушкину. 27 марта 1816 года в письме к Вяземскому из Царского Села Пушкин цитирует две строки:

Не все быть могут в равной доле,
И жребий с жребием не схож.

Несомненно, что Пушкин был осведомлен и об издевательстве над Д. Давыдовым.

[2] Переписка Д. Давыдова с А. А. Закревским, продолжавшаяся много лет, представляет весьма ценный материал для биографии поэта-партизана. Письма Д. Давыдова к А. А. Закревскому, как мне удалось выяснить, печатались лишь частично в «Сборнике императорского Русского исторического общества» (РИО), т. 73, СПБ, 1890 г. Большинство же писем никогда не публиковалось. Они хранятся в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде (ЦГИАЛ), фонд № 660, опись 1, дело 107.

Публикую их в отрывках и выдержках, сохраняя полностью все своеобразие давыдовского слога.

[3] Письма Д. Давыдова к П. А. Вяземскому, которые цитирую в хронике, опубликованы в сборнике «Старина и новизна», кн. 22. Петроград, 1917 г.

[4] В 1816 году М. Ф. Орлов и М. А. Дмитриев-Мамонов задумали создать тайное политическое общество под названием «Орден русских рыцарей». В том же году была издана на французском языке в количестве 25 экземпляров брошюра «Краткие наставления русскому рыцарю», написанная Дмитриевым-Мамоновым, однако, будучи лишена четкой политической направленности, эта брошюра в развитии революционных идей большой роли не играла.

Д. Давыдову эта брошюра была известна.

[5] Письмо П. М. Волконского датировано 20 сентября 1816 года. Публикуется впервые с подлинника (Филиал ЦГВИА, фонд 717, опись 1, дело 1, лист 71).

[6] В Петербурге Д. Давыдов пробыл почти весь декабрь. Как видно из материалов, находящихся в его бумагах, рескрипт об аренде был подписан императором 12 сентября 1816 года. После этого потребовалось еще несколько дней для оформления бумаг и для того, чтоб попасть на прием к царю, благодарить его за аренду. Возможно, что прием состоялся 26—27 декабря, ибо в последние дни рождественского поста приемов во дворце обычно не было.

7 января 1817 года из Киева Д. Давыдов писал Вяземскому: «Я весь прошедший год провел в поездке и теперь только что приехал из Петербурга».

[7] Последние две строки стали крылатыми. Известно, что *В. И. Ленин* цитировал их в статье «Кабинет Бриана» (*В. И. Ленин,* Соч., т. 18, стр. 460).

[8] Об активном участии Д. Давыдова в организации ланкастерских школ ни один из его биографов никогда не упоминал. Приводимые письма обнаружены мною среди других неопубликованных писем поэта-партизана в ЦГИАЛ. См. мою статью «Новое о Денисе Давыдове» в журнале «Огонек» № 16, 1954 г.

[9] Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. «Остафьевский архив», СПБ, 1890 г., т. 1.

[10] Послание к Жуковскому, о котором идет речь, начиналось так:

Когда младым воображеньем
Твой гордый гений окрылен,
Тревожит лени праздный сон,
Томясь мятежным упоеньем;
Когда возвышенной душой
Летя к мечтательному миру,
Ты держишь на коленях лиру
Нетерпеливою рукой;
Когда сменяются виденья
Перед тобой в волшебной мгле,
И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе...

В. А. Жуковский, как известно, пришел от этих стихов в совершенный восторг. 17 апреля 1818 года, посылая эти стихи Вяземскому в Варшаву, он писал: «Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение».

П. А. Вяземский с оценкой Жуковского согласился и, в свою очередь, в письме к Д. Давыдову отозвался о них как о поэтическом шедевре. Однако Д. Давыдов отнесся к стихам более

критически, чем Жуковский и Вяземский. 2 июня 1818 года из города Каменца, где находился тогда штаб 7-го пехотного корпуса, Д. Давыдов пишет Вяземскому в Варшаву:

«Стихи Пушкина хороши, но не так, как тебе кажутся, и не лучшие из его стихов. Первые четыре для меня непонятны. Но *и быстрый холод вдохновенья власы подъемлет на челе* прекрасно! И меня подрал мороз по коже. От стиха сего до рифмы *ясным* не узнаю молодого Пушкина. В дыму столетий чудесно! Но *великаны сумрака* Карамзина... что скажешь? А мысль одинакая.

Замечание твое на счет *злодейства* и с *сынами* справедливо. Теперь от рифмы *окружен* до рифмы *земной,* я слышу Василия Львовича, напев его. Но стих — *И в нем трепещет вдохновенье* — прелестен! Вот мое мнение на счет этих стихов».

А. Пушкин мог узнать об этих критических замечаниях и от Вяземского и от Д. Давыдова. Но, так или иначе, подготовляя к печати собрание своих стихотворений, Пушкин выбросил из первоначального текста «Послания к Жуковскому» первые четыре строки и сократил весь конец, в частности стихи от рифмы *окружен* до рифмы *земной, в которых* Д. Давыдову послышался напев Василия Львовича Пушкина.

Заметим кстати, что фраза «не узнаю молодого Пушкина», написанная Д. Давыдовым, свидетельствует, что он уже тогда хорошо знал и очень высоко ценил поэтический талант юноши Пушкина.

[11] Д. Давыдов в самом деле говорил приятелям, будто он, будучи в Париже, вступил в якобинский клуб. В 1816 году, посылая старому своему другу О. Д. Ольшевскому фригийский красный колпак, Давыдов писал, что этот подарок «прислан из Франции из якобинского клуба, в котором я член». Проверить достоверность подобных утверждений трудно. Вероятно, Давыдов нарочно придумал «якобинство», чтобы побахвалиться перед товарищами, чего он не чуждался.

[12] О помощи в сватовстве А. Г. Щербатова и о характеристике, которую он дал Д. Давыдову, сообщает в своих воспоминаниях об отце Василий Денисович Давыдов («Русская старина», т. IV, 1872 г.).

[13] В. Жерве в своей книге утверждает, будто Д. Давыдов женился в 1818 году. Этот же год указывается в биографическом очерке, опубликованном в первом томе собраний сочинений Д. Давыдова, изданном в 1863 году.

Ошибка биографов очевидна. 3 февраля 1819 года Д. Давыдов из Москвы сообщает Закревскому, что он «вчера сговорен», а 17 апреля 1819 года пишет: «Уведомляю, что 13-го вечером я принял звание мужа». Правильность этой датировки подтверждается последующими письмами Д. Давыдова к Вяземскому и Закревскому.

[14] Профессор Н. Дружинин так оценивает деятельность П. Д. Киселева того периода:

«Нет никакого сомнения, что, несмотря на серьезные политические разногласия, Киселев и передовые представители дворянского поколения объединились в искреннем осуждении действующего порядка... Свою деятельность в качестве руководителя южной армии он рассматривал не только в свете личной карьеры, но и с точки зрения государственной и народной пользы. Опубликованная переписка с Закревским хорошо показывает нам прогрессивную сторону мировоззрения Киселева: он выступает здесь решительно и безоговорочно врагом Аракчеева, его не увлекает фрунтомания Александра I, и он скрепя сердце, осмеливаясь возражать и спорить, заставляет себя заниматься пресловутым «учебным шагом», ему чужды реакционно-мистические настроения, которые охватывали значительные слои дворянского общества. Киселева сближало с декабристами этого раннего периода не только отвращение к крепостническому произволу и в деревне и в армии. Исходя из принципиальных предпосылок просветительной философии, они сходились в общем желании видеть Россию преобразованною на новых, западноевропейских началах... И тем не менее между Киселевым и членами тайного революционного общества пролегала определенная резкая грань, которая политически противопоставляла их друг другу. Декабристы поставили своей целью насильственно низвергнуть существующую самодержавно-крепостническую систему; Киселев оставался решительным противником всяких насильственных переворотов. Декабристы мечтали установить народовластие в форме открытой или замаскированной республики; Киселев оставался сторонником абсолютизма, но абсолютизма просвещенного и введенного в законные рамки. Декабристы стремились ввести в России гражданское равенство, уничтожить сословные перегородки и дворянские привилегии; Киселев выступал защитником сословного строя и старался увековечить и укрепить преобладание дворянства».

Столь подробную цитату приводим потому, что все вышесказанное может быть отнесено отчасти и к Денису Давыдову, близкому другу Киселева.

Однако профессор Н. Дружинин, приведя в своей статье выдержки из писем Д. Давыдова к Киселеву и отметив сходство их общественно-политических взглядов, весьма точно определил и существенное расхождение.

«Киселев шел значительно дальше Давыдова в своем примирении и приспособлении к существующему порядку, — пишет Н. Дружинин. — Давыдов не был поклонником абсолютизма... Давыдов мечтает о перевороте, он сам бы желал поднять, революционизировать Россию, но он видит кругом бесправие и покорность, не верит в силы революционного авангарда и отодвигает выполнение задачи в далекое и неопределенное будущее» (*Н. Дружинин,* Социальные и политические взгляды П. Д. Киселева. Журнал «Вопросы истории» № 2—3, 1946 г.).

[15] 24 августа 1819 года Аракчеев, сообщая царю об экзекуции над бунтовщиками, писал:

«Но сие наказание не подействовало на остальных арестантов, при оном бывших, хотя оно было строго и примерно. По окончании сего наказания, спрошены были все ненаказанные арестанты, каются ли они в своем преступлении и прекратят ли свое буйство?.. Они единогласно сие отвергли».

8 сентября император Александр ответил Аракчееву:

«С одной стороны, мог я в надлежащей силе ценить все, что твоя чувствительная душа должна была терпеть в тех обстоятельствах, в которых ты находился. С другой стороны, я умею также и ценить благоразумие, с коим ты действовал в сих важных происшествиях. Благодарю тебя искренно от чистого сердца за все твои труды».

А в памяти народа Чугуевская расправа сохранилась как одна из самых мрачных страниц самодержавия. А. Пушкин навек заклеймил «чувствительную душу» Аракчеева известной эпиграммой:

В столице он — капрал,
В Чугуеве — Нерон,
Кинжала Зандова
Везде достоин он.

[16] 20 сентября Д. Давыдов из Кременчуга писал Закревскому:

«Я так застращал тобою Херсонское отделение, что комендант по сие время относится ко мне, опасаясь, чтобы я через тебя не истребил его, — я тем пользуюсь, даю ему советы, и по мере возможности помогаю отделению. Недавно на мой счет ездил в Киев инженерный офицер Воронецкий, чтобы совершенно дать тот же ход учению и в Херсонском отделении».

[17] В своих широко известных «Записках» декабрист Н. В. Басаргин о знакомстве с Д. Давыдовым даже не упоминает. Однако, как удалось выяснить, они не только были знакомы, но и находились в дружеских отношениях. Весной 1820 года Н. Басаргин, будучи в Москве, посетил Д. Давыдова и просил его оказать содействие в переводе из второй армии в первую. 10 июня 1820 года Д. Давыдов из Москвы пишет по этому поводу Закревскому:

«Нельзя ли перевести квартирмейстерской части прапорщика Басаргина, находящегося при Главной квартире 2-й армии, во 2-й корпус 1-ой армии? Большую бы ты милость сделал» (Публикуется впервые. ЦГИАЛ, фонд 660, дело 107, лист 96).

[18] Мысли Д. Давыдова, изложенные в разговоре с Киселевым, с наибольшей полнотой раскрывают весьма противоречивое и сложное, однако в основном прогрессивное отношение поэта-партизана к острым политическим вопросам того времени. Я использовал почти дословно письмо Д. Давыдова к Киселеву от 15 ноября 1819 года, восстановив, разумеется, те цензурные

купюры, которые были сделаны при опубликовании его в полном собрании сочинений Д. Давыдова в 1893 году.

[19] Как видно из настоящего впервые публикуемого письма, датированного 10 июня 1820 года, конфликт Дениса Давыдова с царем был более глубоким, чем полагали до последнего времени некоторые биографы поэта-партизана.

[20] Сохранилось несколько вариантов рукописей и два, отличных один от другого, прижизненных издания «Опыта теории партизанского действия». Цитирую первое издание книги, напечатанной в Московской типографии С. Селивановского в 1821 году.

[21] В одной из таких прокламаций, найденных в казармах Преображенского полка, неизвестный автор от имени взбунтовавшихся семеновцев жаловался преображенцам:

«Ни великого князя, ни всех вельмож не могли упросить, чтоб выдали в руки тирана, своего начальника, для отомщения за его жестокие обиды; из такового поступка наших дворян мы все, российские войска, можем познать явно, сколь много дворяне сожалеют о воинах и сберегают тех, которые им служат; за одного подлого тирана заступились начальники и весь полк променяли на него Вот полная награда за наше к ним послушание! Истина: тиран тирана защищает! У многих солдат от побоев переломаны кости, а многие и померли от сего! Но за таковое мучение ни один дворянин не вступился. Скажите, что должно ожидать от царя, разве того, чтобы он нас заставил друг с друга кожу сдирать? Помните всеобщую нашу глупость и сами себя спросите, кому вверяете себя и целое отечество, и достоин ли сей человек, чтоб вручить ему силы свои, да и какая его послуга могла доказать, что он достоин звания царя?

...Бедные воины, посмотрите глазами на отечество, увидите, что люди всякого сословия подавлены дворянами. В судебных местах ни малого нет правосудия для бедняка. Законы выданы для грабежа судейского, а не для соблюдения правосудия. Чудная слепота народов!

Хлебопашцы угнетены податьми: многие дворяне своих крестьян гоняют на барщину шесть дней в неделю. Скажите, можно ли таких крестьян выключить из числа каторжных? Дети сих несчастных отцов остаются без науки, но оная всякому безотменно нужна; семейство терпит великие недостатки; а вы, будучи в такой великой силе, смотрите хладнокровно на подлого правителя; и не спросите его, для какой выгоды дает волю дворянам торговать подобными нам людьми, разорять их и вас содержать в таком худом положении?»

[22] Эти и другие подробности, касающиеся Каменки и ее обитателей, взяты мною из рукописи Юрия Львовича Давыдова, родного внука декабриста Василия Львовича, или Базиля, как звали его в семье. Известно, что Василий Львович скончался на

поселении в Красноярске, но жена его Александра Ивановна, знавшая лично и Пушкина и Дениса Давыдова, возвратилась в 1855 году в родные места, прожила в Каменке еще долгие годы, скончавшись 93 лет от роду, почти на рубеже XX века. Юрий Львович хорошо помнит свою бабушку, неоднократно беседовал с нею, записав много любопытного о стародавних временах, и, любезно предоставив мне эти записи, разрешил пользоваться ими как фактологическим материалом.

Ввиду того, что упомянутый в моей хронике «карточный домик» имел значение не только для Пушкина, но и для декабристов, привожу нижеследующую выписку из рукописи:

«Среди небольших домиков в усадьбе находился так называемый в те времена «карточный домик», переименованный много позднее в «зеленый домик». Он служил местом уединения для мужской половины семьи и ее гостей, где мужчины проводили время не стесняясь, расстегнув мундиры, за карточным столом, добрым стаканом вина и вольными разговорами. В этом домике велись беседы и на политические темы, чего при дамах себе не позволяли делать, боясь их длинных язычков. В домике собирались люди передовой мысли той эпохи. Стены его видели Пушкина, Дениса Давыдова, Ермолова, Раевского и плеяду будущих декабристов — Пестеля, Поджио и других, имена коих отмечены историей.

В это же время у больничного пруда стояла водяная мельница, часто бывавшая на простое в силу неудачной ее конструкции. Василий Львович тогда же обратился к командиру полка, расквартированного в Новомиргороде, находившегося в 45 верстах от Каменки, А. А. Гревсу с просьбой, нет ли в полку специалиста по мельничному делу. А. А. Гревс командировал рядового Шервуда, взявшегося за реконструкцию мельницы.

В жаркие дни обитатели Каменки ездили к опусту и пользовались им как душем или купались в пруду. Чтобы не быть понятыми посторонними, конспиративные разговоры велись преимущественно на французском языке. Шервуд, знавший французский язык, подслушивал их из окон мельницы и из отдельных, долетавших до него фраз понял, что имеет дело с кружком заговорщиков.

Авантюрист учел всю выгоду от раскрытия заговора и стал шпионить. Он скоро понял, что заговор кружка — серьезный, политический и что местом собраний является «карточный домик». Устроив себе наблюдательный пункт в ветвях росшего под окнами дуба, он все вечера просиживал в листве, жадно записывая все долетавшие до него разговоры. Тут не трудно было ему установить имена участников и, собрав достаточное количество материалов, он написал донос Аракчееву, да, кроме того, он втерся в дружбу с Вадковским и списал у него список участников обеих групп, приложив списки к доносу».

Этот рассказ жены декабриста, хозяина Каменки, записанный ее внуком, кажется нам заслуживающим внимания историков и литераторов, работающих над декабристскими темами.

[23] Судя по переписке с Закревским, в Орле Денис Давыдов был 27 января и, по всей видимости, отсюда в начале февраля возвратился в Москву, 14 феврался 1821 года из Москвы он пишет Закревскому, что «провел в Орле и Москве несколько прелестных часов с Ермоловым» (письмо не публиковалось. Хранится в ЦГИАЛ).

А. Ермолов был в Москве не позднее 7 или 8 февраля, ибо 11 февраля 1821 года Закревский из Петербурга уведомляет П. М. Волконского, находившегося в Лайбахе: «Алексей Петрович Ермолов сегодня поутру приехал сюда и ужасно как поседел» (РИО, том 73). А из Орла в Москву Ермолов выехал не позднее 5 февраля, следовательно, в Орле виделся с ним Д. Давыдов в последних числах января и, возможно, в самых первых числах февраля.

Таким образом, довольно распространенное мнение, якобы А. С. Пушкин, будучи в Киеве с 30 января по 12 февраля 1821 года, именно в это время общался там с Д. Давыдовым, представляется весьма сомнительным.

[24] М. В. Нечкина в своем исследовании «А. С. Грибоедов и декабристы» (изд-во Академии наук СССР, 1951 г.) так оценивает противоречивый и сложный образ Ермолова: «Проницательность, умение лавировать, разгадывать планы врага, побеждать хитростью и при нужде надевать маску — несомненно присущие Ермолову черты. Это лавирование породило немало противоречий в его поведении. Однако черты политической оппозиционности и вольнодумства все же складываются в облике Ермолова в такое прочное и ясное целое, что становится вполне понятно, почему этот человек мог быть зачислен декабристами в ряды «своих»... Политическая оппозиционность Ермолова далеко не была в узком смысле слова «фрондой»: нет, она проистекала из определенных, противоположных режиму принципов мировоззрения — сложного и противоречивого, но в основах — *противостоящего* режиму. От изложенных выше устоев был уже один шаг до политической критики правительства и до деятельности против него».

[25] Слова Вяземского полностью взяты из его письма А. И. Тургеневу от 6 февраля 1820 года из Варшавы («Остафьевский архив», том II). Возвратившись в Москву, Вяземский 15 марта 1821 года пишет В. А. Жуковскому: «В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его. Я не вызываю бунтовать против них, но не знаться с ними. Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора» («Русский архив», 1900, кн. 2).

Взгляды Вяземского действительно во многом совпадали со взглядами Дениса Давыдова, который писал: «Я убедился по опыту, что между ними (царями) и частными людьми близких отношений существовать не может и не должно; мудрость частного человека, как бы высоко ни стоял он на служебной лестнице, должна заключаться в том, чтобы постоянно держать

себя в почтительном от них отдалении, имея у себя всегда готовый им ответ».

Впрочем, Денис Давыдов, сравнивавший самодержавие с домовым, который душит Россию, критиковал этот строй в некоторых случаях более остро и резко, чем Вяземский. Приведем характерное свидетельство самого Вяземского. 29 января 1832 года он писал В. А. Жуковскому: «Посылаю тебе стихи Дениса. Вот он иногда выступал из границ, дул по всем по трем и коренную трогал» («Русский архив», 1900, кн. 3).

Смысл последней фразы расшифровать нетрудно. Именно в то время известный реакционер С. Уваров выдвинул так называемую «Теорию официальной народности» и сформулировал ее основу («Православие, самодержавие, народность»), получившую ироническое наименование «уваровской тройки». Коренная в ней самодержавие. Ценное свидетельство Вяземского лишний раз опровергает доводы тех биографов поэта-партизана, которые полагали, будто он был вообще далек от критики самодержавия.

26 Тогда же эти слова были сказаны Ермоловым и бывшему его адъютанту М. Фонвизину, состоявшему в тайном обществе. М. В. Нечкина в своей вышеназванной книге делает по этому поводу следующее замечание: «Подобное предупреждение звучало почти поощряюще. Это слова друга декабристов, а не принципиального противника их движения».

27 Об этом вечере в честь Ермолова рассказал в письме к брату московский почтмейстер А. Я. Булгаков. Письмо написано было в Ивановском 23 сентября 1821 года («Русский архив», 1901, кн. 2).

28 Письмо написано декабристом И. Г. Бурцовым 5 октября 1821 года в Тульчине. И. Г. Бурцов был одним из самых осторожных и умеренных членов первых тайных обществ. Связь с ним у Дениса Давыдова началась в конце 1818 года и продолжалась много лет. Они находились в постоянной переписке, которая велась через знакомых, в частности через генерала Рудзевича, служившего во второй армии. Самих писем, к большому сожалению, разыскать мне не удалось, но существование их подтвердить можно. Так, например, 28 октября 1819 года из Кременчуга Д. Давыдов пишет Рудзевичу: «Письмо Ваше от 22-го сего месяца вчера я имел честь получить. Приношу Вам великую благодарность за пересылку письма моего к Бурцову. Оно мне очень нужно» (Рукописные фонды Воронежского краеведческого музея. Письмо Д. Давыдова к Рудзевичу).

29 Публикуется с подлинника, хранящегося в Центральном государственном военно-историческом архиве (ЦГВИА) в Москве, фонд 194, опись 1, ед. хранения 67, стр. 45, 46, 47 и оборот. Интересно отметить, что Д. Давыдов упоминает в письме о четырех своих друзьях-декабристах: Василии Львовиче Давыдове,

С. Г. Волконском, М. Ф. Орлове и Г. Полиньяке, а также сообщает о посещении двоюродной своей сестры Софьи Львовны Бороздиной, дочери которой были замужем за декабристами Поджио и Лихаревым — их Д. Давыдов тоже, вероятно, знал.

[30] Внебрачная связь В. Л. Давыдова продолжалась до весны 1825 года, когда умерла его мать и он мог, наконец, жениться. В рукописи Ю. Л. Давыдова, о которой выше сообщалось, лишь упоминается, что Александра Ивановна Потапова «до брака родила сына и дочь»; вполне понятно, Александре Ивановне неприятно было затрагивать эту тему, но имеется и другое подтверждение этой связи.

1 июня 1825 года А. Я. Булгаков из Москвы писал брату: «Был у меня П. Л. Давыдов... Он сказывал, что брат его Василий после смерти матери объявил свадьбу свою с какой-то женщиной, от которой имеет детей. Дело похвальное: исполнил долг свой, а между тем не огорчил мать свою при жизни ея» («Русский архив», 1901, кн. 6).

[31] Настоящие, впервые публикуемые выдержки из писем Д. Давыдова (ЦГИАЛ, фонд 660, дело 107, стр. 141) позволяют уточнить некоторые существенные подробности никем до сей поры не написанной биографии декабриста В. Л. Давыдова.

В обстоятельной статье С. Я. Гессена «Пушкин в Каменке» («Литературный современник», 1935 г.) о Василии Львовиче сообщалось, например, следующее: «Он в 1816 году, имея 24 года от роду, был уже подполковником, а в 1820 году вышел в отставку с полковничьими эполетами».

Из формулярного списка, имеющегося в деле В. Л. Давыдова («Восстание декабристов», т. X, 1953 г.), можно видеть, что В. Л. в 1816 году был гвардейским ротмистром, а в подполковники произведен в январе 1817 года в связи с переходом в Александрийский армейский гусарский полк, находившийся в бригаде, которой командовал Д. Давыдов. Полковником в отставке стал Василий Львович, как видно из опубликованных нами писем, лишь в 1822 году. Между тем через четыре года Василий Львович, давая показания следственному комитету, сообщил, что он уволен по прошению вовсе от службы за ранами в 1820 или в 1821 году. Конечно, Василий Львович прекрасно помнил, что он уволен значительно позднее, но ему явно хотелось отдалить время увольнения с военной службы и одновременно напомнить о своих ранах, явившихся якобы единственной причиной отставки. Заметим, что выражение «за ранами» в письме Д. Давыдова подчеркнуто.

А о степени близости Д. Давыдова к двоюродному брату-декабристу свидетельствует признание, что он любит его «как родного брата».

[32] Очевидно, в это же время Д. Давыдов написал небольшой очерк о Кульневе в Финляндии; в 1824 году этот очерк был

опубликован в журнале «Мнемозина», издаваемом В. Ф. Одоевским и В. К. Кюхельбекером.

Тогда же по просьбе А. Бестужева и К. Рылеева, начавших издавать альманах «Полярная звезда», Д. Давыдов послал им несколько своих элегий. В «Русском инвалиде» 10 января 1823 года в рецензии на первый номер «Полярной звезды» сообщалось: «Здесь блистают знаменитые имена и изящные произведения Жуковского, Крылова, Вяземского, А. Пушкина, Давыдова, Баратынского, Гнедича».

[33] Через год, когда умер начальник кавказской линии генерал-майор Сталь, Ермолов вновь возобновил ходатайства о назначении Д. Давыдова. Эти ходатайства вывели из себя императора. Они были отклонены в самой резкой форме. 12 июля 1825 года Ермолов писал Закревскому: «После смерти Сталя я просил о Денисе, но мне отказано таким образом, что я и рта не могу более разинуть» (РИО, том 73).

[34] Мне потому кажется извинительным столь большое публицистическое отступление в хронике, что до последнего времени, как ни странно, исследователи жизни и творчества А. С. Грибоедова не считали нужным в числе близких его друзей даже упоминать Дениса Давыдова.

А ведь А. С. Грибоедов почти 14 месяцев, творчески наиболее напряженных, когда заканчивалась работа над «Горем от ума», провел в тесном общении с Д. Давыдовым. Это факт, подтверждаемый и письмами самого А. С. Грибоедова, и признанием Д. Давыдова («находясь с ним долго в весьма близких отношениях»), и Вяземским, и, наконец, племянницей братьев Бегичевых («Воспоминания о Д. Н. Бегичеве» Е. Соковниной. «Исторический вестник», 1889, т. III).

Несомненно, исследователи и биографы А. С. Грибоедова сделали бы немало новых, интересных открытий, если б отнеслись с должным вниманием к его связи с таким хорошо осведомленным во многих общественно-политических делах человеком, каким был Д. Давыдов.

Разве не стоит, например, размышлений грибоедовская фраза о «буйной и умной» голове Дениса Давыдова? Припомним, при каких обстоятельствах она написана. Это было ранним утром 4 января 1825 года. Грибоедов именно тогда жил в горячей атмосфере зреющего декабристского восстания, жил, «окруженный дружбой и любовью заговорщиков», как пишет М. В. Нечкина.

И вот что-то случилось. Грибоедову не спится. Он решает поделиться меланхолическими мыслями со старым другом С. Н. Бегичевым. Все обычно, ничего странного! Вдруг Грибоедову вспоминается Денис Давыдов, вернее какой-то крепко запавший в душу разговор с ним, и следует такое признание: «Нет, здесь нет эдакой буйной и умной головы, я это всем твержу; все они, сонливые меланхолики, не стоят выкурки из его трубки».

Уточним, что Д. Давыдов в период московского общения с Грибоедовым не пил, не буянил, отличался примерным, «благоразумным» поведением; стало быть, буйными, смелыми были мысли Д. Давыдова, которые припомнились Грибоедову спустя семь месяцев после отъезда из Москвы.

Думается, что затронутые вопросы, касающиеся связи А. С. Грибоедова с Д. Давыдовым, заслуживают самого серьезного исследования.

[35] Этот разговор Дениса Давыдова с Грибоедовым описан Вяземским в его воспоминаниях (*П. А. Вяземский,* Полное собрание сочинений, т. VII. СПБ, 1882).

[36] Книга эта, написанная отцом братьев-декабристов, была в то время особенно популярна в либеральных кругах. Она издана в Петербурге в 1823 году.

[37] Вопрос о Кавказском тайном обществе до сих пор остается недостаточно исследованным. В своих записках декабрист С. Г. Волконский пишет, что после нескольких встреч на Кавказе с Якубовичем он «получил, если не убеждение, что существует на Кавказе тайное общество, имеющее целью произвести переворот политический в России, и даже некоторые предположительные данные, что во главе оного сам Алексей Петрович Ермолов и что участвуют в оном большею частью лица, приближенные к его штабу. Это меня ободрило к большей откровенности, и я уже без околичностей открыл Якубовичу о существовании нашего тайного общества и предложил ему, чтоб кавказское общество соединилось с Южным всем его составом. На это Якубович мне отвечал: «Действуйте, и мы тоже будем действовать, но каждое общество порознь, а когда придет пора приступать к явному взрыву, мы тогда соединимся. В случае неудачи вашей, мы будем в стороне, и тем будет еще зерно, могущее возродить новую попытку. У нас на Кавказе и более сил, и во главе человек даровитый, известный всей России, а при неудаче общей, здесь край и по местности отдельный, способный к самостоятельности. Около вас сила вам, вероятно, не ручная, а здесь все наше по преданности общей к Ермолову...»

С. Г. Волконский подробно рассказал об этом прежде всего В. Л. Давыдову, который переписал отчет Волконского Тульчинской директории.

В своих показаниях следственному комитету В. Л. Давыдов, признав, что Волконский говорил о Кавказском обществе, добавляет, что оно «управляется двумя советами, один из шестнадцати, другой из четырех членов», и тут же следом заявляет, будто Поджио, ездивший на Кавказ, «утвердительно говорил, что не существует там общества никакого и что мысль, что Ермолов берет в оном участие, ни с чем не сообразна и никакого совершенно основания не имеет» («Восстание декабристов», т. X, 1953 г.).

К последнему заявлению, разумеется, надо относиться осторожно, приняв во внимание, что Ермолов декабристу Давыдову приходился двоюродным братом, находился с ним в переписке, и Давыдову, естественно, хотелось выгородить из дела Ермолова.

Что же касается Якубовича, то его показания следственному комитету резко расходятся с показаниями Волконского и Давыдова. Якубович уверял: «Князь Волконский первый дал мне понятие об обществах, существующих в России, и обществе второй армии, несколькими словами говоря, что они очень сильны и что добродетельнейшие люди составляют оное, но подробностей я не знаю». Якубович разговоры о Кавказском обществе резко отрицал: «Рассуждений об основании или распространении общества я ни с кем во всю мою службу в Грузии не имел...»

Якубович в своих показаниях совершенно умолчал о пребывании в Москве весной 1825 года, а на вопросы, с кем имел переписку, категорически дважды показал, будто «с 1821 года командирован был на кавказскую линию, и, кроме по службе со штабом и адъютантами генерала Ермолова, я ни с кем не имел переписки» и далее: «в 1824 году сентября 15 я выехал из Георгиевска и с тех пор ни с кем не имел никакой переписки...» («Восстание декабристов», т. II, 1953 г.).

Несколько известных писем Якубовича к Д. Давыдову, написанных именно в те годы, заставляют думать, что у Якубовича были какие-то основания не упоминать ни о переписке с Д. Давыдовым, ни о московских свиданиях с ним.

[38] Декабрист А. А. Бестужев находился с Д. Давыдовым в самых лучших отношениях. Познакомились они у Вяземского в Москве 21 февраля 1823 года, как свидетельствует сам Бестужев в своих записях о поездке в Москву (сборник «Памяти декабристов», т. I. Ленинград, 1926 г.). 23 февраля Бестужев опять записал, что, обедая у Вяземского, слушал анекдоты Давыдова, а 8 марта следует такая запись: «У Давыдова. Тот дал мне свои записки».

[39] 9 ноября 1825 года московский поэт С. Нечаев, узнав, что А. Бестужев выпускает повесть под названием «Кровь за кровь», писал ему: «С нетерпением ждем твоих повестей. Давыдов догадывается, что «Кровь за кровь» родом с Кавказа. Якубович был твоею музою». Это письмо свидетельствует, что Д. Давыдову, во всяком случае, хорошо были известны мстительные порывы Якубовича и были какие-то разговоры с Бестужевым о Якубовиче.

[40] В биографиях Е. А. Баратынского нет сведений о том, какое участие принимал в его освобождении от солдатчины Д. Давыдов, поэтому считаю необходимым привести некоторые письма его к Закревскому. 6 марта 1824 года Д. Давыдов писал: «Сделай милость, постарайся за Баратынского, разжалованно-

го в солдаты; он у тебя в корпусе. Гнет этот он несет около восьми лет или более, неужели не умилосердятся? Сделай милость, друг любезный, этот молодой человек с большим дарованием и верно будет полезен. Я приму старание твое, а еще более успех в сем деле за собственное мне благодеяние». 23 июня 1824 года Д. Давыдов опять пишет: «Повторяю о Баратынском, повторяю опять просьбу взять его к себе».

Д. Давыдов в самом деле бомбардировал Закревского подобными напоминаниями и добился своего. Баратынский был произведен в прапорщики, а затем, опять при содействии Д. Давыдова, получил и желаемую отставку. 16 февраля 1826 года Д. Давыдов писал Закревскому: «Благодарю тебя от души за отставку Баратынского, он весел как медный грош и считает это благодеяние твое не менее первого».

[41] Об этих дворцовых учениях рассказывает декабрист Н. И. Лорер в своих известных записках.

[42] Стихотворение Баратынского написано за несколько дней до 14 декабря 1825 года, после того как между ним и Д. Давыдовым установилась дружеская близость. И если бы Давыдов в откровенных разговорах с Баратынским не выражал желания видеть отчизну свободной, разве мог бы клясться именно «отчизною свободной» Баратынский?

Фраза эта, несомненно, свидетельствует о характере бесед, происходивших в то время между Д. Давыдовым и Баратынским, и об их настроениях.

[43] Этот случай записан самим Д. Давыдовым. Интересно отметить, что он не постеснялся назвать царя «змеем», а это слово довольно точно характеризует Николая, как злого и коварного человека.

[44] Комиссионер Иванов показал, что стихи «неистового вольномыслия» он получил от Громницкого, а тот заявил, что эти стихи даны ему М. П. Бестужевым-Рюминым при свидетелях Тютчеве, Спиридове и Лесовском, которые и подтвердили его показания. Тогда следственный комитет обратился за разъяснением к Бестужеву-Рюмину, добавив, что одновременно и капитан Пыхачев показал, будто он, Бестужев-Рюмин, раздавал всем вольнодумческие стихи Пушкина и Дельвига. Следственный комитет предложил ответить на три вопроса: когда, где и от кого были получены стихи, данные Громницкому; кому давали их читать, и были ли они получены от авторов или от кого другого; состояли ли «сии сочинители» членами общества?

М. П. Бестужев-Рюмин ответил:

«Сие показание Спиридова, Тютчева и Лесовского совершенно справедливо. Пыхачев также правду говорит, что я часто читал наизусть стихи Пушкина (Дельвиговых я никаких не знаю). Но Пыхачев умалчивает, что большую часть волнодумных сочинений Пушкина, Вяземского и Дениса Давыдова нашел у него

еще прежде принятия его в общество... Списков с них никому не давал. Рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что это нас самих удивляло... Принадлежат ли сии сочинители обществу или нет — мне совершенно неизвестно» (дело Бестужева-Рюмина в «Восстании декабристов», т. IX. Гос. изд-во полит. литературы, 1950 г.).

[45] Это описано в «Записках Д. В. Давыдова, в России цензурой не пропущенных», Лондон — Брюссель, 1863 г. Известно, что А. И. Герцен, напечатав этот краткий рассказ Д. Давыдова о жестокости Николая, от себя добавил: «Каков нрав был у этого человека, еще совсем молодого».

[46] Вероятно, вспоминая именно это предупреждение Закревского, впоследствии, 6 августа 1828 года, Д. Давыдов писал ему: «Как я помню слова твои при отъезде моем в Персию, но я им тогда не хотел верить, быв исполнен пламени и восторга!»

О том, что Д. Давыдов все же этому предупреждению поверил и уезжал на Кавказ удрученный и неуверенный в том, что возвратится живым назад, он весьма осторожно намекает в письме к жене 22 января 1831 года, писанном по дороге в Польшу: «Я гораздо покойнее нежели тогда, как ехал в Грузию, хотя разлука была для меня и (неразборчивое слово); какая-то уверенность неизъяснимая, что я скоро возвращусь и скоро увижу тебя, меня поддерживает» (ЦГВИА, фонд 194, опись 1, ед. хранения 65).

[47] Н. Н. Муравьев, с вполне понятной недоброжелательностью отозвавшись о Д. Давыдове в своих воспоминаниях, заключает следующими словами:

«Помнили родственную связь его с Алексеем Петровичем; никто не имел причины жаловаться на него лично, и сие только служило к охранению перед ним по наружности того уважения, которое должно было иметь к начальнику. Безнравственные рассказы его имели мало действия в кругу частных начальников, руководствовавшихся правилами совершенно противными. Не скажу однако ж, чтобы его не любили; в обхождении он был очень прост, ласков и душу имел добрую, сие также поддерживало его в мыслях и расположении каждого. Он имел добрые качества сии при всех его недостатках и не оставил по себе неприятелей и недовольных» (записки Н. Н. Муравьева-Карского, журнал «Русский архив», т. I, 1889 г.).

Свидетельство это ценно тем, что оно сделано человеком, не питавшим дружеских чувств к Д. Давыдову.

Что касается «безнравственных» рассказов Д. Давыдова, то этот вопрос заслуживает особого внимания. Ведь тогда «безнравственными» назывались рассказы, дышавшие вольномыслием и критиковавшие высшее начальство. Муравьев писал записки в конце жизни, будучи реакционером, и, несомненно, имел в виду такую «безнравственность», противопоставляя ей «правила

совершенно противные», которыми якобы руководствовались офицеры корпуса, состоявшего под его, Муравьева, начальством.

[48] Д. Давыдов не забыл упомянуть в своих записках о том, что император Павел считал своих сыновей Николая и Михаила незаконнорожденными, и о том, как Ростопчин уговорил Павла не публиковать указа об этом только потому, что иначе «в России не достанет грязи, чтобы скрыть под нею красноту щек ваших».

[49] Фамилия цензора, запретившего стихи Давыдова, была Щеглов. Когда его назначили затем цензором «Литературной газеты», А. Пушкин писал в цензурный комитет, что Щеглов «своими замечаниями поминутно напоминает лучшие времена Бирукова и Красовского», а в доказательство привел случай с запрещением патриотических стихов Давыдова: «Цензор усомнился, можно ли допустить называть таковым образом («отечества щит») двух капитан-лейтенантов, и вымарал приветствие не по чину».

[50] Бестужевский молочный скот до сих пор славится в среднем Поволжье высокой продуктивностью.

[51] 29 января 1830 года Д. Давыдов писал Вяземскому: «Пушкина возьми за бакенбард и поцелуй за меня в ланиту. Знаешь ли, что этот черт, может быть, не думая, сказал прошедшее лето за столом у Киселева одно слово, которое необыкновенно польстило мое самолюбие?.. Он, хваля стихи мои, сказал, что в молодости своей от стихов моих стал писать свои круче и приноравливаться к оборотам моим, что потом вошло ему в привычку».

Следует вспомнить и рассказ М. В. Юзефовича, встречавшегося с Пушкиным на Кавказе. Юзефович пишет: «В бывших у нас литературных беседах я раз сделал Пушкину вопрос, всегда меня занимавший: как он не поддался тогда обаянию Жуковского и Батюшкова и даже в самых первых опытах не сделался подражателем ни того, ни другого? Пушкин мне отвечал, что этим он обязан Денису Давыдову, который дал ему почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным» («Русский архив», 1880 г.).

[52] Как ни курьезно, но Закревский в самом деле попал под надзор жандармерии за дружбу с Ермоловым. Именно тогда Бенкендорф писал начальнику Московского жандармского отделения Волкову: «Я думаю, что Закревский, который просится в отпуск на несколько месяцев, также будет в Москве... Напишите мне весьма секретно, как он будет держать себя, кого он будет посещать и увидит ли он своего друга Ермолова?» («Русская старина», т. II, 1889 г.).

Бенкендорф при этом, вероятно, не знал, что Волков был

старым приятелем Закревского, который, таким образом, имел возможность осведомляться о кознях шефа жандармов.

[53] Письмо Д. Давыдова публикуется впервые по подлиннику, обнаруженному в Центральном государственном историческом архиве в Москве (фонд 1, экспедиции III жандармского отделения, ед. хранения 363, стр. 5).

[54] Д. Давыдов выехал из Москвы 15 января 1831 года и прибыл в главную квартиру 12 марта, а обратную дорогу из Польши в Москву сделал в семь дней.

Двухмесячный срок пребывания в пути легко прослеживается по письмам Д. Давыдова к жене, и даты этих писем позволяют, в частности, точно определить, что Д. Давыдов не был и не мог быть на известном мальчишнике Пушкина, состоявшемся в Москве 17 февраля 1831 года. Это очень важно установить потому, что до последнего времени многие пушкиноведы считали Д. Давыдова в числе присутствовавших на мальчишнике, основываясь на письме самого Д. Давыдова, который позднее, 23 апреля 1833 года, писал поэту Языкову: «Я пьяный на девичнике Пушкина говорил вам...»

Остается предположить, что друзья Пушкина перед свадьбой собирались у него несколько раз, именуя эти дружеские пирушки «мальчишниками», или, как неправильно выражается Давыдов, «девичниками». Денис Давыдов, видимо, присутствовал на одном из них, но не на главном, предсвадебном.

[55] Письмо публикуется впервые по подлиннику, датированному 8 марта 1831 года (ЦГВИА, фонд 194, опись 1, ед. хранения 65).

[56] Об этих посещениях Д. Давыдовым Пушкина вспоминает П. В. Нащокин в своих беседах, записанных П. И. Бартеневым («Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым». Ленинград, 1925 г.).

[57] Письма Д. Давыдова к П. Н. Ермолову хранятся в Центральном государственном архиве древних актов (фонд Ермоловых, опись 1, ед. хранения 751).

[58] Роман Д. Давыдова с Е. Золотаревой никогда в печати не освещался. Сыновья поэта-партизана после его смерти приняли все меры к тому, чтобы скрыть от широкой огласки последнее увлечение отца. Они умышленно утверждали, будто Евгении было всего восемнадцать лет и увлечение ею носило случайный и сентиментальный характер, а печатая посвященные ей стихи, нарочно ставили под некоторыми из них более ранние даты. О том, кто же была девушка, вдохновившая стареющего поэта на чудесные стихи, заслужившие восторженную оценку В. Г. Белинского, не было ничего известно, кроме того, что она была дочерью пензенского помещика.

Мне удалось по архивным материалам, полученным в Пензе и Ульяновске, по нескольким письмам Д Давыдова и Е. Золотаревой, а также по отрывкам из их переписки, публиковавшимся в «Историческом вестнике» в 1890 году, восстановить истину о последнем романе поэта-партизана, и я основываю, таким образом, историю этого романа не на вымысле, а на документальных материалах.

Кто была Евгения Золотарева? На этот вопрос довольно точный ответ дает обнаруженная мною раздельная запись, учиненная семьей Золотаревых в Пензе 11 июля 1832 года (Пензенский облгосархив, фонд 196, опись 2, дело 979, лист 21—23).

Из этой записи, в частности, видно не только семейное и имущественное положение Е. Золотаревой, приходившейся с материнской стороны племянницей братьев Бекетовых, но и определяется ее возраст: к началу романа с Давыдовым ей было уже 23 года. Хочется заметить, что она приходилась двоюродной сестрой великого русского химика Н. Н. Бекетова и дальней родственницей поэта А. Блока.

[59] Вяземский, знавший Д. Давыдова более других его друзей, писал о нем:

«Денис и в зрелости лет сохранил изумительную молодость сердца и нрава. Он был душою и пламенем дружеских бесед, мастер был говорить и рассказывать. Он все духом и складом ума был моложав... Не лишним заметить, что певец вина и веселых попоек в этом отношении несколько поэтизировал. Радушный и приятный собутыльник, он на самом деле был довольно скромен и трезв. Он не оправдывал собою нашей пословицы: пьян да умен, два угодья в нем. Умен он был, а пьяным не бывал» («Русский архив», 1866 г., стр. 899—900).

[60] Рассказ о том, как Грибоедов заканчивал «Горе от ума» в тульской деревне Бегичева, и эпизод с Дмитрием Никитичем взят мною из воспоминаний его племянницы Е. Соковниной («Воспоминания о Д. Н. Бегичеве» в журнале «Исторический вестник», т. III, 1889 г.).

[61] Ответ Ермолова записан дословно Д. Давыдовым в его записках.

[62] Чрезвычайно высоко оценивал достоинства давыдовской военной прозы В. Г. Белинский, который писал следующее:

«Прозаические сочинения Давыдова большею частию — журнальные статьи, вроде мемуаров. В них найдете вы живые воспоминания об участии автора в разных кампаниях, особенно в священной брани 1812—1814 годов; воспоминания о героях той великой эпохи — Каменском, Кульневе, Раевском и проч. Предоставляем военным людям судить о военном достоинстве этих статей; что же касается до литературного, с этой стороны они — перлы нашей бедной литературы: живое изложение, доступность для всех и каждого, интерес, слог быстрый, живописный, простой и благородный, прекрасный, поэтический! Как прозаик,

Давыдов имеет полное право стоять наряду с лучшими прозаиками русской литературы» (*В. Г. Белинский,* Полное собрание сочинений, т. VII. СПБ, 1904 г.).

[63] Послание Языкова восхитило не одного Д. Давыдова. Н. Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», вспоминая Пушкина, замечает: «Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина. (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их».) Я помню те строфы, которые произвели у него слезы...» Далее Н. Гоголь цитирует стихи и заключает так: «У кого не брызнут слезы после таких строф? Стихи его, точно разымчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подниматься кверху».

[64] Возмущенный наглой выходкой помещиков, Д. Давыдов подробно описал этот случай в письме к Вяземскому 28 мая 1834 года и одновременно в письме к П. Д. Киселеву, требуя, чтоб помещикам разъяснили сверху позор их поступка.

[65] Монолог Д. Давыдова построен на основе его письма к Вяземскому и может служить образцом своеобразного и живого стиля поэта-партизана.

[66] Поездка в Петербург в 1836 году довольно подробно описана Д. Давыдовым в письмах к жене, которые хранятся в ЦГВИА (фонд 194, опись 1, ед. хранения 66). Пребывание Д. Давыдова в столице, визиты к Вяземскому, Пушкину, Жуковскому, прием во дворце, слушание «Ревизора» — все это рисуется в моей хронике на основе вышеуказанных писем.

[67] Интересно отметить, что в этом впервые публикуемом письме имеется указание на предстоящую свадьбу Рославлевой. Вероятно, из осторожности Д. Давыдов не сообщил, что она выходит за сосланного в Пензу вольнодумца Н. П. Огарева, но, разумеется, знал об этом отлично. Н. П. Огарев постоянно вращался в том самом кругу, где проводил время и Д. Давыдов. Рославлева была подругой Золотаревых. При таких обстоятельствах знакомство и общение Огарева с Давыдовым кажется совершенно естественным, хотя, к сожалению, не подтверждено документально, почему я и вынужден был ограничиться в хронике простым их знакомством.

[68] Заметим, что военная проза Д. Давыдова достаточно широко использовалась Л. Н. Толстым при создании романа «Война и мир». И доказать это не трудно, стоит лишь внимательно сличить текст давыдовских военных записок с текстом романа. Приведем некоторые примеры.

В «Дневнике партизанских действий», касаясь знаменитого Тарутинского сражения, Д. Давыдов пишет:

«Генерал Шепелев дал 4-го числа большой обед, все присутствовавшие были очень веселы, и Николай Иванович Депрерадович пустился даже плясать. Возвращаясь в девятом часу вечера в свою деревушку, Ермолов получил через ординарца князя Кутузова, офицера кавалергардского полка, письменное приказание собрать к следующему утру всю армию для наступления против неприятеля».

В романе «Война и мир» использованы все детали этого эпизода и лишь не названа фамилия пляшущего генерала Николая Ивановича. Мы можем точно сказать, что этот генерал не вымышлен, это командир конногвардейцев Депрерадович.

Дальше в своем «Дневнике» Давыдов пишет:

«Кутузов со свитой, в числе которой находились Раевский и Ермолов, оставался близ гвардии; князь говорил при этом: «Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а чуть приступишь к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель, приняв свои меры, заблаговременно отступает». Ермолов, понимая, что эти слова относятся к нему, толкнул коленом Раевского, которому сказал: «Он на мой счет забавляется». Когда стали раздаваться пушечные выстрелы, Ермолов сказал князю: «Время не упущено, неприятель не ушел, теперь, ваша светлость, нам надлежит с своей стороны дружно наступать, потому что гвардия отсюда и дыма не увидит». Кутузов скомандовал наступление, но через каждые сто шагов войска останавливались почти на три четверти часа; князь, видимо, избегал участия в сражении».

А в романе «Война и мир» этот эпизод выглядит так:

«Когда Кутузову доложили, что в тылу французов, где по донесениям казаков прежде никого не было, теперь было два батальона поляков, он покосился назад на Ермолова (он с ним не говорил еще со вчерашнего дня).

— Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а чуть приступишь к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель берет свои меры.

Ермолов прищурил глаза и слегка улыбнулся, услыхав эти слова. Он понял, что для него гроза прошла и что Кутузов ограничится этим намеком.

— Это он на мой счет забавляется, — тихо сказал Ермо́лов, толкнув коленкой Раевского, стоявшего подле него.

Вскоре после этого Ермолов выдвинулся вперед к Кутузову и почтительно доложил:

— Время не упущено, ваша светлость, неприятель не ушел. Если прикажете наступать? А то гвардия и дыма не увидит.

Кутузов ничего не сказал, но когда ему донесли, что войска Мюрата отступают, он приказал наступление; но через каждые сто шагов останавливался на три четверти часа».

В том же «Дневнике партизанских действий» сообщается про взятого в плен французского барабанщика Vincent Bode (в романе Л. Н. Толстого он назван Vincent Bosse), рассказывается, как Фигнер, пропуская обезоруженных французов, обрывал их болтовню словами: «Filez, filez» (в романе их произ-

носит Долохов) и т. д. Возможно, даже картина подвига капитана Тушина навеяна была чтением давыдовских «Материалов для истории современных войн», где, описывая бой под Шенграбеном, Д. Давыдов замечает:

«Во время главной неприятельской атаки майор Киевского гренадерского полка Экономов, заняв своим баталионом деревню, находившуюся в тылу нашей позиции при спуске в крутой овраг, оказал тем всему отряду величайшую заслугу. Неприятель, подойдя к ней, был встречен батальным огнем; если б ему удалось овладеть этой деревней, весь отряд князя Багратиона был бы неминуемо истреблен».

В романе «Война и мир» батарея Тушина тоже занимает позицию при спуске в «крутой и глубокий овраг», а к тому же Л. Н. Толстой трижды упоминает, между прочим, имя майора Экономова, ничего не говоря о его героическом действии, ибо в романе оно совершается капитаном Тушиным, прообразом которого является Экономов.

А сколько в романе характерных давыдовских фраз и словечек! Ростов, приехав в Воронеж, говорит губернаторше: «Я, ma tante, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь». Многие ли знают, что эта любимая Д. Давыдовым фраза взята из его военных записок, откуда перекочевали в роман и такие выражения, как «рубай в пéси», «пасть как снег на голову» и т. д.

Для исследователей творчества Л. Н. Толстого все это должно представлять несомненный интерес.

69 Публикуемое письмо Вяземского имеет любопытную историю. Подлинная копия этого письма, снятая и проверенная Д. Давыдовым, хранилась после его смерти у сыновей в Верхней Мазе. А копия, сделанная с этого письма А. Я. Булгаковым, без указания, кому письмо адресовано, и в несколько искаженном виде, была найдена в архиве Булгакова после его смерти и опубликована в «Русском архиве» (1879 г., № 6) как «письмо Вяземского к Булгакову», хотя при этом П. И. Бартенев и сделал примечание, что, возможно, письмо писано не Булгакову. Тем не менее в литературе оно стало известно как «письмо Вяземского к Булгакову», в частности так оно печатается в книге «Пушкин в воспоминаниях современников» (Гос. изд-во худож. литературы, 1950 г.).

Просматривая бумаги Д. Давыдова, хранящиеся в ЦГВИА, я обнаружил ту подлинную копию, о которой говорил выше, во многом отличающуюся в тексте от «булгаковской копии», а письма Давыдова к Вяземскому без труда позволили установить, что письмо писано именно Д. Давыдову.

Письмо Вяземского публикуется по обнаруженной в делах Д. В. Давыдова копии. Сокращены лишь три страницы монархических излияний и бездоказательных доводов, будто Пушкин никогда не принадлежал к политической оппозиции (ЦГВИА, фонд 194, опись 1, ед. хранения 68, стр. 132—135).

СОДЕРЖАНИЕ

Книга вторая

Часть четвертая 3
Часть пятая 138
Часть шестая 241
Часть седьмая 327
Примечания автора 416

Задонский Николай Алексеевич

ДЕНИС ДАВЫДОВ

Историческая хроника. Книга вторая. М., «Молодая гвардия», 1962 г. 440 стр.

Редактор *О. Мамаева*
Худож. редактор *Н. Печникова.* Техн. редактор *Н. Ныркова*

Подписано к печати 15/I 1962 г., Бум. 84×108 1/32.
Печ. л. 13,75(22,55)+13 вкл. Уч.-изд. л. 22,5. Тираж 100 000 экз.
Заказ 1947. Цена 90 коп., в ледерине 95 коп.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги, а также свои пожелания ее автору, издательству.

Пишите по адресу: Москва, А-30, Сущевская, 21. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Василий Кулемин, Облака. Стихотворения, поэмы. 176 стр., цена 39 коп.

Валентин Сидоров, Дом моего детства. Стихи. 111 стр., цена 17 коп.

Александр Твардовский, Стихи из записной книжки. 128 стр., цена 30 коп.

Виктор Боков, Весна Викторовна. Книга стихов. 304 стр., цена 60 коп.

Владимир Котов, Кленовый лист. Книга лирики. 111 стр., цена 36 коп.

Владимир Фирсов, Вдали от тебя. Лирические стихи. 96 стр., цена 31 коп.

По разделу зарубежной литературы

Г. Джагаров, На колени не падать! Стихи. Авторизованный перевод с болгарского. 64 стр., цена 10 коп.

Т. Конвицкий, Дыра в небе. Повесть. Перевод с польского, 352 стр., цена 85 коп.

В. Нейхауз, Украденная юность. Роман. Перевод с немецкого, 256 стр., цена 66 коп.

М. Гикару, Страна солнца. Повесть. Перевод с английского, 207 стр., цена 39 коп.

Сборник «Слушайте!». Стихи молодых поэтов Латинской Америки. Перевод с испанского, португальского и французского, 240 стр., цена 55 коп.

С. Бонфанти, Переулок солнца. Перевод с итальянского. 175 стр., цена 33 коп.

Д. Кьюсак, Скажи смерти «нет!». Роман. Перевод с английского, 408 стр., цена 95 коп.

Ж. Коншон, В конечном счете. Роман. Перевод с французского, 232 стр., цена 60 коп.

95 Коп.